

РАБИНДРАНАТ

846/9 (ИЧН-А)

Т-13

ТАГОР

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

4



РАБИНДРАНАТ

ТАГОР

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1982

РАСИНДРАНАТ

ТАГОР

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

РОМАНЫ, МИНИАТЮРЫ, СТАТЬИ
ПИСЬМА О РОССИИ

Перевод с бенгальского



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

И (Пол)

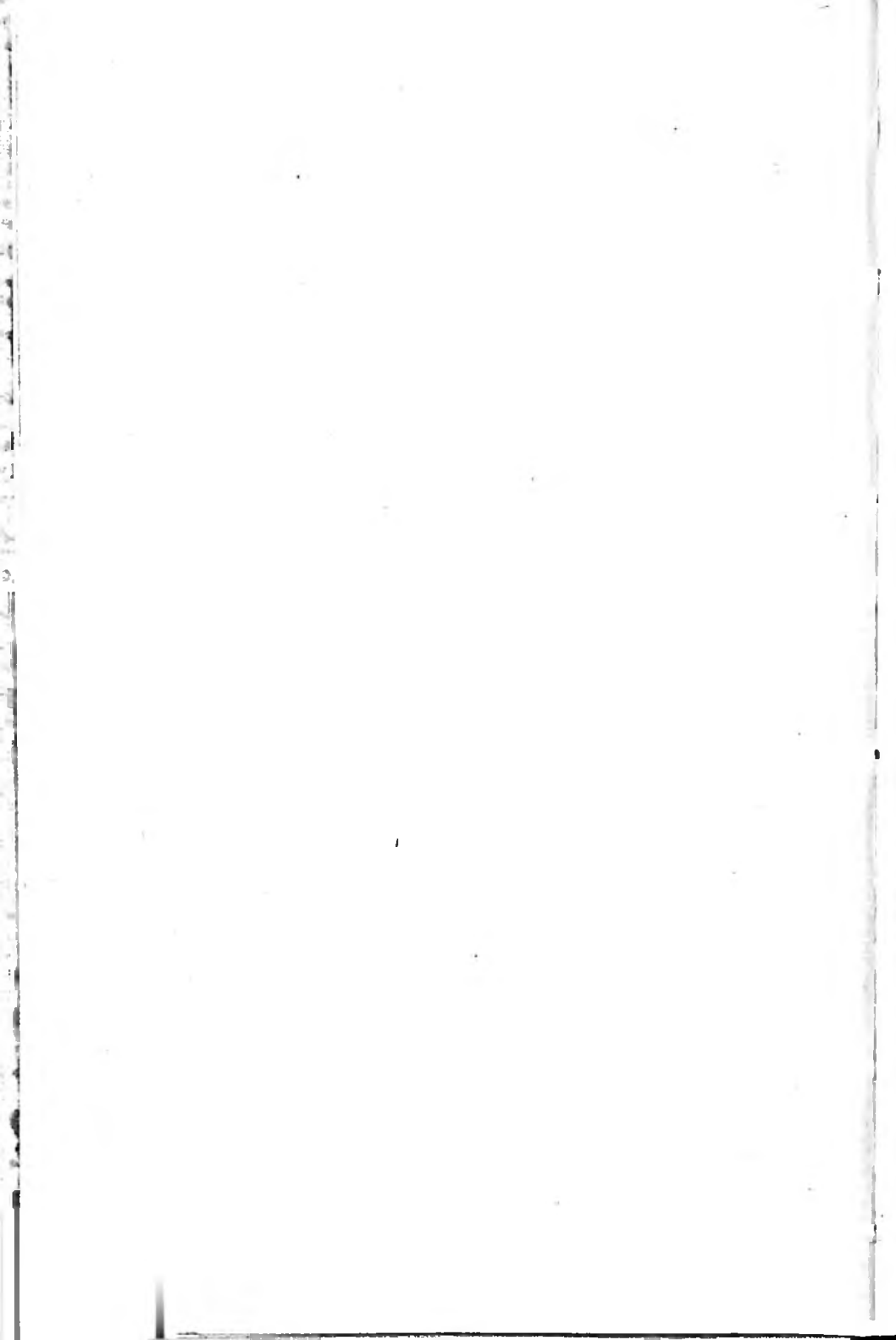
Т 13

Оформление художника

С. ДАНИЛОВА

Т $\frac{470300000-118}{028(01)-82}$ подписное © Состав, оформление. Издательство
«Художественная литература», 1982 г.

ДУМ И МИР



РАССКАЗ БИМОЛЫ

О ма! Сегодня я так ясно вижу пунцовую полоску твоего пробора, твою сари с алой каймой, твои глаза — умные, добрые, спокойные, — и мне кажется, будто золотистый свет зари заливает лопу моей души. Щедро одаренная этим золотом вступала я в жизнь. А потом? Разве черные тучи, словно шайки разбойников, не настигали меня в пути? Неужели они отняли все, не оставив и крупичи золота от тех россыпей света? Пусть в грозные минуты, уготованные пам судьбой, меркнет этот дар священной зари, возвестившей рождение жизни, — разве он может угаснуть навеки?

Красивыми считают у нас людей со светлой кожей. Но разве не темной краской окрашено небо, дарующее нам свет? Моя мать была темнокожей, однако она так и светила благодатью, той самой благодатью, перед которой отступает впешняя красота.

Все говорили, что я похожа на мать. В детстве как-то раз я даже рассердилась на зеркало. Мне казалось, что судьба обидела меня, что она незаслуженно, по ошибке, наградила меня темным цветом кожи. И я усердно молила бога, чтобы он помог мне стать, по крайней мере, такой же благочестивой женщиной, какой была моя мать.

Когда настало время выдавать меня замуж, астролог, присланный семьей мужа, посмотрел па линии моей ладони и сказал:

— Девушка обладает счастливыми знаками, она будет настоящей Лакшми.

И все женщины подтвердили:

— Так и должно быть! Ведь Бимола вылитая мать!

Я вошла в семью раджи. Этот род был знатен еще во времена падишахов. В детстве я очень любила сказки о

прекрасном царевиче, мое воображение рисовало мне удивительную картину. Он весь, казалось, был соткан из лепестков жасмина, я словно лепила его лицо из трепетных желаний своего сердца, вобрав в себя извечные мечты и чаяния юных девушек, которые с такой любовью лепят маленьких идолов на празднике Шивы. Как удивительны были его глаза, нос, усы, темные и шелковистые, линией своей похожие на изгиб крыла летящей пчелы.

Но оказалось, что мой муж совсем не похож на сказочного царевича. Даже лицом он был темен, как я. Я перестала стесняться собственной непривлекательности. Однако где-то в глубине души затаилось легкое разочарование. Уж лучше бы мне стыдиться самой себя, чем никогда не увидеть воочию царевича моих грез! Но я понимала, что истинной красоте чужды внешние эффекты, она проявляется где-то в глубине, скрыто. И именно она способна внушить любовь, которая не нуждается в украшениях. Еще в детстве я видела, каким прекрасным делает все вокруг такая любовь. Я наблюдала, как моя мать тщательно чистила для отца фрукты, как она расставляла еду на белом мраморном блюде, заботливо приготавливала для него пакетики бетеля, спрыснутого благоухающими эссенциями, или осторожно отгоняла мух веером из пальмовой ветви, пока он ел. Я уже тогда понимала, в какое удивительное море прекрасного струятся потоки нектара ее души, нежность ее ласковых рук.

И разве тогда уже не звучала в моей душе эта песня любви? Да, звучала. Хотя, по всей вероятности, я не сознавала этого. И если величественный гимн всевышнему способен наполнить жизнь каким-то глубоким смыслом, то и эта мелодия моего утра делала свое дело.

Вспоминаю, как первое время после нашей свадьбы я часто подымалась на рассвете и бесшумным движением брала прах от ног мужа. Мне казалось, что в эти мгновения красная полоска моего пробора горит пламенем утренней звезды. Однажды муж проснулся и, улыбаясь, воскликнул:

— Что это, Бимола? Что ты делаешь?

Я никогда не забуду, как стыдно мне стало. Ведь он мог подумать, что я записываю перед ним. Но нет, нет! Просто мое жепское сердце не могло любить, не преклоняясь.

В доме моего свекра придерживались старых обычаев, сохранившихся еще со времен моголов и патанов, и соблю-

дали заветы Ману и Парашары. Но мой муж был вполне современным человеком. В своей семье он первый получил хорошее образование и сдал экзамены на магистра. Оба его старших брата умерли в молодости от пьянства. Детей у них не было. Мой муж вина не пил и не был склонен к пороку. Его образ жизни был настолько необычным в этой семье, что решительно никому не нравился. Безупречное поведение, думали они, удел пасынков судьбы. На свете найдется место для пятен, это звезды обходятся без них.

Свекор и свекровь умерли давно, и хозяйкой в доме была бабушка. Мой муж был светом ее очей, жемчужиной сердца; пользуясь особым положением, он иногда осмеливался преступать границы старых законов. Так он сумел настоять на своем, когда решил пригласить мисс Джильби учить меня и быть моей компаньонкой, несмотря на то что языки местных кумушек источали по этому поводу не мед, а яд.

Муж мой в то время уже получил степень бакалавра искусств и готовился получить магистра. Чтобы иметь возможность посещать лекции в колледже, ему приходилось жить в Калькутте. Писал он мне почти ежедневно, всего несколько строк, несколько простых слов, по которым ласково смотрели на меня мягкие закругленные буквы, начертанные его рукой.

Я хранила письма мужа в шкатулке из сандалового дерева и ежедневно осыпала их цветами, собранными в саду. К тому времени образ моего сказочного царевича окончательно побледнел, подобно тому как бледнеет луна при первых лучах восходящего солнца. Теперь в моем сердце безраздельно царствовал он — мой муж, я была избранницей его сердца и могла разделять с ним этот троп, но как приятно мне было сознавать, что настоящее мое место — у его ног.

С тех пор я успела получить образование, познакомиться с современными понятиями и современной литературой, и сейчас, написав эти слова, я почувствовала, что мне стыдно. А ведь не зная я всего этого, я не находила ничего особенного, поэтичного в потребности боготворить любимого, — для меня это было бы так же естественно, как то, что я родилась женщиной.

Однако на самой заре моей юности наступила новая эра. Теперь нас учат поэтизировать то, что прежде казалось нам таким же естественным, как дыхание. Нынеш-

ние цивилизованные мужчины считают чрезвычайно поэтичными и не устают превозносить до небес верность жён и добродетель вдов. Из чего нетрудно заключить, что именно здесь жизнь проводит грань между истиной и прекрасным вымыслом. Неужели истины можно достичь теперь только с помощью прекрасного вымысла?

Я не думаю, что все женщины мыслят и чувствуют одинаково. Но я знаю, что между мной и моей матерью было нечто общее, и это общее — преданность и любовь. Только теперь, когда со стороны все это кажется таким искусственным, я понимаю, насколько естественно это было для меня тогда.

Тем не менее мой муж не допускал никакого преклонения с моей стороны. В этом сказывалось его благородство. Корыстолюбивый и алчный жрец в храме не уступит своего места, потому что он недостойн преклонения. Только негодяи считают себя вправе требовать от своих жён безусловного почитания и унижают тем самым и себя и их.

Щедрость моего мужа была беспредельна. Поток обожапия словно захлестнул меня. Бесчисленные наряды, подарки, покорность прислуги, выполнявшей все мои прихоти... Как отрешиться от всего этого и принести себя в дар? Ведь мне гораздо больше хотелось давать, чем принимать. Любовь самоотверженна, ее цветы часто распускаются пышнее в пыли, у обочин дорог, чем в драгоценных китайских вазах роскошной гостиной.

Моему мужу трудно было порвать со старыми традициями, которые ревниво поддерживались на женской половине дома. Мы не могли видеться в любое время, однако я знала точно, когда он придет, и потому наши встречи не были неожиданностью. Я предвкушала их, как рифму стиха, как цезуру в ритмической волне. Оставив дневные дела, я совершала омовение, тщательно причесывала волосы, рисовала пунцовое пятнышко на лбу и надевала падавшее красивыми складками сари. Забыв обо всем на свете, я всю себя отдавала ему одному. Время, которое мы проводили вместе, пролетало, как одно мгновение, по в этом мгновении была вечность.

Муж не раз говорил мне, что муж и жена имеют друг на друга равные права, поэтому и в любви они должны быть равны. Я не спорила с ним. Но сердце твердило, что преклонение одного перед другим отнюдь не нарушает равенства между мужем и женой, а лишь возвышает отно-

шения, связывающие их, ограждает их от грубости и пошлости и сохраняет как источник вечной радости. Преклонение подобно светильнику, горящему на алтаре любви,— он одинаково светит и кумиру и молящемуся. Я убеждена, что, поклоняясь кому-то, женщина вызывает к себе такое же чувство, иначе чего стоила бы ее любовь? Пламя вспыхнувшего светильника нашей любви устремлялось ввысь, а перегоревшее масло оставалось на дне.

Любимый, ты не ждал от меня преклонения, не хотел его, и в этом ты был верен себе, но как было бы хорошо, если бы ты принял его. Твоя любовь проявлялась в том, что ты дарил мне наряды и драгоценности, учил меня; ты выполнял все мои желания, ты давал мне даже то, о чем я и не мечтала. В твоих глазах, когда ты смотрел на меня, отражалась вся глубина твоей любви, она чувствовалась в твоих тайных вздохах. Ты лелеял меня, будто райский цветок, ты любил меня всю целиком, словно я была для тебя редким бесценным даром богов, и я гордилась этим. Почувствовав себя царицей, я стала требовать поклонения. Мои требования росли с каждым днем, я никогда не знала удовлетворения. Но разве счастье женщины в сознании, что она имеет полную власть над мужчиной? Нет, спасение женщины только в том, чтобы, смирив свою гордость, преклоняться перед любимым. Шанкара стоял нищим у дверей Аннапуры, но разве смогла бы Аннапура выпести страшную, опасную силу этого нищего, не соверши она покаяния Шиве?

Сейчас я вспоминаю, сколько затаенной зависти и недоброжелательства подстерегало нас со всех сторон в те счастливые дни. И разве могло быть иначе? Ведь счастье незаслуженно выпало на мою долю. А судьба не терпит незаслуженных почестей, она требует расплаты за каждый миг удачи. Небо шлет нам свои дары, но мы должны платить дань за то, что принимаем их и пользуемся ими. Увы, мы не в силах удержать даже то, что получаем!

Отцы, у которых были дочери на выданье, вздыхали, глядя на счастье, которое выпало мне. Кругом только и разговору было о том, красива ли я, добра ли, достойна ли я дома раджи. Бабушка и мать моего мужа славилась необыкновенной красотой. Красотой отличались и мои вдовы-пестимки. Судьба не пощадила никого из них, и бабушка мужа поклялась, что не станет искать красавицы жены для своего единственного оставшегося в живых внука. В дом мужа я вошла лишь благодаря счастливым

линиям, которые обнаружил астролог на моей ладони, —
иных прав я не имела.

В нашей семье, в доме, полном достатка, далеко не все невестки пользовались должным уважением. Но что они могли поделать? Их слезы топили в пепе вина, их вздохи заглушались звоном запястий на ногах тапцовщиц, но они старались высоко держать голову: ведь они были «знатным господжам» и никто не должен был слышать их жалоб. Моя ли была заслуга в том, что муж не прикасался к вину, не растрачивал своих сил на женщин в публичных домах? Разве всевышний сообщил мне какие-то мантры, с помощью которых я могла обуздать мятущийся дух мужчины? Мне просто повезло. Но к моим невесткам судьба была безжалостна: праздник их жизни кончился задолго до наступления сумерек, и только пламя молодой красоты напрасно продолжало гореть ночами в пустых покоях. Пылало лишь пламя, музыка же смолкла навсегда.

Невестки не скрывали своего презрительного отношения к новшествам, которые вводил в нашу жизнь мой муж. Как мог он вести славный семейный корабль под парусом женской юбки! Чего только не приходилось выслушивать мне: «Воровка, укравшая любовь мужа!», «Бесстыдно разрядившаяся притворщица!» С ревнивым негодованием смотрели они на модные платья, яркие кофточки, сараи и юбки, в которые любил наряжать меня муж, и шипели: «Неужели ей не стыдно изображать манекенщицу? Это с ее-то наружностью!»

Муж знал обо всем, но сердце его было полно сострадания к невесткам, и он не раз просил меня не сердиться на них. Помню, как-то раз я сказала ему, что у женщин крошечные, исковерканные ушки.

— Как ножки китайок, — подтвердил он. — И в этом виновато общество. Это оно исковеркало их. Судьба играет ими — вся их жизнь зависит от ее милостей. Разве они могут решать что-то сами?

Невестки получали от деверя все, что хотели. Он не задумывался, разумны ли, справедливы ли их требования. А они даже не выказывали благодарности ему, и это возмущало меня до глубины души. Боро-рани, которая отличалась исключительной набожностью, ревностно исполняла религиозные обряды и соблюдала посты, тратя при этом все свои деньги до последней пайсы, не раз говорила во всеуслышание, что, по мнению ее двоюродного брата,

юриста, стоит ей подать в суд, и она... Я дала мужу слово никогда не отвечать на их выпады, но мое раздражение от этого не проходило. Всякая доброта, казалось мне, имеет предел, преступая который, человек становится жалким.

— Закон, общество не на их стороне, — говорил мой муж. — А им должно быть очень тяжело и оскорбительно выпрашивать, словно нищенкам, то, что когда-то принадлежало их мужьям и что они считают по праву своим. Слишком жестоко требовать за это еще и благодарности. Получить пощечину — и благодарить за нее!

Признаться, я часто желала, чтобы мой муж имел достаточно мужества быть менее добрым.

У второй невестки, меджо-рани, был совсем другой характер. Она была молода и отнюдь не прикидывалась святошей, напротив, любила рискованные разговоры и скользкие шутки. Не отличалась примерным поведением и молодые служанки, которыми она окружала себя. Однако никто ее не останавливал — такие уж порядки царили у нас в доме. Я догадывалась, что ее раздражает редкое счастье, доставшееся мне в лице идеального мужа. Поэтому она старательно расставляла на его пути всяческие ловушки. Мне стыдно признаться, но при всей уверенности в нем я позволяла сомнениям закрадываться порой мне в душу.

В неестественной атмосфере нашего дома самые невинные поступки приобретали иногда дурной оттенок. Время от времени меджо-рани ласково приглашала моего мужа к себе, предлагая отведать приготовленных ею лакомств.

Мне очень хотелось, чтобы он под каким-нибудь предлогом отклонял эти приглашения, — пельзя же поощрять дурные намерения! Но каждый раз он с улыбкой на лице отправлялся к ней, а я, да простит меня бог, пачкала терзаться сомнениями (что делать, сердцу не прикажешь!) относительно целомудренности мужчии. И как бы я ни была в это время занята, я обязательно находила предлог заглянуть вслед за ним в комнату моей невестки.

— Чхото-рани не спускает с тебя глаз, уж очень строгая у тебя охрана, — говорила она, смеясь. — Когда-то и у нас были мужья, но мы так не опекали их.

Муж сокрушался о незавидной участи невесток, а их недостатки закрывал глаза.

— Я согласна, что вина за их бедственное положение лежит на обществе, — говорила я, — не к чему такая снисходительность? Что из того, что человеку приходится в

жизни трудно, — это не дает ему права быть невыносимым!

Муж обычно не спорил, а только улыбался. Вероятно, для него не оставались тайной мои сомнения. Он прекрасно понимал, что мой истинный гнев направлен вовсе не против общества или кого-то еще, а только... по этого я не скажу.

Как-то раз муж попытался утешить меня:

— Если бы невестки действительно считали дурным все то, о чем они дурно говорят, это не вызывало бы в них такого гнева.

— Зачем же они тогда злятся зря?

— Зря ли? Ведь доля смысла есть и в зависти. Разве не правда, что счастье должно быть доступно всем?

— Ну, насчет этого им следует спорить со всевышним, а не со мной.

— До всевышнего рукой не достапешь.

— Пусть они берут все, что хотят. Ты же не собираешься отказывать им в чем-то. Пусть носят сари, кофточки, украшения, туфли, чулки. Хотят заниматься с гувернанткой, пожалуйста, она в доме. Наконец, если им хочется выйти замуж — ты можешь переплыть семь морей, ты ведь у нас на все руки мастер, — ты все можешь...

— Но в том и трудность: желанное рядом, а взять нельзя.

— Значит, надо быть дурочкой? Кричать, что все чужое плохо, и злиться, потому что это чужое не принадлежит ей.

— Обманутый человек стремится не замечать обмана — в этом его утешение.

— Нет, что ты ни говори, а женщины страшно глупы. Они не хотят смотреть правде в глаза и все время хитрят.

— Значит, они оказались обманутыми больше всех.

Меня злило, что он старается оправдать ничтожество этих женщин. Его рассуждения о недостатках общества и о том, каким оно должно стать, были пустой болтовней. Я же не могла мириться с неприятностями, которые чинили мне на каждом шагу, с двусмысленными намеками и лицемерием.

— К себе самой ты весьма снисходительна, — возразил мне муж, — но когда речь заходит о тех, кто оказался жертвой общественных условий, всю твою мягкость как рукой снимает. Значит, па то он и бедняк, чтобы терпеть нужду?

— Ну пусть, пусть я ничего не понимаю! Все хороши, кроме меня,— ответила я с негодованием.— Ты-то ведь мало бываешь дома и ничего не знаешь...

Я сделала попытку посвятить его в закулисные тайны нашего дома, но он стремительно поднялся. Его давно ждет Чондропатх-бабу.

Я села и заплакала. Что делать, как доказать мужу свою правоту? Я не могла убедить его в том, что, случись со мной то же, что с ними, я никогда не стала бы такой, как они!

Всевышний предоставил женщине возможность кичиться своей красотой, думала я, зато он уберет ее от других слабостей. Можно гордиться драгоценностями, но в доме раджи это теряет смысл. Мне не оставалось ничего другого, как упорно подчеркивать свои добродетели. И здесь, мне казалось, даже мой муж должен был признать свое поражение. Однако стоило мне начать с ним разговор о всяких семейных раздорах, как я сразу же становилась в его глазах мелочной, и он легко доказывал мне это. Тогда и у меня появилось желание унижить его.

«Я не могу признать правильным все, что ты говоришь: ты просто хочешь выглядеть благородным. Но это — не самопожертвование, а самообман», — повторяла я в душе.

Мужу очень хотелось, чтобы я перестала ограничивать свою жизнь стенами нашего дома.

— А какое мне дело до мира, который лежит за его степами? — спросила я однажды.

— Но может быть, ему есть до тебя дело, — ответил муж.

— Сколько времени мир обходился без меня, обойдется и дальше, — сказала я. — Вряд ли кто-нибудь изнывает от тоски, не видя меня.

— Меня очень мало беспокоит, изнывает кто-нибудь от этого или нет, — я думаю о себе.

— Вот как! Что же тогда тебя беспокоит?

Он промолчал. Мне была знакома эта его манера, и поэтому я заявила:

— Молчанием ты от меня не отделаешься — раз уж начал, говори до конца.

— Разве все можно сказать словами? Сколько в жизни такого, что и выразить невозможно?

— Не хитри, говори, в чем дело.

— Я хочу, чтобы там, во внешнем мире, мы нашли друг друга. Мы еще в долгу друг перед другом.

— Разве нашей любви дома что-нибудь мешает?

— Здесь ты поспеволе думаешь только обо мне. Ты не знаешь ни своих желаний, ни цены тому, что имеешь.

— О, я хорошо знаю, очень хорошо!

— Тебе только кажется, что ты знаешь, на самом же деле это не так.

— Я не могу слышать, когда ты так говоришь.

— Значит, не надо говорить об этом.

— Но твоё молчание я тоже не переношу.

— Потому я и не договариваю. Я хотел бы, чтобы ты попала в самую гущу жизни, тогда ты сама все поймешь. Заниматься только хозяйством и своими домашними делами, всю жизнь прожить в четырех стенах — нет, ты создана не для этого. Если там, в широком, реальном мире, мы увидим, что по-прежнему необходимы друг другу, значит, любовь наша выдержала испытание.

— Я не возражала бы против этого, если бы здесь между нами существовали какие-то препятствия. Но я не вижу их.

— Прекрасно, предположим, что я один вижу эти препятствия. Неужели ты не хочешь помочь мне устранить их?

Споры вроде этого возникали у нас нередко.

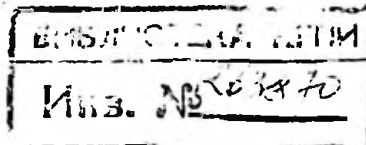
— Чревоугодник, любящий рыбный соус,— говорил муж,— без всякого сожаления потрошит рыбу, жарит ее или варит, приправляет по своему вкусу различными специями. Но тот, кто действительно любит рыбу, видит в ней прежде всего живое существо и отнюдь не спешит поджарить ее на сковороде и положить на блюдо. Он с удовольствием сидит на берегу и любителю тем, как рыба играет в воде. И даже если он сознает, вернувшись домой, что никогда не увидит ее больше, его утешает мысль, что рыбе хорошо. Счастлив тот, кто получает все; если же это невозможно, то я, например, предпочел бы не иметь ничего.

Такие рассуждения мне вовсе не нравились. Однако не они были причиной того, что я отказывалась покончить с затворничеством. В те дни бабушка мужа была еще жива. Не считаясь с ее вкусом, муж обставил дом, как того требовала мода XX века, и бабушка покорно снесла это. Не противилась бы она и в том случае, если бы невестка ее решила выйти из заточения. Она понимала, что рано или поздно это случится. Но, не придавая сама большого значения этому, я отнюдь не хотела доставлять ей лишнее огорчение. В книгах я читала, что мы похожи на птиц в

клетке. Не знаю, что творилось в других клетках, но для меня моя клетка содержала в себе столько, сколько не мог вместить и весь мир. Тогда, во всяком случае, я думала именно так.

Бабушка мужа очень полюбила меня, полюбила, очевидно, за то, что с помощью благосклонных ко мне звезд я сумела завоевать прочную любовь мужа. Ведь мужчины по природе своей легко поддаются соблазнам, они жаждут наслаждений. Ни одна из других ее невесток, несмотря на то что все они были очень красивы, не смогла удержать мужа от падения в бездну греха, откуда нет спасения. Бабушка считала, что мне удалось потушить огонь, в котором один за другим сгорали наследники знатного рода. Она лелеяла меня и дрожала от страха, если я бывала хоть немного нездорова. Ей не нравились наряды и драгоценности, которые приносил мне муж из европейских магазинов, но она рассуждала так: мужчинам свойственны нелепые, дорогостоящие причуды. Мешать им в этом бесполезно. Хорошо еще, если они умеют остановиться вовремя, прежде чем окончательно разорятся. Если Никхилеш не будет наряжать жену, он станет наряжать кого-то другого. Поэтому каждый раз, когда у меня появлялась какая-нибудь обновка, она шутила и радовалась вместе с внуком. Так постепенно стали меняться ее вкусы. Новые веяния захватили ее настолько, что скоро она уже не могла провести ни одного вечера без того, чтобы я не рассказала ей какой-нибудь истории из английской книжки.

После смерти бабушки муж стал настаивать на переезде в Калькутту, но я никак не могла решиться на такой шаг. Ведь это был наш родовой дом, который бабушка, несмотря на все испытания и утраты, сумела сохранить для нас. У меня не раз возникала мысль, что если я покину насиженное гнездо и уеду в Калькутту, то навлеку этим на себя проклятие, — мне казалось, что пустой ашон, на котором обычно сидела бабушка, смотрит на меня с укоризной. Эта благородная женщина вошла в дом мужа восьмилетней девочкой и покинула его семидесяти девяти лет. Счастье не баловало ее. Судьба наносила ей удар за ударом, сотни стрел впивались в ее незащищенную грудь, но сломить ее дух оказалось невозможным. Весь наш громадный дом был омыт и освящен ее слезами. Что я буду делать, как буду жить вдали от него в шумной и пыльной Калькутте!



Муж хотел воспользоваться удобным случаем и, представив дом и хозяйство в распоряжение невесток, переселиться окончательно в Калькутту, где жизнь паша могла бы быть более привольной и интересной. Но этого-то как раз я и не хотела. Невестки всегда изводили меня, они никогда не замечали добра, которое делал для них муж, а теперь они же будут вознаграждены!

Кроме того, у нас было большое хозяйство. Все паши служащие, друзья, приживалы-родственники целыми днями толпились в доме. А что нас ожидало в Калькутте? Кто нас там знал? Здесь у нас почет и уважение, дом — полная чаша. Все отдать в руки невесткам, а самой жить, как Сята, в изгнании? Знать, что они смеются за моей спиной! Разве они поймут великодушие моего мужа, да и достойны ли они воспользоваться им? И наконец, получу ли я свое место в доме, если мы решим вернуться?

— Что тебе это место? — говорил муж. — В жизни есть тысячи вещей значительно более ценных, чем место в доме.

«Мужчины не понимают этого, — думала я. — Их интересы вне дома. Они и не представляют себе, как строится домашний очаг, — тут им должны руководить женщины».

Самым главным было, по-моему, сохранить свое превосходство. Отдать же все в руки тех, с кем я столько времени враждовала, означало потерпеть поражение. Муж допускал то, что для меня было невозможным. Я полагала, что мое превосходство в благочестии.

Почему муж не увез меня в Калькутту насильно? Я знаю почему. Он не воспользовался властью именно потому, что она принадлежала ему. Не раз он говорил мне:

— Мне невыносима мысль, что я могу заставить тебя сделать что-то, пользуясь своим правом мужа. Я подожду. Может быть, мы все-таки пойдем друг друга, если же нет, ничего не поделаешь!

Но есть и еще нечто такое, в чем проявляется превосходство... В те дни мне думалось, что именно в этом нечто... впрочем, не стоит говорить об этом...

Если бы пришлось постепенно заполнять пропасть, отделяющую день от ночи, на это, наверно, потребовались бы века. Но встает солнце, тьма рассеивается, и достаточно одного мгновения, чтобы преодолеть вечность.

Так наступила в Бенгалии эра свадеши. Как это случилось, когда именно она началась, ясного отчета не отдавал себе никто. Постепенного перехода от прошлой эпохи

к настоящей не было. Новое нахлынуло вдруг, как река, смывающая во время наводнения плотины на своем пути, и в один миг унесло все наши сомнения и страхи. У нас просто не было времени размышлять о том, что произошло и что ожидает нас в будущем.

Это было похоже на смещение, царящее в деревне, когда на улице должен появиться жепих. Он играет на флейте, глаза его сверкают, и все женщины и девушки выбегают на веранды, поднимаются на крыши, льнут к окнам, — их не удержать взаперти... Словно флейты всех жепихов заиграли вдруг разом по всей стране. Могли ли женщины молча заниматься своими хозяйственными делами? На улицах звучали свадебные приветствия, трубили раковины, и женские лица мелькали повсюду: в окпах, в дпях, в просветах заборов.

Вояния новой эпохи захватили и меня. Все мои помыслы, все мои мечты и желания окрасились ее радужным цветом. До сих пор я всегда была занята лишь тем, что старалась разместить получше и повыигрышнее в своем мирке волновавшие меня надежды и идеалы, свои добрые дела и благочестие. Когда наступила бурная эпоха свадьбы, мне не сразу удалось разрушить высокую стену, окружающую этот мирок, я сумела лишь взобраться на нее и неожиданно услышала донесшийся откуда-то издали призыв, смысл которого опять я еще не могла, по которому взволновал меня до глубины души.

Мой муж, еще учась в колледже, прилагал немало усилий к тому, чтобы наладить в стране производство товаров, в которых нуждался народ. В нашем округе росло много финиковых пальм. Муж работал над созданием специального аппарата для добычи сока из пальм и переработки его в сахар и патоку. Все сходилось на том, что аппарат он изобрел прекрасный, но... аппарат этот поглощал денег куда больше, чем производил сахара, так что вскоре предприятие лопнуло. С помощью различных нововведений в сельском хозяйстве муж добивался грандиозных урожаев, но еще грандиознее были суммы денег, которые он тратил на свои опыты. Он был твердо убежден, что неудачи, которые терпят наши крупные предприятия, происходят, главным образом, от отсутствия банков, которые могли бы предоставить кредит в нужный момент. Он начал обучать меня политической экономии. Это бы еще ничего. Но он решил зажечь наш народ идеей капиталовложений и с этой целью открыл небольшой банк. Высокие

проценты, которые выплачивал банк, привлекли в него много сельских жителей. И эти же высокие проценты оказались причиной краха банка. Все это очень тревожило и дутало старых служащих мужа и доставляло немало радости его противникам, изощрявшимся в островах на его счет. Как-то раз моя старшая певичка громко, чтобы я слышала, заявила, будто, по словам ее двоюродного брата — известного юриста, имущество древнего почтенного рода можно спасти, лишь вырвав его через суд из рук «этого безумца».

Одна только бабушка сохраняла спокойствие. Сколько раз журила она меня:

— И что вы все па него нападаете? Боятесь, что он обанкротится? На моем веку наше имущество трижды описывалось. Разве мужчины похожи на женщин? Они от природы расточительны, и мотать деньги — их любимое занятие. Твое счастье, дитя мое, что он хоть себя-то сохранил. Не огорчайся и ни о чем не думай.

Список людей, которым помогал муж, был очень длинен. Стоило кому-то изобрести новый ткацкий станок, машину для очистки риса или еще что-нибудь в этом роде, он мог быть уверен в полной поддержке моего мужа, даже если это изобретение было совершенно ничемным.

Так родилось местное пароходство, решившее конкурировать с английской компанией. И хотя ни одного рейса не состоялось, акции пароходства, принадлежавшие моему мужу, пошли ко дну.

Но больше всего меня раздражал Шондип-бабу, который неустанно выманивал у мужа деньги на нужды свадьбы. Начиная ли он издавать газету, или отправлялся пропагандировать идеи свадьбы, или по совету врача на некоторое время ехал отдохнуть в Утакамунд — муж без разговоров снабжал его деньгами. И это сверх того, что Шондип-бабу получал от него ежемесячно! Самым же удивительным было то, что Шондип-бабу и мой муж совершенно не сходились во взглядах.

Муж любил говорить:

— Страна нищает, если народ не в состоянии добывать сокровища, хранящиеся в недрах земли. Но если она не может раскрыть и использовать свои духовные богатства, она становится нищей вдвойне.

Рассердившись, я однажды сказала ему:

— Но ведь тебя все обманывают.

— Ну, поскольку сам я лишен талантов, пусть деньги будут моей лептой в общее дело, — ответил он, улыбаясь. — Ведь мои доходы тоже получены не без обмана.

Я так подробно рассказываю о событиях минувших дней, чтобы попятней стала напряженная, драматичная обстановка начала новой эпохи.

Как только волна движения захлестнула и меня, я не замедлила объявить мужу, что хочу сжечь все свои платья, сшитые из английских тканей.

— К чему сжигать, — ответил муж. — Ты можешь их не надевать, пока не захочешь.

— Как это — «пока не захочешь»?! В этом рождении я никогда...

— Прекрасно, ты можешь их никогда больше не надевать. Только к чему этот жертвенный костер?

— Но почему ты против этого?

— Отдай все свои силы на созидание. А на бессмысленное разрушение, поддавшись минутному порыву, не стоит расходовать и десятой доли своей энергии.

— Но этот же порыв дает нам силы созидать.

— Говорить так — все равно что утверждать, будто дом нельзя осветить без того, чтобы не поджечь его. Я согласен терпеть тысячу неудобств с разжиганием светильника, но не стану поджигать дом, чтобы поскорее добиться успеха. На первый взгляд, такой поступок мог бы показаться геройством, на самом же деле он — проявление слабости. Я понимаю, — продолжал муж, — сердцем ты еще не в состоянии принять моих слов, но подумай над ними хорошенько. Мать любит украшать своими драгоценностями дочерей. Так вот, сегодня наступил день, когда мать-земля награждает своими дарами каждую страну. Теперь все, что принадлежит нам: платье и пища, привычки, мысли и чувства — связывает нас с нею. Поэтому я считаю, что нынешняя эра — счастливая для всех народов. Отрицать это — невелико геройство.

Вскоре возникло новое осложнение. Когда мисс Джильби впервые появилась у нас в доме, поднялся ропот, но мало-помалу к ней привыкли, и все затихло. Теперь возмущение вспыхнуло с новой силой. Прежде меня несколько не беспокоило — англичанка мисс Джильби или бенгалка? Теперь же это обстоятельство приобрело большое значение. Я предложила мужу отказать ей. Он ничего не ответил. Я разразилась потоком негодующих слов, наговорила ему много того, чего не следовало, и он ушел рас-

строепный. Ночью, когда я, наплакавшись вволю, наконец успокоилась и могла трезво рассуждать, муж сказал:

— Я не могу не доверять мисс Джильби только потому, что она англичанка. Неужели же после стольких лет ее национальность может оказаться для тебя непреодолимым барьером? Ведь она любит тебя.

Я смутилась, но, чтобы не ронять своего достоинства, ответила безразличным тоном:

— Хорошо, пусть остается, кто же ее гонит?

Мисс Джильби осталась. Но однажды по дороге в церковь она подверглась оскорблению: сын нашего дальнего родственника бросил в нее камнем. Мальчик этот с давних пор воспитывался у нас в доме, но, когда муж узнал о случившемся, он немедленно прогнал его. Поднялся страшный шум. Слова мальчика приняты на веру и утверждали, что мисс Джильби обидела его и сама же на него нажаловалась.

Не удивительно, что и я сочувствовала мальчику. Матери у него не было, и его дядя умолял меня не выгонять мальчика. Я старалась сделать все, что могла, но ничего не добилась.

Простить мужу этот поступок не мог никто. И я затаила в душе обиду. На сей раз мисс Джильби сама решила уехать. Прощаясь, она расплакалась, но ее слезы меня не тронули. Так оклеветать мальчика, и какого мальчика! Всем сердцем преданного делу свадеши, готового не есть и не совершать омовения ради него!

Муж сам отвез мисс Джильби в своем экипаже на станцию и усадил в вагон. Это уж чересчур, думала я. И решила, что он получил по заслугам, когда газеты на все лады расписали этот случай.

Меня не раз смущали поступки мужа, однако до сих пор я еще ни разу не испытывала чувства стыда за него. Теперь же мне было стыдно. Я не знала, чем именно обидел мисс Джильби бедный Нореп. Но как вообще кому-то могло прийти в голову осуждать его за это в такое время! Я бы никогда не стала охлаждать порыва, который заставил его грубо вести себя с англичанкой, но муж ни за что не хотел понять меня, и я считала это проявлением малодушия с его стороны. Вот почему я краснела за него.

Но дело было не только в этом. Больше всего меня терзала мысль, что я потерпела поражение. Мое горение захватывало только меня и совершенно не трогало мужа. Я была уязвлена в своем благочестии.

И в то же время мой муж отнюдь не отказывался помогать делу свадьбы и не выступал против него. Но он никак не мог принять «Банде Матарам».

— Я готов служить родине, — говорил он, — но тот, перед кем я могу преклоняться, в моих глазах стоит выше родины. Обожествляя свою страну, можно навлечь на нее страшные беды.

Как раз в эти дни в наших краях с проповедью свадьбы появился Шондип-бабу в сопровождении своих последователей. Однажды после полудня в помещении храма должно было состояться собрание. Мы, женщины, устроились в стороне за легкими ширмами. Издали уже доносились торжественные звуки «Банде Матарам», и вся душа моя, ликуя, рвалась им навстречу. Звуки все приближались, и вдруг во дворик при храме хлынули потоки босоногих юношей и мальчиков в тюрбанах и одеждах цвета охры, подобно тому как после первого дождя к пересохшему ложу реки, спеша напоить ее, устремляются неисчислимые ручейки, рыжеватые от глины. Народ все прибывал, а над толпой поднимался восседавший в большом кресле, которое несли десять юношей, Шондип-бабу. «Банде Матарам! Банде Матарам!» — гремело вокруг, и казалось, что от этих криков небесный свод вот-вот треснет и расколется на тысячи кусков.

Я уже и раньше видела фотографию Шондипа-бабу, и что-то в нем мне не нравилось. Он отнюдь не был безобразен, скорее даже красив. Но в лице его было что-то фальшивое, глаза и улыбка казались мне неискренними. Поэтому меня очень раздражало, когда муж беспрекословно исполнял все его желания. Меня беспокоили не деньги, истраченные на него, — нет, мне было обидно, что, пользуясь дружеским отношением моего мужа, Шондип-бабу обманывает его. Ведь внешне Шондип-бабу вовсе не походил ни на подвижника, ни на бедняка, у него был вид настоящего щеголя. Чувствовалось, что он привык к удобной жизни, однако... разные мысли приходили мне в голову. Сейчас невольно вспоминается многое из того, о чем я думала тогда. Но оставим это...

И все же, когда Шондип-бабу начал в тот день свою проповедь и сердца собравшихся затрепетали и всколыхнулись, готовые в порыве ликования вырваться наружу, я не узнала его — он вдруг совершенно преобразился. Луч

солнца, медленно опускавшегося за крыш домов, скользнул по его лицу, и мне показалось, что Шондип-бабу — избраннык богов, посланный, чтобы поведать их волю мужчинам и женщинам, населяющим землю. От начала и до конца каждая фраза его была призывом, и в каждой звучала безграничная уверенность в своих силах.

Мне мешала смотреть на него стоявшая передо мной ширма. Не помню, как это произошло, но незаметно для самой себя я отодвинула ее и впилась глазами в Шондипа-бабу. Никто не заметил этого, никто не обратил на меня внимания. Но я видела, как горящий взор Шондипа-бабу, подобный сверканию созвездия Орпона, упал на меня. Я забыла, где я, кто я! Разве в тот момент я была знатной госпожой? Нет! В этот момент я была всего лишь одной из многих бенгальских женщин. Он же был вождем, героем Бенгалии! Его чело освещали лучи заходящего солнца, — небо благословляло его на подвиг! Но ведь благословить его служение родине должна и женщина. Иначе его борьба не увенчается победой. Наши взгляды встретились, и я почувствовала, что речь Шондипа-бабу стала еще пламенней. Белый конь Индры уже не желал слушаться поводырей — загремел гром, засверкала молния. Сердце подсказывало мне, что это новое пламя зажгли мои глаза, ибо мы, женщины, не только Лакшми! Нет, мы еще и Сарасвати!

В тот день я вернулась домой, преисполненная радости и гордости. В одно мгновение сильная душевная буря изменила во мне все. Мне хотелось, подобно женщинам древней Греции, отрезать свои длинные до колен волосы и сплести из них тетиву для лука моего героя. Если бы драгоценности, украшавшие меня, могли разделить мои чувства, — все эти ожерелья, браслеты и запястья разомкнулись бы сами собой и просыпались бы над собравшимися, как сверкающий дождь метеоритов. Мне казалось, что смятение, возбуждение, охватившие меня, улягутся только после того, как я припесу в жертву нечто дорогое мне.

Когда вечером муж вошел в мою комнату, меня охватил страх, как бы он не сказал чего-нибудь, что нарушило бы торжественную мелодию проповеди Шондипа, все еще звучавшую в моих ушах, страх, что он, презиравший фальшь, остался чем-то недоволен и скажет мне об этом. Случись так, я не сдержалась бы и наговорила бы ему резкостей. Но он ничего не сказал, и это мне тоже не попра-

вилось. Ему следовало заявить, что после выступления Шондипа он понял, как глубоко заблуждался прежде. Мне казалось, что он молчит нарочно, желая подчеркнуть свое равнодушие.

— Сколько дней пробудет здесь Шондип-бабу? — спросила я.

— Завтра рано утром он уезжает в Рангпур, — ответил муж.

— Завтра рано утром?

— Да, его выступление там уже объявлено.

Немного помолчав, я спросила:

— А он не мог бы остаться здесь еще на день?

— Вряд ли. Да и зачем?

— Я хотела бы сама угостить его.

Муж очень удивился. Когда у него собралась близкие друзья, он не раз просил меня выйти к ним, но я упорно отказывалась. Он посмотрел на меня как-то особенно внимательно, недоумевающе, но что выражал его взгляд, я не поняла. Мне стало вдруг стыдно.

— Нет, нет, не нужно! — воскликнула я.

— Почему не нужно, — возразил муж. — Я попрошу Шондипа остаться, если, конечно, это возможно.

И это оказалось возможным.

Я признаюсь во всем. В тот день я укоряла всевышнего за то, что он не сотворил меня красавицей. И не потому, что я стремилась овладеть чьим-либо сердцем, а потому, что красота — это предмет гордости.

Мне казалось, что сейчас, в эти великие для нашей родины дни, сыны ее должны найти среди женщин настоящую Джагаддхатри. Но, увы, мужчины не поймут, что перед ними богиня, если ей недостает внешней красоты. Да и увидит ли во мне Шондип-бабу проснувшуюся Шакти нашей родины? Скорее всего, он примет меня за обыкновенную женщину, хозяйку дома его друга.

Полутру я намазала свои длинные волосы маслом, расчесала их и искусно перевязала алой шелковой лентой. Гости ждали в полдень, и у меня не было времени просушить волосы после купания и причесать их, как обычно. Я надела белое мадрасское сари с золотой каймой и кофточку с короткими рукавами, тоже вышитую золотом. Такой наряд казался мне очень выдержанным, ничто не могло быть скромнее и проще его. Но меджо-рани, оглядев меня с ног до головы, поджала губы и многозначительно усмехнулась.

— Почему ты смеешься, диди? — спросила я.
— Да вот люблюсь твоим нарядом, — ответила она.
— Чем же он так тебя поразил? — осведомилась я, с трудом сдерживая негодование.

— Он просто замечателен, — с ехидной улыбкой сказала она. — Мне кажется только, что, если бы ты надела к нему одну из своих английских блузок с большим вырезом, твой костюм от этого еще больше выиграл бы.

Опа вышла из комнаты, и от сдерживаемого смеха, казалось, вздрагивали не только ее губы и глаза, но и все ее тело. Я страшно рассердилась и решила сбросить все и надеть обыкновенное сари. Но я не выполняла своего намерения, трудно сказать, почему именно. Ведь женщина — украшение общества, — убеждала я себя, — и мужу, наверно, будет неприятно, если я появлюсь перед Шондипом-бабу в будничном наряде. Я решила выйти уже после того, как муж и Шондип-бабу сядут обедать. Пока я буду давать указания слугам и проверять, как они подают, исчезнет неловкость первой встречи. Но обед запаздывал (был уже час дня), и муж послал за мной, чтобы представить мне гостя.

Я вошла, но от смущения не могла поднять глаз. С большим трудом я заставила себя сказать:

— Обед сегодня немного запаздывает.

Шондип-бабу весьма непринужденно подошел и уселся рядом со мной.

— Обедать мне приходится ежедневно, — начал он, — только обычно Аннапурна предпочитает не показываться при этом. Но раз уж богиня решила явиться моему взору, обед может и подождать.

И сейчас, как вчера, выступая перед большим собранием, он говорил свободно и убедительно. Сомнения и колебания, казалось, были незнакомы ему — он привык быть хозяином положения. Его, очевидно, не смущала мысль, что о нем могут подумать. Непринужденность его поведения казалась настолько естественной, что тот, кто вздумал бы упрекнуть его за это, попал бы сам в неловкое положение.

Я очень волновалась, как бы Шондип-бабу не принял меня за старомодную, наивную и застенчивую женщину, но блеснуть остроумием, поразить и плепить собеседника метким ответом было выше моих сил. «Что со мной? — с досадой думала я, — какой невероятно глупой должна я ему казаться!»

Кое-как дождавшись конца обеда, я поспешно поднялась, но он все так же непринужденно подошел к двери и, преградив мне путь, сказал:

— Вы не должны считать меня чревоугодником; я остался совсем не ради обеда, а ради вас. С вашей стороны будет печестно покинуть нас так быстро.

Эти слова могли бы показаться неуместными, не скажи он их просто и свободно: ведь как-никак они с мужем были большими друзьями, я могла относиться к нему почти как к брату! Я стояла в замешательстве, не зная, как выбраться из паутины слишком дружеской настойчивости Шондипа-бабу, но тут на помощь мне пришел муж.

— И правда,— обратился он ко мне,— почему бы тебе не вернуться после того, как ты пообедаешь сама?

Шондип-бабу потребовал от меня слова, что я вернусь и не обману его. Слегка улыбувшись, я пообещала сейчас же вернуться.

— Мне хочется объяснить вам, почему я так недоверчив,— сказал он,— уже девять лет, как Никхилеш жепат, и все эти годы вы избегали меня. Если вы сейчас опять исчезнете на девять лет, мы уже никогда не увидимся.

— Почему же мы не увидимся? — в тон ему спросила я.

— По гороскопу мне суждено умереть рано. Никто из моих предков не прожил более тридцати лет. А мне уже исполнилось двадцать семь.

Он знал, чем взять меня. В моем тихом голосе зазвучали искренние потки участия.

— Молитвы всей страны оградят вас от дурного влияния звезд,— сказала я.

— Я должен услышать эту молитву из уст богини своей страны, поэтому я так хочу, чтобы вы вернулись. Пусть заклинание, которому суждено избавить меня от грозящих невзгод, начнет действовать сегодня же.

Хотя речной поток и мутел, но он быстро прокладывает себе путь. Шондип-бабу действовал так стремительно, что я невольно позволила ему говорить то, чего никогда не стала бы слушать ни от кого другого.

— Итак, я оставляю вашего мужа заложником,— сказал он, улыбаясь.— Если вы не придете, свободы лишится он.

Я направилась к двери, но Шондип-бабу снова обратился ко мне:

— У меня есть небольшая просьба.

Я с удивлением остановилась.

— Не пугайтесь, это всего лишь стакан воды. Я обычно пью не за едой, а немного погодя.

Волей-неволей мне пришлось заинтересоваться причинной и попросить объяснить, в чем дело. Он рассказал мне историю своего тяжелого желудочно-заболевания, длившегося почти семь месяцев. Безуспешно испытав на себе все лекарства гомеопатов и аллопатов, он обратился к помощи кобипраджей, лечение которых дало поразительные результаты. Закачивая свой рассказ, он с улыбкой заметил:

— Даже болезни, которые послал мне всевышний, оказалось возможным лечить лишь одним лекарством — пилюлями свадеши.

Но тут в разговор вмешался молчавший до этого муж:

— Однако склянки с английскими лекарствами не оставляют, по-видимому, тебя ни на одну секунду: в твоей гостиниой трп полки заставлены...

— Ты знаешь, что они мне напоминают, — перебил его Шондип-бабу. — Полпипию, которая нам вовсе не нужна, но с присутствием которой мы вынуждены мириться, потому что она навязана нам современной системой управления. Приходится не только платить ей штраф, но и терпеть нинки.

Мой муж не выносит пипипине пышных фраз, и я видела, что ему эти слова очень не понравились. Но ведь всякое украшение — это тоже излишество. Оно творение рук человека, а не бога. Помпю, как-то раз я сказала мужу, оправдываясь в какой-то лжи:

— Только растения, птицы и животные говорят ничем не приукрашенную правду, потому что они лишены фантазии. Человек же наделен воображением, и в этом его превосходство над всем остальным миром, а женщина в этом отношении превосходит и мужчину. И как не портит жепцину обилие драгоценностей, так не портит ее и правда, приукрашенная и расцвеченная ложью.

Я вышла из комнаты. На веранде стояла меджо-рапи и смотрела сквозь щелки опущенных жалюзи.

— Что ты здесь делаешь? — спросила я.

— Подсматриваю, — ответила она шепотом.

Когда я вернулась, Шондип-бабу ласково заметил:

— Вы, наверно, почти ничего не ели сегодня.

Я очень смутилась. В самом деле, я вернулась слишком быстро. Стоило только прикинуть в уме время, и мож-

по было бы без труда заметить, что еда отиля его у меня пемного по сравнению со всем остальным — куда меньше, чем того требовали правила приличия. Но мне и в голову не приходило, что кто-нибудь займется таким подсчетом. По-видимому, Шондип-бабу заметил мое замешательство, и от этого я смутилась еще больше.

— Конечно же, вы хотели бежать отсюда,— сказал он,— как бежит в лес от людей пугливая лань. И я тем более цепю, что вы сочли возможным сдержать свое слово и вернуться.

Я не сумела достойно ответить и, вся красная от смущения, забилась в угол дивана. Теперь уже ничего не оставалось от созданной моим воображением Шакти, величественной и гордой, чье появление и благосклонный взгляд венчали бы Шондипа-бабу гирляндой победы.

Шондип-бабу затеял спор с моим мужем. Сделал он это намеренно, зная, что именно в пылу спора особенно ярко проявляется его блестящий дар оратора, его остроумие. Я не раз замечала это впоследствии — он никогда не пропускал случая поспорить, если при этом присутствовала я.

Шондип-бабу прекрасно знал мнение моего мужа относительно мантры «Банде Матарам».

— Значит, ты считаешь, Никхил,— сказал он с легким вызовом,— что в патриотических делах нет места фантазии?

— Нет, Шондип, я считаю, что в некоторых случаях вполне допустимо давать волю фантазии, но злоупотреблять этим не следует. Я хочу знать правду — только правду — о своей родине. Мне становится стыдно, меня страшит, когда вместо правды приходится слушать магические заклинания, затуманивающие человеческий мозг.

— Но то, что ты называешь магическим заклинанием, я пазываю истиной. Родина олицетворяет для меня бога. Я преклоняюсь перед Человеком вообще и верю, что именно в нем и в родине проявляется все величие божье.

— Но если ты действительно веришь в это, то для тебя должны быть равны все народы и все страны.

— Ты прав, так должно быть, однако возможности мои ограничены, поэтому весь пыл своего преклонения я отдаю богу своего отечества.

— Все это так, только мне не совсем ясно, каким образом ты сочетаешь такое преклонение перед богом с ненавистью к другим народам.

— Ненависть и преклонение неразделимы. В битве с Махадевой, одетым в тигровую шкуру, Арджуна завоевал себе друга. Если мы будем готовы сразиться со всевышним, он в конце концов исполнит нам свою милость.

— Значит, те, кто предан родине, и те, кто приносят ей вред, — одинаково служат всевышнему? Зачем же ты тогда так горячо проповедуешь патриотизм?

— Это совершенно другое. Когда дело касается отчизны — все решает сердце.

— Почему не пойти дальше? Поскольку бог проявляется в нас самих, не следует ли в первую очередь сотворить культ из собственного «я». Кстати, это будет очень естественно.

— Никхил, все, что ты говоришь, — плод сухих умозаключений. Разве ты совсем не признаешь то, что принято называть душой?

— Я тебе скажу совершенно откровенно, Шондип, — возразил мой муж, — когда вы пытаетесь оправдать содеянную несправедливость своим долгом или выдать порок за высокое моральное качество, больше всего страдает во мне именно душа. Тот факт, что я не способен воровать, объясняется вовсе не моей способностью логически мыслить, а тем, что я питаю к себе некоторое уважение и имею кое-какие идеалы.

Внутренне я кипела от негодования и, не в силах далее сдерживаться, воскликнула:

— Разве история Англии, Франции, Германии, России и всех других цивилизованных стран не есть история бесконечных грабежей во имя блага родины?

— За эти грабежи они понесут ответ, некоторые уже несут его, а история еще далеко не закончена.

— Прекрасно, — подхватил Шондип-бабу, — и мы так сделаем. Сперва мы обогатим казну нашей родины похищенными сокровищами, а затем через несколько лет, окрепнув достаточно, дадим ответ за свои деяния. Но мне интересно знать: кто те, которые, по твоим словам, несут ответ за это?

— Когда пришло время Риму расплачиваться за свои грехи, мало кто из живущих в то время понял это — ведь до самого конца богатства его, казалось, были непостижимы. То же самое происходит и сейчас — мы не замечаем, как расплачиваются за прошлое огромные цивилизованные государства-хищники. Но скажи мне, неужели ты не видишь, как придавливает их страшное бремя грехов, ко-

которые они тащат на своих плечах, как вся эта лживая политика, обманы, предательство, шпионаж, попрание истины и справедливости во имя сохранения своего престижа все более и более обескровливают их культуру? Я считаю, что те, для кого нет ничего святого, кроме родины, кто равнодушен даже к истине, равнодушен, в конце концов, к самой родине.

Я ни разу не присутствовала при спорах мужа с посторонними людьми. Правда, иногда я сама вступала с ним в спор, но он слишком любил меня, чтобы стремиться одержать надо мной верх. Сегодня я впервые убедилась в его умении спорить.

И все-таки в душе я не могла согласиться с его доводами. Мне казалось, что на все его слова есть достойный ответ, только найти его я не могла. Когда речь заходит об истине, как-то трудно сказать, что не всегда она уместна. У меня явилась идея написать возражения, которые родились в моей голове во время этого спора, и вручить их Шондипу-бабу. Потому-то я и взялась за перо, как только вернулась к себе.

Во время разговора Шондип-бабу вдруг взглянул на меня и спросил:

— А что вы думаете по этому поводу?

— Я мало разбираюсь во всяких тонкостях, — ответила я. — Но я скажу вам, что я думаю, в общих чертах. Я человек, и мне тоже свойственна жадность. Я страстно хочу богатства для своей родины. Ради этого я готова на грабеж и насилие. Я вовсе не добрая. Во имя родины я могу быть злой и, если надо, способна зарезать, убить, чтобы отомстить за нанесенные ей в прошлом обиды. У меня есть потребность восторгаться, и я хочу, чтобы мой восторг принадлежал родине. Я хочу видеть ее, осязать — мне нужен символ, который я могла бы называть матерью, богиней Дургой. Я хочу обогатить землю у ног ее кровью жертвы. Я — только человек, а не святая.

— Ура! Ура! — закричал Шондип-бабу, однако в следующий момент он спохватился и воскликнул: — «Банде Матарам!», «Банде Матарам!»

На лицо мужа легла тень страдания. Но она тут же исчезла, и он очень мягко сказал:

— Я тоже не святой, и я — только человек, поэтому-то я никогда и не допущу, чтобы зло, которое есть во мне, выдавалось за образ и подобие моей страны. Никогда!

— Ты видишь, Никхил, — заметил Шондип-бабу, — как

истина обретаеи плоть и кровь в сердце женщины. Наша истина не имеет ни цвета, ни запаха, ни души — она просто схема. Но сердце женщины — подобно кровавому лотосу, в нем пышно расцветает истина, и она не беспочвенна, как наши споры. Только женщины могут быть по-настоящему жестоки; мужчины не способны на это — они склонны к самоанализу. Женщина легко может все разрушить. Мужчина тоже может, но его мучат сомнения. Женщины бывают яростны, как буря, но их ярость грозна и прекрасна. А ярость мужчины уродлива, потому что его точит червь сомнений и колебаний. И я утверждаю: спасение родины зависит от женщины! Сейчас не время проявлять благородство и щепетильность. Мы должны быть жестокими, беспощадными, несправедливыми. Мы не должны останавливаться перед грехом. Мы должны освятить его, совершить над ним обряд помазания кровавым сандалом и передать в руки женщин. Разве ты не помнишь слова нашего поэта?

Приди, о грех! Прекрасная, приди!
И огненным, пылящим поцелуем
Взволнуй мне кровь и сердце пробуди.
Пусть раковины о беде трубят,
Отметь мое чело тавром позора,
А черный этот грех, о мать раздора,
Укрой навечно на моей груди! ¹

— К дьяволу добродетель, которая не умеет разрушать и хотеть при этом!

Шонди-бабу дважды с силой стукнул тростью, и вспугнутые пылинки закружились над ковром. В мгновенном порыве он оскорбил то, к чему испокон веков во всех странах мира люди относились как к святой святыне. Он встал, гордо обвел нас взглядом. У меня пробежала по телу дрожь, когда я взглянула ему в глаза. И снова загремел его голос:

— Я узнаю тебя — ты прекрасный дух огня, испепеляющий дом и озаряющий мир. Одарь же нас неукротимой силой, дай нам мужество разрушить все дотла, сделай так, чтобы гибель и разрушение стали прекрасными!

К кому был обращен этот страстный призыв, осталось непонятным. Может быть, к той, кого воспевают «Банде Матарам», а может быть, к бенгальской Лакшми, которая

¹ Здесь и далее, за исключением особо отмеченных, стихи в переводе Г. Ярославцева.

олицетворяла бенгальских женщин и находилась в эту минуту перед ним.

Мне вспомнились санскритские стихи Вальмики, отрицавшего зло во имя любви и добра. А теперь Шондип-бабу во имя зла отринул добродетель! А может быть, это был просто способ познакомить нас со своим драматическим талантом, при помощи которого он давно улавливал в свои сети людские сердца?

Он продолжал бы и дальше в том же духе, но внезапно мой муж встал и, прикоснувшись к его плечу, тихо сказал:

— Шондип, пришел Чондронатх-бабу.

Я обернулась и увидела в дверях благообразного старика, с осакой, полной тихого достоинства; он стоял в нерешительности, не зная, входить ему или нет. Лицо его светилось печным, мягким светом, подобным свету вечерней зари.

— Вот мой учитель, — шепнул муж, обращаясь ко мне. — Я много говорил тебе о нем. Поклонись ему.

Я склонилась перед учителем и взяла прах от его ног.

— Да хранит тебя всевышний долгие годы, мать! — сказал он, благословляя меня.

Как я пуждалась в его благословении в этот момент!

РАССКАЗ ПИКХИЛЕША

Когда-то я верил, что вынесу любое испытание, ниспосланное мне всевышним. Но проверить это не представлялось случая. Теперь мой час пробил. Порой в душе я старался испытать свою стойкость, представляя себе несчастья, которые могут выпасть на мою долю: нищету, тюрьму, бесчестие, смерть — даже гибель Бимолы. Едва ли я солгу, если скажу, что сумел бы перенести любое из них с высоко поднятой головой.

Но одну беду я никак не мог себе представить. Вот о пей-то я и думаю сейчас, и мысль, хватит ли у меня сил перенести все это, не перестает мучить меня.

Словно острый шип впился мне в сердце, и боль, которую он причиняет, не дает мне покоя ни днем ни ночью. Не успею я проснуться, мне начинает казаться, что прелесть утреннего света меркнет. Что это значит? Почему так случилось? Откуда эта тень? Отчего хочет она затмить радость моей жизни? Все мои чувства обострились до пре-

дела. Даже прошлые печали, подерпнувшись было дымкой счастья, сейчас обнажились и вновь терзают мне душу. Стыд и горе вплотную придвинулись ко мне, и, как ни стараются они замаскироваться, я вижу их все явственнее. Я весь обратился в зрение: я вижу то, чего не должен, чего не желаю видеть.

Коварное благополучие сделало меня нищим. Я долго не замечал этого. Но проходили день за днем, минута за минутой, и моему зору и слуху открылось вдруг во всей своей наготы убожество моего обманчивого счастья. Отныне до последнего вздоха жизнь заставит меня с процентами возмещать ей долг за те плюзии, которыми я жил в течение девяти лет юности. Лишь тот, чей капитал уже исчерпан, понимает, как тяжело это бремя. И все же я не могу не воскликнуть с жаром: «Да здравствует истина!»

Вчера приходил Гопал, муж моей двоюродной сестры Муну. Он просил помочь ему устроить свадьбу дочери. Взглянув на обстановку в моем доме, он, по всей вероятности, решил, что на свете нет человека счастливее меня.

— Передай Муну, что завтра я приду к тебе пообедать, — сказал я Гопалу.

Небесным раем стал бедный дом Муну, наполненный нежностью ее сердца. Я рвался туда, где прекрасная Лакшми раздавала пищу изголодавшимся духом. Бедность сделала ее еще прекрасней. «Я приду, чтобы увидеть тебя... О святая, пыль от твоих божественных ног все еще дарует земле благодать!»

Стоит ли притворяться? Не лучше ли, склонив смиренно голову, признать, что мне чего-то не хватает. Быть может, именно той решимости, которую женщины так стремятся найти в мужчине? Но разве решимость — это тщеславие, бесстыдный произвол, деспотизм?.. Впрочем, кому нужны мои возражения? Они ведь не восполняют недостатка. Я — недостойн! Недостойн! Недостойн! Ну и что из этого? Любовь тем и ценна, что награждает и недостойных. Для достойных на земле много наград, а для недостойных судьба приберегла одну лишь любовь.

Я сам сказал как-то Блмоле, что ей пора покончить с затворничеством. До сих пор она жила замкнутой жизнью своего маленького мирка с его мелкими домашними заботами и ограниченными интересами, и я не раз спрашивал себя, откуда черпает она любовь, которую дарит мне, — из тайного ли родника в своем сердце или это просто ежедневная доза, полагавшаяся мне, вроде той порции воды,

которую городской муниципалитет ежедневно выдает городу.

Жадеп ли я? Стремился ли я получить больше того, что мне давалось? Нет, жадеп я не был, но я любил. Потому-то мне и хотелось, чтобы Бимола чувствовала себя свободно и чтобы ничто не сдерживало ее, чтобы она не была похожа на окованный железом сундук. Я не собирался украшать свой дом бумажными цветами, вырезанными из наших древних книг, я хотел видеть Бимолу в расцвете сил, знавшей, чувств, которые ей мог дать живой мир.

Но я забывал об одном: если хочешь увидеть человека действительно свободным, нужно забыть о том, что имеешь на него какие-то права. Почему я не подумал об этом? Может быть, во мне говорило чувство собственника? Нет, просто я безгранично любил.

Я был настолько самонадеян, что считал: я не дрогну пред лицом жизни, как бы неприглядна она ни была. И испытание началось. Однако я до сих пор лелею гордую мечту, что выйду победителем из этого сражения не на жизнь, а на смерть.

В одном Бимола не пошла меня. Она не пошла, что я считаю насилие проявлением величайшей слабости. Слабый никогда не решится быть справедливым. Он боится ответственности, которая ждет его, если он пойдет прямым путем, и предпочитает быстрее добраться до цели окольными, обманными тропинками. Бимола нетерпелива. Ей нравятся мужщины неуравновешенные, жестокие, несправедливые. Кажется, будто она не представляет себе уважения без доли страха.

Я надеялся, что, когда Бимола выйдет «на свободу», она на многое посмотрит иначе и освободится от своего преклонения перед деспотизмом. Но оказалось, что корни этого чувства ушли слишком глубоко. Ее влечет неукротимая сила. Самые простые яства, предложенные ей жизнью, она должна обильно приправлять перцем, чтобы дух захватывало, — иных ощущений она не признает.

Я же дал себе зарок исполнять свой патристический долг сдержанно и спокойно, не поддаваясь действию пьящего вина волнения и страсти. Я скорее прощу любой проступок, чем ударю слугу, и, сказав в пылу гнева что-нибудь лишнее, долго мучаюсь потом. Я знаю, Бимола принимает мою щепетильность за слабость характера, поэтому ей и трудно испытывать ко мне уважение. Ее сердит то, что я не мечусь вместе со всеми, выкрикивая «Бан-

де Матарам». Кстати сказать, я заслужил неодобрение всех своих соотечественников, потому что не могу разделить бурного религиозного фанатизма, овладевшего ими. Они убеждены, что я либо жду высокого титула, либо боюсь полиции. Полиция же, в свою очередь, подозревает, что за моей внешней благопристойностью кроются дурные намерения. И тем не менее я продолжаю идти этим путем, вызывая недоверие и рискуя заслужить бесчестие.

Я считаю, что тем, кому недостаточно видеть свою родину в ее истинном свете, чтобы вдохновенно служить ей, — так же, как тем, кто не любит человека только за то, что он человек, — кому пужно непрестанно восхвалять и обожествлять свою страну, чтобы не дать угаснуть своим пламенным чувствам, дороги именно эти пламенные чувства, а вовсе не родина. Позволять плодам фантазии заслонять истину — значит обнаруживать рабские черты, глубоко укоренившиеся в наших душах. Мы теряемся, обрета возможность свободно мыслить. В своем оцепенении мы утратили способность думать, если нас не подхлестывает фантазия, если мысли наши не направляет какой-нибудь папидит или видный политический деятель. Мы должны раз и навсегда уяснить себе, что, пока мы глухи к истине, пока мы не можем обходиться без дурманящих сознание стимулов, по-настоящему управлять своей страной мы не способны. В этом случае, каково бы ни было положение страны, нам пужна будет сила — призрачная или реальная, а может быть, и та и другая, — чтобы держать нас в узде.

Как-то раз Шондиш сказал мне:

— При всех твоих достоинствах тебе недостает воображения, потому ты и не можешь представить себе родину богиней-матерью.

Бимола согласилась с ним. Я ничего не ответил, так как победа в споре не доставляет мне никакого удовольствия. Расхождение во мнениях происходит у нас вовсе не оттого, что мы с ней неравны по уму, а оттого, что по характеру мы совершенно разные люди. В узких рамках маленького домашнего мирка разница в характерах едва уловима, она не нарушает ритма всей нашей жизни. Однако, выйдя на простор широкого мира, она становится ощутимой. Там волны уже не рокочат успокоительно, а бьют с силой.

Мне не хватает воображения! Иными словами, они считают, что в светильнике моего разума есть масло, но нет пламени! Я мог бы сказать им в ответ: это в вас нет пла-

менп. Вы темны, как тот кремепь, из которого высекают огонь. Сколько раз падо по нему ударить, сколько шума надо наделать, чтобы появилась хотя бы одна искорка! Но эти искры лишь тешат ваше тщеславие, они не рассеивают мрака вокруг.

За последнее время я стал замечать в Шондипе какую-то грубую алчность. Он слишком одержим плотскими страстями — это невольно ставит под сомнение искренность его религиозных взглядов и придает оттенок деспотизма его служению родине. Он груб по натуре, но обладает острым умом и умело прикрывает пышными фразами свои эгоистические намерения. Он добывается исполнения всех своих желаний с той же настойчивостью, с какой мстит за каждую обиду.

Бимола не раз говорила мне прежде о его чрезмерной жадности к деньгам. Я и сам это чувствовал, но заставить себя торговаться с Шондипом не мог. Мне стыдно было даже подумать, что он пользуется мной в своих корыстных целях. Мои денежные поощрения выглядели отвратительно, и поэтому я никогда не спорил с ним. Любовь Шондипа к родине — одно из проявлений той же грубой жадности и эгоизма. Но объяснить все это Бимоле теперь было бы трудно, потому что в Шондипе она чтит героя. Я мог бы показаться ей пристрастным. В моих словах могла прозвучать ревность, я мог бы впасть в преувеличение. Может быть, с тех пор как жгучая боль терзает мое сердце, Шондип и правда представляется мне в искаженном свете? Все же, пожалуй, будет лучше, если я расскажу обо всем прямо — затаенные мысли тяготят душу.

Своего учителя Чондронатха-бабу я знаю почти тридцать лет. Его не страшат ни клевета, ни бедствие, ни смерть. В семье, где я родился и вырос, мне неоткуда было бы ждать спасения, если бы он не создал для меня особый мир, центром которого был он сам — безгранично спокойный, справедливый, одухотворенный, если бы он не научил меня выше всего на свете почитать истину.

В тот день он спросил меня, так ли уж необходимо Шондипу оставаться здесь еще дольше?

Учитель обладает удивительной способностью чувствовать приближение опасности. Его не так-то легко встревожить, но тут он увидел призрака надвигающейся беды.

Увидел потому, что сильно любил меня. За чаем я спросил Шопдипа:

— Когда ты собираешься в Рангпур? Я получил отсюда письмо. Друзья считают, что я поступаю эгоистично, задерживая тебя.

Бимола разливала чай. Она изменилась в лице и украдкой взглянула на Шопдипа.

— Я пришел к заключению, что все эти паши переезды взад и вперед с целью пропаганды свадеша — просто непроезжая трата сил. Мне кажется, что моя работа дала бы более ощутимые результаты, если бы я обосновался в одном месте и руководил всем оттуда. — Сказав это, Шопдип вопросительно посмотрел на Бимолу. — Вы не согласны? — спросил он.

— Мне кажется, что руководить патристическим движением из центра или разъезжать для этого по разным местам — одинаково хорошо, — ответила она, подумав. — Вопрос в том, какой способ вам больше по душе.

— В таком случае буду говорить откровенно, — сказал Шопдип, — я долго был убежден, что переезды с места на место и пробуждение в массах энтузиазма — моя обязанность. Но затем я понял свою ошибку. Мне еще никогда не удавалось найти источник, из которого я мог бы безотказно черпать вдохновение, — вот почему я разъезжал все время, возбуждая энтузиазм в народе и в то же время заряжаясь энергией от него. Теперь же вы стали для меня Сарасвати. Мне еще никогда не приходилось встречать скрытого огня такой силы. А ведь я кичился своим могуществом! Какой позор! Во мне нет больше уверенности, что я могу стать вождем страны. Но я с гордостью заявляю, что с помощью огня, заимствованного у вас, я сумею воспламенить всю страну. Нет, нет, не смущайтесь. Вы должны быть выше сомнений, скромности, ложного стыда. Вы — Царица нашего улья, а мы, рабочие пчелы, сомкнемся вокруг вас. Вы будете нашей главой, нашим вдохновением. Вдали от вас нам не будет радости, не будет удачи. Примите без колебаний наше благоговение.

От стыда и гордости Бимола вся залилась краской, и ее рука, застывшая над палкой, задрожала.

Как-то раз Чопдронатх-бабу пришел ко мне и сказал:

— Мне не нравится твой вид, Никхил. Достаточно ли ты спишь? Ты бы поехал с Бимолой в Дарджилинг.

Вечером я предложил Бимоле отправиться в Дарджилинг. Я знал, что ей давно хотелось побывать там, полюбоваться вершинами Гималаев. Но Бимола отказалась. По всей вероятности, из долга перед родиной!

Я не хочу терять надежды, я буду ждать. Переход из маленького домашнего мирка в большой труден и чреват потрясениями. Жизнь Бимолы была ограничена четырьмя стенами нашего дома, она не покидала своего уютного гнездышка. Теперь она очутилась на свободе, и старые законы уже не могут удовлетворить ее. Я решил подождать, пока она не освоится со своей свободой и новым для меня миром. Если окажется, что в ее новом мире для меня не найдется места, я не стану препираться с судьбой, не стану спорить и тихо удалюсь. Сила? Насилие? Но к чему это? Ведь насилие несовместимо с истиной!

РАССКАЗ ШОНДПА

«Мое — то, что выпало на мою долю», — говорит слабый, а нерешительный поддакивает ему. Но подлинный закон жизни гласит: «Мое — то, что я сумею отнять».

Страна еще не становится моей родной только потому, что я в ней родился. Но она станет ею с того момента, как я завоюю ее силой.

Алчность так же естественна, как естественно право на обладание. Природа не требует, чтобы мы смирились с лишениями. Если я страстно хочу чего-то, окружающие обязаны предоставить это мне. Это и есть единственно правильная точка соприкосновения двух миров — внутреннего и внешнего. Обучение этой истине мы не считаем высокой моралью, вот почему человек до сих пор не знает, что такое истинная мораль.

На земле есть жалкие создания, не умеющие ни сжать кулака, ни захватить, ни отобрать насильно. Вот пусть они и утешаются своей моралью и охраняют нравственные идеалы. Избранниками судьбы являются те, которые жаждут всем сердцем, наслаждаются всей душой, кого не мучают сомнения и нерешительность. Для них — прекраснейшие и богатейшие дары природы. Они не знают преград; если им что-то надо, — переплывают реки, преодолевают барьеры, выламывают двери. И делают это с радостью — добытое в борьбе вдвойне ценно. Природа покоряется лишь наглым и сильным. Ее восхищает упорство же-

лания, упорство достижения и упорство обладания. Свадебную гирлянду веселых цветов она не возложит на тощую шею изможденного аскета.

Звучит торжественная музыка. Сердце мое полно страстного нетерпения. Но кто же се избранник? Избранник — я! Мне, идущему с зажженным факелом, принадлежит это место. Избранник природы всегда приходит незваным.

Стыд? Нет, я не знаю его. Я беру все, что мне надо, и даже не спрашиваю. А те, кому взять мешает жалкая робость, зависть свою прикрывают застенчивостью. Они возводят се в добродетель. Мир, окружающий нас, — мир реальностей. Я не вижу, зачем вообще приходят в этот жестокий мир те, которые покидают его рынок голодными, с пустыми руками, запасшись лишь громкими фразами? Или, быть может, господа, забавляющиеся религией, напяти их играть на флейтах в небесных рощах печные мелодии воздушных грез? Мне не нужны звуки флейты, а воздушные грезы меня не насытят.

Когда я чего-то хочу, то хочу страстно. Я хочу крепко сжать это что-то руками, обхватить полами, уместить им все тело, вдоволь насладиться им. Я не стыжусь своих желаний и не колеблюсь беру все, что хочу. Меня не трогает визгливый писк тех, кто, сидя на нравственном порционе, становится похожим на плоских и высохших клопов, забывшихся в давно покинутую постель.

Я не хочу ничего утаивать — это трусость. Но если я не смогу скрыть свои мысли, когда пужно, — я проявлю не меньшую трусость.

Ваша алчность заставляет вас возводить стены. Моя алчность заставляет меня пробивать в них бреши. У вас власть и сила, у меня — хитрость и ловкость. Все это естественно. На этом зиждется империя и царства, на этом держатся все великие деяния людей. В речах богов, спускающихся с небес и изъясняющихся на священном языке, нет ничего реального. Поэтому, несмотря на взрывы одобрения, которыми встречают эти речи, по-настоящему внимают им только слабые. Сильные же, владыки мира, относятся к ним с презрением. Внимая таким речам, они потеряли бы свою силу. Ибо в этих речах нет жизни. Тем, кто не колеблясь принимает это, кто не стыдится это признать, обеспечен успех. И жалка участь несчастных, которые разрываются между зовом природы и велениями богов, между реальным и нереальным, которые хотят встать

одной ногой в одну лодку, а второй в другую,— они не смогут ни двинуться вперед, ни оставаться на месте.

Есть немало людей, которые словно для того и родились на свет, чтобы думать о смерти. В медленном угасании есть своеобразная красота, подобная красоте небес в час заката. Наверно, именно она-то и пленяет их. Такой наш Никхилеш. Он мертв. Несколько лет тому назад мы крепко поспорили с ним.

— Я согласен, что добиться чего-то можно только силой,— сказал он.— Весь вопрос в том, что ты подразумеваешь силой и чего собираешься добиться. Моя сила — в умении обуздывать свои желания.

— Но ведь это значит,— воскликнул я,— что тебя влечет гибель, разрушение!..

— Да, так же, как сидящего в яйце цыпленок тянет разрушить скорлупу. лишь бы выбраться из нее. Скорлупа, конечно, вещь весьма реальная, но цыпленок готов расстаться с пей, чтобы получить взамен воздух и свет. Поэтому, сделка эта будет невыгодна для него, так, что ли?

Когда Никхилеш обращается к метафорам, ему трудно доказать, что все это лишь пустые слова. Ну что ж, пусть радуется своим метафорам. Мы же существа плотоядные. У нас есть зубы и когти. Мы можем преследовать, хватать, рвать. Мы не станем пережевывать вечером утреннюю жвачку. И уж мы не потерпим, чтобы вы, мастера метафор, преграждали нам путь к средствам существования. В этом случае нам придется либо красть, либо грабить, потому что мы должны жить. Как бы это ни печалило почтенных отцов вшипунтов, но мы не настолько очарованы смертью, чтобы распластаться на листе лотоса и, усыхая, ждать ее появления.

Найдутся люди, которые скажут, что я кладу начало новому учению,— скажут потому, что в большинстве своем люди поступают так же, как я, но на словах утверждают обратное и не хотят понять такой простой вещи, что этот закон и есть мораль. А я это понимаю. Мои слова отнюдь не отвлеченная теория — они проверены на практике. Я убедился в этом, видя, как легко мне при желании покорить сердца жепшин. А они существа реального мира и не парят, подобно мужчинам, в заоблачных высотах, их не влекут воздушные шары, начиненные пустыми идеями. В моих глазах, жестах, мыслях и словах они угадывают страстное желание. Это не страсть, несуществующая аске-тизмом, не страсть, раздираемая сомнениями, неуверен-

ная в себе, колеблющаяся, нет, это постоянная, полнокровная страсть. Она бурлит и клокочет, как океанский прибой, и в ее грохоте ясно слышен вопль: «Хочу, хочу, хочу!» И женщины сердцем понимают, что именно эта неукротимая страсть движет миром. Она не признает иного закона, кроме себя, потому-то она и непобедима. И потому-то женщины и позволяли столько раз приливу своей страсти влечь себя, не заботясь о том, куда несет их волна, — к счастью или гибели. Силой, которая покоряет их, обладают лишь поистине могущественные люди: в мире реального эта сила торжествует неизменно. Те же, кто воспевают прелести иного мира, попросту стремятся к другим наградам — небесным, а не земным. Неизвестно, как высоко и как долго будет бить фюптан их грез, несомненно одно — женщины созданы не для этих жалких мечтателей.

Духовная близость! Не раз, когда того требовали обстоятельства, я говорил: есть на свете мужчины и женщины, словно специально созданные богом друг для друга. Союз их — если им суждено встретиться — выше всех союзов, которые благословляет закон. Дело в том, что мужчина, даже следуя зову природы, не может обойтись без пышных фраз, потому-то мир и переполнен ложью. Духовная близость? Но кто сказал, что она может быть лишь с одной женщиной? Хотя с тысячу! Мысль, что во имя близости с одной я могу отказаться от близости со всеми другими, противна моей природе. Я много встречал на своем пути духовно близких мне женщин, но это не препятствие для встречи еще с одной. И вот ее-то я вижу я перед собой сейчас. Так же явственно, как и она меня. Что же дальше? Дальше победа — если я не трус, конечно.

РАССКАЗ БПМОЛЫ

Я часто думаю: куда девался мой стыд? Вся беда в том, что у меня не было времени остановиться и взглянуть на себя со стороны, — дни и ночи вихрем неслись куда-то, увлекая меня за собой, отбывая прочь колебания и взыскательность к себе.

Однажды меджо-рани, смеясь, заявила при мне мужу: — Ну, братец, в нашем доме долго плакали женщины, теперь настал черед мужчин. Мы заставим их поплакать. Что ты скажешь, чхото-рани? Рыцарские доспехи уже на тебе? Смотри же, прекрасная вонпельница, чтобы твое копьё вонзилось прямо в сердце мужчины!

Проговорив это, она окинула меня взглядом с головы до ног. От ее быстрых глаз не ускользнуло ничто — ни тщательность, с какой я стала одеваться, ни изящество манер, ни живость речи. Мне совестно признаваться в этом сейчас, но тогда я не испытывала ни малейшего стыда. Потому что в душе моей все смешалось и я не отдавала себе отчета в том, что происходит.

Я стала уделять больше внимания своим нарядам, но делала это как-то машинально, без всякой задней мысли. Я хорошо знала, какие платья особенно нравятся Шонди-пу-бабу. Здесь не требовалось догадки, так как он ни от кого не скрывал своих вкусов. Однажды он сказал мужу:

— Знаешь, Никхил, когда я впервые увидел нашу Царицу Пчелу, у меня замерло сердце. Она сидела такая скромная и молчаливая, в сари, окаймленном парчой, а ее глаза были похожи на сбившиеся с пути звезды. Они были вопрошающе устремлены в безграничную даль, и казалось, что она уже тысячелетия смотрит так в преддверии мрака и чего-то ждет. И мне почудилось, что золотая кайма сари — это поток ее скрытого огня, пламенной лентой обвившегося вокруг нее. Оно так пужно нам — это яркое видимое пламя. Царица Пчела, исполните мое желание: покажитесь нам еще раз в своем огненно-пламенном наряде.

До тех пор я была всего лишь ручейком, протекавшим мимо деревни, который журчал по камешкам и лепетал что-то свое. Но откуда ни возьмись начался мощный прилив, морские волны докатились до ручейка, его воды вышли из берегов и бешеным потоком устремились вперед, неся с собой грозный гул далекого прибоя.

Я долго не могла понять, что это голос моей взбаламученной крови. Где же было до сих пор это второе мое я? Почему так занеслись вдруг волны красоты, таившейся во мне? Жадный взор Шонди-пу-бабу, устремленный на меня, горел, словно светильник перед алтарем. Каждый взгляд его говорил, что я — чудо красоты, что я обладаю волшебной властью. Его похвалы, немые и высказанные, словно удары гонга в храме, заглушали для меня все остальные голоса на земле.

Неужели всевышний заново создал меня, думала я. Или он решил возместить пренебрежение, с каким так долго относился ко мне? Я, дурнушка, стала красавицей! Я — такая незначительная и незаметная до сих пор — почувствовала вдруг, что во мне сосредоточились весь

блеск, все великолепие Бенгалии. Ведь Шондип-бабу был не просто человек. В нем слились души миллионов бенгальцев. И когда он называл меня Царицей Улья, вместе с ним мне пели хвалу все патриоты родины. Разве могли тревожить меня после этого презрительные взгляды старшей невестки или ядовитые шуточки средней? Мое отношение ко всему миру резко изменилось.

Шондип-бабу впущил мне, что вся страна пугдается во мне. Я ни на минуту не усомнилась в этом. Словно какая-то божественная энергия вселилась в меня. Я никогда не испытывала такого состояния прежде, оно было недоступно мне. У меня не было времени задумываться над тем, откуда взялась так внезапно эта энергия. Каково ее происхождение? Во мне ли родилась она или нахлынула откуда-то извне. Нет, не во мне, а во всей стране, словно поток, рожденный половодьем. Что за дело такому потоку до крошечного пруда где-то на задворках сада.

Шондип-бабу советовался со мной о каждом пустяке, касающемся движения свадьбы. Сперва я чувствовала себя очень пеловко, пыталась уклониться под разными предлогами, но вскоре мое смущение прошло. Он восхищался всеми моими советами.

— Мы, мужчины, — говорил он, — способны только размышлять. Вы же, женщины, схватываете суть на лету. Создавая женщину, всевышний пустил в ход всю свою фантазию, создавая мужчину, он применял грубую силу.

Слушая его, я начинала верить в свой ум, свое могущество; мне казалось, что я всегда обладала ими и они были настолько присущи мне, что я просто не замечала их.

Со всех концов страны к Шондипу-бабу приходили письма с самыми неожиданными вопросами. Шондип-бабу показывал их мне и не отвечал ни на одно, не узнав моего мнения. Иногда он не соглашался со мной, и в этих случаях я не спорила. Проходил день-другой, и вдруг с видом человека, неожиданно вышедшего из мрака на яркий свет, он говорил мне:

— Вы были правы, я спорил зря.

Шондип-бабу не раз признавался, что, когда он поступает вопреки моему слову, ему часто приходится раскаиваться за это впоследствии. В чем же тут дело? — удивлялся он. Постепенно я уверовала в то, что за всем происходившим в те дни в нашей стране стоял Шондип-бабу, а за ним — здравый смысл некой женщины. И сознание

огромной ответственности, лежащей на мне, наполняло меня гордостью и ликованием.

Муж не принимал участия в наших совещаниях. Шопдип-бабу относился к нему, как к младшему брату, которого очень любят, но на благоразумие которого не полагаются. Он мягко выщучивал детскую наивность моего мужа, утверждая, что все его рассуждения поставлены с ног на голову. Но странные теории и парадоксы Никхилеша были, по его мнению, настолько забавны, что вызывали у него еще более нежные чувства к моему мужу. Движимый, очевидно, именно этой исключительной нежностью, он и отстранил мужа от всех трудностей, связанных с движением свадешы.

Природа располагает большим запасом болеутоляющих средств, которые она применяет, когда хочет незаметно перерезать живую нить, связывающую два организма. И тот, кто подвергся операции, узнает о ней лишь после того, как придет в сознание и увидит, что с ним произошло.

Пока скальпель работал под нитью, связывавшей меня с тем, что было мне дороже и ближе всего в жизни, паркоз совершенно одурманил меня, и я даже не подозревала, какая жестокость творится надо мной. Такова женщина: стоит страсти проснуться в ней, и она забывает обо всем на свете. Мы, женщины, — разрушительницы. Слепая природа берет у нас верх над разумом. Мы, как реки, ищем все вокруг, пока катим воды в своем русле, но стоит лишь нам выйти из берегов, и мы начинаем губить и разрушать.

РАССКАЗ ШОПДИПА

Я понимаю — происходит что-то неладное. У меня был случай убедиться в этом.

С моим приездом гостиния Никхилеша, где перемешались два мира: внутренний и внешний, превратилась в некое земноводное, которое живет и на свету и во мраке. Я мог входить туда, покидая свет, Царица Пчела появлялась из мрака.

Будь мы осторожней, проявив мы должную выдержку, никто не обратил бы внимания на то, что происходит между нами, но мы мчались вперед, не задумываясь о последствиях, подобно тому как устремляется вода в брешь плотины, размывая ее все больше и больше.

Я обычно сидел у себя, когда Царица Пчела приходила

в гостиную, но сразу же узнавал о ее появлении. Раздавался звон запястий и браслетов: хлопала чуточку сильнее, чем пужпо, дверь, скрипела дверца книжного шкафа. Я входил в гостиную и застаивал Царицу Пчелу стоящей спиной к двери и с преувеличенным вниманием выбирающей книгу. Я предлагал помочь ей в этом трудном деле, она испуганно вздрагивала и отказывалась. Затем завязывался разговор.

В тот вечер — это был четверг — в полдень я вышел из компаты, заслышав знакомые звуки. Но на всапане пересдо мной вырос привратник. Не обращая на него внимания, я продолжал свой путь, однако он преградил мне дорогу.

— Господи, не ходите сюда.

— Не ходить? Почему?

— В гостиной рапи-ма.

— Прекрасно, доложи твоей рапи-ма, что Шопди-бабу хочет ее видеть.

— Нельзя, господи, — сказал он. — Не приказано.

Я страшно рассердился:

— А я приказываю — пойдн и доложи!

Привратник смутился, видя мою настойчивость. Оттолкнув его, я направился к двери и уже почти достиг ее, но он догнал меня и, схватив за руку, воскликнул:

— Господи, не входите!

Как! Прикасаюсь ко мне?

Я с силой выдернул руку и ударил его по щеке. В это мгновение в дверях появилась Царица Пчела и услышала, как привратник начал бранить меня.

Я никогда не забуду ее в этот момент.

Царица Пчела красива. Это открытие принадлежит мне.

Большинство моих соотечественников на нее и не взглянули бы. Она высока и тонка, и наши ценители красоты с презрением называли бы ее «жердью». Но меня как раз и восхищает ее высокая, стройная фигура, которая, словно струя фонтана жизни, бьет из самых глубин сердца создателя. Она смугла, но цвет ее лица напоминает вороненую сталь — светящуюся, мерцающую и суровую.

В тот день отблеск вороненой стали появился и в ее глазах. Она остановилась на пороге и, указывая пальцем на дверь, воскликнула:

— Вон!

— Не гневайтесь на него, — проговорил я. — Раз существует запрет, уйти должен я.

— Нет, вы не уйдете, войдите в комнату, — дрожащим голосом возразила Царица Пчела.

Ее слова звучали не просьбой, а приказанием. Я вошел, сел в кресло и, взяв все, начал им обмахиваться. Царица Пчела что-то написала карандашом на клочке бумаги и приказала слуге отнести записку господину.

— Простите меня, — заговорил я, — я не владел собой, когда ударил вашего привратника.

— И хорошо сделали, — ответила Царица Пчела.

— Но ведь этот несчастный не виноват, он всего лишь выполнял приказание.

В комнату вошел Никхил. Я поспешно поднялся с кресла, подошел к окну и стал смотреть в сад.

— Привратник Нонку оскорбил Шонди-бабу, — начала Царица Пчела.

— Каким образом? — спросил Никхил, так хорошо разыграв изумление, что я невольно обернулся и внимательно посмотрел на него. «Самый порядочный человек опускается до лжи перед своей женой, — думал я, — если она этого заслуживает, конечно».

— Шонди-бабу шел в гостиную, а Нонку преградил ему путь и сказал: «Не приказано».

— Кем не приказано? — спросил Никхил.

— Откуда я знаю?

От гнева и обиды Царица Пчела готова была расплакаться. Никхил послал за привратником.

— Я не виноват, господин, я выполнял приказание, — мрачно ответил Нонку.

— Чье приказание?

— Мать боро-рани и мать меджо-рани мне приказали.

Некоторое время мы все молчали.

— Нонку придется выгнать, — сказала Царица Пчела, когда он вышел из комнаты.

Никхил промолчал. Я понял, что врожденное чувство справедливости не позволяет ему согласиться с этим. Его щепетильность не знает предела. Но на этот раз перед ним стояла пелегкая задача: Царица Пчела не из тех жещин, которые сдают позиции без боя. Увольнением Нонку она хотела отомстить песткам за нанесенное оскорбление.

Никхил продолжал молчать. Глаза Царицы Пчелы метали молнии. Мягкость мужа возмущала ее до глубины

души. Немного погодя, так ничего и не сказав, Никхил покинул комнату.

На следующий день я уже не видел привратника. Мне стало известно, что Никхил послал его работать в имение и что Нонку только выиграл от этого. По некоторым признакам я догадывался, какая сплывная буря бушует за моей спиной. Могу сказать одно: Никхил — удивительный человек, ни на кого не похожий.

Результатом всего происшедшего было то, что Царица Пчела стала совершенно свободно приглашать меня в гостиную поспать и поболтать с пей, не пща для этого предложения и не делая вид, что встретились мы случайно.

Таким образом, то, о чем прежде могли только догадываться и подозревать, становилось очевидным. И это было тем более удивительно, что для постороннего мужчины хозяйка знатного дома так же недосытаема, как звездный мир, в котором нет проторенных дорог. Мир, полный неуловимых движений, колебаний, звуков... Здесь один за другим слетали покровы обычаев, и наконец обнажающая естественность явила изумительную победу истины!

Именно истины! Взаимное влечение мужчины и женщины — это реальность. Точно так же, как и весь мир материя, начиная с мельчайшей былинки и кончая небесными звездами. А человек пытается окутать эти отношения непроницаемым туманом живых слов и с помощью им же самим придуманных ограничений и условностей превратить их в цекую домашнюю утварь. Но ведь это так же нелепо, как если бы мы захотели растопить солнце, чтобы из расплавленной массы заказать депочку для часов в подарок злтю.

Когда же, несмотря ни на что, жизнь откликается на зов плоти, хитрости мгновенно исчезают и все становится на свои места. И никакая религия, никакая вера — ничто не может противостоять этому. Какой стон и скрежет зубовый поднимается вокруг! Но разве можно бранить бурю? Она и отвечать-то не станет, палетит и тряхнет как следует — она ведь реальность!

Я наслаждаюсь, наблюдая за тем, как постепенно просыпается истинное «я». Сколько смущения, робости, неверия! Но разве жизнь возможна без этого?

Как милы ее неуверенные шаги, потупленная головка! А ведь эти маленькие хитрости не могут обмануть никого, кроме ее самой. Когда жизнь вступает в борьбу с фантазией, хитрость становится ее главным оружием. Пото-

му что враги естественности упрекают ее в грубости. И не мудрено, что ей приходится либо таиться, либо приукрашивать себя. Ведь не может же она заявить откровенно: «Да, я груба, потому что я — жизнь, я — плоть, я — желание, — и страсть, бесстыдная и безжалостная, как бесстыден и безжалостен огромный валун, который в потоке ливня летит с горной вершины на жилище людей, готовый разбиться вдребезги».

Сомнений быть не может. Завеса приподнялась, и мне видны последние приготовления. Затем наступит развязка. Я вижу узенькую алую лепточку пробора, едва заметную в массе ее блестящих волос, она похожа на огненную змейку в падыгающей грозовой туче, сверкающую пламенем тайной страсти. Я ощущаю тепло, затаившееся в драпировках ее сари, понимаю, о чем говорит каждая складка ее одежды, говорит помимо воли той, которая носит ее и которая, возможно, даже не отдаст себе отчета в этом.

Но почему она не отдаст себе в этом отчета? Потому что человек, уходящий от действительности, собственными руками разрушает средства, при помощи которых можно познать и принять жизнь. Человек стыдится реальности. Ей приходится пробиваться сквозь запутанный лабиринт, созданный человеком. Путь ее проследить трудно, но когда она наконец обрушивается на нас, не увидеть ее мы уже не можем. Люди называют ее дьявольским искушением и шарахаются от нее. Поэтому ей приходится пробираться в райские сады в образе змеи и тайно нашептывать человеку слова, от которых у него раскрываются глаза и возгорается сердце. И тогда — прощай покой. Да здравствует гибель!

И матерпаллест. Обнаженная реальность разрушила темницу созерцания и выходит на свет. С каждым ее шагом моя радость растет. Я жду ее, пусть она подойдет ближе, я захвачу ее всю, я буду держать ее силой и не отпущу ни за что. Я разнесу в прах любую преграду, разделяющую нас, я втопчу ее в пыль и развсю по ветру. Да будет радость, настоящая радость — неистовый танец жизни! А потом что будет — то будет: смерть ли, жизнь ли, хорошее или плохое, счастье или несчастье... все тлен! тлен! тлен!

Моя бедная маленькая Царица Пчела живет как во сне, не ведая, на какой путь она вступила. Будить ее прежде, чем наступит время, небезопасно. Лучше делать вид, будто и я не замечаю того, что происходит.

Как-то во время обеда Царица Пчела оставовила на мне свой взгляд, не подозревая, по-видимому, как много он говорит. Когда наши глаза встретились, она густо покраснела и отверпулась.

— Вы удивляетесь моему аппетиту,— заметил я.— Я умю скрывать почти все свои пороки, по только не жадность... Однако стоит ли вам краснеть за меня, раз мне самому не стыдно?

Она пожала плечами и, еще более покраснев, пролепетала:

— Нет, пет, вы...

— Знаю, знаю,— перебил я ее,— женщины питают слабость к обжорам. Ведь как раз этот недостаток помогает им прибирать нас к рукам. Мне самому столько раз потакали и потворствовали в этом, что я, кажется, окончательно перестал стесняться. И меня ничуть не смущает, что вы следите, как исчезают ваши лучшие блюда. Я намерен до конца насладиться каждым из них.

Несколько дней тому назад я читал английскую книгу современного автора. В ней довольно откровенно обсуждалсь вопросы пола. Книгу я оставил в гостиной. На следующий день я зачем-то зашел туда после обеда. Царица Пчела сидела и читала мою книгу, но, заслышав шаги, поспешно прикрыла ее томиком стихотворений Лонгфелло.

— Я никак не могу понять, почему вы, женщины, так смущаетесь, когда вас застают за чтением стихов? — сказал я.— Смущаться надо мужчинам, адвокатам, пиженерам. Это нам надо читать стихи по ночам, да еще при закрытых дверях. Но вам поэзия так близка. Творец, создавший вас, сам был поэтом-лириком, да и Джаядева, когда писал свою «Лалиталабапгалату», паверное, сидел у его ног.

Царица Пчела ничего не ответила и, рассмеявшись, залилась краской. Она сделала движение к дверям.

— Нет, пет,— запротестовал я,— садитесь и читайте. Я забыл свою книгу. Возму ее и сейчас же уйду.

И я взял книгу со стола.

— Счастье, что она не попалась вам в руки,— продолжал я,— иначе вы отругали бы меня.

— Почему? — спросила Царица Пчела.

— Потому что это не поэзия,— ответил я.— Тут одни только грубые факты, изложенные грубо, безо всяких прикрас. Мне очень хотелось бы, чтобы Никхил прочел ее.

— Но почему,— повторяла Царица Пчела, чуть нахмурившись,— почему вам хотелось бы?

— Он свой брат, мужчина. Ведь если я с ним и со-
рюсь, то только из-за того, что он предпочитает смотреть
на мир сквозь туман своих фантазий. Ведь из-за этого он
и на наше движение свадеши смотрит точно на поэму
Лонгфелло, размер которой должен быть строго выдержан.
Но мы действуем прозаическими дубинками и не призна-
ем поэтических размеров.

— Но какая связь между этой книгой и свадеши? —
продолжала допрашивать Царица Пчела.

— Это можно понять, только прочитав ее. Никхил
предпочитает во всем — будь то свадеши или что-нибудь
другое — руководствоваться прописными истинами, но это
ведет лишь к тому, что он поминутно паталкивается на
острые углы, которыми изобилует человеческая патура,
ушибается и начинает клясть эту самую патуру. Он никак
не хочет понять простой истины: человек появился значи-
тельно раньше всех этих пышных фраз и, без всякого сом-
нения, переживет их.

Помолчав некоторое время, Царица Пчела задумчиво
сказала:

— Разве человеку не свойственно стремиться победить
свою природу?

Я улыбнулся про себя: «О Царица, ведь это вовсе не
твой слова, а Никхила. Ты-то ведь человек здравый. Твоя
кровь и плоть не могут не отозваться на зов природы. Так
смогут ли удержать тебя в сетях иллюзий заповеди, кото-
рые столько времени вдавливали тебе в голову? Ведь в
твоих жилах пылает огонь жизни. Кому и знать это, если
не мне? Сколько же еще времени смогут они охлаждать
твой пыл холодными компрессами прописной морали?»

— Слабых большинство, — сказал я вслух. — Они из са-
мозащиты дено и ноно бормочут эти заповеди, стараясь
притупить слух сильных. Природа отказала им в твердо-
сти, вот они и делают все, чтобы ослабить других.

— Но ведь мы, женщины, тоже слабые создания, при-
дется, по-видимому, и нам присоединиться к этому разгово-
ру, — заметила Царица Пчела.

— Это женщины-то слабые? — сказал я, улыбув-
шись. — Мужчины умышленно превозносят вашу нежность
и хрупкость, чтобы польстить вам и заставить вас самих
поверить в свою слабость. Но на самом деле вы сильны.
И я верю, что вам удастся разрушить крепость, созданную
заповедями мужчин, и обрести свободу. Мужчины много
говорят о своей так пазываемой свободе, но взгляните

внимательнее — и вы увидите, насколько они, в сущности, связаны. Не их ли собственное творение — шастры, связывающие их по рукам и по ногам? И не они ли раздували огонь, чтобы выковать для женщины золотые кандалы, которые в конце концов сковали их самих? Если бы мужчины не обладали этой удивительной способностью запутываться в сетях, которые сами же сплетают, кто бы мог сдерживать их? Они обожествляют ими же расставленные ловушки. Раскрашивают свое божество в разные цвета, наряжают в различные одежды, почитают под всякими названиями. Тогда как вы, женщины, телом и душой стремитесь жить настоящей, реальной жизнью. Истина близка вам, как выношенное и выкормленное вами дитя.

Царица — умная женщина, она не собиралась так просто покинуть поле боя.

— Если бы это была правда, не думаю, чтобы мужчины любили женщин, — парировала она.

— Женщины прекрасно сознают опасность, которая кроется в этом, — ответил я, — они понимают, что мужчинам необходима иллюзия, и создают ее, пользуясь у мужчин же заимствованными пышными фразами. Для них не секрет, что пьяница ценит вино больше, чем пищу. И они всячески стараются выдать себя за опьяняющий напиток, тогда как на деле они всего-навсего прозаическая пища. Самим женщинам иллюзии не нужны, и, если бы не мужчины, они ни за что не стали бы притворяться обольстительными и ставить себя в затруднительное положение.

— Зачем же в таком случае вы хотите разбить иллюзии? — спросила Царица Пчела.

— Во имя свободы. Я хочу видеть пашу родину свободной, я хочу, чтобы взаимоотношения людей основывались на свободе. Родина для меня нечто совершенно реальное, и я не могу смотреть на нее, находясь в чаду моральных поучений. Я реалист так же, как реальны для меня вы, и я против оглуляющей и оупляющей болтовни.

Лупатников нельзя пугать. Мне это известно. Но я по натуре порывист, осторожные движения мне несвойственны. Понимаю, что в тот раз я зашел слишком далеко в своих рассуждениях. Понимаю, что сказанное мною должно было произвести потрясающее впечатление. Но женщину можно победить только смелостью. Мужчины тешат себя иллюзиями, женщины предпочитают реальные факты. Мужчины молятся кумиру собственных идей, а женщины всю свою дань спешат принести к ногам сильного.

Наш разговор становился все более оживленным. И надо же было войти в это время в комнату старому учителю Никхила — Чондронатху-бабу. Как приятно было бы жить на свете, если бы не старые учителя, обладающие удивительной способностью отравлять существование. Люди, подобные Никхилу, готовы до самой смерти обращать весь мир в школу. По его мнению, школа должна следовать за человеком по пятам, она должна вторгаться даже в семейную жизнь. Я же считаю, что школьных учителей следовало бы сжигать вместе с умершими учениками.

И вот в самый разгар нашего спора в дверях появилось это ходячее олицетворение школы. В каждом из нас, по-видимому, сидит ученик. Поэтому даже я застыл на месте, словно меня уличили в чем-то дурном. Бедняжка Бимола в одно мгновение превратилась в примерную ученицу, которая сидит с серьезным видом на первой парте. Казалось, она вдруг вспомнила о предстоящих ей экзаменах. На свете есть люди, которые, как стрелочники, неустанно дежурят у железнодорожного полотна, чтобы переводить ход вагонных мыслей с одного пути на другой.

Войдя в комнату, Чондронатх-бабу слегка смутился и сделал попытку тотчас удалиться. Он забормотал: «Простите... я...» — но Царица Пчела склонилась перед ним и, взяв прах от его ног, сказала:

— Господин учитель, не уходите, прошу вас, садитесь, пожалуйста.

Можно было подумать, что она тонет в омуте и просит учителя о помощи. Трусишка! Впрочем, может, я ошибся. Возможно, здесь таилась и доля женского кокетства — ей хотелось набить себе цену в моих глазах, она как бы говорила мне: «Пожалуйста, не воображайте, что я очарована вами. Я чту Чондронатх-бабу куда больше».

Ну что же, чтите! Учителя тем и живут! Но я не учитель, и мне эти пустые знаки внимания не нужны. Пустотой сыт не будешь. Я признаю только существенное.

Чондронатх-бабу завел речь о свадьбе. Я решил его не прерывать и не возражать ему. Самое хорошее — давать старикам высказаться. Тогда они начинают думать, что в их руках находится механизм вселенной. Им и невдомек, как велика пропасть, отделяющая их болтовню от окружающего мира. Сначала я молчал. Но даже злейший враг не упрекнет меня в чрезмерной терпеливости, и, когда Чондронатх-бабу сказал: «Однако если мы хотим по-

жипать плоды там, где никогда ничего не сеяли, то...» — я не мог более выдержать и воскликнул:

— А кому нужны плоды! «Не о воздаянии думай,— сказано в Гите,— а о том, что творишь».

Чондронатх-бабу удивился:

— Чего же вы хотите?

— Териий,— ответил я.— Их легко разводить.

— Терии не только преграждают путь другим,— возразил Чондронатх-бабу,— они могут стать помехой и на вашем пути.

— Все это школьная мораль,— воскликнул я.— Мы не пишем упражнений на доске. Но у нас горят сердца, и это самое главное. Сейчас мы выращиваем терии, чтобы щипы их вопзлились в чужие ноги; если позже мы наколемся сами, что ж, будет время раскаяться. Ничего страшного в этом нет! Мы еще успеем остыть, когда придет наше время умирать. Пока же мы охвачены огнем, будем кипеть и бурлить.

— Ну и кипите себе на здоровье,— ответил с усмешкой Чондронатх-бабу,— но не пойте себе дифирамбов и не воображайте, что в этом заключается героизм. Народы, обеспечившие себе право жить на нашей планете, добились этого не бурными чувствами, а упорным трудом. Те же, кто работать не любит, полагают, что желанной цели можно достичь вдруг, без труда, паскоком.

Я мысленно засучивал рукава, готовясь дать сокрушительный отпор Чондронатху-бабу, но тут в комнату вошел Никхил. Учитель встал и, обращаясь к Царице Пчеле, сказал:

— Позволь мне удалиться, мать, у меня есть дело.

Как только он вышел, я сказал Никхилу, указав на английскую книгу:

— Я говорил с Царицей Пчелой об этой книге.

Усыпить подозрения огромного большинства людей можно только с помощью хитрости, но этого вечного ученика легче всего провести искренностью. Обманывать его надо в открытую. Поэтому, играя с ним, правильное всего выложить свои карты на стол.

Никхил прочитал заглавие книги, но ничего не сказал.

— Люди сами виноваты в том, что действительный мир тонет под массой словесной тухли,— продолжал я.— Писатели же, подобные этому, берут на себя труд смести непугную шелуху и представить человечеству вещи в их настоящем виде. Тебе следует прочитать эту книгу.

— Я ее читал.

— Ну и что ты о ней думаешь?

— Такие книги полезны людям, действительно желающим мыслить; для тех же, кто только пускает пыль в глаза, — они яд.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Видишь ли, проповедовать отказ от личной собственности в наше время может лишь абсолютно честный человек. В устах же вора эта проповедь будет звучать фальшиво. Те, кто действует под влиянием инстинкта, никогда не поймут этой книги правильно.

— Инстинкт — это фонарь, данный нам природой, он помогает нам найти дорогу. Уверять, что инстинкт — фикция, так же глупо, как выколоть себе глаза в надежде стать ясновидящим.

— Право следовать зову инстинкта я признаю только в человеке, умеющем этот инстинкт сдерживать. Чтобы увидеть вещь, не надо тыкать ею в глаза, этим ты только повредишь зрение. Необузданный инстинкт уродует человека, не позволяет ему видеть все в истинном свете.

— А по-моему, Никхил, ты просто тешись свой ум, глядя на жизнь сквозь золотистую дымку всяких этических тонкостей. В результате в нужный момент ты видишь мир в пелене тумана, и это мешает тебе как следует вцепиться в работу.

— Я не считаю стоящей работу, в которую надо «вцепиться», — нетерпеливо сказал Никхил.

— Вот как?

— Что мы, собственно, спорим? Бесплодный разговор не вызывает у меня желания продолжать его.

Мне хотелось, чтобы Царица Пчела тоже приняла участие в споре. До сих пор она не произнесла ни одного слова. Не слишком ли я потряс ее своей откровенностью? Может быть, она начала терзаться сомнениями? Может быть, ей захотелось узнать, что думает учитель на этот счет? Как знать, не превышена ли сегодняшняя мера? Но как следует встряхнуть ее было совершенно необходимо. Человек должен с самого начала знать, что даже незыблемые истины могут вдруг оказаться чрезвычайно шаткими.

— Я рад, что у нас зашел этот разговор, — сказал я Никхилу. — Знаешь, я уже готов был дать эту книгу Царице Пчеле.

— Что же в том плохого? Если я прочел ее, то почему бы не прочесть и Бимоле? Мне хочется только напомнить

одну вещь. Сейчас в Европе модно ко всем явлениям подходить с научной точки зрения. Говорят, например, что человек — это только физиология, биология, психология или социология. Но, сделайте милость, не забывайте: человек гораздо глубже и шире, чем все эти науки. Ты все смеешься надо мной, называешь вечным школьником, но ведь это относится именно к тебе подобным, а не ко мне. Это вы ищете правду в научных трактатах, забывая о том, что познать ее можно только самому, на опыте.

— Почему ты так возбужден сегодня, Никхил? — па-смешливо спросил я.

— Потому что ясно вижу, как вы стараетесь оскорбить человека, умалить его достоинства.

— Откуда ты это взял?

— Я все вижу. Об этом мне говорят мои оскорбленные чувства. Вы хотите осквернить все самое хорошее в человеке, самое святое, самое прекрасное.

— Ты говоришь глупости!

Никхил неожиданно встал.

— Видишь ли, Шондип, — сказал он, — получив смертельную рану, человек еще не обязательно умирает. Я готов к любым испытаниям, и потому меня не страшит никакая правда!

И он стремительно вышел из комнаты. Я в недоумении смотрел ему вслед, как вдруг стук падающих на пол книг привлек мое внимание: Царица Пчела, обойдя меня стороной, взволнованными, быстрыми шагами направилась вслед за ним к выходу.

Поразительный человек этот Никхилеш! Он хорошо видит, что в его доме собирается гроза. Так почему же он не схватит меня за шиворот и не выбросит вовн? Я знаю, он ждет, чтобы ему посоветовала сделать это Бимола, но, если она ему скажет, что их брак ошибка, он склонит голову и покорно согласится с ней. Он не в состоянии понять, что самая большая ошибка — это признание своих ошибок. Идеализм расслабляет человека, и Никхил тому прекрасный пример, — другого такого человека я не встречал. Поразительный чудак! Вряд ли он годится в герои романа или драмы, не говоря уже о настоящей жизни. А Царица Пчела? Сегодня, кажется, она пережила глубокое потрясение. Она внезапно осознала, куда течение уносит ее. Теперь ей надо либо повернуть назад, либо про-

должать свой путь, но уже с открытыми глазами. Возможно, она будет то стремиться вперед, то отступать. Но меня не беспокоит это. Когда загорается платье, то чем больше мечешься в испуге, тем сильнее полыхает пламя. Страх, который обуял Бимолу, только разожжет влечение ее сердца. Я видел еще не такое. Я помню, как вдова Кушум, дрожа от страха, прибежала и отдалась мне. А девушка-евразийка, жившая рядом с нами? Можно было подумать, что в один прекрасный день она в гневе растерзает меня. Однажды с криками: «Уходи, уходи!» — она с силой вытолкнула меня за дверь, но стоило мне перешагнуть порог, как она бросилась к моим ногам и, обхватив их, стала биться головой об пол, пока не потеряла сознание. Я их хорошо знаю! Гнев, страх, стыд, ненависть — все эти чувства, как горючее, разжигают огонь жепских сердец, испепеляя их. Идеализм — единственное, что может погасить эти чувства. Женщинам он несвойствен. Они молятся, совершают покаяние, получают благословение у ног гуру с таким же постоянством, с каким мы ходим на службу, но идеализма не поймут никогда.

Больше я, пожалуй, не буду вести с ней таких разговоров. Лучше дам ей почитать несколько модных английских книжек. Пусть она постепенно поймет, что инстинкт имеет право на существование и уважительное отношение к нему считается «современным», стыдиться же его и возводить в добродетель аскетизм, наоборот, несовременно. Главное — уцепиться за какое-нибудь словечко, вроде «современный», — и все будет в порядке. Ведь ей необходимо покаяться, обратиться к гуру, выполнить положенный обряд, а идеализм для нее — пустой звук.

Как бы то ни было, но надо досмотреть пьесу до конца. К сожалению, не могу похвастаться, что я всего лишь зритель, который сидит в литерной ложе и время от времени аплодирует артистам. Сердце у меня беспокойно, нервы напряжены. Когда ночью я тушу свет и ложусь в постель, мою тихую комнату наполняют ласковые слова, робкие желания, нежные прикосновения. Проснувшись утром, я ощущаю трепетное волнение, а по жилам моим разливается музыка.

В гостиной на столе стояла двойная рамка с фотографиями Никхила и Царицы Пчелы. Ее карточку я вынул. Вчера я показал Царице Пчеле на пустое место и сказал:

— Кража была вызвана чьей-то скупостью, поэтому грех за совершенное деяние падает равно и на вора и на скупого. Что вы скажете на это?

— Фотография была скверная, — заметила Царица Пчела, слегка улынувшись.

— Что же делать? Портрет — всегда только портрет. Придется довольствоваться таким.

Царица Пчела взяла какую-то книгу и начала ее перелистывать.

— Если вы педовольны, — продолжал я, — то я постараюсь как-нибудь восполнить нанесенный урон.

Сегодня я это сделал. Фотография была снята в ранней юности — лицо мое дышит молодостью, молада и душа. Тогда у меня еще сохранялись кое-какие иллюзии относительно этого мира, да и будущего. Вера вводит людей в заблуждение, но у нее есть одно большое достоинство: она придает чертам лица одухотворенное выражение.

Рядом с портретом Никхила теперь стоит мой портрет. Ведь мы старые друзья!

РАССКАЗ НИКХИЛЕНА

Прежде я мало интересовался собой. Теперь же нередко гляжу на себя со стороны и стараюсь представить, каким видит меня Бимола. Какая скорбно-торжественная фигура представляется, наверно, ее взору. И все это — моя привычка чересчур серьезно относиться ко всему на свете.

А этого не следует делать. Гораздо лучше шагать по жизни смеясь, чем орошая ее слезами. Ведь только так, в сущности, и можно продолжать жить. Мы только потому и можем наслаждаться едой и сном, что умеем, словно от призраков, отмахиваться от большинства невзгод, стерегущих нас и дома и в мире. Если бы хоть на одно мгновение мы признали всю серьезность их — разве сохранились бы у нас аппетит и сон?

Но я не могу причислить себя к людям, легкомысленно шагающим по жизни. В моей печали, кажется, заключена вся мировая скорбь. Оттого так печально мое лицо, что, глядя на меня, нельзя удержать слез.

О несчастный, почему ты не выйдешь на большую дорогу вселенной и не почувствуешь себя частицей ее? Кто тебе эта Бимола — крошечная песчинка в безбрежном вечном океане человечества? Твоя жена! Но что такое

жена? Радужный мыльный пузырь, который ты сам выдул через соломинку и теперь стережешь день и ночь. Но ведь стоит прикоснуться к нему булавкой, и он мгновенно лопнет.

Моя жена! В самом деле, моя? А если она скажет: «Нет, я сама по себе?» Должен ли я тогда сказать: «Как это так? Разве ты не моя?» Жена! Но довод ли это? И в этом ли истина? Разве можно в одно слово, как в тюрьму, заключить всего человека?

Моя жена! Было ли для меня что-нибудь на свете более чистое, более прекрасное? Я оберегал ее от всего, не позволял жизненной грязи коснуться ее. Для нее курился фимиами моего восхищения и пела музыка моей страсти; к ее ногам складывал я весной пышные цветы бокула, а осенью нежные цветы шифали. И если сейчас мутный поток унесет ее с собой в водосточную канаву, как бумажный кораблик, неужели я...

Но я опять впадаю в скорбный тон. При чем тут «мутный поток», при чем «канавка»? Горькие слова, брошенные в припадке ревности, не меняют сути дела. Если Бимола больше не моя, она и не станет моей, а насилье и злость только подтвердят это. А если разрывается сердце? Пусть разрывается. Ни мир, ни даже я сам от этого не погибнем. Самая тяжкая утрата в жизни — это утрата человека. И все-таки можно переплыть океан слез и достичь другого берега, иначе люди не плакали бы.

Но общество... Что ж, в конце концов, дело общества, как оно посмотрит на это. Я горюю о себе, а не об обществе. Если Бимола скажет, что она больше не жена мне, разве я буду страдать из-за того, что та, которую общество называло моей женой, покинула меня.

От беды не уйдешь. Одного я не должен допускать ни в каком случае — нельзя терзаться мыслью, что жизнь моя потеряла смысл оттого, что мной пренебрегли. Смысл моей жизни не ограничивается семейным кругом. Есть и другие ценности, которых ничто не уничтожит. Настало время теперь подумать о них в полную меру.

Нужно взглянуть на себя и Бимолу со стороны: я долго кутал ее в дорогие покровы своего воображения. И хотя образ, созданный моей фантазией, не всегда совпадал с образом настоящей Бимолы, тем не менее в душе я боготворил ее.

Я, и только я, виноват в том, что сотворил себе кумира из Бимолы. Я был ненасытен. Я наделял ее неземными

совершенствами, потому что это было приятно мне самому. Но Бимола всегда оставалась сама собой. Нелепо было думать, что она станет разыгрывать из себя небесное создание ради моего удовольствия. Всевышний не обязан сотворять жепщипу по моему заказу.

Во всяком случае, теперь пора посмотреть правде в глаза и окончательно отрешиться от прекрасных грез. Я долго наблюдал за происходящим, не понимая его смысла. И только сейчас мне стало очевидно, что в жизнь Бимолы я вошел случайно. По натуре она лучше всего подходит к союзу с Шондипом. И это для меня сейчас главное.

В то же время я не могу из ложной скромности согласиться с тем, что отвергнут по заслугам. Я знаю, что у Шондипа есть много привлекательных качеств, которые долгое время держали и меня в плену его обаяния. И все же мне кажется, что как человек он стоит не выше меня. И если свадебная гирлянда ляжет на его плечи, всевышний осудит ту, что оказала ему это унижительное предночтение. Я говорю это не из хвастовства. Чтобы спасти себя от бездны отчаяния, я должен совершенно честно дать себе отчет, чего же я, в конце концов, стою. Если то, что произошло, расценить как непризнание моих человеческих достоинств, тогда я заслужил быть хламом на свалке жизни. Какой от меня тогда прок!

Пусть же, пройдя сквозь горнило невыносимых страданий, я познаю радость освобождения. Многого стало мне ясно теперь. Я научился отличать свое истинное «я» от того, что было создано моим воображением. Баланс подведен, и в итоге я сам — не калека, не нищий, не больной, за которым требуется женский уход, а человек, крепко сбитый рукой творца. Он перенес все, что выпало ему на долю, и это не сломило его.

Несколько минут тому назад ко мне зашел учитель и, положив руку на плечо, сказал:

— Иди, Никхил, спать, уже глубокая ночь.

Я ложусь поздно, когда Бимола уже спит крепким сном. Иначе мне трудно. В течение дня мы встречаемся, разговариваем, — но о чем могу говорить я с ней в постели под покровом ночной тишины? Мне слишком стыдно, — стыдно душой и телом.

— Почему же вы сами до сих пор не спите? — спросил я учителя в свою очередь.

Учитель едва заметно улыбнулся.

— Прошли годы, когда я спал,— сказал он, уходя,— теперь настало время бодрствовать.

Я уже собрался отложить дневник и отправиться спать, как вдруг увидел в окно яркую, крупную звезду, сверкавшую в просвете грозowych туч. Казалось, она говорила: «Я здесь всегда. Сколько на моих глазах было завязано и разорвано уз. Я пламя вечного светильника брачных покоев, я вечный поцелуй брачной ночи». И внезапно в душе моей пробудилась вера, что где-то там, за пределами вселенной, меня спокойно ждет вечная любовь. В скольких рожденьях, в скольких зеркалах видел я ее отражение — в зеркалах разбитых, кривых и запыленных. Но стоило мне сказать: «Это зеркало мое, я запру его в шкапу», — и отражение моментально исчезало. Пусть! При чем тут зеркало, при чем тут отражение!

О любимая! Я верю — твоя улыбка не увянет никогда и алая полоска твоего пробора будет с каждой новой зарей все ярче пламенеть в лучах восходящего солнца.

А из темного угла слышится голос дьявола: «Это все сказки, которыми обманывают детей». Допустим. Детей надо успокаивать. Но ведь плачут сотни тысяч, миллионы; неужели успокоить их можно только обманом? Нет, вечная любовь не обманет меня, ибо она — настоящая любовь. Настоящая! Вот почему я столько раз видел ее и не раз еще увижу. Я видел ее, несмотря на все свои ошибки и заблуждения, видел сквозь пелену набегавших слез, я терял ее в гуще толпы на ярмарке жизни и вновь находил и знаю, что опять увижу ее, перешагнув порог смерти. О жестокая, не смейся более надо мной. Если я не смог отыскать тебя по следам на дороге, по аромату твоих распущенных волос, повисшему в воздухе, не заставляй меня вечно это оплакивать.

Звезда, выглянувшая из-за туч, говорит мне: «Не бойся, то, что вечно, будет всегда».

Теперь я отправляюсь к Бимоле. Она спит, разметавшись в постели, борьба с самой собой утомила ее. Я не стану ее будить, лишь запечатаю на лбу поцелуй — знак моего преклопения. Я верю, после смерти забудется все — все мои ошибки и огорчения, но трепет сегодняшнего поцелуя навсегда сохранится в моей памяти, потому что гирлянда, сплетенная из таких поцелуев, переходя из одной жизни в другую, украсит в конце концов чело вечной возлюбленной.

В комнату вошла медико-рани. Пробило два часа ночи.

— Что ты делаешь, братец? Иди спать, дорогой. Не сокрушайся так. Мне больно смотреть на тебя, до чего у тебя измученный вид.

Из глаз ее закапали слезы.

Я молча поклонился и, взяв прах от ее ног, ушел к себе в спальню.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Вначале меня не мучили сомнения, я не знала страха и лишь испытывала величайшую радость от сознания, что отдаю всю себя без остатка служению родине. Я на опыте познала, какое блаженство дает человеку полное самопожертвование!

Вполне возможно, что в один прекрасный день бурные страсти, бушевавшие в моей душе, улеглись бы сами собой. Но Шондип-бабу не желал этого — он и не думал скрывать своих чувств. Его голос будто ласкал меня, униженная мольба сквозила в его взгляде. Но за всем этим я чувствовала безумную силу желания, и временами мне казалось, что ураган его страсти вот-вот с корнем вырвет меня из родной почвы и поволочет за собой.

Я не хочу лгать. День и ночь ощущала я притягательный жар его страстного желания. Ходить по краю бездны очень заманчиво. Стыдно, страшно, но вместе с тем так сладко! И ко всему этому мое безграничное любопытство! Ведь я едва знала Шондипа-бабу, и он, несомненно, никогда не будет близок мне. И вот этот могучий человек, чья молодость горела тысячами огней, таил в душе огонь кипучей, всепобеждающей страсти — страсти ко мне! Можно ли было представить себе все это? Океан, бушевавший где-то очень далеко и известный мне лишь из книг, внезапно преодолел в бурном порыве все препятствия, достиг маленького пруда на задворках нашего сада, где мы обычно чистили посуду и брали воду, вскипел пышной пеной и рухнул к моим ногам.

Сначала я преклонялась перед Шондипом-бабу, но это длилось недолго. Я перестала уважать его. Больше того, я начала смотреть на него сверху вниз. Он не выдерживал никакого сравнения с моим мужем. И если не сразу, то постепенно я поняла, что то, что в Шондипе-бабу казалось мужеством, было всего лишь сластолюбием.

Однако в его руках пахотилась вина моих чувств, моей крови и плоти, и он не переставал играть на ней. Я гото-

ва была возненавидеть и его руки, и эту вину, по она продолжала звучать, и ее волшебная мелодия будоражила меня. «Ты погибнешь сама в пучине этой мелодии и погубишь все, что у тебя есть», — внушали мне каждый мой нерв, каждый удар пульса.

Не скрою: я испытывала порой чувство... не знаю, как бы это объяснить, — чувство сожаления, что я не могу умереть сейчас.

Чондронатх-бабу заходит ко мне всякий раз, как у него выдается свободная минутка. Он обладает особой силой: он умеет поднять мой дух на такую высоту, с которой я могу в одно мгновение окинуть взором всю свою жизнь. И тогда я начинаю понимать, что пределы ее не так ограничены, как казалось мне прежде.

Но зачем все это? Действительно ли я хочу вырваться из сладкого плена? Нет! Пусть горе постигнет нашу семью, пусть покинет и съезжится все лучшее, что есть во мне, лишь бы сохранилось чудесное блаженное состояние, в котором я нахожусь.

Как странно негодовала я, когда муж моей золовки Мулу, напившись, бил ее, а затем умолял о прощении и клялся, что больше никогда не притронется к вину, и в тот же вечер снова начинал пить.

Но чем лучше опьянение, в котором живу я сама? Вся разница в том, что вино, которое пьянит меня, не покупают и не разливают в стаканы, оно играет и пенится у меня в крови. И я не могу, не знаю, как уберечься от соблазна. Неужели такое состояние может продолжаться долго?

Иногда я, спохватившись, оглядываюсь на себя и думаю: «Все это нелепый сон. В один прекрасный момент он должен оборваться и рассеяться. Слишком уж все это неправдоподобно, во всем этом нет никакой связи с моим прошлым. Что это? Откуда это наваждение? Я ничего не понимаю».

Однажды меджо-рани, смеясь, заметила:

— Чхото-рани показывает чудеса гостеприимства — она так ухаживает за гостем, что он, кажется, решил навсегда остаться у нас. В свое время нам тоже приходилось принимать гостей, но мы не лезли из кожи вон, чтобы угодить им. По глупости мы все свое внимание отдавали мужьям. Бедный братец расплачивается за свои современные взгляды. Ему следовало бы войти в наш дом гостем, тогда еще он мог бы рассчитывать на какое-то внимание, а теперь похоже на то, что делать ему тут нечего. Ты су-

щий дьяволенок, — неужели тебя совсем не трогает его вид?

Такие выпады меня не задевали. Разве могли понять мои невестки, что лежало в основе моего преклонения перед Шондипом-бабу. Восторженное сознание, что я приношу жертву родине, как броня, защищало меня от стрел их сарказма.

С некоторых пор мы перестали говорить о родине. Теперь темами наших разговоров были взаимоотношения мужчин и женщин в наше время и тому подобные вопросы. Отдавали мы должное и поэзии — английской и винуитской. Все это под аккомпанемент мелодии — песляханной по красоте, в низких бархатистых нотах которой мне слышалась властная сила и истинная мужественность.

Наконец все покровы спали. У Шондипа-бабу не было ни малейшей причины продолжать жить у нас, не было никаких оснований и для наших разговоров с глазу на глаз.

Поняв это, я страшно рассердилась на себя, на меджо-рани, на весь мир и решила: нет, больше я ни за что не выйду из своих комнат, не выйду даже ценою смерти!

Два дня я держалась. За это время мне впервые стало ясно, как далеко я зашла. Мне казалось, что я окончательно утратила вкус к жизни. Все было мне противно. Я словно превратилась в ожидание. Чего я ждала? Кого? От напряженной тревоги кровь моя возволнованно звенела.

Я придумывала себе занятия. Пол в моей спальне был достаточно чист, но я заставила снова вымыть его, выливая один кувшин воды за другим. Вещи в шкафу лежали в определенном порядке, я повытаскивала их, перетряхнула без всякой нужды и уложила все по-повому. На купанье у меня ушло времени вдвое больше, чем обычно. Я даже не нашла времени до обеда причесаться как следует и, кое-как подвязав волосы, ходила по дому, придираясь ко всем, пока наконец не добралась до кладовки. Убедившись в исчезновении многих продуктов, я, однако, не посмела никого потребовать к ответу — ведь невольно у каждого мелькнула бы мысль: «А где раньше были твои глаза?»

Короче говоря, весь день я вела себя как одержимая.

Назавтра я попыталась заняться чтением. Не помню, что за книгу читала я в тот день. Погрузившись в задумчивость, я и не замечала, как, читая, очутилась на веран-

дэ, соединившей женскую половину дома с гостиной. Машинально остановилась я у окна и приподняла жалюзи. Прямо против меня, по ту сторону квадратного внутреннего дворика, были окна комнат внешней половины нашего дома. Одна из этих комнат уже на другом берегу моего жизненного океана, думала я, и переправы туда нет. Мне оставалось только смотреть. Я — словно дух былых правителей, которых уже давно пет в живых, но все вокруг напоминает об их существовании.

И вдруг я увидела Шондипа. С газетой в руках он вышел на веранду. Вид у него был чрезвычайно раздраженный, можно было подумать, что злобу его вызывают и дворик, и перила веранды. Он скомкал и отшвырнул прочь газету жестом, не оставлявшим сомнения в том, что он с удовольствием перевернул бы вверх тормашками весь мир. Моего решения не выходить к нему как не бывало. Но не успела я сделать и шага в сторону гостиной, как увидела позади себя меджо-рани.

— Великий боже! Нет, это уж слишком! — воскликнула она и скрылась.

В гостиную я не пошла.

На следующий день рано утром ко мне вошла горничная.

— Чхото-рани, пора выдавать продукты.

— Пусть выдаст Хоримоти, — ответила я и, бросив ей связку ключей, села к окну и занялась вышиванием.

Вошел слуга и подал мне письмо.

— От Шондипа-бабу, — сказал он.

Его дерзости нет границ! Что мог подумать слуга? Сердце мое усиленно застучало. Вскрыв конверт, я увидела несколько слов, написанных без всякого обращения: «Срочное дело, касающееся свадьбы. Шондип».

Я отбросила вышивание, подбежала к зеркалу, торопливо поправила волосы. Сари я не переменила и лишь надела другую кофточку, с которой у меня были связаны особые воспоминания. Мне пужно было пройти через веранду, где по утрам обычно сидела меджо-рани и резала бетель. Сегодня такое препятствие меня ничуть не смущало.

— Куда направилась чхото-рани? — спросила она.

— В гостиную.

— Так рано? Утреннее свидание?

Я прошла, ничего не ответив. Невестка насмешливо запела мне вслед:

Ушла моя Радха, исчезла навеки...
Так в темной морской глубине
Скрывается ма́кара... След пропадает.
Незрим он становится мне.

Шондип был в гостинице. Он стоял спиной к двери и внимательно рассматривал иллюстрированный каталог картин Британской академии художеств. Шондип считал себя большим знатоком искусства. Муж однажды сказал ему:

— Пока Шондип жив, художники могут быть спокойны — в нужный момент он придет им на помощь, все объяснит и всему научит.

Мужу несвойственно было говорить колкости, но теперь его характер изменился: он не щадил Шондипа и пользовался любым случаем, чтобы съязвить на его счет.

— А ты считаешь, что художники не пугаются в учителях? — спросил Шондип.

— Таким людям, как мы, придется еще долго учиться у художников, ибо иных средств понять искусство у нас нет.

Но замечание мужа показалось Шондипу смешным.

— Ты, наверно, думаешь, Никхил, — сказал он, — что скромность — это своего рода капитал, который тем больше приносит прибыли, чем чаще пускать его в оборот. Я же считаю, что люди, лишённые самонадеянности, похожи на водяные растения, которые стелются на поверхности и не вырастают корнями в почву.

Каждый раз, присутствуя при таких разговорах, я испытывала настоящее смятение. С одной стороны, мне хотелось, чтобы муж одержал верх в споре и сбил немного спесь с Шондипа, с другой — мне эта беззащитная самоуверенность и влекла меня так к Шондипу. Она слепила глаза, подобно бриллианту чистой воды, и, казалось, готова была помериться блеском и игрой лучей с самим солнцем.

Я вошла в комнату. Я знала, что Шондип слышал звук моих шагов, но он продолжал рассматривать книгу, делая вид, что ничего не заметил. Я боялась, как бы он не начал разговора об искусстве. Я никогда не могла побороть своего смущения, когда он высказывал мнение о картинах. Делать же сугубо безразличный вид, как будто я не пахну в его слова ничего предосудительного, мне бывало трудно. У меня мелькнула мысль, не вернуться ли, но в этот момент Шондип глубоко вздохнул, поднял голову и искусно разыграл удивление при виде меня.

— А, вот вы и пришли! — воскликнул он.

В его словах и тоне я не могла не почувствовать сдержанного упрека. Мое положение было таково, что я приняла этот упрек. Можно было подумать, что он имеет на меня такие права, что даже кратковременное мое отсутствие рассматривает как преступление. Я понимала, что его тон оскорбителен для меня, но, увы, обидеться на него не могла. Я молчала. Стараясь не смотреть в сторону Шондипа, я все время ощущала его жалобный взгляд, устремленный на меня. Что делать! Уж лучше бы он заговорил — тогда я могла бы найти убежище, укрывшись за его собственными словами. Прошло несколько минут, и наконец я не выдержала и спросила:

— В чем дело? О чем вы хотели поговорить со мной? Шондип с притворным изумлением ответил:

— Но разве всегда надо говорить только о деле? Неужели дружба сама по себе ничего не стоит? Почему такое отношение к самому великому и прекрасному на земле? Можно ли, Царица Пчела, выпрыгивать за дверь, как бродячую собаку, преданное сердце?

Все во мне затрепетало. Опасность нарастала, и отворотить ее было уже нельзя. Страх и безудержная радость боролись в моей душе. Вынесу ли я на своих плечах это бремя? Устою ли? Или буду повергнута в прах?

Руки и ноги у меня дрожали.

— Шондип-бабу, вы авали меня по какому-нибудь делу, связанному со свадьбой? — сделав над собой усилие, повторила я. — Я бросила все домашние дела и пришла.

— Но ведь я как раз это и пытаюсь объяснить вам, — улыбувшись, ответил он. — Я пришел сюда, чтобы совершить обряд поклонения, и вы знаете это. Разве я не говорил вам, что вы олицетворяете в моих глазах Шакти нашей родины? Ведь родина — это отнюдь не географическое понятие. Кому придет в голову отдать жизнь за географическую карту? Только увидев вас, я понял, как прекрасна моя родина, как дорога она мне, сколько дает силы и энергии. Приняв благословение от вас, я буду знать, что это моя родина благословила меня на дальнейшую борьбу. Если мне суждено пасть пораженному смертоносной стрелой, то не на пыльную землю страны, очертания которой известны мне из атласа, мысленно опускаю я, а на любовно расстеленное сари. И знаете, на какое? На то самое, какое было на вас в тот день: сари цвета огненной земли, с алой, как кровь, каймой. Я никогда его не забуду.

ду. Такие воспоминания дают силу ярко жить и красиво умереть.

Глаза Шондипа горели. Я не могла понять, был ли то пламень страсти или пламень преклонения. Мне вспомнился тот день, когда я впервые его услышала. Тогда я неудомавала: что передо мной — огненная стихия или человек? С обыкновенными людьми мы держимся просто. Мы знаем много правил на этот счет. Но ведь огонь — это совсем другое. В одно мгновение он ослепляет вас, делая самое гибель прекрасной. Кажется, будто его истинное «я» долго таилось в груди ненужного сухого хвороста, но вдруг вырвалось на свободу и с дьявольским хохотом в мгновение ока поглотило все, что принадлежало жалкому скряге.

Продолжать разговор не было сил. Меня охватил страх: я боялась, что Шондип забудется и схватит меня за руку. Он трепетал, как колеблемый ветром язык пламени, а глаза его сыпали искры.

— Как можете вы отдавать предпочтение мелким домашним хлопотам? — воскликнул Шондип. — Вы — обладающая властью посылать нас на жизнь и на смерть! Неужели такая сила должна быть скрыта покровом оптохпура? Прочь ложный стыд! Умоляю вас, не слушайте людских толков. Забудьте все запреты и вырвитесь на свободу. Сегодня же!

В словах Шондипа-бабу искусно сочетались его вдохновенная любовь к родине и не менее пламенные чувства ко мне. Слушая его, я чувствовала, как закипает моя кровь, как рассыпаются в прах последние сомнения. Пока речь шла об искусстве, вишнунтской поэзии или проблемах пола, о реальном или переальном, я все время испытывала желание спорить, говорить ему колкости. Но сегодня жар его слов снова воспламенил меня, и я забыла стыд. Я словно была богиней в расцвете своей красоты и женственности. О, почему не сияет яркий ореол над моей головой? Почему не срываются с моих уст пламенные призывы, которые, словно мантры, повторяла бы страна в час своего крещения огнем?

В этот момент в комнату с воплями и причитаниями вбежала моя служанка Кхема.

— Рассчитайте меня, и я уйду, — кричала она, — никогда так... — Рыдания заглушали ее слова.

— Что такое? В чем дело?

Оказалось, что Тхако, служанка меджо-рани, ни с того ни с сего начала ссориться с Кхемой и страшно изругала ее. Все мои обещания разобраться позже в этой ссоре ни к чему не привели: Кхема никак не могла успокоиться.

Казалось, что на утреннюю мелодию светильника, звучащую в моей душе, вдруг опрокинули лоханку помоев. Будто вся типа стоячего пруда на женской половине дома вдруг всплыла на поверхность.

Чтобы скрыть все это от глаз Шопдипа, я поспешно пошла к себе. Моя невестка продолжала сидеть на веранде, поглощенная приготовлением бетеля. На лице ее играла улыбка, и она тихонько напевала:

Ушла моя Радха, исчезла навеки...

Она делала вид, что понятия не имеет о происшедшем скандале.

— Почему твоя Тхако набросилась на Кхему? — обратилась я к ней.

Невестка удивленно подняла брови:

— Неужели правда? Вот негодная! Да я выгону ее метлой из дому. Подумать только, так испортить тебе утренний прием! Но и Кхема тоже хороша! Знает ведь, что ее госпожа разговаривает с посторонним человеком, — и на тебе, явилась туда! Нет у нее ни стыда ни совести. Но ты, чхото-рани, не заботься о домашних делах, возвращайся в гостиную, а я постараюсь все уладить.

Удивительна человеческая душа! С какой легкостью ее парус улавливает изменившееся направление ветра.

Здесь, среди истари установившихся правил онтохпура, мои встречи с Шопдипом-бабу показались мне вдруг чем-то таким невозможным и недопустимым, что я даже не нашла, что ответить невестке, и ушла к себе в комнату.

Я не сомневалась, что сегодняшняя ссора двух служанок была делом рук меджо-рани, но я слишком неуверенно чувствовала себя, чтобы отважиться вступить с ней в открытый бой. Ведь не смогла же я выдержать характер до конца, когда требовала в пылу гнева, чтобы муж выгнал привратника Нонку. Меня смутило тогда появление невестки, которая заявила мужу:

— Знаешь, братец, вина-то тут, видно, моя. Мы воспитаны по старинке, и поведение твоего Шопдипа-бабу нам

совсем не правится. Потому я и решила, что привратнику лучше... Но я и в мыслях не собиралась оскорбить чхоторапи, совсем наоборот... Глупая я, и больше ничего!..

Поступки, кажущиеся прекрасными и благородными, когда взираешь на них с вершин патриотизма, быстро теряют свою привлекательность, когда, спустившись на землю, подходишь к ним вплотную. Сперва это сердит, но вскоре на смену злости приходит отвращение.

Вернувшись в спальню, я заперла дверь и, сев к окну, задумалась. Как легка была бы жизнь, если бы между человеком и тем, что его окружает, была полная гармония. Вот меджорани беззаботно сидит себе на верапде и крошит бетель, а как трудно мне теперь зажать свое прежнее положение, вернуться к своим несложным делам. Чем же все это кончится? — спрашивала я себя. Удастся ли мне когда-нибудь освободиться от этого наваждения? Или со сломанными крыльями я окажусь на самом дне пучины, откуда уже нет возврата? Где моя счастливая звезда? Как случилось, что я не сумела воспользоваться выпавшим мне счастьем и сама погубила свою жизнь?

Самые степы, потолок и пол спальни, куда я вступила девять лет назад невестой, теперь смотрели на меня с огорчением и укоризной. Когда мой муж выдержал экзамен на магистра, он привез из Калькутты очень редкую орхидею, родина которой где-то на далеком острове в Индийском океане. Всего несколько листочков, а под ними великолепный каскад цветов, словно просыпавшихся из перевернутой чаши красоты. Казалось, будто радуга заснула под этими листьями и обернулась красивыми гроздьями. Мы решили поместить орхидею над окном нашей спальни. Орхидея цвела всего лишь один тот раз, но надежда вновь увидеть ее в цвету нас не покидала. Странно, что я по привычке и теперь ежедневно поливаю цветок, и его листья, связанные в пучок бечевкой из кокосового волокна, по-прежнему свежи и зелены.

Вот в этой више четыре года тому назад я поставила портрет своего мужа в рамке из слоновой кости. Теперь, когда случайно мой взгляд падает на него, я невольно опускаю глаза. До последнего времени я каждый день по утрам после купанья приносила цветы и, украсив ими портрет, низко кланялась ему. Сколько раз муж сердился на меня за это! Однажды он сказал:

— Этими незаслуженными знаками внимания ты только ставишь меня в неловкое положение.

— Какие глупости!

— Да, и не только ставишь в пеловкое положение, но еще и вызываешь ревность.

— Вот как! К кому же ты меня ревнуешь?

— К своему двойнику, придуманному тобой. Ведь это доказывает только, что тебе нужен необыкновенный человек, который подавлял бы тебя своим превосходством. Вот ты и создала себе еще одного Никхила и обманываешь себя.

— Ты нарочно злишь меня такими разговорами.

— Злишь па свою судьбу, а не на меня, — ответил он. — Ты не могла выбрать меня свободно, выходила за меня замуж с закрытыми глазами! Вот и стараешься теперь исправить ошибку судьбы, награждая меня несуществующими качествами. Дамаяпти сама выбирала себе мужа, потому она предпочла божеству живого человека. А вы, женщины, не можете воспользоваться таким правом и, забыв о живом человеке, лепечете гирляндой придуманное вами божество.

В тот день слова мужа так обидели меня, что я заплакала. И сейчас, вспоминая этот разговор, я чувствую, что не могу поднять глаз на портрет. Потому что в моей шкапулке с драгоценностями лежит еще один портрет. На днях, убирая гостиную, я забрала оттуда рамку, в которой рядом с фотографией мужа была вставлена карточка Шопдыпа. Эту фотографию я не украшаю цветами и не склоняюсь перед ней до земли. Но она спрятана среди моих сокровищ — алмазов, жемчуга и других драгоценных камней. И оттого, что ее надо прятать, она особенно дорога мне. Я достаю ее, только заперев в комнате все двери. Ночью я подкручиваю фитиль керосиновой лампы и, приблизив карточку к огню, молча смотрю на нее. Каждый раз мне хочется сжечь ее в пламени лампы и навсегда покончить с этим. И каждый раз, глубоко вздохнув, я осторожно прячу ее под драгоценностями и запираю шкапулку на ключ. Несчастная, кто подарил тебе все эти жемчуга и алмазы? Какой безграничной любовью перевиты твои украшения! Неужели ты забыла об этом? О, зачем ты живешь на свете?

Шопдип старался внушить мне, что женщинам несвойственны колебания. Они не сворачивают ни вправо, ни влево, убеждал он, а идут всегда вперед. Он часто повторял:

— Когда женщины Бенгалии пробудятся, они гораздо решительнее, чем мужчины, заявят: «Мы хотим». Рядом с таким желанием не может быть места рассуждениям о плохом и хорошем, возможном и невозможном. Они будут

твердить: «Мы хотим!», «Я хочу!» Этот крик — основа первоздания, он не признает никаких правил и предписаний, он стал пламенем, горящим в солнце и звездах. Он не знает пощады. Создавая человека, он поглотил бесчисленные жертвы, и теперь этот страшный, все разрушающий вопль: «Я хочу!» — стал женщиной. А трусы-мужчины стараются остановить этот первобытный поток земляными плотинами, они боятся, что иначе он, смеясь и играя, сможет в своем беге все грядки в их огородах.

— Мужчины воображают, — продолжал он, — что, соорудив плотины, они на долгие времена сковали эту силу. Однако вода все прибывает. Сегодня водные просторы женских сердец глубоки и спокойны. Сегодня они недвижны и не подают голоса, безмолвно заполняя кувшины, раставленные в кухнях мужчин. Но вода все прибывает, — плотина скоро прорвется. И тогда столь долго сдерживаемые силы с ревом: «Я хочу, я хочу» — устремятся вперед.

Слова Шопдипа звучат у меня в ушах, словно барабанный бой. Они приходят на ум, когда в душе моей начинается борьба и угрызения совести мучат меня. Что мне до того, что думают обо мне люди. Позор? Это меджораппи — мой воплощенный позор. Она сидела на веранде, занимаясь приготовлением бетеля, и бросала на меня косые взгляды. Чего ради мне беспокоиться? Чтобы быть самой собой, нужно собрать все силы и без колебания крикнуть во всю мощь: «Я хочу!» — а иначе незачем жить. Почему нежная орхидея и портрет в пише считают, что они имеют право высмеивать и оскорблять меня? Ведь во мне горит первобытный огонь мпроздания! Неудержимое желание выбросить за окно цветок и убрать портрет из пиши охватило меня. Мне захотелось дать волю духу разрушения, бушующему во мне, — пусть видят все, что это такое. Рука поднялась, но вдруг больно запыло сердце, на глаза набежали слезы, я бросилась на пол и зарыдала. Что будет? Что станет со мной? Что уготовила мне судьба?

РАССКАЗ ШОПДИПА

Когда я читаю свой дневник, у меня возникает вопрос: я ли это? Будто я — это сплошные слова, будто я — это книга, обернутая в переплет из плоти и крови.

Земля не мертва, как луна. Она дышит, из ее рек и морей поднимаются клубы пара, окутывающие поверх-

пость, а пыль носится в воздухе и укрывает ее, словно плащом. Если посмотреть на землю со стороны, увидишь лишь свет, отражаемый облаками пара и пыльным покровом. Разве можно различить на ней государства и страны?

Так же и человек — он дышит, он думает, и мысли, которые излучает его мозг, пеленой тумана обволакивают его. В этом тумане стираются грани плоти и крови, и начинает казаться, будто человек — шар, сотканный из теплоты и света. Мне кажется, будто я подобен живой планете. Я — шар идей. Но ведь я — это не только мои желания, мои мысли, мои поступки, а и то, чего я не люблю, чем быть не желаю. Я начал существовать еще до своего появления на свет. Я не мог участвовать в своем созидании. Поэтому мне пришлось иметь дело с тем, что уже было готово.

Я твердо убежден: все великое — жестоко. Справедливыми могут быть лишь заурядные люди. Несправедливость — исключительное право великих.

Сначала поверхность земли была ровной. Однако вулкан пробил ее изнутри огненным рогом и вознесся над нею. Ему не было никакого дела до остальной земли, он действовал сам по себе. Расчетливая несправедливость и убежденная жестокость дают человеку или целому народу богатство и власть. Если один закрывает глаза, другой действует, иначе существование первого было бы слишком безоблачным.

Поэтому я проповедую великое учение — несправедливость. Я заявляю: только несправедливость несет освобождение, она как пламя, которому необходимо непрерывно пожирать что-то, иначе оно угаснет и превратится в пичто. Стоит какому-нибудь народу или человеку утратить способность творить зло вокруг, и ему останется один путь — на свалку мира. Но пока это только идея. Сам я еще не олицетворяю ее полностью. Сколько бы я ни превозносил несправедливость, в броне, одевающей мое «я», остаются трещины, и сквозь них можно рассмотреть нежность и душевную мягкость. Как я сказал, это происходит оттого, что большая часть меня была создана раньше, чем я очутился на этой ступени своего бытия.

Время от времени мы вместе с учениками устраиваем испытание жестокости. Однажды у нас был пикник. Неподалеку на лугу паслась коза. Я спросил:

— Кто из вас сможет отрезать заднюю ногу у живой козы?

Все растерялся, а я пошел и отрезал. Самый жестокий из моих учеников от такого зрелища потерял сознание.

Видя, что я совершенно спокое, они пазвали меня великим святым и взяли прах от моих ног. Иными словами, все увидели в тот день иллюзорный шар моих идей, а никак не меня самого, по странной иронии судьбы созданного ласковым и жалостливым, с тревожно бьющимся сердцем, которое лучше держать скрытым.

В теперешней главе моей жизни, связанной с Бимолой и Никхилом, многое также остается скрытым. Покров не спал бы, если бы с моими идеями не произошло нечто неожиданное.

Мыслям, неотступно преследующим меня, подчинена моя внутренняя жизнь, но есть и другая часть моей жизни, и притом значительная, которая не поддается их воздействию. Отсюда весьма существенное расхождение между мной — таким, каким меня видят другие, и таким, каков я на самом деле, — расхождение, которое я всеми силами стараюсь скрыть даже от самого себя, чтобы не погубить не только свои планы, но и самую свою жизнь.

Жизнь — это нечто неопределенное, клубок противоречий. Мы же, люди мыслящие, стремимся вылепить ее по угодному нам образцу и сообщить ей определенность, которая достигается только удачей. Все, перед кем склонялся мир, начиная с непобедимого Александра Македонского и кончая внешним американским миллиардером Рокфеллером, выбирали себе определенный символ — меч или золотую монету — и приспособливали свою жизнь к этому символу, что и приводило их в конце концов к успеху.

Вот тут-то и начинается наш спор с Никхилом. Я говорю: «Познавай себя», — и он говорит: «Познавай себя». Но в его толковании «познавай» значит как раз «не познавай».

— Добиться того успеха, о котором ты мечтаешь, — сказал он мне как-то, — можно, лишь пойдя на сделку со своей совестью. Но душа выше успеха.

— Ты выражаешься очень туманно, — сказал я в ответ.

— Ничего не поделаешь, — возразил Никхил. — Душа сложнее машины, поэтому если ты станешь разбирать ее по частям, как машину, чтобы добиться ясности понимания, то это ничего тебе не даст. Определить успех много легче, чем определить, что такое душа. Добиваясь успеха, легче всего потерять душу.

— Но где она находится, эта замечательная душа? — спросил я. — На кончике носа или на переносице?

— Там, где она может познать себя в бесковечном и стать выше земных успехов.

— Ну, а как ты связываешь все это с нашей работой на благо родины?

— Так ведь это одно и то же. Если страпа ставит себя и свои дела превыше всего, она достигает успеха, но теряет душу. Если же она стремится к истинному величию, то успеха она может и не добиться, но душу обретет обязательно.

— Где ты видел в истории тому примеры?

— Человек достаточно велик, чтобы не считаться ни с успехами, ни с примерами. Возможно, что примеров нет. Внутри семени тоже нет цветка, есть только зародыш. Впрочем, разве примеров действительно нет? В течение многих веков Будда почитался в Индии, но разве это почитание — результат его деятельности?

Нельзя сказать, чтобы я совершенно не мог понять точки зрения Никхила. В этом-то и кроется для меня опасность. Я родился в Индии, и яд духовных исканий течет у меня в жилах. Как бы громко я ни провозглашал, что идти путем самоотречения безумие, я никогда не был в состоянии окончательно от него отказаться. Этим и объясняется то, что в нашей стране происходят сейчас такие удивительные вещи. Нам одинаково нужны и религия и патриотизм. Нам нужны и «Бхагавадгита» и «Банде Матарам». Но ведь от этого страдает и то и другое, — гром салюта сливается со звуками флейты, и мы уже не различаем их. Я задался целью прекратить эту неразбериху. Я восстанавливаю воинственную музыку в ее прежней силе, ибо звуки флейты приведут в конце концов нас к гибели. Мы не будем стыдиться победного знамени пистикта, которое вручила нам мать-природа, мать Шакти, мать Дурга, посылая нас на поле брани. Инстинкт прекрасен, инстинкт чист — чист, как цветок орхидеи, не пугающийся в омовении.

Один вопрос неотступно преследует меня: почему я допустил, чтобы моя жизнь так тесно переплеталась с жизнью Бимола? Я ведь не шкурка банана, которая иссекается по волнам и цепляется за каждый сучок.

Я уже говорил: если жизнь ограничивать только шаблоном идеи, то идея придет в столкновение с жизнью и человек окажется за ее пределами. То же произошло и со мной.

Я вовсе не ощущаю ложного стыда оттого, что Бимола

стала предметом моего страстного желания. Не может быть никаких сомнений в том, что такое же чувство влечет и ее ко мне. Поэтому она моя по праву. До поры до времени плод висит на ветке. Но это не значит, что он должен вечно так висеть. Всю свою сладость, весь свой сок этот плод накопил для меня. Смысл его существования в том и состоит, чтобы отдать себя в мои руки. Это его естественное предназначение и истинная добродетель, и я сорву этот плод, чтобы не дать ему пропасть зря.

Меня раздражает, что я сам запутываюсь. Бимбола в моей жизни какое-то наваждение. Я рожден для власти, для того, чтобы вести за собой народ, куда захочу. Черп — мой боевой конь. Я оседлал его, в моих руках поводья. Я один знаю, куда будет направлен его бег. Тернии будут впиваться ему в ноги, грязь забивать копыта, но я не дам ему рассуждать и буду гнать его. Этот конь ждет меня у двери, он грызет удила и нетерпеливо бьет копытом. От его звучного ржания содрогается небо.

А я? О чем я думаю? Чего жду? Зачем день за днем упускаю блестящие возможности?

Прежде я воображал, что подобен урагану, что сломанные и оборванные мною цветы только устилают мой путь и не смеют задерживать моего движения вперед. Но теперь я — не ураган, я выюсь вокруг цветка, подобно шмелю.

И я утверждаю: всяческие идеи, которыми любит украсить себя человек, это только внешний покров. Душа человека остается петропутой. Если бы кто-нибудь мог проникнуть в мой внутренний мир и написать мою биографию, сразу стало бы ясно, что между мною и арендатором Пончу, и даже Никхилом, разница небольшая.

Вчера вечером я перелистывал свой дневник. В ту пору, когда я писал его, я только что сдал экзамены на бакалавра юридических наук и мой мозг был забит философией. Но уже тогда я поклялся, что в моей жизни не будет места иллюзиям, созданным мною или кем-либо еще, что я буду строить жизнь на прочной основе реальности. Что же произошло на самом деле? Где она, эта прочная основа? Она больше похожа на сеть: нити тянутся непрерывно, но между ними слишком много ячеек. Что я только ни принимал, но справиться с ними не могу. Вот уже несколько дней я твердо шел вперед, как вдруг опять угодил в ячейку и безнадежно застрял в ней.

Дело в том, что я стал даже испытывать угрызения совести.

«Я хочу! Плод передо мной. Надо его сорвать». Все это звучит удивительно четко и ясно. Я всегда говорил: успех приходит лишь к тем, кто упорно и неотступно добивается его. Но бог Индра не пожелал сделать путь к успеху легким и послал нимфу раскаяния туманить пеленой слез глаза путников и стараться сбить их с дороги.

Я вижу, Бимола бьется, как попавшая в сети лань. Сколько тревоги, страха, страдания в ее огромных глазах. С какой силой она рвет путы, оставляя на своем теле глубокие рапы. Истый охотник должен быть доволен таким зрелищем. Доволен и я, хоть мне и больно. И потому я медлю и, стоя у западни, никак не могу заставить себя затянуть петлю.

Были мгновения, когда я мог броситься к Бимоле, схватить ее за руку, прижать к своей груди... и она не сопротивлялась бы, не протестовала. Она сознавала, что решительный момент приближается и что, после того как неизбежное свершится, весь смысл жизни, все значение ее сразу и круто изменятся. Стоя на краю пропасти, она была бледна, и в глазах ее метался страх, но они горели возбуждением. В такие мгновения словно останавливается время и вся вселенная, затанув дыхание, следит за ним. Но я не воспользовался этими мгновениями, упустил их. Я не нашел в себе сил довести дело до конца и превратить возможное в действительное. Теперь я понимаю, что это объединились и восстали против меня какие-то силы, долгое время таившиеся в моей душе.

Точно так же погиб Равана, которого я считаю истинным героем «Рамаяны». Он не ввел Ситу в свой дом, а оставил в лесу. Слабость таилась в душе этой исполненной фигуры. Поэтому такой несовершенной кажется вся глава о Ланке. Если бы не его колебания, Сита отбросила бы мысль о верности и полюбила бы Равану. Эта же слабость — вина тому, что Равана долго жалел своего брата-предателя Вибхишану, вместо того чтобы сразу убить его, и в результате погиб сам.

В этом и заключается трагедия жизни. Нечто крошечное и незаметное, притаившееся в темном, потайном уголке сердца, в какой-то момент может разрушить великое. Вся беда в том, что человек, в сущности, никогда не знает самого себя до конца.

Ну и потом ведь остается еще Никхил. Пусть он чудак, пусть я постоянно высмеиваю его, забыть о том, что он мой друг, я все-таки не могу. Сначала я не слишком заду-

мывался пад тем, как должен себя чувствовать он сам, а сейчас мне очень стыдно и неловко из-за этого. Иногда я, как прежде, завожу с ним спор, пытаюсь говорить с прежним задором и горячностью, однако слова мои звучат фальшиво и неубедительно. Порою я иду даже на то, чего никогда не допускал прежде: делаю вид, будто соглашаюсь с ним. Но лицемерия не выносим ни я, ни сам Никхил. Тут уж мы действительно сходимся.

Вот почему я сейчас избегаю встреч с Никхилом — приходится скрывать свое смущение, а это не всегда легко.

Все это — признаки слабости. Стоит только самому себе признаться, что поступок, который ты готовишься совершить, неправилен, — и отделаться от этой мысли уже невозможно. Она будет неотступно давить и мучить тебя. Как хорошо было бы, если бы я мог открыто сказать Никхилу, что подобные вещи неизбежны, что они и есть жизнь и что так на них и следует смотреть. И еще — что истина не может встать между настоящими друзьями.

Но увы! Я, по-видимому, и в самом деле начинаю слабеть, а ведь покорил я Бимолу отнюдь не слабостью. Мотылек обжег свои крылышки в огне моего непоколебимого мужества. Но лишь только дым сомнений начинает заволакивать пламя, как Бимола сразу же в смятении отступает. В ней подымается злость, она с удовольствием сорвала бы с меня гирлянду избранника, но не смеет: все, на что она способна, это закрыть глаза и не смотреть на эту гирлянду.

Однако пути отступления отрезаны для нас обоих. Я не нахожу в себе сил оставить Бимолу. И я не сверну с пути, который наметил себе. Мой путь — с народом; мой путь — не черный ход, ведущий в оптохпур. Я не могу отказаться от служения родине, особенно сейчас. Нужно сделать так, чтобы Бимола и родина слились для меня воедино. Пусть ураган с Запада, который сорвал покров, окутывавший сознание моей родины-Лакшми, сорвет покрывало с лица Бимолы, верной супруги, — в этом не будет ничего постыдного. Среди рева и пены, по волнам людского океана понесется ладья, над которой будет развеиваться победное знамя «Банде Матарам», и эта ладья станет колыбелью нашей силы и нашей любви. И Бимола увидит тогда столь величественную картину свободы, что оковы сами падут с нее, и она не ощутит стыда. Восхищенная красотой силы разрушения, Бимола не колеблясь станет жестокой. Я заметил, что в натуре у нее есть эта жестокость, которая де-

лает мир прекрасным, без которой немислима жизнь. Если бы женщины могли освободиться от искусственных оков, созданных мужчинами, мы воочию увидели бы на земле богиню Кали. Она бесстыдна и безжалостна. Я поклоняюсь ей. Бросая Бимолу в вихрь разрушения и гибели, я принесу ее в жертву Кали. Теперь я готовлюсь к этому.

РАССКАЗ НИКХИЛЕНА

Осенний дождь оживил все вокруг. Молодые побеги риса нежны, как руки ребенка. Вода затопила сад и подбралась к самому дому. Утренний свет, словно ласка лазурного неба, щедрым потоком льется на землю.

Почему же не пою я? Искрится вода в ручье, блестят глянцевиные листья деревьев, золотятся на солнце волнующиеся нивы риса, и только я один не участвую в этой чудесной осенней симфонии. Мой голос замер. Свет вселенной касается моего сердца, но отразить эти радостные лучи мое сердце не может. Мой внутренний мир сер и тускл, и я прекрасно понимаю, почему оказался обездоленным в жизни. Трудно ожидать, чтобы кто-то мог долгое время день и ночь терпеть мое общество.

В Бимоле так и бьет жизнь. За все девять лет нашей супружеской жизни ни на одно мгновение она не показалась мне скучной. Я же напоминаю глубокий и тихий омут, лишенный трепета жизни. Я повинуюсь толчкам извне, сам же сообщать кому-либо движение не могу. Поэтому разделять мое общество так же скучно, как соблюдать пост. Только сейчас я понял, как убога и пуста была жизнь Бимолы. Но кого в том винить?

Месяц бхадра щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

Теперь-то я вижу, что для того и был он построен, чтобы оставаться пустым. Ведь его двери не открываются. Только до сих пор я не понимал, что моя богиня не переступила его порога. Я верил, что она приняла мою жертву и подарила мне свою милость. Но увы, храм мой пуст, совсем пуст!

Каждый год в сентябре, когда наступали светлыеочи, в эту пору обновления всей земли мы улывали вдвоем в нашей лодке на просторы Шамолдохо. И возвращались домой, только когда луна совершенно исчезала и очи ста-

повились темпыми. Я не раз говорил Бимоле: «В каждой песне есть свой припев, который повторяется снова и снова. Но настоящий припев песни двух сердец может родиться только на лоне природы, там, где над журчащей водой «провосится влажный ветерок», где лежит, притаившись в безмолвной лунной ночи, зеленая земля, набросившая покрывало, сотканное из теней, и слушает шепот реки. Именно там, а не в четырех стенах, встретились впервые мужчина и женщина. И мы вдвоем только повторяем припев песни того изначального свидания в те изначальные времена, когда на горе Кайласе, среди лотоса озера Манаса, встретились Шива и Парвати.

Первые два года я проводил годовщину нашей свадьбы в Калькутте, в суматохе экзаменов. А затем семь лет подряд в сентябре луна приходила в нашу опочивальню на воде, среди распустившихся водяных лилий, и безмолвно приветствовала нас. Так прошло семь лет. Сейчас для нас началась новая полоса.

Я никак не могу забыть, что снова наступили светлые сентябрьские ночи. Первые три дня уже прошли. Не знаю, помнит ли об этом Бимола. Она продолжает хранить молчание. Все замолкло. Не слышно и песни:

Месяц бхадра щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

В храме, опустевшем лишь на время разлуки влюбленных, продолжает звучать музыка флейты. В храме, покинутом ими навсегда, царит глубокое, страшное безмолвие, там не слышно даже рыданий.

Моя душа истекает слезами. Я должен сжать зубы. Я не имею права жалкими стенами удерживать Бимолу в плену. Если любовь ушла, слезы не помогут. Бимола никогда не почувствует себя по-настоящему свободной, пока видит, что я страдаю.

Я должен дать Бимоле полную свободу, иначе я сам не освобожусь от этой фальши. Стараясь удержать ее около себя, я только еще больше запутываюсь в сетях иллюзии. И это никому не приносит ни счастья, ни радости. Дай свободу другому — и ты обрешь ее сам. Освободись от лжи — и горе станет для тебя счастьем.

На этот раз я, кажется, подошел вплотную к пониманию одной вещи. Все мы сообща так усердно раздували пламя любви между мужчиной и женщиной, что в конце концов оно вырвалось за положенные ему пределы, и те-

перь мы не можем обуздать его, несмотря на то что от этого страдает все человечество. Светильник, назначение которого освещать дом, мы превратили в испепеляющий костер. Но хватит, нельзя давать ему волю, настал день обуздать огонь. Обожествленный инстинкт превратился в кумира. Довольно приносить в жертву мужское достоинство на окровавленный алтарь этого кумира. Нужно поправлять хитросплетения нарядов и украшений, робости и скромности, песен и сказок, улыбок и слез.

«Ритусамхара» Калидасы у меня всегда вызывает гнев.

Все букеты цветов и корзины плодов вселенной оказываются у ног любимой и приносятся в дар богу любви. Может ли человек так пренебрегать земными благами? Какое вино затуманило взор поэта? То, что я пил до сих пор, было не слишком ярким по цвету, но слишком крепким на вкус. Оно бродит во мне и сегодня, и я с самого раннего утра бормочу:

Месяц бхадра щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

Пуст! Стыдно сказать! Почему опустел твой большой дом? Я понял, что ложь есть ложь, и правда жизни покинула меня.

Сегодня утром я зашел в спальню за книгой. Я давно уже не заходил сюда днем. Я огляделся вокруг, и в груди больно заняло. На вешалке висело приготовленное для Бимолы сари, в углу в ожидании стирки лежала кучка сброшенной ею одежды. На туалетном столике рядом со щипльками, гребешками, флаконами с духами и маслом все еще стояла коробочка с алой краской. Под столом — пара маленьких домашних туфель из парчи. Несколько лет тому назад, когда Бимола еще ни за что не хотела носить фабричную обувь, я попросил одного приятеля-мусульманина привезти их из Лакхнау. Она стыдилось пройти в них даже из спальни на веранду. С тех пор Бимола спускала не одну пару туфель. Но эти она любовно хранила. Даря ей эти туфельки, я решил подразнить ее.

— Я подсмотрел, что ты берешь украдкой прах с моих ног, думая, что я сплю, — сказал я, — прими же дар от меня, моя недремлющая богиня, пусть он охраняет и твои ножки от пыли.

— Не говори так, иначе я никогда не надеву эти туфли, — воскликнула Бимола.

Как знакома мне эта спальня! Самый воздух здесь какой-то особенный, все здесь трогает меня до глубины души. Я никогда не ощущал так остро, как теперь, что мое истомившееся сердце приросло сотнями мельчайших корешков ко всем этим знакомым предметам. Выходит, недостаточно обрубить главный корень, чтобы освободиться. Цепляться и удерживать будет все, вплоть до маленьких туфель. Вот почему, хоть Лакшми и покинула меня, вид оборванных лепестков, разбросанных повсюду, продолжает кружить мне голову. Мой рассеянный взгляд упал на вешу. Портрет висел на прежнем месте, и только лежащие перед ним цветы почернели и увяли. Все переменялось, но он остался прежним. И эти засохшие цветы сегодня самый подходящий для меня дар. Они лежат здесь потому лишь, что нет нужды их выбрасывать. Горькая правда заключается в них — смогу ли я приять ее с тем же холодным безразличием, с каким взирает на нее мой портрет?

Я не заметил, как в комнату вошла Бимола. Поспешно отвернувшись, я направился к книжной полке, бермоча, что пришел за дневником Амбеля. Нужно ли было спешить с объяснениями? Я почувствовал себя вдруг преступником, соглядатаем, человеком, стремящимся проникнуть в чужую тайну. Не смея встретиться взглядом с Бимолой, я поспешно вышел из комнаты.

Когда, спдя у себя в кабинете, я вдруг почувствовал, что не в состоянии продолжать чтение, что жизнь стала невыносимой и у меня нет ни малейшего желания ни смотреть, ни слушать, ни говорить, ни делать что-либо, и будущее представилось мне огромной, неподвижной глыбой, тяжелым грузом, давящим на сердце, — в комнату вошел Попчу со связкой кокосовых орехов и, положив их передо мной, низко поклонился.

— Что это, Попчу? Зачем? — спросил я.

Попчу — арендатор моего соседа, заминдара Хорпиша Купду. Мне говорил о нем учитель. Вряд ли он рассчитывает, что я смогу как-то облегчить его положение, к тому же он очень беден, так что никаких оснований принимать от него припошения у меня нет. Я подумал, что несчастный, пахотясь в безвыходном положении, избрал этот путь, чтобы добыть немного денег на пропитание. Я вынул из кошелька две рупии и готов был уже отдать их ему, когда он, сложив с мольбой руки, воскликнул:

— Нет, господиц, я не могу взять.

— Почему, Попчу?

— Сейчас я все объясню. Как-то, когда мне было особенно трудно, я украл из сада господина песколько кокосовых орехов. Может быть, смерть уже поджидает меня, поэтому я пришел отдать свой долг.

Чтение дневника Амеля вряд ли могло принести мне пользу в тот день, но от слов Попчу у меня на душе стало легче. Наш мир намного шире, чем счастье или горе одного человека, сближение или разрыв его с жепщиной. Мир огромен, и измерить свои слезы и радости можно, лишь находясь в центре его.

Попчу — один из почитателей моего учителя. Я хорошо знаю, на что ему приходится пускаться, чтобы прокормить свое семейство. Он встает на рассвете, кладет в корзиночку бетель, табак, цветную пряжу, маленькие зеркала, гребенки и другие вещи, дорогие сердцу крестьянских женщин, и на колесо в воде бредет через болото в поселок домошудр. Там он выменивает свои товары на рис и выручает, таким образом, чуть больше того, что истратил сам. Если ему удастся вернуться пораньше, он, наскоро перекусив, отправляется к торговцу сладостями приготовить баташа. Возвратившись же домой, он садится и за полночь трудится, делая украшения из раковин. При таком каторжном труде он вместе с семьей только несколько месяцев в году имеет возможность два раза в день съесть горсточку риса. Обычно перед едой он основательно наполняет желудок водой, а питается главным образом перезревшими дешевыми бананами. И все же по крайней мере четыре месяца в году его семейство ест один раз в день, не больше.

Я подумал над тем, как бы помочь ему немного. Но учитель сказал мне:

— Своими подачками ты можешь погубить человека, а жизнь его как была, так и останется невыносимо тяжелой. Разве мало у нас в Белгалии таких вот Попчу? Если молоко в груди матери-родины иссякло, деньгами тут не поможешь.

Я долго думал над его словами и пришел к решению, что необходимо пайти какой-то выход. Я готов был всего себя без остатка отдать этому делу. В тот же день я сказал Бямоле:

— Давай посвятим жизнь искоренению пицеты в нашей стране.

— Ты, оказывается, мой царевич Сиддхартха, — смеясь, ответила она, — смотри, как бы поток твоих чувств не упес меня прочь.

— Сиддхартха давал обет без жены, я же без жены обойтись не могу.

Дело ограничилось этим шутливым разговором.

Надо сказать, что по натуре Бимола — настоящая госпожа. Семья ее весьма родовита, хоть и небогата. В душе она убеждена, что людям, принадлежащим к низшим классам, горести и невзгоды отпущены другой меркой, чем нам. Конечно, всю жизнь от колыбели до могилы их преследует нужда, но в их понимании это еще отнюдь не нужда. Они очень скромны в своих желаниях, и скромность служит им защитой, подобно тому как тесные берега служат защитой небольшому пруду — стоит берега раздвинуть, и вода разольется, обнажив илистое дно.

В жилах Бимолы течет кровь благородных предков, гордых своим исключительным правом на особое, пусть незначительное, положение среди избранных народов, каким обладала Индия. Бимола была истинным потомком знаменитого Ману.

Во мне же, по всей вероятности, течет кровь героев «Рамаяны» и «Махабхараты», и я не могу сторониться тех, кто беден и лишен всего. Индия для меня не только страна аристократов, и мне совершенно ясно, что деградация низших классов ведет к деградации Индии, с их смертью умрет и моя родина.

Бимола ушла из моей жизни. Она занимала в ней так много места, что сейчас, когда я утратил ее, моя жизнь сделалась пустой и жалкой. Я забыл о своих планах и стремлениях, я все отбрасывал от себя, чтобы освободить место для нее. Я был занят лишь тем, что день и ночь украшал ее, наряжал, развивал ее ум, ходил вокруг нее, забывая о том, сколько истинного величия кроется в людях, как драгоценна жизнь каждого человека.

Меня спас Чондропатх-бабу, который, как мог, старался сохранить во мне веру в великое. Без него я бы погиб. Удивительный он человек! Я говорю так потому, что он представляет собой исключение в нашей дщи. Он ясно видит свое предназначение, и потому ничто не может обмануть его. Сегодня я подвожу баланс своей жизни. В статье расходов оказывается один серьезный просчет, ошибка, большая потеря. Однако, сбросив ее со счета, я с облегчением обнаруживаю значительную прибыль.

Отец мой умер давно, и самостоятельность пришла ко мне еще в ту пору, когда я занимался с учителем. Я просил учителя оставить работу и навсегда поселиться у меня.

— Видишь ли, — ответил он, — за то, что я дал тебе, мне заплачено сполна. И если я возьму награду за то, что дам тебе сверх этого, то это будет равносильно тому, что я решил продать своего бога.

Не раз Чондронатх-бабу шел ко мне на урок пешком под дождем или палящим солнцем, и я никак не мог уговорить его воспользоваться нашим экипажем. Обычно он отвечал:

— Мой отец, добывая для нас кусок хлеба, постоянно ходил на службу из Боттолы в Лалдингхи пешком и никогда не пользовался экипажем. Мы все потомственные пешеходцы.

— Почему бы вам не запяться делами нашего имения? — спрашивал я.

— Нет, дитя мое, не заманивай меня в западню богачей, я хочу оставаться свободным.

Его сын сдал экзамен на магистра и искал работу. Я предложил юноше работать у меня. Ему понравилась такая перспектива. Он сказал отцу, но не встретил у него сочувствия. Тогда сын потихоньку намекнул об этом мне, и я с воодушевлением принялся уговаривать учителя. Однако все было напрасно. Чондронатх-бабу был непреклонен. Сыну показалось очень обидным упустить такой случай, и, рассердившись на отца, он уехал в Рапгун.

Не раз Чондронатх-бабу говорил мне:

— Знаешь, Никхил, наши отношения тем и ценны, что построены на полной свободе. Мы очень унизим себя, если позволим деньгам встать между нами.

Теперь Чондронатх-бабу занимает должность директора в местной начальной школе. Он давно не бывал у нас. Последнее время я сам вечерами ухажу к нему, за разговором мы засиживаемся до поздней ночи. Но возможно, на сей раз он решил, что мне тяжело в осеннюю жару паходиться в его маленьком домике, и поэтому сам поселился у меня. Странно, что к богачам он относится с таким же состраданием, как и к беднякам, и не может хладнокровно видеть их несчастья.

Когда вниманием человека завладевают мелочи повседневной жизни, истина невольно ускользает из поля его зрения и он теряет свою свободу.

Бимола випой тому, что мелочи жизни, заслопившие от моих глаз истину, стали так мучительно важны для меня. И нет исхода моему горю, и кажется, будто по всему свету рассеялась моя тоска. Потому-то, паверно, и звучит в ушах моих с раннего осеннего утра эта песня:

Месяц бхадра щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

Но когда я смотрю на мир глазами Чопдропатха-бабу, смысл песни совершенно меняется:

Молвит Биддапотти: дни вы влечите как,
Бога отрипув?

Беды и заблуждения затмили истину. Но как жить без нее? Я задыхаюсь! О Истина, приди в мой пустой храм!

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Трудно описать, что сделалось вдруг с душой Бенгалии. Словно живые воды Бхагиратхи внезапно коснулись праха шестидесяти тысяч сыповей Сагары. Веками покоился этот прах на дне глубокого водоема. Ни огонь, ни влага не могли дать ему жизнь, и вдруг этот прах воспрял и воскликнул: «Вот и я!»

Когда-то я читала, что в Древней Греции одному скульптору удалось вдохнуть жизнь в созданную им статую. Но перед ним была уже готовая форма. А разве пепел погребального костра нашей родины похож на отлитую форму? Будь он тверд, как камень, это было бы еще возможно: ведь и превращенная в камень Ахалья в один прекрасный день снова приняла человеческий образ. Но этот пепел просыпался, по-видимому, сквозь пальцы творца, и ветер развеял его по свету. Даже сметенный в кучи, он не мог соединиться. Но вот настал день, когда эта бесформенная масса обрела вдруг форму, выросла перед нами и заявила громовым голосом: «Я есмь!»

И не удивительно, что все, происходившее тогда, казалось нам чем-то сверхъестественным. Этот момент нашей истории напоминал драгоценный камень, выпавший из короны захмелевшего бога прямо к нам в руки. Он не вытекал из нашего прошлого и был похож на ту самую воображаемую папацею от бед, которая на самом деле по существу. И нам казалось, что теперь все наши несчастья и страдания, как по волшебству, сгинули сами собой.

Градь между возможным и невозможным исчезла. Все, казалось, говорило: «Вот оно! Оно здесь!»

Мы с восторгом решили, что колеснице нашей истории не пужны копи, что, подобно воздушной колеснице Куберы, она сама поплесется вперед. Во всяком случае, нам придется платить вознице — разве что подполить ему время от времени чашу с вином. Впереди нас ожидали дивные райские чертоги.

Нельзя сказать, чтобы мой муж оставался равнодушным к событиям. Но, несмотря на радостное возбуждение, царившее вокруг, теперь печаль в его глазах становилась с каждым днем все гуще и гуще. Можно было подумать, что он видит дальше, чем все мы, опьяненные восторгом происходящего, и смущен тем, что открылось его взору. Как-то раз во время одного из своих бесконечных споров с Шондиппом он сказал:

— Счастье затем и приблизилось к нашим дверям, затем и манит нас, чтобы показать, как не готовы мы к его встрече.

— Твои слова, Никхил, похожи на речи атеиста, — ответил Шондип, — ты, верно, совсем не веришь в наших богов. Мы ясно видим богиню, которая пришла дать нам свое благословение. А ты не хочешь верить даже собственным глазам.

— В бога я верю, — сказал муж. — Именно поэтому я и убежден, что мы не приготовились как следует, с должным благоговением встретить его. Во власти бога наградить нас, если он этого хочет, но пужно, чтобы и мы были в состоянии приять его милости.

Такие речи мужа страшно сердили меня.

— Ты считаешь, что в нас говорит опьянение, — вмешалась я. — Но разве опьянение не дает людям силу?

— Силу, пожалуй, да, но не оружие, — ответил он.

— Сила — это дар всевышнего, — продолжала я. — А оружие может сделать простой кузнец.

— Кузнец даром не сделает, ему надо платить, — с улыбкой возразил муж.

— На этот счет не волнуйся, — важно заявил Шондип. — Кузнеца оплачу я.

— Ну, а уж музыкантов на праздник приглашу я, но не раньше, чем ты закончишь свои расчеты с кузнецами.

— Не воображай, пожалуйста, что без твоих щедрот у нас и музыки не будет, — презрительно заявил Шондип, — торжество за деньги не купишь.

И он сильным голосом запел:

Нет денег — он не унывает: беда невелика!
Он, радостный, в лесах блуждает,
Мотив чарующий выводит на флейте бедняка.

Взглянув на меня, Шондиц, улыбаясь, сказал:

— Царица Пчела, я пою для того лишь, чтобы доказать, что отсутствие голоса не так уж важно, когда сердце хочет петь. Человек, который поет только потому, что обладает прекрасным голосом, умаляет значение песни. Нашу страпу внезапно затопила песня, пусть же Никхил упражняется в гаммах, а мы тем временем своими надтреснутыми голосами поднимем страну.

«Куда же ты идешь? —
скрипит мой старый дом. —
Через порог шагнешь, —
раскаешься потом». —
Но глас моей души
уйти меня зовет:
«Спеши, спеши, спеши,
пусть прахом все пойдет!»

— Хорошо, пусть все идет прахом, хуже этого ведь ничего нет. Я согласен, это меня вполне устраивает.

«О, если ты уйдешь, —
дом говорит мне вслед, —
сюда уж никогда
не возвращайся, пет!
С улыбкой я приму
слепой судьбы удар,
пусть в сердце мне течет
веселый смертный нектар».

— Дело в том, Никхил, что сейчас уже нас не останавлишь. Мы не можем долее оставаться в рамках возможного и мчимся по пути к невозможному.

О те, кто хочет вновь
к себе меня вернуть!
Вам счастья смысл попять
дано ль когда-нибудь?
Не прям — извилист путь,
он вдаль меня зовет.
Добро и прямо —
пусть прахом все пойдет!

Мне показалось, муж хочет что-то возразить. Но он ничего не сказал и медленно вышел из комнаты.

Вихрь, палетевший на нашу страну, заставил зазвучать какие-то потки в моем сердце. Приближается колесница бога моей судьбы, и день и ночь я слышу скрип ее колес и трепещу в ожидании. Мне все кажется, что со мной вот-вот случится что-то необычайное, за что я не могу быть в ответе. Грех ли это? Ведь дверь оттуда, где царствует добро и зло, порицание и раскаяние, сочувствие и лицемерие, сама открылась передо мной. Я никогда не хотела этого, не ждала, но... окипьте взором всю мою жизнь, и вы убедитесь — я не виновата. Когда наступил час воздаяния, передо мной явился не тот бог, которому я так долго и самозабвенно молилась. Моя очнувшаяся от оцепенения родина восторженными кликами «Банде Матарам» приветствовала свое еще не осознанное будущее. И в моей душе все так же цело и ликovalo: «Приди! О таинственный, загадочный, властный незнакомец, приди!»

Голос моей родины удивительно сливался с голосом моей души.

Однажды поздно ночью я тихонько встала и вышла на крышу. За оградой нашего сада расстилались поля зреющего риса. С северной стороны сквозь просветы рощи, расположенной за деревней, виднелась река, на другом берегу темнела полоса леса, и мне чудилось, будто в утробе безбрежной ночи все дремлет, утратив ясные очертания, подобно зародышу какого-то будущего творения. Я видела перед собой мою родину. Она была женщиной, подобно мне, полной ожидания, бросившей место у домашнего очага: едва заслышав зов его — таинственного незнакомца, она не раздумывала, куда он зовет ее, она даже не успела зажечь светильник, устремляясь вперед во тьму. О, я знаю, как откликается на этот зов вся душа ее, как вздымается ее грудь, какое чувство испытывает она, приближаясь к нему. Ей казалось, что она уже достигла цели! Она пойдет к нему даже с завязанными глазами! Нет, она не мать. Она не слышит плача голодных детей, который несет ей вслед, она не думает о домашней работе и очаге, в котором ей надо развести огонь. Она возлюбленная. Она — родина наших вайшнавов. Она покинула дом и забыла о своих обязанностях. Страшное, непостижимое желание влечет ее вперед. Куда? Зачем? Не все ли равно!

В ту ночь столь же страстное желание охватило и меня. Я тоже покинула свой дом и сбилась с пути. Я не вижу своей цели, не знаю, как достигну ее. Мною владеют два чувства — желание и петерение. Несчастливая заблуд-

шая душа! Остановись! Ночь пройдет, и займется заря, а ты не найдешь пути обратно. Но зачем возвращаться? Остается ведь еще смерть. Если Духу Тьмы, чья флейта звучит в ночи, угодно погубить меня, к чему беспокоиться о будущем? Когда тьма поглотит меня, исчезнет все, ничего не будет — ни меня, ни добра и зла, ни смеха и слез. Ничего!

В те дни машина времени Бенгалии работала на полный ход. Все, что было недоступным раньше, сделалось простым. Казалось, ничто не могло предотвратить проникновение новых веяний даже в наш далекий уголок. Однако мы долго не поддавались этому настроению. Главной причиной был мой муж. Он не хотел оказывать давление на кого бы то ни было. Истинными патриотами он считал тех, кто готов принести жертву ради блага родины. Тех же, кто насильно требует жертв от других, он называл врагами родины и говорил, что, подрывая корень свободы, они надеются оживить ее орошением.

Но после того, как Шоидип-бабу поселился у нас, а его приверженцы наводнили округу и стали выступать с речами на ярмарках и базарах, волны возбуждения докатились и до нас. К Шоидипу присоединилась группа местных юношей. Среди них были и такие, которые до этого, по общему мнению, только позорили свою деревню, теперь же они горели благородным энтузиазмом, и пламя его очистило их внутренне и внешне. Да это и понятно: когда над страной веет чистый ветер большой радости и надежды, он сметает прочь весь сор и отбросы. Когда в стране царят мрак и уныние, человеку трудно быть здоровым, чистым и правдивым.

И вот тогда все обратили внимание на то, что во владениях моего мужа еще не запрещены иноземные соль, сахар, ткани. Даже служащие мужа стали смущаться и стыдиться этого. А ведь совсем недавно, когда муж стал закупать для дома и деревни товары местного производства, все от мала до велика, кто явно, а кто втихомолку, посмеивались над ним. Пока свадешни не стало нашей национальной гордостью, мы относились к этому движению свысока. Правда, муж и теперь еще точит карандаш индийского производства того же производства порочинным ножиком, пишет тростниковой ручкой, пьет воду из медного кувшина и занимается вечером при свечечке. Но эти его вялые пикетные уступки свадешни не встречали у нас никакого сочувствия. Наоборот, я не раз испытыва-

ла стыд за убогую обстановку гостинной мужа, в особенности когда он принимал почетных гостей вроде судьи.

— Ну что ты расстраиваешься из-за таких пустяков, — смеясь, говорил муж.

— Они примут нас за дикарей, — отвечала я. — Или, уж во всяком случае, за людей малоцивилизованных.

— Ну что ж, в этом случае я могу отплатить им тем же и считать, что цивилизация затронула их очень поверхностно — не дальше их белой кожи.

На его письменном столе стоят обычно цветы в простом медном кувшинчике. Сколько раз, узнав, что он ждет в гости европейца, я потихоньку убирала кувшинчик и ставила цветы в переливающуюся радугой хрустальную вазу английской работы.

— Послушай, Бимола, — запротестовал он наконец, — псу жели ты не видишь, что цветы эти скромны, как и медный сосуд, в котором они стоят. Твоя же английская ваза слишком уж бросается в глаза. В ней следует держать не живые, а искусственные цветы.

Одна только меджо-рани поощряла его. Как-то раз она прибежала запыхавшись и сообщила:

— Братец, я слышала, у нас в лавке появилось чудесное индийское мыло. Для меня прошли уже времена, когда я пользовалась туалетным мылом, но, если в нем нет животного жира, мне очень хотелось бы купить кусочек. Я привыкла употреблять мыло с тех пор, как поселилась у вас. Теперь-то я им почти не пользуюсь, но мне и сейчас еще кажется, будто купание без мыла совсем и не купание.

Муж приходил в восторг от таких разговоров, и дом пахло мылом местного изготовления. Если, конечно, можно назвать это мылом! Сплошные комья соды! И будто я не знала, что меджо-рани по-прежнему ежедневно моется английским мылом, как и при жизни своего мужа, а индийское мыло отдает служакам для стирки.

Другой раз она заявила:

— Братец, говорят, появились индийские ручки! Будь так добр, достань мне несколько штук.

И братец старался изо всех сил. Комната меджо-рани заваливалась какими-то отвратительными палочками, которые почему-то именовались «ручками». Впрочем, ее очень мало трогало их качество, так как не в ее характере было заниматься чтением или письмом, написать же счет прачке можно было и карандашом. К тому же в ящико

для письменных принадлежностей у меджо-рапи хранилась старинная ручка из слоповой кости, и если у нее вдруг являлось желание написать что-то, то на глаза обязательно попадалась именно эта ручка. Делалось же все это с единственной целью досадить мне, потому что я не хотела поощрять капризы мужа. Но выводить ее на чистую воду не имело никакого смысла. Лишь только я заводила разговор о ней с мужем, у него делалось неприятное, хмурое выражение лица и было ясно, что результата я добилась как раз обратного. Открывая таким людям глаза на то, что их обманывают, только сам попадаешь в пеловкое положение.

Меджо-рапи любит шить. Однажды, когда она сидела за работой, я не удержалась и прямо ей заявила:

— Какая ты все-таки притворщица! Когда ты говоришь при братце об индийских ножницах, ты чуть ли не захлебываешься от восторга, а стоит тебе взяться за шитье, ты и минутки не можешь обойтись без английских ножниц.

— Ну и что? — возразила она. — Неужели ты не видишь, как это его радует. Мы ведь с ним с детства дружны, выросли вместе. Это тебе все пипочем, а я просто видеть не могу его грустного лица. Бедненький, — мужчина, а никаких у него увлечений нет, только вот эта игра в лавку с индийскими товарами да ты — самая пагубная его страсть! Из-за тебя он и погибнет.

— Все равно, двуличной быть нехорошо, — резко сказала я.

Меджо-рапи расхохоталась мне в лицо.

— Нет, вы только ее послушайте. Нашу бесхитростную чхото-рапи. Какая же она ровная да прямая, ну просто указка учителя! Но ведь женщина не так устроена. Она должна быть мягкой, гибкой, и ничего плохого в том нет.

Я никогда не забуду слов меджо-рапи: «Ты — его пагубная страсть! Из-за тебя он и погибнет».

Теперь я твердо знаю: если уж мужчина непременно должен иметь какую-нибудь страсть, то пусть этой страстью будет не женщина.

Шукшаор, который находится на принадлежащей нам земле, — один из самых больших торговых центров в округе. Здесь по одну сторону пруда ежедневно бывает базар, по другую — каждую субботу — ярмарка. Во время дождей, когда пруд соединяется с рекой и лодки с товарами могут подходить к самому месту ярмарки, торговля ожив-

ляется — к предстоящим холодам привозят большое количество пряжи и теплых тканей.

Во времена, о которых идет речь, препятствия, чинимые англичанами индийским тканям, индийскому сахару и соли, вызывали страшный шум на всех рынках Бенгалии. Мы же с еще большим упорством стояли на своем. Однажды Шопдип пришел ко мне и сказал:

— В наших руках большой торговый центр, надо его наводнить товарами местного производства. Пусть родной ветер избавит нас от иноземной напасти.

Я с готовностью ответила согласием.

— Я уже разговаривал с Никхилом по этому поводу, — продолжал Шопдип. — Но ничего не добился. Он говорит, что не возражает против наших выступлений с речами, но насилия не допустит.

— Предоставьте это мне, — гордо ответила я.

Я знала, как велика любовь мужа ко мне. Не утратить к тому времени окончательно способности рассуждать здраво, я скорее умерла бы, чем решилась сыграть на его чувствах. Но мне нужно было продемонстрировать Шопдипу свою власть. Ведь в его глазах я была воплощением Шакти. Со свойственным ему красноречием он постепенно внушил мне, что не всякому дано увидеть высшую силу, управляющую миром, и не всякий человек может воплотить ее в себе. Только страстное желание познать вечно женственное начало единения с природой исторгает его из папих глубин, где звучит тихая флейта владыки мира.

Иногда он при этом пел:

Когда ты на меня по глядишь, о Радха, звучит моя свирель.
Теперь ты рядом, и замолкла ее мелодия,
Играя на свирели, я искал тебя повсюду;
Сегодня мои слезы нашли улыбку на лице моей возлюбленной.

Слушая его, я забывала, что я Бимола. Я была Шакти — воплощение радости мира. Меня ничто не связывало, для меня было все возможно. Все, к чему я прикасалась, обретало новую жизнь. Я заново создавала свой мир. Разве было столько золотых красок на осеннем небе раньше, до того как его коснулся философский камень моего сердца? А этот герой, — свято выполняющий свой долг перед родной, преданный мне, этот блистательный ум, бурлящая энергия, светлый гений — разве он не творение моих рук? Разве не видно, что это я вливаю в него непрестанно новые, свежие силы?

Как-то Шондип уговорил меня принять его ревностного последователя — юношу по имени Омуллочороп. Едва тот поднял на меня свои выразительные глаза, в них вспыхнуло яркое пламя. Я поняла, что и ему открылась во мне Шакти, что и его кровь зажглась от моего волшебного прикосновения.

На следующий день Шондип сказал мне:

— Вы обладаете поистине чудодейственной силой! Омулло стал совсем другим — он преобразился в одно мгновение, он весь так и горит. Как можно хранить ваш огонь в четырех стенах! Коснуться его должен каждый, и, когда все светильники будут наконец зажжены, в нашей стране наступит прекрасный праздник Дивали.

Опьяненная собственным величием, я решила оказать милость своему преданному почитателю. Я ни на секунду не допускала мысли, что кто-то может отказать мне.

В тот день, вернувшись к себе после разговора с Шондипом, я распустила волосы и сделала прическу по-новому. Мисс Джильби научила меня подымать волосы на затылке и делать из них шишон. Новая прическа очень понравилась мужу.

— Как жаль, — сказал он однажды, что бог решил открыть не Калидасе, а мне, человеку, лишенному поэтического таланта, сколь красива может быть шея женщины. Поэт, возможно, назвал бы ее стебельком лотоса, мне же она кажется факелом, взметнувшимся кверху черное пламя твоих волос.

С этими словами он прикоснулся к моей открытой шее. Но увы! К чему эти воспоминания!

Итак, я послала за мужем. В былые дни я придумывала тысячу разнообразных предлогов, если мне хотелось увидеть его. С некоторых пор способность эту я окончательно утратила.

РАССКАЗ НИКХИЛЕНА

Жена Пончу умерла от туберкулеза легких. Пончу должен будет совершить обряд очищения. По подсчетам общины это обойдется ему в двадцать три с половиной рупии.

— Это еще что за выдумки! — воскликнул я, возмущенный, — не соглашайся на это, Пончу. Ну, что они тебе могут сделать?

Пончу поднял на меня полные покорности глаза вьющегося животного и сказал:

— У меня старшая дочь уж на пыдапсье... Да и похоронный обряд по жене без этого не справишь.

— Если на твоей душе и был какой-нибудь грех, то ты уже давно искупил его своими страданиями.

— Так-то оно так,— панино согласился Попчу.— Ведь я уже продал часть участка, чтобы оплатить расходы на врача, а остальное все заложил. Но пока я не заплачу брахманам и не угощу их как следует, они от меня не отстанут.

Спорить с ним не имело никакого смысла. Когда же настанет время очистительных обрядов, думал я, для тех брахманов, которые могут требовать подобных приношений?

Попчу, который и так всегда находился на грани нищеты, после болезни и похороп жены оказался ввергнутым в самую пучину ее. В отчаянных поисках утешения он повадился слушать проповеди самоотречения одного саньяси и настолько проникся его философией, что забыл про своих голодных детей. Он впустил себе мысль, что все на свете суета сует и что счастье и несчастье одинаково иллюзорны. Копчилось тем, что однажды ночью он бросил в полуразвалившейся хижине своих детей и сам отправился страстновать.

Я ничего об этом не знал, потому что как раз в это время светлые силы и силы преисподней вели в моей душе страшную борьбу. Не знал я и того, что Чондронатх-бабу взял детей Попчу к себе и заботился о них, несмотря на то, что после отъезда сына в Рангун жпл один, и несмотря на то, что школа отнимала у него почти все время.

Прошел месяц, и как-то рано утром Попчу снова появился в деревне. Его аскетический пыл сильно поостыл за это время. Старшие дети — мальчик и девочка — уселись у его ног на земле и настойчиво спрашивали, куда он ходил. Младший сыпшика вскарабкался к нему на колени, а вторая девочка забралась на спину и крепко обхватила его за шею. Все дружно плакали.

— О господи,— с трудом произнес пакопец Попчу, обращаясь к учителю,— я не в силах кормить их два раза в день, а бросить их тоже не могу. За что мне такое наказание? Какой я совершил грех?

За это время его скромные торговые связи оборвались, и восстановить их он не смог. Он продолжал жить в доме учителя, приютившего его в первые дни, и не заикался о том, чтобы переселиться в свой дом. Наконец учитель сказал ему:

— Отправляйся-ка ты, Пончу, к себе, иначе твоя хижина окончательно развалится. Я дам тебе немного денег в долг, ты начнешь понемногу торговать и со временем расплатишься со мной.

Пончу слегка расстроился. На свете нет милосердия, думалось ему. А когда учитель взял с него расписку в получении денег, он решил, что невелика цена благодетелю, за которое придется рассчитываться.

Но не в характере учителя было выступать в роли благодетеля и делать человека морально обязанным себе. Он утверждал:

— Если человек теряет уважение к себе, он погибает.

После того как Пончу взял деньги под расписку, в поклонах его сильно поубавилось почтительности, а брать прах от ног учителя он и вовсе перестал. Учитель в душе посмеивался — он проживет и без поклонов.

— Я признаю лишь отношения, основанные на взаимном уважении, — говорил он. — Чрезмерное поклонение только портит их.

Пончу закупил дхоти, сари, теплых тканей и стал продавать их в ближайших деревнях. Правда, деньгами ему платили редко, но он мог продавать полученный рис, джут и другие сельские продукты, и это давало ему возможность существовать и даже откладывать деньги на уплату долга. Через два месяца часть долга учителю он погасил. По мере того как сокращалась сумма долга, сокращалось и число поклонов. Должно быть, Пончу решил, что ошибся, считая господина учителя своим гуру. «И этот человек не прочь нажиться», — думал он.

Так обстояло дело с Пончу, когда на него обрушился поток свадешни.

Шли каникулы, и молодежь из нашей и соседней деревень, учившаяся в школах и колледжах Калькутты, вернулась домой. Некоторые юноши в избытке усердия бросили занятия вообще и, сделав Шопдипа своим вождем, увлеклись пропагандой свадешни. Многие из них закончили мою бесплатную школу, других я обеспечивал стипендией для занятий в Калькутте. И вот однажды они гурьбой явились ко мне.

— С нашего шукшаорского рынка, — заявили они, — должны быть изъяты английская пряжа, теплые ткани и другие товары.

— Я не могу этого сделать, — ответил я.

— Почему? Вы боитесь убытков? — ядовито спросил кто-то из них.

Я понимал, что этот вопрос был задан только для того, чтобы оскорбить меня.

— Убытки понесу не я, — пришлось мне ответить, — а мелкие торговцы, в большинстве своем люди бедные, и их покупатели.

Но тут в разговор вмешался учитель, присутствовавший при этом.

— Конечно, убытки понесет он, а не вы, — сказал он.

— Во имя родины... — начали было они.

— Родина — это не только земля, — снова оборвал их учитель, — но и люди, которые на ней живут. А вы видели хотя бы краем глаза, как они живут? И все же вы вдруг ни с того ни с сего хотите диктовать им, какую соль есть и в какое платье одеваться. Почему они должны это терпеть, почему мы должны заставлять их терпеть это?

— Но ведь мы сами употребляем только отечественные соль и сахар и носим отечественные ткани, — отвечали они.

— Это уж ваше дело. Вам пужно давать выход своему раздражению и поддерживать свой фапатизм. Деньги у вас есть, так чего ж вам не покупать товаров отечественного производства, уплачивая за них на две пайсы дороже. Бедняки не мешают вам развлекаться по-своему. Вы же непременно хотите заставить их поступать по-вашему. Вся их жизнь — непрестанная, упорная и тяжелая борьба за существование. Вы даже представить себе не можете, что значат для них эти две пайсы. Так как же вы можете сравнивать себя с ними! Вы вели совершенно иной образ жизни, чем они. И теперь хотите ответственность за это свалить на их плечи! Хотите вылить на них свою злобу? Я считаю это низостью. Сами вы можете делать что угодно, хоть умереть! Я, старик — ваш наставник, готов приветствовать вас и даже последовать за вами. Но если вы, размахивая знаменем свободы, будете почитать свободу бедняков, я восстану против вас и, если потребуется, отдам жизнь.

Почти все эти юноши были учениками Чопдронатхабабу и не решились отвечать ему непочтительно, хотя, совершенно очевидно, они с трудом сдерживали кипевшую в них ярость.

— Вся наша страна дает сейчас великую клятву, —

обратились они ко мне, — неужели вы один будете препятствовать ее желанию?

— Неужели вы думаете, что я способен на это? Я охотно отдал бы жизнь, чтобы помочь ей.

— Разрешите узнать, в чем заключается ваша помощь? — криво усмехнувшись, спросил один из студентов, готовившийся стать магистром.

— Я закупил у местных фабрик и привез на наш рынок отечественную ткань и пряжу. Больше того, такую же пряжу я послал на соседние рынки.

— Но мы видели, — возразил тот же юноша, — что вашу пряжу на рынке никто не покупает.

— Это не моя вина и не вина торговцев. Это доказывает лишь то, что еще не вся страна дала великую клятву, о которой вы говорите.

— Дело не только в этом, — вмешался учитель. — Доказывает это еще и то, что и вы сами дали клятву больше для того, чтобы доставлять неприятности всем вокруг. Вы хотите, чтобы торговцы, которые никакой клятвы не давали, покупали пряжу, чтобы ткачи, не дававшие клятвы, ткали из нее ткань, а люди, не дававшие клятвы, покупали бы такую ткань. И это — способ достижения цели? Шумиха, подпята вамп, и насилие над слугами замипдара? Иначе говоря, клятву даете вы, но поститься будут они, зато первыми разговляться после поста будете опять-таки вы.

— А может быть, вы разрешите нам осведомиться, — продолжал другой студент, — в чем будет заключаться доля лишений, взятая вами на себя?

— Отчего же, пожалуйста, — ответил учитель. — Так знайте же, что Никхплу пришлось самому скупать всю эту пряжу отечественного производства, а для того чтобы выткать из нее материю, ему же пришлось открыть ткацкую мастерскую. Если судить по его блестящим деловым успехам в прошлом, надо полагать, что стоимость этой ткани, когда она будет готова, достигнет стоимости парчи. А пригодится она, по всей вероятности, только на оконные занавески для его же гостиной, хотя она и будет пропускать солнечные лучи. И если к тому времени вы забудете о своей клятве, то сами же будете всю потешаться над этим образом отечественного искусства. И только англичане, может быть, восхитятся когда-нибудь мастерством наших ткачей.

Я знаю своего учителя с тех пор, как помню себя, но никогда еще не видел его таким возбужденным. Я пре-

красно понимал, что с некоторых пор в его сердце затаилась обида за меня. Это было причиной того, что его обычное самообладание, не раз уж подвергавшееся испытаниям, изменило ему в конце концов.

— Вы старше пас, — вмешался студент-медик, — я нам не пристало пререкаться с вами. Но мы все же попросим вас твердо ответить нам на один вопрос: вы не запретите продажу иностранных товаров на вашем рынке?

— Нет, я не сделаю этого, — ответил я, — потому что эти товары мне не принадлежат.

— Или потому, что вы пострадаете от этого! — с усмешкой заметил будущий магистр.

— Да, — ответил за меня учитель. — И обычно тот, кто страдает, лучше разбирается во всем.

С громкими возгласами «Банде Матарам!» студенты покинули пас.

Через несколько дней учитель привел ко мне Попчу. Оказывается, заминдар Хориш Кунду наложил на него штраф в сто рупий. Почему, в чем он провинился? Попчу продавал английские ткани. Он пришел к заминдару и, упав в ноги, обещал никогда больше не заниматься торговлей, лишь бы заминдар разрешил ему продать ткани, купленные на деньги, взятые в долг.

— Так дело не пойдет, — ответил заминдар, — ты должен у меня на глазах сжечь все ткани — тогда я отпущу тебя.

Попчу не сдержался.

— Мне такие забавы не по карману, — выпалил он, — у вас вот денег много, покупайте и жгите себе на здоровье!

Заминдар весь побагровел, услышав такие речи.

— Ах ты подлая тварь! — заревел он. — Ты еще будешь разговаривать! Я тебя проучу!

Последовала упизительная порка, а затем штраф в сто рупий.

И это совершают люди, которые следуют по пятам за Шондином и кричат «Банде Матарам!» Это люди, которые служат родине!

— А что стало с матерней?

— Всю сожгли.

— Кто там был еще?

— Много народу, и все кричали «Банде Матарам». Там и Шондин был. Он взял в пригоршню пепел и сказал: «Братья, это первый в нашей деревне погребальный костер, на котором возданы последние почести английской

торговле. Это священный пепел! Обсыпем им тело и разорвем пути Манчестера. Нагими аскетами выполним свой обет».

— Попчу, тебе надо подать жалобу, — сказал я.

— Никто не захочет выступить свидетелем, — ответил Попчу.

— Как это не захочет? Шондип! Шондип!

Шондип вышел из своей комнаты.

— Что случилось? — спросил он.

— На твоих глазах заминдар сжег товары Попчу. Ты выступишь свидетелем?

— Конечно, выступлю, — ответил, смеясь, Шондип, — но со стороны заминдара.

— Что ты хочешь этим сказать? Разве ты не собираешься свидетельствовать истину?

— А разве истина только то, что действительно случилось? — в свою очередь спросил Шондип.

— Какая же еще может быть истина?

— Случилось то, что должно было случиться, — сказал Шондип. — Чтобы воздвигнуть храм истины, нам придется в процессе созидания не раз прибегать к лжи, недаром весь мир — это порождение иллюзии, лжи. Те, кто хочет чего-то достигнуть в этом мире, должны творить свою правду, а не идти слепо за общепризнанной.

— Следовательно...

— Следовательно, я дам то, что вы называете ложным показанием. Точно так же, как дают ложные показания те, которые создают империи, строят социальные системы, основывают религиозные учения. Те, кто хочет властвовать, не бояться лжи, железные оковы правды достаются тем, кто склоняется перед этой властью. Разве ты не читал истории? Разве ты не знаешь, что в огромной кухне мира, где готовится политический соус к государствам-жертвам, главной приправой является ложь?

— В мире сейчас готовят много разных соусов, по...

— Знаю, знаю! Зачем тебе заниматься стряпней! Ты предпочитаешь быть одним из тех, кого потом будут пичкать изготовленным. Они разделят Бенгалию на части и скажут, что делают это во имя вашего блага. Они закроют двери к образованию и будут говорить о благородном стремлении поднять вашу культуру на еще большую высоту. Вы будете продолжать хныкать по углам, а мы, грешники, воздвигнем крепость из камня лжи. Причем спасти нас может именно наша крепость, а не река ваших слез.

— Не стоит спорить, Никхил,— сказал учитель.— Разве может тот, кто не чувствует истины в своей душе, понять, что высшее назначение человека состоит в том, чтобы освободить эту истину от всех покровов и показать миру, а вовсе не в том, чтобы, прикрываясь действительностью, строить заградительную стену вокруг нее.

— Правильно! — рассмеялся Шондип.— Такая речь как раз и подходит школьному учителю. Обо всем этом я давно читал в книгах, но жизнь научила меня другому — я узнал, что главным занятием каждого является все-таки умепье прикрыться действительностью. Люди искушенные изощряются во лжи в рекламах своих предприятий, жирно вписывают фальшивые цифры в счетоводные книги политики. Их газеты — корабли, нагруженные ложью, идущие в чужие страны, а их пропагандисты распространяют ложь, как мухи заразу. Я — только скромный ученик сих великих людей, и когда принадлежал партии Конгресса, то несколько не стеснялся разбавлять полсера правды пятнадцатую серами лжи. И хотя я вышел из этой партии, но до сих пор хорошо помню заповедь, что цель человека — не истина, а успех.

— Истинный успех,— поправил его учитель.

— Может быть,— продолжал Шондип,— но плоды такого успеха вырастить не так-то легко. Для этого надо возделывать поле лжи, разрыхлить землю и уничтожить все комки. Правда же растет сама, как чертополох и сорняки, вот только ждать от нее плодов могут лишь гусеницы да всякие букашки.

С этими словами Шондип стремительно выбежал из комнаты. Учитель с улыбкой посмотрел на меня и сказал:

— А знаешь, Никхил, Шондип не атеист, он — последователь иной религии. Он словно луна на ущербе. Называется луной, а на самом деле — месяц.

— Потому-то,— ответил я,— хоть мы с ним расходимся во взглядах, по душой я тянусь к нему. И я не могу не уважать его, несмотря на то что он принес мне много горя и, может, принесет еще больше.

— Я догадываюсь об этом,— сказал учитель,— сначала я долго удивлялся, как ты можешь терпеть Шондипа. Иногда у меня даже закрадывалось подозрение — не слабость ли это с твоей стороны? Теперь же я вижу, что хоть у вас нет единства в суждениях, но вы понимаете друг друга. Нет рифмы, но ритм один.

— Кажется, в данном случае судьба решила написать поэму «Потерянный рай» белыми стихами, — заметил я шутливо в тон ему. — И друзья с подходящими рифмами оказались бы здесь не на месте.

— Но что же нам делать с Пончу? — вернулся учитель к прежней теме.

— Вы говорите, что заминдар хочет согнать Пончу с земли, которая принадлежала еще его предкам. А что, если я куплю эту землю и оставлю на ней Пончу как своего арендатора?

— А кто уплатит штраф в сто рупий?

— С кого же он сможет требовать этот штраф? Земля-то будет принадлежать мне.

— А сожженный товар?

— Я достану ему новый. Став моим арендатором, он сможет продавать все, что захочет. Хотел бы я видеть, кто осмелится ему помешать.

— Господин, — вмешался Пончу, сложив в мольбе руки, — боюсь я этого. Когда господа дерутся, все хищники тут как тут, пачипая с полицейского инспектора и кончая судьей. Всем есть па что поглазеть. Ну а если падо кого пристукнуть — тут и я под рукой.

— Почему? Что они могут тебе сделать?

— Подождут мой дом вместе с детьми и вообще...

— Хорошо, твои дети проведут несколько дней в моем доме, — сказал учитель, — ты не бойся. Иди к себе домой и торгуй всем, чем хочешь, никто не посмеет тебя тронуть. Я не допущу, чтоб ты мирился с несправедливостью. Чем больше тащишь, тем больше па тебя наваливают.

В тот же день я купил землю Пончу и вступил официально в ее владение. Тут-то и начались неприятности.

Наследство досталось Пончу от деда со стороны матери. Все прекрасно знали, что он был его единственным наследником. И вдруг откуда ни возьмись явилась какая-то тетка и водворилась в доме Пончу со своими узлами, четками и взрослой вдовой-племянницей, заявив, что имеет право до конца жизни пользоваться частью его имущества. Пораженный Пончу заявил, что его тетка давно умерла. «Так то была первая жена, — услышал он в ответ. — Потвоему, у него второй быть не могло, что ли?»

Однако дядя умер значительно раньше тетки и потому вряд ли имел возможность взять себе другую жену. Против этого возражений не было, однако Пончу сообщили, что никто и не утверждает, будто дядя женился после

смерти жены, нет, женился он еще при ее жизни. Только вторая жена, опасаясь семейных раздоров, оставалась в доме отца. После смерти мужа она, будучи женщиной благочестивой, отправилась во Вриндаван, где предавалась посту и молитве, и сейчас вот возвращается оттуда. Все это прекрасно известно служащим заминдара Кунду, возможно, знают о том и некоторые его арендаторы, и если заминдар как следует прикрикнет, так, наверно, найдутся и такие, что пиروвали на свадьбе дяди.

В тот день я до полудня был поглощен распутыванием дела Попчу. Неожиданно меня позвали в оптохпур. Я очень удивился:

— Кто зовет?

— Рани-ма, — последовал ответ.

— Боро-рани-ма?

— Нет, чхото-рани-ма.

Чхото-рани! Кажется, прошла печность с тех пор, как она последний раз звала меня. Оставив всех в кабинете, я отправился в оптохпур. Удивление мое возросло еще больше, когда я увидел в спальне Бимолу, совершенно очевидно принарядившуюся для встречи со мной. Сама комната, ставшая последнее время холодной, нежилой, чем-то напоминала сегодня нашу былую уютную спальню.

Я молча стоял и вопросительно смотрел на Бимолу. Она немного покраснела и быстро заговорила, нервно теребя браслет на левой руке:

— Во всей Бенгалии только на нашем рынке продают английские товары. Разве это правильно?

— А что ты считаешь правильным? — спросил я.

— Приказать выбросить иноземные товары.

— Но ведь они не мои.

— Зато рынок твой.

— Я бы сказал, что рынок принадлежит тем, кто на нем торгует.

— Так пусть они торгуют товарам местного производства.

— Я был бы очень этому рад. А если они не захотят?

— Что значит не захотят! Они никогда не осмелятся! Разве ты не...

— Я сегодня очень занят, и у меня нет времени спорить с тобой. Но имей в виду, пожалуйста, что я не собираюсь никого заставлять.

— Но ведь ты сделал бы это не ради своей выгоды, а во имя родины...

— Совершать насилие во имя родины — значит совершать насилие над родиной. Боюсь, однако, что тебе не понять этого.

С этими словами я ушел. И внезапно перед моими глазами по-новому осветился мир. Я почувствовал всем своим существом, будто земля утратила весомость и со всем, что было на ней живого и движущегося, с какой-то невероятной скоростью устремилась в бесконечность, в головокружительном вращении отсчитывая, как на четках, дни и ночи. Безграничен был труд, ждавший меня впереди, и не было предела освобожденным силе и энергии. Сковать их уже не сможет никто! Никто и никогда! В глубине моего сердца возникла вдруг бурная радость и, как струя фонтана, взмыла вверх, бросая вызов небесам.

Сколько дней я спрашивал себя — что это? Что происходит со мной? Сперва я не мог найти ясного ответа на этот вопрос. Но затем понял: оковы, которые столько дней теснили мне душу, сегодня наконец пали. Я облегченно вздохнул и отчетливо, как на фотографической пластинке, увидел Бимолу и все, что крылось за ее поступком. Совершенно очевидно, что она нарядилась специально в надежде добиться от меня нужного ей распоряжения. До сих пор я никогда не отделял Бимолу от ее нарядов. Но сегодня ее замысловатая английская прическа казалась мне каким-то нелепым украшением. То, что прежде было таинственной оболочкой ее настоящего «я» и потому бесценным для меня, стало дешевой бутафорией.

У нас с Шондипом были разногласия по поводу нашей родины. Это были существенные разногласия. Но все, что говорила о родине Бимола, было лишь отражением взглядов Шондипа, пачисто лишенным его убежденности. Будь на месте Шондипа кто-нибудь другой, и Бимола говорила бы другое. Все это стало для меня более чем очевидно, сомнений не оставалось.

Я вышел из спальни — этой разбитой клетки — на яркий свет зимнего дня. В саду под деревом возбужденно щебетали скворцы. Направо вдоль веранды тянулась усыпанная гравием дорожка. По обеим ее сторонам цвели бегонии, источавшие вокруг пьянящий аромат. Невдалеке, у края луга, стояла пустая тележка, зарывшаяся носом в землю и с поднятым кверху задком. Один из распряженных волов пасся на лугу, а другой, зажмурив от удовольствия глаза, грелся на солнышке, в то время как ворона, сидевшая у него на спине, старательно выклевывала на-

секомах. Сегодня я словно услышал близко-близко биеие пульса земли, занятой своими обычными делами — такими простыми и такими великими. Ее теплое дыхание, напоенное ароматом беговий, пропикало вглубь моего сердца, и невыразимо прекрасный гимн звучал над этим миром, где все было свободно, как был свободен я сам. И тут я вспомнил о Попчу, попавшем в хитрую западню, о его нищете, увидел мысленно, как он бредет по печальным, освещенным неярким светом зимнего солнца полям и дорогам Бенгалии и, подобно волу, жмурит глаза, но не от удовольствия, а от усталости, недомогания и голода. Попчу — воплощенный образ бенгальского крестьянина-бедняка. Мне вспомнился и толстый с благообразной внешностью и тилаком на лбу Хориш Кунду. Хориш Кунду — таких не единицы, таких очень много, они завлакивают все вокруг, как зеленая тина, которая заводится в старых, загнивших прудах между корнями тростника. Распространяя ядовитые испарения, она застилает весь пруд от одного берега до другого.

Нужно до конца бороться с непроглядным мраком, изможденным нищетой, ослепшим от невежества и одновременно скованным беспробудной инертностью, насосавшейся крови умирающих людей. Эта темнота душит кормилицу-землю, терзает ее. Надо бороться! Мы все время откладывали это дело. Но теперь пусть исчезнут мои иллюзии, пусть спадет окутывающее меня покрывало, пусть моя сила освободится от призрачных сетей онтохпура! Мы — мужчины, мы служим свободе, идеал которой мы видим перед собой, мы преодолеем преграды и вырвем пленницу Лакшми из рук злого духа. Нашей спутницей станет та, которая изготовит своими искусными руками победное знамя для нашего шествия. Мы скинем личину с той, что, сидя дома, плетет колдовские сети, чтобы удерживать нас. Мы раз и навсегда освободимся от ее чар, мы не станем наряжать ее в волшебные одежды своих желаний и грез, чтобы она не отвлекла нас от истинной цели. Мне кажется, что сегодня я одержал победу, что я вступил на верный путь. Я смотрю на все открытыми глазами. Я получил свободу, и я дам ее другим. И в труде я найду спасение.

Возможно, когда-нибудь сердце заноет снова. Но теперь я уже знаю эту боль и смогу не поддаться ей. Ведь больно будет только мне — значит, какая же цена этой боли? Я готов принять на себя часть страданий вселенной,

пусть они будут гирляндой на моей шее. О истина! Спаси меня, спаси! Не допусти моего возвращения в мир лживых иллюзий. Если я обречен идти один, позволь мне, по крайней мере, идти твоим путем. И пусть твои литавры играют победный марш в моем сердце.

РАССКАЗ ШОНДИПА.

Несколько дней назад Бимола плакала. Она вызвала меня к себе и долго не могла произнести ни слова, а глаза ее были полны слез. Я понял, она ничего не добилась от Никсила. Бимола была уверена, что стоит на своем, но я не разделял ее уверенности. Женщины очень хорошо видят, в чем слабость мужчин, но они совершенно не способны понять, в чем кроется их сила. Короче говоря, мужчина — такая же тайна для женщины, как женщина для мужчины. Будь это иначе, разделение полов означало бы напрасную трату сил со стороны природы.

О, гордость! Бимолу отнюдь не угнетает то, что она не выполнила важного дела. Она до глубины души возмущена тем, что просьба, на которую она решилась только после трудной внутренней борьбы, была отвергнута мужем. К чему только женщина не прибегает, чтобы поставить на своем. В ее арсенале — слезы и ласка, хитрость, намеки и обман. Женщины гораздо более индивидуальны, чем мужчины, — в этом-то и заключается их очарование. Создавая мужчину, творец чувствовал себя школьным учителем, у которого в сумке хранятся лишь сухие заповеди да правила. Когда же наступило время создавать женщину, он превратился в художника, а в его сумке нашлись кисть и палитра. Разумянившаяся, с глазами, полными слез уязвленного самолюбия, стояла передо мной Бимола. В этот момент она напоминала сверкающую зарницами грозовую тучу, нависшую над горизонтом, и была так прекрасна, что я не выдержал — подошел к ней совсем близко и взял за руку. Рука задрожала, но Бимола не отдернула ее.

— Царица, — сказал я, — ведь мы товарищи, у нас одна цель. Сядем и поговорим, как нам быть.

Она не протестовала, и я усадил ее в кресло. Но удивительное дело! Страстный порыв, овладевший мной, вдруг угас, словно ватолкнувшись на невидимое препятствие. Так в период дождей с ревом и грохотом несется вперед Палма, и кажется — ничто ее не остановит. Но вдруг она

беспричинно меняет свое направление и сворачивает в сторону. Что за преграда встретила на ее пути — не знает сама Ганга. Когда я дотронулся до руки Бимола, все струны моего сердца отозвались дивным аккордом, но стоило мне сделать одно движение — и музыка внезапно оборвалась. Я понимал, что глубочайшее ложе потока жизни прокладывается не сразу, а долгие годы. Стремительный напор желаний только разрушает и портит его. Что же остановило меня? Во всяком случае, не какое-то определенное препятствие, скорее сплетение тысяч помех, возникших вдруг передо мной, необъяснимое чувство связанности. Одно мне теперь ясно: я сам себя не знаю и не могу поручиться за себя. Я — тайна для самого себя, и потому я так полон собой. Если бы я мог до конца разгадать эту тайну, я перестал бы терзаться сомнениями и обрел блаженство покоя.

Опускаясь в кресло, Бимола страшно побледнела. По всей вероятности, она тоже поняла, что опасность миновала. Комета промчалась стороной, чуть задев ее своим огненным хвостом, и от этого потрясения Бимола на несколько мгновений словно потеряла сознание. Желая рассеять ее угнетенное настроение, я сказал:

— Препятствия неизбежны, но мы должны бороться, а не падать духом. Не правда ли, Царица?

Не сразу овладев собой, Бимола промолвила:

— Да.

— Чтобы было ясно, с чего начинать, необходимо наметить план действий, — продолжал я, доставая из кармана карандаш и бумагу.

Мы принялись обсуждать, как распределить обязанности среди юношей, приехавших из Калькутты и примкнувших к нам. Вдруг Бимола прервала меня на полуслове:

— Оставим это пока что, Шондип-бабу, я приду в пять часов, и мы поговорим обо всем. — С этими словами она поспешно вышла из комнаты. Очевидно, она была не в состоянии слушать меня и что-то решать. Ей нужно было побыть одной и, возможно, хорошенько выплакаться.

Когда Бимола ушла, меня с повой силой охватило то же пьянящее чувство. Подобно тому как после заката солнца гуще и богаче становятся краски облаков, после ухода Бимола во мне снова вспыхнула страсть еще более пламенная. Я понял, что упустил замечательный, неповторимый случай. Какая трусость! Может быть, Бимола

ушла, презирая меня за нерешительность? Опа, безусловно, имела на это право.

От всех этих мыслей у меня кружилась голова. Вошел слуга и доложил, что меня хочет видеть Омулло. Я хотел было сказать, чтобы он пришел попозже, но не успел — он появился в дверях.

Омулло сообщил о столкновениях, которые уже произошли в разных местах из-за продажи соли, сахара, платя, и скоро угар страсти, охвативший меня, окончательно рассеялся. Я словно пробудился от долгого сна и встал готовый к борьбе. Впереди поле битвы! «Банде Матарам!»

— Большинство торговцев — арендаторы замшидара Купду, — рассказывал Омулло, — перешли на нашу сторону. Да и среди служащих Никхила многие тайно поддерживают нас и играют нам на руку. Купцы-марвары просят разрешить им продать иноземные ткани хотя бы ценою небольшого штрафа, иначе они разорятся. И только несколько мусульман продолжают упорствовать. Один из них купил своим детям по дешевке немецкие шарфы, а здешний парень — наш, конечно, — отобрал их и сжег. С этого и пошло. Мы сказали, что купим теплые шарфы, только индийские. Но где их возьмешь, чтобы они стоили так же дешево? Цветных тканей не видно. Не можем же мы купить ему кашмирскую шаль! Крестьянин отправился к Никхилу и нажаловался, тот посоветовал ему подать в суд на парня, который сжег шарфы. Хорошо еще, служащие Никхила сумели все это замять и не допустить до суда. Ведь даже его адвокат на нашей стороне.

Я вот только что думаю — где мы будем брать деньги, чтобы покупать местные ткани взамен тех, что сожжем, да еще оплачивать потом судебные издержки. И самое забавное — то, что уничтожение иноземных товаров лишь повышает спрос на них, а следовательно, и барыши иностранцев. Это напоминает случай с торговцем люстр, дело которого оказалось очень прибыльным, так как его навабу правился звон бьющегося хрусталя. И потом вот еще что — дешевых теплых тканей местного производства на рынке нет. Наступили холода. Как нам быть с английской фланелью и шерстью? Может быть, в отношении их сделаем исключение?

— Совершенно ни к чему дарить индийские ткани тем, у кого мы отобрали иностранный товар, — сказал я. — Наказаны должны быть они, а не мы. А если они станут подавать на нас в суд, мы будем поджигать их амбары.

Не стоит жалеть их. Ну, ну, Омулло, чему ты удивляешься? Меня тоже совсем не радует перспектива такой иллюминации. Но не забывай, что это война. Если ты боишься причинить кому-либо горе, будь добреньким, бейся головой о ступу и кричи: «Не надо!» Для нашего дела такое настроение не подходит. Что же касается иноземных теплых тканей, то, как бы трудно ни было, нельзя соглашаться снять с них запрет. Я ни за что не пойду на компромисс. Когда не было цветных английских шалей, крестьяне заворачивались с головой в домотканые и прекрасно обходились, пусть и теперь делают так. Я знаю, что это им не поправится, но сейчас не время считаться с чьими-то желаниями.

Всякими правдами и неправдами нам удалось привлечь на свою сторону большинство лодочников, которые перевозят товары на базар. Однако самый влиятельный из них, Мирджап, никак не поддавался на уговоры. Тогда я спросил нашего агента, здешнего управляющего, не возьмется ли он потопить его лодку.

— Отчего не взяться? Возьмусь, — ответил тот. — Но не пришлось бы мне ответить за это?

— Нужно сделать все это половчее, чтобы не попасться. Ну а если попадешься, то отвечу за все я, — сказал я.

И вот как-то раз в базарный день Мирджап оставил свою лодку у пристани, а сам отправился на рынок. Гребцов поблизости тоже не было: управляющий заманил их на какое-то представление. Под вечер он нагрузил лодку всяким хламом, сделал в днище пробойну и пустил ее по течению. Она затонула на середине реки.

Мирджап прекрасно все понял. Он явился ко мне и, сложив с мольбой руки, сказал:

— Господин, я был неправ, я не понял...

— Как же ты теперь все так хорошо понял? — с издевкой спросил я.

Оставив мой вопрос без ответа, он продолжал:

— Господин, лодка стоила около двух тысяч рупий. Я сознаю теперь свою ошибку. Если вы простите меня на этот раз, я никогда... — И он повалился мне в ноги.

Я предложил ему зайти ко мне дней через десять. Стоит дать Мирджапану две тысячи рупий, и его можно будет прибрать к рукам. А он как раз тот человек, который может оказаться очень полезным. Нам пужно иметь в своем распоряжении солидную сумму денег, иначе мы ничего не добьемся.

Как только Бимола вошла в тот вечер в гостиную, я поднялся с кресла и сказал:

— Царица, время настало, и медлить нельзя, успех обеспечен, но нам необходимы деньги.

— Деньги? Сколько денег? — спросила Бимола.

— Не очень много, по любым путем мы должны достать их.

— Но скажите сколько, — настаивала Бимола.

— В настоящий момент всего-навсего пятьдесят тысяч рупий.

Услыхав о такой сумме, Бимола внутренне содрогнулась, но постаралась не подать виду. Могла ли она снова признаться в своей бессилии?

— Царица, вы одна, кажется, способны сделать невозможное возможным, — сказал я. — Вы это доказали уже не раз. Вы бы попытались свою силу, если бы я мог показать вам, как много вы сделали. Но время для этого еще не пришло. Оно придет, а пока нам нужны деньги.

— Я дам их вам, — последовал ответ.

Я понял: Бимола решила продать свои драгоценности, поэтому я сказал:

— Но ваши драгоценности должны оставаться нетронутыми: неизвестно, что еще ждет нас впереди.

Бимола растерянно смотрела на меня, не понимая.

— Вам придется взять деньги из сейфа мужа.

Бимола растерялась еще больше. Через некоторое время она сказала:

— Как же я могу взять его деньги?

— Разве его деньги не ваши?

— Нет, не мои, — ответила она. Было очевидно, что мой вопрос уязвил ее гордость.

— Но если так смотреть, то они и не его. Эти деньги принадлежат родине, в трудную для нее минуту Никхил не должен их утаивать.

— Но как же мне их взять? — повторила она.

— Как угодно. Вам лучше знать, как это сделать. Вы должны взять их для той, кому они принадлежат по праву. «Банде Матарам!» «Банде Матарам!» Этой мантрой вы откроете сегодня дверь его стального сейфа, раздвинете стены его сокровищницы. И пусть устыдятся те, чьи сердца не откликнутся на этот великий зов. Скажите «Банде Матарам», Царица!

— Банде Матарам!

Мы — мужчины, мы — владыки, нам полагается собирать дань. Явившись на землю, мы немедленно стали расхищать ее богатства. И чем больше мы требовали, тем покорнее она отдавала их. От начала времен мы собираем плоды, рубим деревья, вскапываем землю, убиваем зверей, ловим птиц и рыбу. Мы без разбора берем все и отовсюду: со дна океана, из земных недр, из самых костей смерти. Такова мужская природа. Мы не пощадили ни одного сундука в кладовой всевышнего.

Земле доставляет величайшее наслаждение выполнять требования людей. Непрерывно отдавая им свои богатства, она сама становится плодородней, обильней, прекрасней. Если бы не это, она покрылась бы джунглями и так никогда и не познала бы себя; двери ее сердца остались бы закрытыми, ее алмазы никогда не увидели бы света дня, и жемчуга никогда не сверкали бы на солнце.

Точно так же нам, мужчинам, удалось своей пастойчивой требовательностью пробудить к жизни дремавшие в женщинах возможности. Отдавая всех себя без остатка нам, они обрели истинное величие. Они приносят алмазы своего счастья и жемчуга своих печалей в наши сокровищницы и становятся по-настоящему богаты. Мужчина, отдавая, дает; женщина же, отдавая, — приобретает.

Надо сказать, что потребовал я сейчас от Бимола не малого. Я даже испытывал поначалу угрызения совести — таковы уж мы, мужчины, любим вступать в бесцельные споры сами с собой. Я говорил себе, что такое поручение было для нее слишком трудным. Но какой-то миг я даже почувствовал желание позвать ее обратно и сказать: «Нет, вас не должны касаться наши трудности, я не хочу осложнять вашу жизнь еще больше». Я забыл, должно быть, что папачение мужчины именно в том и состоит, чтобы своими подчас чрезмерными требованиями заставить женщину встрепнуться, сбросить с себя врожденную инертность, в том, чтобы открывать перед ней бездонные пропасти страданий, ведущие в сокровищницу ее души. Мужчина создан для того, чтобы заставлять мир содрогаться от рыданий. Иначе зачем так сильна рука мужчины, так крепка его хватка!

Бимола всем сердцем желала, чтобы я, Шопдип, потребовал от нее какой-нибудь большой жертвы, пусть даже жизни! Без этого она не мыслила себе счастья. Ведь она давно уже пресытилась своим семейным счастьем и все эти долгие скучные годы только и ждала случая выпла-

каться свое горе на чьем-нибудь плече. Поэтому едва лишь она заметила меня, как горизонт ее сердца омрачили грозовые тучи. И если я пожалею ее и постараюсь спасти от слез, будет совершенно ясно, что своего назначения я не оправдал.

Конечно, угрызания совести мучили меня главным образом из-за того, что потребовать мне от нее пришлось денег. Добыча денег — мужское дело. Было похоже, что я кланяюсь у нее. Поэтому мне пришлось назначить большую сумму. Тысяча рупий, две тысячи — это определенно смахивает на мелкое жульничество. В цифре же пятьдесят тысяч есть что-то романтическое — это уж грабеж. И почему только я не богат! Сколько раз мои желания оставались неосуществленными исключительно из-за отсутствия денег! Бедность мне не к лицу. Будь судьба просто несправедлива ко мне, я еще, может быть, извинил бы ее, но проявленный ею дурной вкус совершенно непростителен. Для такого человека, как я, не только печально, но и просто смешно каждый месяц метаться в поисках денег на квартирную плату и считать пайсы, прежде чем купить билет в общий вагон.

Также очевидно и то, что людям, подобным Никхилу, богатство, доставшееся в наследство, совершенно не нужно. Ему вполне подошло бы быть бедняком. Он присоединился бы к своему дорогому учителю и бодро потащил бы с ним в паре двойное бремя никчемности и нужды.

О, как бы я хотел хоть раз в жизни получить возможность потратить пятьдесят тысяч рупий на свои удовольствия и на служение родине. Расточительность у меня в натуре, моя мечта: сбросить хоть на несколько дней нищенское обличье и увидеть себя в подобающем мне виде.

Однако мне не верится, что у Бимолы пайдется доступ к пятидесяти тысячам. Одна-две тысячи — это еще возможно, но больше... Что ж! Если есть опасность остаться совсем без хлеба, мудрец вынужден согласиться хоть на четверть булки.

К своим запискам я еще вернусь несколько позже. Сейчас не до того. Управляющий просит, чтобы я немедленно явился к нему. Кажется, случилось что-то неприятное.

По словам управляющего, полиция догадывается, кто потопил лодку. Этот человек — большой пройдоха, и уличить его не так-то просто. Но разве можно быть абсолютно

уверенным! Никхил вабешен, и вполне возможно, что управляющему не удастся повернуть дело по-своему. Он так и сказал:

— Смотрите, если я попаду в беду, я и вас впутаяю.

— Где же те сети, которые запутают меня? — спросил я.

— У меня есть четыре письма: одно ваше и три Омупло-бабу, — ответил он.

Я понял, что именно поэтому он и прислал мне письмо с пометкой «срочно», на которое просил немедленного ответа. Да, многому мне еще надо учиться. Ведь если мы можем потопить лодку противника, мы с таким же успехом можем потопить и приятеля, и в этом отношении управляющий готов даже уступить мне первое место. Правда, он с еще большей готовностью сделал бы это, если бы я не посылал ему письма, а ограничился устным ответом.

Ясно одно — придется дать взятку полиции, а если дело замять не удастся, придется возместить убытки владельцу лодки. Не менее ясно, что значительная часть добычи, попавшей в расставленные сети, попадет в карман управляющего. Однако я предпочел оставить такие мысли при себе — ведь он кричит «Банде Матарам» с не меньшим воодушевлением, чем я.

В делах такого рода всегда возможны просчеты — бывает, что выигрываешь больше того, что теряешь. По-видимому, известный запас нравственных принципов обязателен для каждого человека, поэтому сначала я страшно рассердился на управляющего и готовился уже вписать в свой дневник весьма резкие суждения о вероломстве моих соотечественников. Однако, если существует всевышний, я должен выразить ему свою признательность за то, что он вовремя вразумил меня: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что представляю из себя я сам и окружающие меня. Я могу обманывать других, по себе — никогда. Поэтому мой гнев быстро улетучился. Истина ни хороша, ни плоха — она истина, и на ней основывается знание. Озеро — это всего лишь вода, которую не смогла впитать почва.

Наше патристическое движение напоминает такую почву, на которой сохранилась какая-то часть воды. Рыбачим в ней и я и управляющий. Конечно, наше занятие не из благородных, однако оно существует, и с этим приходится считаться. На дне каждого большого дела есть такой слой почвы. Он есть даже в океане. Поэтому, когда берешься

за большое дело, всегда надо учитывать желающих погреть на нем руки. Таких, как управляющий и я. Без этого не обойдешься. Недаром говорится: «Мало накормить коня, надо смазать и колеса».

Как бы то ни было, нам нужны деньги. Пятьдесят тысяч сами не придут. Надо брать все, что плохо лежит. Ждать не приходится. Знаю, что, согласившись на малое, можно потерять большое. Взяв сегодня пять тысяч, я рискую не получить завтрашних пятидесяти. Не я ли говорил Никхилу: «Аскетизм предполагает алчность, алчность же предполагает аскетизм». Я отказался от пятидесяти тысяч, а учителю Никхила — Чопдронатху-бабу — отказываться от них не надо.

Есть шесть пороков. Двумя первыми и двумя последними страдают сильные люди, остальные два — удел слабых. Не знающая преград страсть — это я! Алчность и самообольщение не властвует надо мной, иначе они ослабили бы мою страсть. Самообольщение, иллюзии заставляют людей жить прошлым и будущим, не замечая настоящего. Те, кто постоянно напрягает слух, прислушиваясь к флейте прошлого, подобны покинутой Шакуптале, которая отдалась воспоминаниям о возлюбленном и не услышала азова гостя, стоящего рядом, за что и была проклята им. Самообольщение — смертельный яд для жреца страсти.

С того дня, когда я сжал руку Бимолы, трепетное чувство, взволновавшее наши сердца, не покидает нас. Мы должны бережно хранить его, не допускать повторений. Иначе то, что сейчас звучит, как дивная мелодия, превратится в нечто будничное и обычное. Пока что вопрос «почему?» просто не приходит ей в голову. И я не должен лишать иллюзий Бимолу — одну из тех, кому иллюзии необходимы. Что касается меня, то я сейчас очень занят. Пусть любовный напиток наполняет до краев чашу страсти, не надо сейчас осушать ее до дна. Но когда настанет подходящий момент, я не замедлю сделать это. О жаждущий, подави в себе алчность и научись нежно перебирать струны вины иллюзий, пока ты не сможешь извлекать из нее тончайшие оттенки обольщения.

За это время к нам присоединились новые люди. Наши группы растут. Но хотя мы охрипли, убеждая мусульман, что они наши братья, приходится признать, что лаской с ними ничего не сделаешь. Придется прижать их, чтобы они поняли: сила в наших руках. Сегодня они не обращают внимания на наши призывы, рычат, скалят зубы,

однако придет день — и мы заставим их тапцевать, как ручных медведей.

— Если вы действительно проповедуете единую Индию, не забывайте, что мусульмане — неотъемлемая часть ее, — возражает Никхил.

— Безусловно, — сказал я на это, — но мы должны определить им место и держать их там, иначе неприятностей не оберешься.

— Поэтому ты, как я вижу, хочешь покопчить с одними неприятностями при помощи других.

— А что ты можешь посоветовать?

— Есть только один испытанный путь — прекратить вражду, — выразительно сказал Никхил.

Известно, что споры с Никхилом всегда заканчиваются наставлением, как все правоучительные истории. Забавнее всего, что он сам до сих пор в них верит, хотя, казалось бы, давно пора перестать. Никхил, по моему мнению, все еще остается самым настоящим школьником. Его главное достоинство — неподдельная искренность. Подобно Чанд Шодагору, он склонен прибегать к «божественным знаниям», дабы воскресить умершего от укуса обыкновенной змеи. Беда с такими людьми — они даже смерть не считают концом и совершенно уверены в существовании потусторонней жизни.

Я давно лелею один план. Если бы мне удалось осуществить его, пожар охватил бы всю страну. Народу необходимо видеть перед собой образ родины — разве он зажжется по-настоящему без этого? Родина должна стать для него богиней. Товарищам поправилась моя мысль.

— Прекрасно, — заявили они, — давайте создадим что-нибудь подобное.

— Нет, так просто у вас ничего не выйдет, — возразил я. — Воплощением родины мы можем сделать лишь божество, уже почитаемое в нашей стране. В этом случае поклонение народа устремится к нему легко и свободно по знакомому пути.

Незадолго до этого у нас с Никхилом состоялся крупный разговор.

— Истину, которую мы действительно почитаем, но нужно ни затемнять, ни приукрашивать, — сказал он, — как бы сильно мы ни стремились к ней.

— Надо подсластить пилюлю, — ответил я ему, — если отказаться от иллюзий, за нами не пойдет простой народ, а он составляет большинство. Чтобы поддерживать в на-

роде иллюзии, каждая страна создает свои собственные божества: без этого обойтись невозможно.

— Нет, нам нужен бог, который помог бы нам покончить с иллюзиями, — возразил Никхил. — Только темные силы могут поддерживать их.

— Что ж тут такого? Ради успеха дела можно прибегнуть к помощи и фальшивых богов. Наша беда, что мы не умеем использовать иллюзии для своих целей, хотя они и очень сильны в народе. Посмотри на брахманов, мы называем их земными богами, берем прах от их ног, осыпая их приношениями, а толку от них нет никакого. Если бы они действительно обладали силой, мы сделали бы невозможное возможным. На земле существует очень много людей, умеющих лишь пресмыкаться, не способных взяться ни за какую работу, если им на голову или на спину не сыплется прах от чьих-то ног. Иллюзии — великая сила, заставляющая таких людей трудиться. Мы долго оттачивали наше оружие, и наступило время сражения. Так неужели же мы не воспользуемся им теперь?

Однако убедить во всем этом Никхила очень трудно. Слишком уж крепко засела в его мозгу эта самая истина — он прямо-таки осязает ее как нечто реальное. Сколько раз я говорил ему:

— Доказанная ложь становится истиной. Это понимали у нас в Индии испокон веков и не боялись утверждать, что для человека невежественного ложь и есть истина. Такой человек все равно не увидит, в чем разница между ними. Тому, кто обожествляет свою родину, образ ее богини заменит истину. По своей природе, в силу установившихся традиций мы не способны ясно представить себе, что такое наша родина, представить же себе образ богини-матери для нас очень просто. Это непреложный факт, без признания которого нельзя рассчитывать на успех дела.

Но Никхил, слушая меня, только приходил в возбуждение.

— Просто вы разучились служить истине и предпочитаете, чтобы вам прямо в руки валились с неба чудесные дары, — в большом волнении сказал он. — Запоздав на несколько веков со своим служением родине, вы хотите теперь сотворить из нее кумира, который будет осыпать вас незаслуженными милостями.

— Мы хотим осуществить невозможное, — возразил я, — поэтому волей или неволей должны прибегнуть к помощи божества.

— Иными словами, вас не прельщает осуществление возможного,— сказал Никхил,— вы не стремитесь что-то изменить сами, а только надеетесь на нечто сверхъестественное.

— Вот что, Никхил,— сказал я, выведенный в конце концов из себя,— все эти правоучения необходимы в определенном возрасте, человеку же, обладающему полным комплектом зубов, они вовсе не нужны. Разве мы не видим, как пышным цветом расцветает то, что нам никогда и во сне не снилось. Почему это происходит? Это проявляет свою силу божество, олицетворяющее нашу родину. Ведь гений эпохи должен быть сосредоточен на том, чтобы дать вечный облик этому божеству. Здесь не должно быть места спорам — гений творит! А я лишь придам законченную форму тому, что создано воображением народа. Я распушу слухи, что богиня явилась мне во сне, что она требует поклонения. Мы скажем брахманам: «Вы — жрецы богини, вы пали так низко потому, что забыли о своем долге, перестали заботиться о том, чтобы ей воздавалось должное». Ты скажешь, что это будет ложь? Нет, это правда. Даже больше того, это — та правда, которую родина уже давно жаждет услышать из моих уст. Если бы только мне представился подходящий случай оповестить о своем откровении, ты бы убедился, какой удивительный получился бы результат.

— Не знаю, суждено ли мне его увидеть,— ответил Никхил.— Мой жизненный путь ограничен, а результат, о котором ты говоришь, не окончателен. Всякие последствия, о которых мы сейчас и не подозреваем, возможны.

— Мне нужны результаты только сегодняшнего дня,— сказал я.

— А мне нужны результаты, которые имели бы значение во все времена,— возразил Никхил.

Если говорить правду, Никхил не был лишен фантазии, которой щедро наделены все бенгальцы. Но, укрывшись за сухим деревом высокой морали, он почти убил в себе это качество. Посмотрите, как высоко чтут бенгальцы Дургу и Джагадхатри. Я совершенно убежден, что поклонение этим богиням было задумано некогда как политический ход. В период мусульманского господства бенгальцы стремились к освобождению, они мечтали получить благословение от Шакти — родины, которую воплощали две богини. Мог ли создать еще какой-нибудь из народов Индии такую удивительную форму выражения своего идеала?

Никогда еще отсутствие истинного дара воображения у Никхила не сказывалось с такой силой, как в его тогдашнем ответе на мои слова:

— В период мусульманского владычества и маратхи и сикхи с оружием в руках стремились одержать победу. Бенгальцы же удовлетворились тем, что вложили оружие в руки своей богини, читали мантры и молили о победе. Но родина не богиня, и единственным результатом их молений были отсеченные головы жертвенных коз и буйволов. Когда наши поиски правильного пути к счастью увенчаются успехом, тот, кто выше нашей родины, пошлет нам истинные блага.

Вся беда в том, что, когда слова Никхила записывались на бумагу, они звучат хорошо. Мои же речи — не для бумаги, они должны быть выжжены каленым железом на груди родины не как «Руководство по земледелию», напечатанное типографской краской на бумаге, а как воля крестьян, которую они вычерчивают лемехом плуга, глубоко врезаая его в землю.

Встретившись с Бимолой в следующий раз, я сразу же взял в разговоре высокий тон.

— Разве могли бы мы всем сердцем верить в бога, для прославления которого рождаемся на свет вот уже тысячи веков, если бы своими глазами не убедились в его существовании.

— Сколько раз я говорил вам, — продолжал я, — что, не встретив вас, я никогда не смог бы увидеть свою родину как нечто целое. Не знаю, в состоянии ли вы правильно меня понять, но ведь все дело в том, что боги остаются невидимыми лишь на небесах, на земле их могут увидеть все смертные.

Бимола как-то особенно взглянула на меня и серьезно ответила:

— Я очень хорошо вас понимаю, Шондип.

Это было первый раз, когда она назвала меня просто Шондипом.

— Арджуна всегда знал Кришну лишь как своего возницу, но Кришна мог явиться вселенной и в другом облике. В тот день, когда Арджуна увидел Кришну в этом новом образе, он познал истину.

Для меня вы являетесь законченным воплощением родины. Семь рукавов Ганги и Брахмапутры образуют ожерелье на вашей шее. Не насурьмленные ресницы, обрамляющие ваши черные глаза, вижу я — мне чудится поло-

са, окаймляющая далекий берег за темной рекой; переливчатый блеск вашего яркого сари напоминает мне игру света и теней над волнующимися пивами, а жестокое сияние вашей красоты не что иное, как знойное летнее солнце, которое испепеляет все вокруг, заставляет замереть в тяжелой истоме даже небо, похожее в этот момент на льва, изнывающего от жары в пустыне. И раз уж богиня спустилась до того, что явилась мне, своему верному почитателю, в таком чудесном образе, значит, я избран призвать всю страну к поклонению ей, ибо только тогда наша родина обретет новую жизнь. «Твой образ мы воздвигаем в каждом храме!» Но всего этого народ еще не осознал. И потому я сначала объединю весь народ вашим именем, а потом покажу ему богиню, плод своих рук, от которой не сможет отвернуться в неверии никто. О, благослови меня! Дай мне совершить это!

Бимола слушала, опустив веки. Она застыла, словно каменное изваяние. Если бы я продолжал, она потеряла бы сознание. Через несколько мгновений она раскрыла глаза и, устремив в пространство остановившийся взгляд, начала шептать:

— О путник, несущий гибель, никто не в силах помешать тебе идти по избранному тобою пути. Разве есть силы, способные сдержать бурный поток твоих желаний? Монарх сложит свою корону к твоим ногам, богач распахнет перед тобой двери своих сокровищниц, а нищий будет молить, чтобы ты позволил ему узреть тебя. Границы добра и зла исчезнут. О мой властелин, божество мое! Не знаю, что ты увидел во мне, я же всем сердцем увидела твоё величие. Что я такое, кто я рядом с тобой! О, ужас! Как страшна сила, несущая гибель. Я все равно никогда не познаю истинной жизни, пока она не поразит меня. Я не могу больше терпеть, моя грудь разрывается!

Бимола соскользнула с кресла и упала к моим ногам. Затем последовал неудержимый поток рыданий.

Вот он, гипнотизм, — чудесная сила, обладая которой, можно покорить мир. Никаких средств, никакого оружия, одно только неотразимое внушение. Кто сказал: «Да победит истина»? Победит ложь! Бенгальцы это поняли, потому-то они и почитают десятирукую богиню, восседающую на льве. Теперь бенгальцы должны создать новую богиню, которая очарует и покорит весь мир. «Бапде Матарам!»

Я осторожно поднял Бимолу и усадил в кресло. Прежде чем она окончательно пришла в себя, я сказал:

— Царица, я получил приказание свыше зажечь в Бенгалии огонь поклонения нашей святой Родине-Матери. Но что я могу сделать — ведь я беден!

Все еще с пылающими щеками и затуманенными глазами Бимола сказала прерывающимся голосом:

— Вы бедны?! Вам принадлежит все, что есть у каждого из нас. Для чего полны мои шкатулки? Возьмите все мои драгоценные камни и золото, раз вам нужно! Мне ничего не надо.

Бимола и раньше хотела отдать мне свои украшения. Я редко перед чем-нибудь останавливаюсь, но здесь я почувствовал границу, перешагнуть которую я не в состоянии. Я знаю, откуда эти колебания: мужчина должен дарить женщине украшения, отбирать их у нее — оскорбительно для его мужского самолюбия.

Однако сейчас я должен забыть об этом. Я беру не для себя. Речь идет о Матери-Родине, это дань поклонения, которая будет принесена на ее алтарь. Торжество должно быть обставлено с невиданной в нашей стране пышностью, нужно, чтобы оно навсегда осталось в истории новой Бенгалии. Это будет мой ни с чем не сравнимый дар народу! Глупцы поклоняются богам, а создает этих богов Шопдин! Но до этого еще далеко! Теперь же надо добывать средства. Нам нужно достать хотя бы три тысячи — пять тысяч устроили бы нас окончательно. Но как заговорить о деньгах после того, как мы только что парили в небесах? Однако времени терять нельзя.

Я подавил все колебания. В мгновение ока я был на ногах.

— Царица, — сказал я твердым голосом, — сокровищница наша пуста, мы не сможем продолжать начатое дело.

По лицу Бимолы скользнула тень страдания. «Она думает, что я снова буду просить пятьдесят тысяч», — мелькнуло у меня в голове. Мысль о них, наверно, камнем лежит у нее на сердце. Наверно, она не одну ночь провела без сна, ища и не находя выхода. Бимола не может открыто принести к моим ногам свое сердце, и потому ей хочется, припав мне в дар такую огромную — для нее — сумму денег, дать выход своему затаенному чувству. Но она не находит пути для выполнения своего желания и мучится. Ее страдания заставляют больно сжиматься мое сердце, ведь теперь она целиком моя. Зачем же терзать бедняжку? Я должен беречь и хранить ее.

— Царица, — продолжал я, — у нас сейчас нет особой

нужды в пятидесяти тысячах рупий. Я подсчитал и думаю, что пока хватит пяти и даже трех тысяч!

Бимола облегченно вздохнула.

— Я принесу вам пять тысяч,— словно пропела она, и в ее голосе послышался отзвук песни Радхи:

Посмотри, любимый, на цветок,
Что приколот к волосам моим.
На земле, на небе — в трех мирах,
Что еще сравниться может с ним.
Звук свирели воздух наполнил,
Но не слышно в этой песне слов
О реке любви, что разлилась,
Выйдя навсегда из берегов.

Та же мелодия, та же песня, те же самые слова: «Я принесу тебе пять тысяч!» — «Посмотри, любимый, на цветок, что приколот к волосам моим». У свирели очень узкие скважины, и поэтому мелодия ее так тонка и пропикновенна. Сломай я, мучимый алчностью, эту свирель, и музыка умолкнет вовсе, а я услышу совсем другую песню: «Зачем тебе столько денег? Где я, жепщина, достану такую сумму?» и т. д. Что очень мало напоминало бы песнь Радхи. Поэтому я утверждаю: одна иллюзия реальна, она и есть сладкозвучная свирель, тогда как истина всего лишь немая пустота внутри этой свирели.

За последнее время с этим чувством окончательной пустоты пришлось познакомиться и Никхилу — я вижу это по его лицу. Даже мне тяжело смотреть на него. Но ведь Никхил сам всегда бравировал жаждой истины. Я же упорно настаивал, что дорожу только иллюзией. Каждый получил то, что хотел. Так что жаловаться не на что.

Желая удержать Бимолу в заоблачных высотах, я прекратил разговор о пяти тысячах рупий и принялся рассуждать о торжестве, которое мы устроим в честь Дурги. Где и когда оно состоится? В Рунмари, в одном из поместий Никхила, в середине декабря отмечают мусульманский праздник, и туда стекаются сотни тысяч богомольцев. Конечно, хорошо было бы устроить торжество именно там. Бимола вся так и загорелась. Это ведь не сжигание иностранных тканей, думала она, и не поджог жилищ. Никхил ничего не будет иметь против этого. В душе я смеялся: как мало они знают друг друга, несмотря на прожитые бок о бок девять лет! В рамках домашней жизни они еще кое-как понимали друг друга, когда же речь заходит о жизни за пределами их дома, они

совершенно теряются. В течение девяти лет они тешились мыслью, что полная гармония существует между их домом и внешним миром. Им приходится расплачиваться сейчас за свое заблуждение, потому что паверстать упущенное и установить гармонию теперь уже невозможно.

Ну что ж, пусть на горьком опыте познают свои ошибки те, кто делает их! Меня это очень мало трогает. Пока что мне порядком надоело заставлять Бимолу парить в небесах, подобно воздушному шару на привязи; дело пужно довести до конца.

Когда Бимола встала и направилась к двери, я как бы вскользя бросил:

— Итак, относительно денег...

— В конце месяца, когда я получу деньги на личные расходы, — обернувшись, ответила Бимола.

— Боюсь, что будет слишком поздно.

— Когда же вы хотели бы получить их?

— Завтра.

— Хорошо, я принесу их завтра.

РАССКАЗ ПИКХИЛЕША

В газетах стали появляться заметки и письма, направленные против меня. Я слышал о готовящихся на меня пасквилях и карикатурах. Забил фонтан остроумия, брызги лжи разлетаются повсюду и заставляют покатываться со смеху всю страну. Газетчики знают, что им принадлежит исключительное право обливать грязью, — ни в чем не повинному прохожему трудно рассчитывать сохранить в чистоте свое платье.

В моих владениях, пишут они, люди всех слоев и положений готовы поддержать свадеши, но из страха передо мной предпочитают держаться в стороне. Несколько смельчаков, которые хотели ввести в обиход товары местного производства, я на правах заминдара будто бы жестоко наказал. У меня будто бы тайная связь с полицией; я близко знаком с судьей, и, кроме того, из «достоверных источников» известно, что мои отчаянные усилия присоединить к наследственному титулу новый, иноземный, по всей вероятности, увенчаются успехом. Имя — богатство человека, — сообщают они, — однако, по имеющимся у них сведениям, это же имя может обречь человека на бесславие.

Прямо обо мне не упоминалось, но намеки были весьма прозрачны. В то же время в газете появляются одна за другой статьи, восхваляющие преданного родине Хориса Кунду. «Если бы таких преданных родине патриотов в стране было больше,—распространялся автор одной из статей,—то даже трубы Манчестера скоро затрубили бы гимн «Банде Матарам».

Пришло на мой адрес письмо, написанное красными чернилами, со списками заминдаров-предателей, чьи владения были сожжены. «Священный огонь,—говорилось в письме,—призван выполнять свою очистительную миссию. Есть силы, которые следят за тем, чтобы недостойные сыны отчизны не обременяли ее лопа». Подпись: «Смирный обитатель материнского лопа Шриомбикачорон Гунто».

Я догадывался, что все это сочинения местных студентов. Несколько из них я вызвал и показал письмо. Бакалавр многозначительно сказал мне:

— Мы тоже слышали, что организовалась группа отчаянных, для которых ничего не стоит устранить любое препятствие, мешающее успеху свадешни.

— Если хоть один человек пострадает от их бессмысленной жестокости — это будет страшным поражением для всей страны,—ответил я.

— Я вас не понимаю,—возразил магистр исторических наук.

— Страх привел нашу страну на край пропасти — сначала страх перед богами, затем перед полицией. А теперь вы хотите во имя свободы заменить устаревшее пугало новым. Если вы думаете прийти к победе, угнетая и запугивая слабых, помните, что вам никогда не удастся согнуть тех, кто действительно любит родину,—сказал я.

— А скажите, есть ли такие страпы, где подчинению власти не основывалось бы на страхе? — не унимался магистр.

— В любой стране степень свободы,—сказал я,—находится в прямой зависимости оттого, как далеко простирается страх, на котором основывается власть. Там, где она вселяет страх только в бандитов, воров и проходимцев, правительство имеет право сказать, что оно стремится к освобождению человека от насилия со стороны другого. Там же, где под угрозой наказания предписывается, что человек должен надевать, где покупать товары, что есть и с кем садиться за один стол,—попирается свобода воли и

в самом корне убивается чувство человеческого достоинства.

— Но разве в других странах не существует насилия над личностью? — настаивал магистр.

— Отрицать этого не станет никто, — сказал я. — Стопнь уничтожения человека как личности в той или иной стране определяется именно степенью его закабаления.

— Значит, кабала — естественное состояние человека, его неотъемлемая природа, — вмешался магистр.

— Шондип-бабу очень хорошо объяснил нам все это на примере, — вступил в разговор бакалавр. — У ваших соседей-зампидаров, Хориша Кунду и Чокроборти, все владения выметены под метелку, там теперь невозможно достать и горсти иноземной соли. А почему? Да потому, что они правят железной рукой. Самое страшное несчастье для тех, кто по природе своей раб, остаться без хозяина.

— Я знаю один такой случай, — вмешался провалившийся на экзамене претендент на бакалавра. — У Чокроборти был арендатор из касты писцов. Человек он был упрямый и ни за что не хотел подчиниться Чокроборти. Против него возбудили судебное дело. И в конце концов он совсем разорился. После того как его семья просидела несколько дней без еды, он решил продать серебряные украшения жены — последнее, что у него осталось. Но из страха перед зампидаром никто не осмелился купить их. Управляющий Чокроборти предложил бедняку пять рупий за драгоценности, хотя они стоили по меньшей мере тридцать. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось согласиться на эти пять рупий. Как только ценности оказались в руках управляющего, тот заявил, что зачтет эти пять рупий при очередном взносе арендной платы. Узнав об этом, мы сказали Шондипу-бабу, что объявим бойкот Чокроборти и его управляющему. Шондип-бабу ответил, что если мы будем так отталкивать всех живых людей, то продолжать работу нам придется с мертвецами, ожидающими сожжения на берегу реки. Люди живые знают, чего хотят, и умеют настаивать на своих желаниях, говорил он. Они рождены повелевать. Те же, кто не умеет добиваться своего, должны либо подчиняться им, либо умереть по их повелению. Шондип-бабу сравнил с вами Чокроборти и Хориша Кунду и сказал: «Сейчас во владениях Чокроборти нет ни одного человека, который посмел бы хоть слово сказать против свадеши, а вот Никхилеш, сколько бы он ни старался, насадить у себя свадеши не сможет».

— Я хочу посадить у себя нечто более значительное и прекрасное, чем свадеши,— ответил я,— поэтому и не могу поддерживать свадеши. Я не хочу иметь дело с сухими бревнами, мне нужны живые деревья; вырастить их потребуется время.

— Боюсь, что вы останетесь и без сухих бревен, и без живых деревьев,— ехидно заметил историк.— Я согласен с Шондипом-бабу: получать — значит отбирать. Нам потребуется немало времени, чтобы усвоить это. Ведь в школе нас учили совсем другому. Я сам был свидетелем того, как собирал налог сборщик заминдара Кунду, Гуручорон Бхадური. Одному арендатору-мусульманину нечем было заплатить, и в доме ничего не осталось для продажи. Была лишь молодая жена. «Продай жену и погаси долг»,— посоветовал Бхадური. Нашелся подходящий покупатель, и долг был выплачен. Верите ли, после того как я видел слезы несчастного мужа, я несколько ночей не мог сомкнуть глаз. Но как бы мне ни было тяжело, я уяснил себе одно: человек, который может заставить своего должника продать жену в уплату долга, стоит гораздо выше меня самого. Признаюсь, что сам я был бы не способен на это — я слабый человек, мне ничего не стоит расчувствоваться! Спасти нашу родину могут только такие вот Кунду и Чокроборти со своими подручными.

Я был потрясен.

— Если то, что вы говорите, правда,— воскликнул я наконец,— то отныне я посвящу всю свою жизнь спасению родины от таких вот Кунду и Чокроборти. Рабские инстинкты, прочно засевшие в нас, при благоприятных обстоятельствах очень легко перерождаются в страшный деспотизм. Выйдя замуж, женщина терпит побои, но, став свекровью, она десятикратно вымещает их на своей невестке. Если всеми презираемый человек вдруг становится шафером на свадьбе, то почтенные отцы семейств будут немало страдать от его заносчивости. Вы сами так привыкли повиноваться из страха, что считаете теперь своим священным правом заставлять повиноваться других. Вы считаете признание насилия законом. А я буду бороться и с признанием его, идущим от слабости, и с насилием, идущим от жестокости.

Все, что я говорю, очень просто, обыкновенные смертные поймут меня без труда. Однако наши будущие историки, кажется, помешаны на идее сокрушения истины.

Мне не даст покоя мысль о мнимой тетке Пончу. Пред-

ставить доказательства против нее будет трудно, найти свидетелей подлинных событий всегда бывает нелегко, а иногда и вовсе невозможно. Зато можно заранее сказать, что недостатка в очевидцах событий, которые не имели места, но на которых можно подзаработать, не будет никогда. Все эти махинации были, очевидно, затеяны с целью возвратить обратно наследственный участок Пончу, который я купил. Не видя иного выхода, я решил предоставить Пончу участок в одном из своих поместий и построить ему домик. Однако учитель не пожелал сложить оружие перед такой несправедливостью и сказал, что хочет попытаться что-нибудь сделать.

— Вы хотите попытаться?

— Да, хочу, — ответил он.

Я не мог представить себе, как сможет мой учитель вести судебную волокиту. В этот вечер он не пришел ко мне в обычный час. Оказалось, что он куда-то отправился, захватив с собой кое-что из одежды и постельные принадлежности. Слуги могли мне сказать только, что Чондропатх-бабу вернется не ранее чем через три-четыре дня. «Учитель отправился в деревню, где жил дядя Пончу, в надежде пайти там свидетелей», — решил я. Однако я не сомневался, что его усилия будут напрасны.

В школе учителя не ждали. Он располагал несколькими свободными днями, потому что впереди было воскресенье и Дурга-пуджа.

В зимние сумерки, когда тускнеют дневные краски, мрак начинает окутывать и мою душу. На свете много людей, сердца которых заключены в каменную крепость. Что им до того, что творится вокруг! Но мое сердце живет под сенью деревьев, с ним ведут беседы вольные ветры, оно отзывается и на радостные и на мрачные мелодии, которые долетают издалека. Днем, когда светят яркие лучи солнца и все вокруг суетится и хлопочит, мне кажется, что жизнь моя заполнена до предела, что мне ничего больше не надо. Стоит, однако, поблуждать ярким краскам на небе и темной шторе из окна небес спуститься на землю, как сердце начинает убеждать меня, что этот заветный час наступает лишь для того, чтобы оставить человека в одиночестве. Земля, небо, вода, словно сговорившись, внушают мне ту же мысль. Днем душа на виду у всех, ночью же она замыкается в себе, и в этом заключается смысл смены дня и ночи. Я не могу притворяться, будто не понимаю этого. И поэтому, когда ночь, не мигая, глядит на мир

звездами черных очей любимой, внутренний голос все настойчивее твердит мне, что правда жизни — не в одной работе, что не в ней сошлись все надежды и чаяния человека, что человек не может быть рабом, даже если владыкой его будут истина или вера.

Как, Никхилеш, неужели ты навсегда утратил свое второе «я», которое с наступлением темноты словно обретало свободу от дневных забот, погружаясь в живительную благодать ночи? Как страшно одинок тот, кто одинок в мирской суете!

Как-то на днях, в такой вот сумеречный час, я обнаружил, что мне нечего делать, да и работа не шла на ум. Не было и учителя, с кем я мог бы поговорить. Мятущееся, опустошенное сердце жаждало ухватиться за что-нибудь. Я вышел в сад. Я люблю хризантемы. В моем саду их множество, самых разнообразных сортов, цветов и оттенков, и, когда они цветут, кажется, будто это катятся зеленые волны океана, покрытые сверкающей радужной пеной. Я давно не видел своих цветов и, теперь внутренне подсмеиваясь над собой, думал: «О моя Хризантема, я лечу навстречу тебе!»

Пока я шел по саду, из-за ограды выглянула луна и осветила западную часть сада, оставив во тьме лишь полосу у подножья ограды. Казалось, будто она подкралась сзади и шаловливо прикрыла ладонями глаза мраку. Я направился в ту сторону, где от степ террасами спускались вниз к аллее ряды пышных хризантем. Вдруг я увидел женскую фигуру, распростертую на траве возле цветов. Сердце мое учащенно забилося. Услышав мои шаги, женщина вздрогнула и поспешно поднялась. Что было делать? Может быть, лучше удалиться, думал я. И остаться и уйти было одинаково неловко. Несомненно, та же мысль мучила и Бимолу. Однако прежде чем я пришел к какому-нибудь решению, она набросила на голову край сари и направилась к дому. В одно это мгновение я отчетливо почувствовал всю безмерную тяжесть горя Бимолы. И сразу же собственные печали и горести отодвинулись куда-то вдаль.

— Бимола! — воскликнул я.

Она вздрогнула, остановилась, но не обернулась ко мне. Я подошел. Свет луны падал мне на лицо. Бимола стояла в тени с закрытыми глазами, стиснув руки.

— Бимола, — сказал я, — я вовсе не хочу запира́ть тебя в клетку. Разве я не знаю, что ты только захапнешь в неволе.

Она по-прежнему стояла, не подымая глаз, не говоря ни слова.

— Ведь и моя жизнь превратится в оковы, если я буду стараться насильно удерживать тебя. Какая мне от этого может быть радость?

Бимола продолжала молчать.

— Я честно говорю тебе: ты свободна! Если я не стал для тебя никем другим, то и тюремщиком твоим я не стану никогда.

С этими словами я повернул к дому. О нет, это было не великодушие и не самопожертвование! Просто я понял, что никогда сам не получу свободы, пока не дарую свободу другому. Если я сохраняю Бимолу как ожерелье вокруг своей шеи, тяжкий груз навсегда останется лежать на моей совести. Разве не молил я всевышнего: «Если я недостойн счастья, хорошо, я согласен перенести горе, только не лишай меня свободы. Называть ложь истиной и хвататься за нее во имя спасения — все равно, что наступить себе на горло. Спаси меня от такого самоуничижения».

Я вернулся к себе в кабинет и застал там Чондронатха-бабу. Мое волнение еще не улеглось, и, прежде чем о чем-нибудь спросить его, я воскликнул:

— Учитель, самое главное для человека — свобода. Ничто не может с нею сравниться, ничто!

Удивленный моим возбужденным состоянием, он вопросительно взглянул на меня.

— Разве книжные истины открывают нам что-нибудь? — продолжал я. — В шастрах я вычитал, что желанья — цепи, которые связывают и тебя и других. Но такие слова сами по себе пустой звук. Только когда выпустишь птицу из клетки, понимаешь, что, улетаая, птица освободила и тебя. Запирая кого-нибудь, мы и на себя наделаем оковы желаний, крепостью своей равные железным цепям. Но никто на свете не понимает этого. Все считают, что совершенствовать и изменять нужно что-то в окружающем нас мире. А на деле мы сами должны совершенствоваться, должны научиться отказываться от собственных желаний. Только это имеет значение. Больше ничто!

— Мы часто думаем, — ответил учитель, — что, получив желаемое, мы обретаем свободу. Тогда как действительно обрести свободу можно, лишь научившись отказываться от своих желаний.

— Все это звучит как стариковская мораль,— продолжал я,— но стоит применить эти слова к себе, и начинаешь понимать, что они и есть тот божественный нектар, который делал бессмертными богов. Мы не замечаем прекрасного до тех пор, пока не лишаемся его. Мир завоевал Будда, а не Александр. Выраженное в сухой прозе, это звучит фальшиво. Когда же мы сможем воспеть все это в стихах? Когда же наконец сокровенные истины вселенной хлынут на страницы книг и разольются священным потоком, подобно Ганге, несущейся с вершин Ганготри?

Внезапно я вспомнил, что учитель несколько дней отсутствовал и что я не знаю, где он был все это время. Смутившись, я спросил его:

— А где вы были?

— Я жил у Пончу,— последовал ответ.

— Жили у Пончу? Все четыре дня!

— Да, я хотел прийти к какому-нибудь соглашению с женщиной, которая выдает себя за его тетку. Сперва она немного удивилась, увидев меня. Ей даже в голову не приходило, что образованный человек может пожелать поселиться у них в доме. Когда же она убедилась, что я не собираюсь никуда уходить, она смутилась. «Мать,— сказал я ей,— вы не отделаетесь от меня, даже если станете меня оскорблять. Это относится и к Пончу тоже. Ведь вы же понимаете, я не могу допустить, чтобы его маленькие дети, потерявшие мать, очутились на улице». Первые два дня она молча слушала меня и не говорила ни да ни нет. Наконец сегодня, вижу, стала связывать узлы. «Мы направляемся в Вриндаван,— сказала она,— дай нам денег на дорогу». Я знаю, она не поедет в Вриндаван, но оплатить расходы — и не маленькие — придется. За этим я и пришел к тебе.

— Конечно, нужно заплатить все, что она ни потребует.

— Старуха — неплохая женщина,— задумчиво продолжал учитель.— Пончу не разрешал ей прикасаться ни к кувшинам с водой, ни к другим вещам. Поэтому между ними постоянно происходили стычки. Когда же старуха увидела, что я без возражения принимаю пищу из ее рук, она стала очень внимательна ко мне. Она превосходно стряпает. Но зато я потерял и тот остаток уважения, который Пончу еще питал ко мне. Прежде он считал меня хотя бы честным человеком. Теперь же он пришел к выводу, что я принимаю пищу из рук старухи с затаенной

мыслью подчинить ее себе. В мире действительно не обойдешься без хитрости, но ведь тут существовала опасность осквернить касту. Вот если бы я попытался как-то перехитрить ее и добиться, чтобы она свидетельствовала против себя на суде, тогда дело другое! Как бы то ни было, мне нужно будет остаться в доме Пончу на несколько дней даже после отъезда тетки, а то Хориш Кунду устроит еще какую-нибудь гадость. Сказал же он своим приспешникам: «Я достал Пончу фиктивную тетку, но он перещеголял меня, раздобыв где-то фиктивного отца. Посмотрим, однако, как этот отец спасет его».

— Спасем мы его или нет, не знаю, — ответил я, — но если нам суждено погибнуть, спасая страну от бесчисленных западней, которые стерегут народ повсюду — и в религии, и в обычаях, и в деловой жизни, то мы, по крайней мере, умрем спокойно.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Кто бы мог подумать, что в одной жизни может произойти столько событий. Мне кажется, будто я пережила семь рождений, что за последние месяцы мною были прожиты тысячелетия. Время мчалось с такой стремительностью, что я даже не замечала его движения до тех пор, пока несколько дней тому назад неожиданный толчок не привел меня в чувство.

Я знала, что не так просто будет уговорить мужа запретить продавать на нашем рынке иностранные товары. Но я твердо верила, что в конце концов заставлю его сделать по-своему — заставлю не доводами, нет... Мне казалось, что от меня исходит волшебная сила. Ведь упал же к моим ногам такой могущественный человек, как Шондип. словно морская волна, разбившаяся о берег, лежит он у моих ног. Разве я звала его? Нет, но он не мог не подчиниться влекущему зову этой волшебной силы. А Омулло, юноша чистый и нежный, как новая флейта? Он увидел меня, и вся жизнь его засверкала новыми красками, как река на утренней заре. При виде Омулло я чувствовала себя, как богиня, когда она глядит во вдохновенное, сияющее лицо своего почитателя. Так я убеждалась в могуществе волшебной палочки своих чар.

Я отправилась к мужу с такой уверенностью в успехе, с какой блеск молнии предвещает гром. Но что случилось? Ни разу за девять лет не видела я в его глазах такого

равнодушия. Они были похожи на небо пустыни — ни капли живительной влаги, тусклая, бесцветная пелена застилала взор. Рассердись он на меня, и то, пожалуй, было бы лучше, но я не могла пащупать живого места, прикосновение к которому вывело бы его из себя. Я была как во сне, тяжелом сне, который оставляет надолго гнетущее, безысходное чувство.

Я долго завидовала красоте моих золовков. Я знала, что всевышний не дал мне собственной силы и что вся моя сила заключается в любви ко мне мужа. Я привыкла пить пьянящий напиток власти, я поняла, что не могу обходиться без него. И вдруг сегодня я обнаружила, что чаша, из которой я пила, разбита. Я не знаю, чем я буду жить дальше! Сколько внимания уделяла я прическе в тот день. Какой позор! О, какой позор! Когда я проходила мимо комнаты меджо-рани, она воскликнула:

— Чхото-рани, твой шиньон вот-вот взовьется и улетит! Смотри, как бы он не утащил за собой и твою голову!

А с какой легкостью сказал мне муж тогда в саду: «Я готов дать тебе свободу». Разве можно так легко ее взять или отдать? Ведь свобода — не вещь. Она словно воздух. Долгое время я чувствовала себя рыбой, плавающей в море любви. И когда ее вынули из воды и сказали: «Вот твоя свобода», — она поняла, что ни двигаться, ни жить она не может.

Когда я вошла сегодня в спальню, я увидела только вещи, стоящие там: вешалку, зеркало, постель. Души комнаты не было — она улетела куда-то. Взамен мне осталась свобода — пустота! Поток пересох, обнажились скалы и галька: отсюда ушла любовь, одни только бездушные предметы окружали меня.

Я была растерянна и подавлена в тот день, когда встретила в последний раз с Шондином. Меня мучали сомнения, есть ли вообще правда на этом свете? Но стоило нашим жизням соприкоснуться — и искры снова брызнули во все стороны. Это и была истина — бьющая через край, преодолевающая все преграды, все сметающая на своем пути. Я отлично сознавала, что в этом чувстве было несравненно больше истины, чем в разговорах и смехе людей, окружающих меня, чем в причитаниях боро-рани, в шутках и двусмысленных песенках меджо-рани и ее служанки Тхако.

Шондин потребовал пятьдесят тысяч. Мое сердце, полное хмельной радости, говорило: пятьдесят тысяч — ничто!

Я добуду их. Где и каким образом — неважно. Ведь и я, ничего не представляя собой, вдруг поднялась выше всех. Значит, стоит мне пожелать, и мое желание сбудется. Я достану эти деньги, достану, достану! У меня нет ни малейшего сомнения.

Но, вернувшись к себе и подумав, я поняла, что деньги достать будет не так-то просто. Где же кальпатару? О, почему мир так больно ранит мое сердце? Но все равно я достану их. Я пойду на все. Преступление пятном позора ложится только на слабых. Оно не может загрязнить одежды Шакти. Воруют простые смертные, раджа же берет свою добычу по праву победителя. Надо узнать все: где хранятся деньги, кто их принимает, кто их стережет.

Часть ночи я провела на веранде, я стояла, впившись глазами в дверь кошторы. Как я вырву из-за железных решеток пятьдесят тысяч рупий? Сердце мое ожесточилось. Если бы я могла одним заклинанием убить стражников, я сделала бы это немедленно! Небо было непроницаемо. Охрана менялась каждые три часа, колокол отбивал время, а весь огромный дом был погружен в безмятежный сон, а в мыслях хозяйки этого дома шайка разбойников с саблями в руках отплясывала дикий танец и просила свою богиню благословить их на грабеж.

Я пригласила к себе Омулло.

— Родные пужны деньги, — сказала я, — не смог бы ты достать их у нашего казначея?

— Почему бы нет? — с готовностью ответил Омулло.

Увы! Я совершенно так же ответила Шопдипу: «Почему бы нет?»

Самопадеянность Омулло не окрылила меня надеждой.

— Расскажи мне, как ты это сделаешь, — попросила я.

Омулло стал предлагать фантастический план, годный разве что для рассказов, которые печатаются на страницах месячных журналов.

— Нет, Омулло, — остановила его я, — это ребячество.

— Хорошо, в таком случае я подкуплю стражу.

— Где же ты возьмешь деньги?

— Ограблю какого-нибудь торговца на рынке, — ответил он, не задумываясь.

— В этом нет никакой необходимости. У меня есть драгоценности, можно взять их.

— Только сдается мне, что хранителя казны подкупить будет трудно, — заметил Омулло. — Но ничего, есть еще один способ, проще.

— Какой?

— Ну, зачем вам знать. Очень простой!

— Нет, я хочу знать.

Из кармана куртки Омулло выложил на стол сначала маленькое издание «Гиты», а затем небольшой пистолет и, ничего не говоря, показал мне.

Какой ужас! Ни минуты не задумываясь, он решил убить нашего старого казначея. Глядя на его честное, открытое лицо, можно было подумать, что он и мухи не обидит. И как противоречили этому его слова. Было ясно, что, говоря о хранителе казны, он не представлял себе живого человека, думающего и страдающего. Все исчерпывала одна строфа из «Гиты»: «Кто убивает тело — тот ничего не убивает».

— Что ты говоришь, Омулло, — воскликнула я, — ведь у господина Рая жена, дети...

— Где же взять у нас в стране человека, у которого не было бы жены и детей? — возразил он. — Ведь наша жалость к другим — это не что иное, как жалость к самим себе. Мы боимся задеть чувствительные струны своего сердца и потому предпочитаем не наносить ударов вообще. Это не жалость! Самая настоящая трусость, и больше ничего!

Слова Шопдипа в устах этого юноши заставили меня содрогнуться. Ведь он так молод, ему впору еще верить в добро, в людей. В его возрасте надо наслаждаться жизнью, учиться познать ее. Во мне проснулись материнские чувства. Для меня самой больше не существовало ни добра, ни зла. Впереди была лишь смерть, желанная и мающая. Но мысль, что восемнадцатилетний мальчик мог так легко решиться убить ни в чем не повинного старого человека, потрясла меня. Сердце Омулло было еще совсем чисто, и от этого его слова казались мне еще страшней, еще ужасней. Это было так же чудовищно, как взыскивать с ребенка за грехи матери и отца. Взгляд его огромных, ясных, полных веры и энтузиазма глаз тронул меня до глубины души. Юноша был на краю пропасти. Кто спасет его? О, если бы наша родина хоть на один миг превратилась в настоящую мать и, прижав Омулло к груди, сказала: «Сын мой, к чему спасать меня, раз я не могу спасти тебя!»

Я знаю, знаю: настоящая власть на земле дается только в союзе с дьяволом. Мать — одна мать может обезвредить козлы дьявола. Ей не нужны успехи и богатство — она стремится дать жизнь, сохранить жизнь. Страстное

желание уберечь юношу от гибели охватило меня, оно заставляло меня действовать.

Но ведь я только что сама просила Омулло совершить грабеж. Если сейчас я начну отговаривать его, он отнесется к этому как к внезапному проявлению женской слабости. Слабость в пас мужчины ценят лишь тогда, когда мы можем своими чарами сделать мир игрушкой в их руках.

— Иди, Омулло, тебе ничего не нужно делать. Я сама добуду деньги, — решительно сказала я.

Он уже подошел к двери, но я вернула его.

— Омулло, я твоя диди. Сегодня по календарю не день для совершения торжественной церемонии благословения брата, но ведь такая церемония возможна в любой день года. Благословляю тебя, пусть хранит тебя всевышний!

Услышав эти слова, Омулло от неожиданности замер на месте. Затем, опомнившись, он склонился до земли и взял прах от моих ног в знак того, что принимает наше родство. В глазах его блеснули слезы. О брат мой, быстрыми шагами иду я к своей смерти — позволь же мне унести с собой все до единого твои грехи! И пусть не коснется тебя скверна, наполняющая мою душу.

— Пусть твоим братским даром мне будет этот пистолет, — сказала я ему.

— Что вы будете с ним делать, диди?

— Я хочу научиться убивать.

— Это верно, сестра, наши женщины тоже должны уметь умирать и убивать. — И Омулло протянул мне пистолет.

Отблеск сияния, озаряющего его юное лицо, упал и на мою жизнь и осветил ее, как первый нежный луч утренней зари.

Я спрятала пистолет на груди под сари. В минуту отчаяния этот братский дар поможет мне найти выход...

Я думала, в моем сердце распахнулась дверь, ведущая в покой, где хранятся материнские чувства. Но на смену матери явилась возлюбленная, она захлопнула дверь и преградила мне путь к высшему счастью. На следующий день я встретилась с Шондином. И безумие снова закружило мое сердце в неистовой пляске.

Что это? Разве это я? Нет, никогда! Я никогда не подзревала в себе столько бесстыдства, столько коварства. Защититель змей уверяет, что эту змею он извлек из складок моей одежды. Это неправда, змеи у меня никогда

не было. Она все время принадлежала ему. Мною владеет какой-то злой дух, это он направляет мои поступки — я не ответственна за них.

Этот злой дух предстал передо мной в образе бога с пылающим факелом в руке и сказал: «Я твоя родина, я твой Шондип, я для тебя — все. Банде Матарам!» И, сложив с мольбою руки, я ответила: «Ты моя вера, ты мой рай! Все остальное сметет моя любовь к тебе, Банде Матарам!»

Нужны пять тысяч? Хорошо, принесу пять тысяч. Они пужны завтра? Прекрасно, завтра вы их получите. В безумной оргии, которая происходит сейчас, этот пяти тысячный дар растает, как легкая пена на вине: безумный разгул только начинается. Неподвижный мир заколеблется под ногами, глаза опалит пламя, мы услышим страшные раскаты грома, и завеса тумана скроет от нас все, что впереди. Неверными шагами приблизимся мы к краю бездны, где ждет нас смерть... мгновение — и пламя потухнет, пепел разлетится по ветру. Исчезнет все!

Я долго думала над тем, где бы мне достать деньги. И вот позавчера, когда деньги мои были, казалось, взвешены до предела, я вдруг отчетливо поняла, что мне нужно делать. Каждый год к празднику Дурги мой муж дарит всем невесткам в знак уважения по три тысячи рупий. И каждый год подаренные деньги вносятся на их имя в банк. И на этот раз, как обычно, подарок был сделан, однако я знала, что деньги еще не отправлены в банк. Я знала также, где они хранятся: в стальном сейфе, стоявшем в углу маленькой гардеробной рядом с нашей спальней.

Обыкновенно мой муж сам отвозил эти деньги в калкутский банк; на этот раз у него пока что не было случая это сделать. Я увидела в этом руку судьбы. Деньги задержаны потому, что они пужны родине. Кто посмеет отнять их у нее и отправить в банк? И разве я посмею отказаться взять их?! Богиня-разрушительница протягивает мне свою жертвенную чашу и говорит: «Я алчу. Дай мне, дай!» Вместе с этими пятью тысячами рупий я отдаю ей кровь своего сердца. О мать! Ведь те, кому эти деньги принадлежат, и не почувствуют их потери — а для меня это вопрос жизни или смерти.

Сколько раз называла я прежде в душе боро-рани и меджо-рани воровкам, обвиняя их в том, что они выманивают деньги у моего доверчивого мужа. Я говорила ему:

— После смерти своих мужей они скрыли многое из того, что не принадлежало им.

Он отмалчивался и ничего не отвечал. Тогда я начала злиться и говорила:

— Если тебе так уж хочется доказать свою щедрость, делай им подарки, я не понимаю, зачем ты разрешаешь падавать и обирать себя.

Как, паверпо, смеялась судьба, слушая мои упреки. Теперь я сама собираюсь похитить деньги из сейфа мужа — деньги, принадлежащие моим невесткам.

Вечером муж разделся в маленькой гардеробной и, по обыкновению, оставил ключи в кармане. Я вытащила ключ от сейфа и открыла его. Замок чуть звякнул при этом, по мне показалось, что этот звук должен был разбудить весь мир. Руки и ноги у меня похолодели, я задрожала.

Внутри сейфа был ящичек. Выдвинув его, я не нашла банкнот, а лишь аккуратно завернутые столбиками гиены. У меня не было времени отсчитать себе деньги — я забрала все двадцать пакетов и завязала их в угол своего сари.

Ноша была нелегкая. Под тяжестью похищенного я чувствовала себя совсем раздавленной. Может быть, если бы это были банкноты, мой поступок не так походил бы на кражу, по ведь я цесла золото.

Крадучись, я вошла в свою комнату. Она стала мною чужой. Совершив кражу, я утратила все свои права на нее — права, столь дорогие моему сердцу.

Я шептала: «Банде Матарам! Банде Матарам! Родина, моя родина! Моя золотая родина! Все золото принадлежит тебе и никому другому».

В темноте почти дух человека слабеет. Закрыв глаза, прошла я мимо постели спящего мужа, прижимая к груди завязанный в край сари сверток с похищенным золотом, вышла на крышу онтохпура и распростерлась на полу. Каждая гиена впивалась мне в грудь и давила меня. А безмолвная почь стояла рядом и грозила мне пальцем. Я не могла отделить свой дом от родины. Сегодня я ограбила дом, следовательно, ограбила и родину. Совершенный мною грех лишил меня дома, а вместе с ним и родины. Если бы я умерла, не закопчив собирать пожертвования для своей родины, даже то немногое, что положила бы я к ее ногам, было бы даром почтания, угодным богам. Но разве воровство — почтание? Как же я могу принести в дар это золото? Горе мне! Я знаю, что впереди меня ждет смерть. Так зачем же я хочу своим нечестивым прикосновением осквернить родину!

Путь к возвращению денег для меня отрезан. У меня не хватит сил вернуться в комнату, взять ключ и снова открыть сейф. Я, паверно, упала бы без сознания на пороге комнаты мужа. Остается только идти по пути, на который я вступила.

Нет у меня сил и для того, чтобы сосчитать взятые деньги. Сколько их там, в этих свертках? Раскрывать их и пересчитывать краденое я не буду.

На темном, холодном небе не было ни облачка, мерцали звезды. Лежа на крыше, я думала: «Случись мне во имя родины похитить, подобно золотым монетам, эти звезды, что бережно хранит у себя на груди ночная тьма, ночь навсегда осиротела бы и ночное небо ослепло — я ограбила бы весь мир». А разве я не сделала этого сейчас? Разве не ограбила я весь мир, похитив те деньги, а вечный свет неба — доверие и честь?

Ночь я провела на крыше. Только утром, когда я могла быть уверена, что муж встал и ушел, я закуталась с головой в шаль и потихоньку отправилась к себе.

Меджо-рани поливала из медного кувшина цветы на веранде.

— Чхото-рани, ты слышала новость? — спросила она.

Я молча остановилась, первая дрожь охватила меня. Мне казалось, что свертки гиней выпирают из-под шали. «А вдруг они прорвут сари и со звоном рассыплются по веранде, — мелькнула у меня мысль, — и слуги увидят воровку, обокравшую самое себя!»

Меджо-рани продолжала:

— Шайка вашей Деби Чоудхурани прислала анонимное письмо, угрожая ограбить нашего братца.

Я стояла молча, как вор, застигнутый врасплох.

— Я ему посоветовала искать защиты у тебя, — продолжала она поддразнивающим тоном. — Смилуйся, богиня, уйми свою шайку. Уж мы, так и быть, пожертвуем что-нибудь на ваше «Баиде Матарам». И что только не делается вокруг! Но ты уж, бога ради, нас хоть пощади — не допусти в доме грабежа.

Ничего не ответив, я поспешно прошла к себе в спальню.

Я попала в трясину, и выбраться из нее у меня нет сил — стараясь освободиться, я лишь глубже погружаюсь.

Хоть бы скорее можно было передать деньги Шонди-пу! Больше я не в состоянии нести свою ношу, моя спина надламывается.

Несколько позже мне сообщили, что Шондип ждет меня. Тут было не до парядов. Завернувшись в шаль, я торопливо вышла к нему в гостиную.

Вместе с Шондипом был Омулло. Мне показалось, будто последние остатки гордости, чести покидают меня. Неужели я должна буду обнажить свой позор перед этим мальчиком? Неужели они обсуждали мой поступок с другими своими единомышленниками, ничего не оставив в тайне?

Мы, женщины, никогда не пойдем мужчинам. Прокладывая дорогу для колесницы своих желаний, они не остановятся даже перед тем, чтобы вымостить путь мелкими осколками разбитого сердца вселенной. Охваченные творческим экстазом, они с радостью уничтожают все созданное творцом. Что им до жгучего стыда, который пришлось пережить мне? Их очень мало интересует чья-то жизнь — все силы души они отдают достижению цели. Увы! Что я для них? Полевой цветок на пути бурного потока.

Какая польза Шондипу от того, что он погубит меня? Пять тысяч рупий? Неужели я не стою большего? Конечно, стою. Ведь Шондип сам внушил мне это, ведь, только поверив ему, я и стала свысока смотреть на окружающий мир. Я поверила, что несусь в себе свет, жизнь, силу, бесмертие; возликовав, я порвала все путы и вышла на широкие просторы жизни. О, если бы кто-то убедил меня сейчас, что я имела на это право, сама смерть не была бы страшна мне — утратив все, я не потеряла бы ничего!

Неужели они хотят сказать мне, что все это была ложь? Что богиня, которая жила во мне, потеряла свою божественную силу и больше не заслуживает почитания? Усердно восневая хвалу мне, они заставили меня покинуть райские чертоги и спуститься на землю. Но они вовсе не хотели, чтобы я помогла им устроить рай на земле. Нет, им нужно было, чтобы земная пыль замела и райскую обитель.

Пристально взглянув на меня, Шондип сказал:

— Так как же деньги, Царица?

Омулло тоже не сводил с меня взгляда. Он не был сыном моей матери — единой для всех людей. Как певнино и бесхитростно его юное лицо, как ласковы глаза, устремленные на меня. А я — женщина, такая же женщина, как и его мать, неужели я протяну ему отравленный кубок только потому, что он попросил меня об этом?

— Так как же деньги, Царица?

От стыда и гнева я готова была швырнуть золото Шондипу в лицо. Я никак не могла развязать узелок сари, пальцы мои дрожали. Наконец на стол посыпались свертки денег. Лицо Шондины потемнело. Он, наверно, решил, что это серебро. Сколько гнева, сколько пренебрежения было в его взгляде. Казалось, он хочет меня ударить! По всей вероятности, он решил, что я буду уговаривать его довольствоваться двумя-тремя сотнями рупий вместо пяти тысяч. Было мгновение, когда я думала, что он выбросит все свертки за окно. Разве он индий? Он властелин, требующий дани.

— А больше нет, Царица-диди? — спросил Омулло.

Его голос был переполнен жалости, я с трудом удержалась, чтобы не разрыдаться, и только пожала плечами.

Не касаясь свертков, Шондип продолжал молчать.

Мне хотелось уйти, но ноги не двигались. Если бы земля развернулась подо мной, я, как каменная глыба, рухнула бы в пропасть.

Мое унижение тронуло Омулло. Он вдруг воскликнул с деланной радостью:

— Неужели этого мало? Вполне достаточно! Вы нас спасли, Царица-диди!

С этими словами он разорвал бумагу одного из свертков, и золотые монеты со звоном посыпались на стол. С лица Шондипа в одно мгновение слетела темная пелена, его глаза засверкали радостью. Не сумев скрыть внезапную перемену в своих чувствах, он вскочил с кресла и бросился ко мне. Не знаю, что он собирался делать. Взглянув на Омулло, который вдруг изменился в лице, словно его ударили хлыстом, я из всех сил оттолкнула от себя Шондипа. Он стукнулся головой о мраморный столик, упал на пол и несколько секунд лежал без движения. Я почувствовала, что силы окончательно оставили меня, и опустилась в кресло. Лицо Омулло сияло. Даже не взглянув на Шондипа, он подошел ко мне, взял прах от моих ног и уселся на полу подле меня. О мой брат! О сын мой! Твоя преданность — последняя капля нектара в опустевшем сосуде вселенной! Я не могла больше сдерживаться, и слезы полились у меня из глаз. Прижимая обеими руками к лицу край сари, я продолжала всхлипывать. И каждый раз, как я чувствовала на своих ногах ласковое, подбадривающее прикосновение Омулло, слезы мои начинали литься с новой силой.

Немного погодя я успокоилась и открыла глаза. Шон-

дип как ни в чем не бывало сидел у стола и завязывал в свой платок гиней. Омулло с влажными глазами поднялся с пола.

Невозмутимо глядя на меня, Шондип сказал:

— Шесть тысяч рупий.

— Но нам ведь не надо столько денег, Шондип-бабу,— возразил Омулло.— Я подсчитал и убедился, что для начала дела нам вполне достаточно будет трех с половиной тысяч рупий.

— Деньги нужны нам не только для работы здесь,— ответил Шондип.— Можно ли точно подсчитать, сколько нам потребуется?

— Пусть так,— сказал Омулло,— однако в будущем все деньги, нужные нам, берусь доставать я. Так что две с половиной тысячи верните, пожалуйста, Царице-диди.

Шондип вопросительно посмотрел на меня.

— Нет, нет! Я не хочу даже касаться этих денег! Что хотите, то и делайте с ними,— воскликнула я.

Глядя на Омулло, Шондип сказал:

— Смог ли бы какой-нибудь мужчина дарить так, как это делают женщины?

— Они — божества! — восторженно подтвердил Омулло.

— Мы, мужчины,— продолжал Шондип,— в лучшем случае можем поделиться избытком своих сил, женщины же отдают самих себя. Они дают жизнь ребенку, они питают его своими жизненными соками. Только такой дар — истинный дар. Царица,— продолжал он, обращаясь ко мне,— если бы ваше сегодняшнее припошение состояло из одних денег, я не прикоснулся бы к нему. Но вы отдали нам то, что для вас дороже жизни.

В каждом из нас, наверно, живут два разных человека. Я отлично понимала, что Шондип меня обманывает, и в то же время охотно соглашалась быть обманутой. Шондип обладает большой внутренней силой, но благородство отсутствует в его характере. Он одновременно пробуждает к жизни и поражает насмерть. Его стрелы, подобно стрелам богов, бьют без промаха, но в колчан их вложил дьявол.

Все гиней не уместились в платок Шондипа.

— Не можете ли вы дать мне свой платок, Царица? — обратился он ко мне.

Взяв мой платок, он сначала приложил его ко лбу, а затем неожиданно склонился к моим ногам.

— Богиня, я хотел взять прах от ваших ног, потому и направился к вам, вы же оттолкнули меня. Я принимаю это как знак милости ко мне — знак, который вы запечатали на моем челе.— И, обжавив голову, он показал ушибленное место.

Неужели я ошиблась в тот момент? Возможно ли, что он простирал ко мне руки, действительно желая в почтительном поклоне коснуться моих ног? Но ведь и Омулло заметил, какою страстью пылал его глаза, видел его лицо. Как бы то ни было, Шондип умеет подбирать удивительные мелодии для своих хвалебных песен, и я не в состоянии спорить с ним. Слово дым оплума застилает мне глаза, и я перестаю видеть правду. Шондип отплатил вдвойне за удар, нанесенный мною: рапа на его голове стала рапой моего сердца.

После того как Шондип благоговейно простерся у моих ног, ореол святости окружил вдруг кражу — рассыпанное на столе золото будто рассмеялось упрекам людей и укорам совести. Не мог сопротивляться обаянию Шондипа и Омулло. Его обожание, поколебавшееся было, вспыхнуло с новой силой. Чаша сердца Омулло вновь оказалась до краев заполненной преданностью Шондипу и мне. Глаза юпоши, как утренние звезды, светились чистой верой и пещностью. Теперь, когда я воздала и приняла знаки поклонопения, я почувствовала, что очистилась от своего греха. Мне казалось, что от меня исходит сияние. Взглянув на меня, Омулло молитвенно сложил руки и воскликнул: «Банде Матарам!»

Я сознаю, что такое обожание не может окружать меня всю жизнь, но сейчас только оно поддерживает мои силы и помогает сохранить уважение к себе самой. Мне тяжело входить в собственную спальню. Стальной сейф смотрит на меня, мрачно нахмурившись, постель негодующе грозит мне. Мне хочется бежать от самой себя, бежать к Шондипу и вновь слышать из его уст хвалебные песни. Над страшной бездной моего позора возвышается один лишь этот жертвенник, и я отчаянно цепляюсь за него, зная, что стоит мне сделать шаг в сторону, и меня поглотит пучина. Мне необходима хвала неустанная, несмолкаемая хвала, ибо я перестаю жить, лишь только опустеет чаша вина, пьянящего меня. Вот почему моя душа так рвется к Шондипу. Рядом с ним моя жизнь обретает какой-то смысл.

Мне очень тяжело сидеть напротив мужа во время обеда. Но избегать под каким-нибудь предлогом этих дневных

встреч мне не позволяет чувство собственного достоинства. Поэтому я стараюсь сесть так, чтобы не встречаться с ним взглядом. Так я сидела в тот момент, когда вошла меджорани.

— Братец, ты, конечно, можешь смеяться над всеми этими письмами с угрозами грабежа, а я их боюсь. Ты еще не отправил в банк деньги, которые подарил нам?

— Да нет, времени не было, — ответил муж.

— Ты так беспечен, братец, дорогой... Но остерегся бы ты лучше...

— Но ведь деньги лежат в стальном сейфе, в соседней с моей спальней гардеробной, — смеясь, перебил ее муж.

— Ты думаешь, туда забраться невозможно?

— Если грабители смогут забраться в мою комнату, то они с таким же успехом могут похитить и тебя.

— Ну, на этот счет можно не волноваться, — кому я пужна! Настоящий магпит находится в твоей комнате... Но шутки шутками, а держать деньги дома печего.

— Через несколько дней в Калькутту повезут палоговые сборы, с тем же копвоям я отправлю в банк и ваши деньги.

— Смотри не забудь! Ведь ты такой рассеянный!

— Но если даже эти деньги украдут из моего сейфа, ты от этого не пострадаешь.

— Ну, ну, братец, не смей так говорить, а то я по-настоящему рассержусь. Разве я когда-нибудь делала разницу между вашим и моим. Ты что думаешь, мне будет все равно, если вас ограбят? Судьба отняла у меня все, но она оставила мне способность чувствовать и понимать, какой замечательный у меня деверь — настоящий Лакшманан! Я, братец, не могу день и ночь думать только о своем боге, как ваша боро-рани. Тот, кого послал мне всевышний, дороже мне всего на свете. Ну а ты, чхото-рани — почему ты молчишь, как истукан? Знаешь, в чем дело, братец? Чхото-рани думает, что я лгу тебе. А что тут плохого? Можно и польстить, когда пужно. Но ты ведь не падок на лесть? Будь ты похож на Мадхоба Чоккроборти, нашей боро-рани пришлось бы поменьше молиться богам и побольше кланяться тебе, чтобы вымолить хоть полнайсы. Впрочем, может, это было бы к лучшему. У нее не оставалось бы времени упрекать тебя и стронть всякие козлы.

Меджорани продолжала непринужденно болтать, но

забывая при этом время от времени обращать внимание деспера на тушеные овощи, рыбу, лангусты и другие блюда.

Я с трудом владела собой — развязка быстро приближалась, медлить было нельзя, необходимо было сейчас же что-то придумать. Я тщетно искала выхода, и мне с каждой минутой становилось все тяжелее слушать веселую болтовню невестки. Кроме того, я хорошо знала: от зорких глаз меджо-рани не укроется ничего. Она то и дело искоса поглядывала на меня. Не знаю, что прочла она на моем лице, мне казалось, что на нем ясно написано все.

Безрассудству нет предела! Небрежно усмехнувшись, я шутливо воскликнула:

— Понимаю, меджо-рани боятся, как бы деньги не стащила я, — все эти разговоры о ворах и грабителях ведутся просто так, для отвода глаз.

— Вот это ты сказала верно, нет ничего страшнее женщины, решившейся украсть, — от нее не уберешься, — ответила она, схибно улынувшись. — Но ведь и я не мужичина — обвести меня вокруг пальца тоже не так-то легко.

— Ну, раз уж я внушаю тебе такие опасения, — возразила я, — давай я принесу тебе на хранение все мои драгоценности. Если, по моей вине, ты что-нибудь потеряешь, они останутся тебе.

— Нет, вы только послушайте, что она говорит! — смеялась моя невестка. — А как насчет тех потерь, которые не возместить ни в этом мире, ни в будущем?

Пока шла эта перепалка, муж не произнес ни одного слова. Закончив обед, он ушел, так как теперь не отдыхал в нашей спальне.

Самые ценные мои украшения находятся на сохранении у нашего казначея. Но даже те драгоценности, что лежат у меня в шкатулке, стоили не меньше тридцати — тридцати пяти тысяч рупий. Я принесла шкатулку невестке и открыла ее.

— Меджо-рани, я оставляю тебе свои украшения. Теперь ты можешь быть спокойна.

— О ма, — воскликнула меджо-рани с притворным негодованием, — ты положительно удивляешь меня. Неужели ты действительно думаешь, что я не сплю по ночам от страха, что ты украдешь мои деньги?

— А почему бы тебе и не бояться меня? Разве узнаешь помыслы другого человека?

— Ага, ты, значит, решила проучить меня, доверив мне свои драгоценности? Я не знаю, куда девать свои

украшения, а тут еще твои надо стеречь! Нет, милая моя, забирай-ка ты их отсюда, да поскорее, кругом столько любопытных носов!

От медико-раны я прямо прошла в гостиную и послала за Омулло. Вместе с ним пришел и Шондип.

Времени терять было нельзя. Обратившись к Шондипу, я сказала:

— У меня дело к Омулло, может быть, вы нас извините...

Сухо усмехнувшись, Шондип воскликнул:

— Итак, в ваших глазах Омулло и я больше не одно я то же? Если вы решили завладеть им, то придется сразу признаться, что сил удерживать его у меня нет.

Я стояла молча, выжидательно глядя на него.

— Ну что ж,— продолжал Шондип,— ведите свой таинственный разговор с Омулло. Но вслед за этим вам придется иметь не менее таинственный разговор и со мной. В противном случае, я потерплю поражение, а я могу стерпеть все, кроме поражения. Мне должна принадлежать всегда львиная доля. Всю жизнь из-за этого я воюю с судьбою и побеждаю ее.

И, сверкнув на Омулло глазами, Шондип вышел из комнаты.

— Брат мой милый,— обратилась я к Омулло,— я хочу попросить тебя выполнить одно поручение.

— Я готов отдать жизнь, лишь бы исполнить ваше желание, диди,— ответил он.

Вытащив из-под шали шкатулку с драгоценностями, я поставила ее перед ним и сказала:

— Можешь заложить мои украшения, можешь продать их, но мне нужно как можно скорее шесть тысяч рупий.

— Нет, диди, нет! — воскликнул взволнованный Омулло.— Не надо продавать или закладывать драгоценности, я достану вам шесть тысяч.

— Не говори глупостей,— нетерпеливо прервала его я.— Я не могу ждать ни минуты. Бери мою шкатулку и отправляйся почным поездом в Калькутту, а послезавтра утром во что бы то ни стало привези мне шесть тысяч.

Омулло выпнул из шкатулки бриллиантовое ожерелье, поднял его к свету и снова с расстроенным видом положил обратно.

— Я знаю, что тебе нелегко будет продать эти бриллианты за настоящую цену, поэтому я и даю тебе драгоценностей больше, чем на тридцать тысяч. Можешь про-

дать все эти вещи до единой — лишь бы у меня обязательно были шесть тысяч.

— Диди, — сказал Омулло, — я поссорился с Шондипом-бабу из-за тех шести тысяч, что он взял у вас. Мне было невероятно стыдно! Шондип-бабу утверждает, что даже стыд мы должны приносить в жертву родине. Возможно, он прав. Но это же другое дело! Я обрел особую силу — я могу без страха умереть за родину и без колебания убить ради нее. Однако я никак не могу примириться с тем, что мы взяли у вас деньги. В этом отношении Шондип-бабу намного сильнее меня, у него нет и капли раскаяния. Он говорит: «Нужно отрешиться от мысли, что деньги принадлежат тому, в чьем ящике они случайно оказались, иначе где же волшебная сила «Банде Матарам»?

Омулло говорил все с большим жаром и воодушевлением. Так всегда бывает, когда слушаю его я.

— В «Гите», — продолжал он, — всемогущий Кришна говорит, что убить душу не может никто. Что такое убийство? Пустое слово. То же можно сказать и про кражу денег. Кому принадлежат они? Их никто не создает, никто не берет с собой, уходя из жизни; они не составляют частицы ничьей души. Сегодня они мои, завтра моих детей, а еще через некоторое время ростовщика. А раз деньги в действительности никому не принадлежат, можно ли порицать патриотов за то, что они берут их себе и используют для служения родине, вместо того чтобы оставлять в руках какого-нибудь ничтожества?

Ужас охватывает меня, когда я слышу слова Шондипа из уст этого юноши. Пусть заклинатели змей играют на флейтах, — если змея ужалит их, то ведь они шли на это с открытыми глазами. Но эти мальчики — они так юны, так невинны, что каждому невольно хочется уберечь их. Не подозревая об опасности, они беззаботно протягивают руки к смертоносному жалу змеи, и, только видя это, начинаешь понимать, какую страшную угрозу представляет собой эта змея. Шондип прав в своих догадках — он понял, что хоть я сама и готова погибнуть от его руки, Омулло я хочу отнять у него и спасти.

— Итак, деньги нужны вашим патриотам для служения родине? — спросила я с улыбкой.

— Конечно, — ответил Омулло, гордо подняв голову. — Они ведь наши властелины, а бедность умаляет царственную силу. Знаете, мы разрешаем Шондипу-бабу ездить только в первом классе. И он никогда не отказывается от

почестей, которые ему воздаются, он знает, что это нужно не для него самого, а для прославления всех нас. Шондип-бабу говорит: «Блеск и роскошь, окружающие тех, кто правит миром, гипнотизируют людей и дают в руки правителей очень сильное оружие. Принять обет нищеты означает для них не только согласие на лишения — это равносильно самоубийству».

В это время в комнату неслышно вошел Шондип. Я топливо прикрыла шалью шкатулку с драгоценностями.

— Таинственный разговор с Омулло еще не кончен? — спросил Шондип ядовито.

— Мы кончили, — пробормотал смущенный Омулло. — Да ничего особенного и не было.

— Нет, Омулло, — возразила я, — наш разговор еще не кончен.

— Это означает, что Шондипу снова нужно удалиться? — спросил Шондип.

— Пожалуйста, — подтвердила я.

— Но впоследствии Шондипу разрешат вернуться?

— Не сегодня, у меня не будет больше времени.

Глаза Шондипа засверкали.

— Понимаю, — воскликнул он, — у вас есть время только на деловые разговоры, ни на что больше!

Ревность! Может ли слабая женщина не торжествовать победу, когда проявляет слабость сильный мужчина? Я твердо повторила:

— У меня правда нет времени.

Шондип помрачнел, пахмурился и вышел. Расстроенный Омулло заметил:

— Царица-диди, Шондип-бабу очень рассердился.

— У него нет ни права, ни основания сердиться, — ответила я с сердцем. — Я хочу сказать тебе еще одну только вещь, Омулло. Ни за что на свете ты не должен говорить Шондипу-бабу о продаже моих украшений.

— Хорошо, я не скажу.

— В таком случае не задерживайся больше, поезжай сегодня ночным поездом.

Я вышла вместе с Омулло из комнаты. На веранде стоял Шондип. Я поняла: он подстерегает Омулло. Нужно было отвлечь его.

— Шондип-бабу, что вы хотели мне сказать? — спросила я.

— О, так, ничего особенного — пустяки... Раз вы заняты...

— Несколько минут у меня найдется.

Тем временем Омулло ушел. Войдя в комнату, Шондип сразу же спросил меня:

— Что это за шкатулку нес Омулло?

Ага, значит, ничто не укрылось от его зорких глаз!

— Если бы я могла сказать вам, что это за шкатулка, то передала бы ее Омулло при вас, — ответила я сухо.

— А вы думаете, Омулло мне не скажет?

— Нет, не скажет.

Шондип больше не мог скрывать своего гнева.

— Вы рассчитываете взять надо мною верх? Не получится! — крикнул он. — Омулло! Да он сочтет за счастье умереть у меня под ногами! А вы собираетесь подчинить его себе. Не бывает тому, пока я жив!

О, слабость, слабость! Шондип наконец понял, что он слабее меня. Этим-то и объясняется яростная вспышка его гнева. Он понял: его спланировано перед моей волей, достаточно одного моего взгляда, чтобы рухнули стены самых прочных его бастионов. Этим объясняется его бахвальство и пустые угрозы. Я ничего не ответила и презрительно улыбнулась. Наконец-то я оказалась выше его. Во что бы то ни стало я должна сохранить за собой эту выгодную позицию и не спускаться больше вниз. Пусть хотя бы эта капля собственного достоинства сохранится в потоке унижения, захлестнувшим меня.

— Я знаю, — помолчав, сказал Шондип, — это была шкатулка с вашими драгоценностями.

— Вы можете думать что хотите, я ничего не скажу.

— Значит, вы доверяете Омулло больше, чем мне? А знаете ли вы, что этот мальчишка всего лишь тень моей тени, эхо моего эха? Что без меня он ничто, пустое место?

— Когда он перестает быть вашим эхом, он становится просто Омулло, и тогда я доверяю ему больше, чем вашему эху.

— Не забывайте, что вы обещали отдать все свои украшения мне, чтобы положить их к ногам нашей Матери-Родины! В сущности, вы уже принесли их в дар.

— Те украшения, которые богам будет угодно оставить мне, я принесу им в дар. Но я не могу отдать им похищенные у меня драгоценности.

— Не думайте, что вам удастся отвертеться. Сейчас нам не до смеха. Вот когда мы выполним то, что должны, можете обратиться к своим женским уловкам и капризам, тогда и я с удовольствием присоединюсь к вашей игре.

С тех пор как я похитила деньги мужа и передала их Шондипу, мелодия, звучащая в наших сердцах, оборвалась. Я перестала быть тем интересным объектом, на котором можно отлично продемонстрировать свое могущество. Глупо целиться в мишень, которая находится у вас в руках. Сегодня Шондип перестал быть героем в моих глазах, и я стала явственно различать сварливые, грубые нотки в его голосе.

Шондип поднял на меня горящие глаза, и, по мере того как он смотрел, они разгорались все ярче и ярче, словно жар полуденного неба. Он ерзал на стуле. Казалось, что вот-вот он вскочит с места и бросится ко мне. Я почувствовала, что силы оставляют меня, сердце бешено стучало, в ушах звенело. Я поняла, что если не уйду сейчас же, то уж не смогу подпрыгнуть и покинуть комнату. Я заставила себя встать и быстрыми шагами направилась к двери. Почти задыхаясь, Шондип прохрипел:

— Куда вы, Царица?

В один миг он очутился рядом, готовый схватить меня.

Но за дверью слышались шаги, и Шондип так же быстро отскочил и опять сел в кресло. Я остановилась возле полки с книгами, невидящими глазами всматриваясь в их названия.

Не успел муж войти в комнату, как Шондип заговорил:

— У тебя нет Броунинга, Никкил? Я как раз рассказывал Царице Пчел о нашем университетском клубе. Ты помнишь спор между четырьмя нашими товарищами о переводе Броунинга? Неужели забыл? Вот послушай:

She should never have looked at me,
If she meant I should not love her
There are plenty... men you call such,
I suppose... she may discover *
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them;
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

Кое-как, — продолжал Шондип, — я перевел стихи на бенгали, но нельзя сказать, чтобы, ознакомившись с моим переводом, «Гоура народ в радости припик к источнику нектара». Одно время — правда, недолго — я предполагал стать поэтом. Судьба сжалилась надо мной и спасла меня от такого несчастья. А вот наш Докхиначорп, не пойдя он в соляные инспекторы, песочно стал бы поэтом. Он делал отличные переводы, мы их читали, и они казались нам бен-

гальскими стихами. Страна, которая не числится в учебниках географии, ведь не имеет и своего языка —

О, если поняла она, что ей не полюбить меня,
Зачем ей было так смотреть глазами, полными огня?
Немало в мире есть мужчины (мужчины ли вправду,
милой друг?).

Таких, что если б ям она свою открыла душу вдруг,
То равнодушно на нее взглянули б, чуждые мечты,
И в их тупых глазах ничто не заменило б пустоты.
А я ведь не из их числа — понятно это было ей,
Когда меня пронзил писквозь скользнувший взор ее очей¹.

Царица Пчела, вы ищите напрасно: после свадьбы Никхил бросил читать стихи; возможно, у него и нет в том потребности. Меня же от поэзии заставили отказаться дела. Похоже на то, однако, что мне снова грозит приступ поэтической лихорадки.

— Я пришел предупредить тебя, Шондин, — сказал муж.

— Насчет поэтической лихорадки?

— За последние дни, — продолжал мой муж, игнорируя его шутку, — из Дакки приехало несколько магометанских проповедников, которые всячески стараются взбудоражить местных мусульман. Они настроены очень воинственно и могут напасть на тебя в любой момент.

— И что же ты советуешь мне — бежать?

— Я пришел только сказать тебе об этом и не собираюсь давать никаких советов.

— Если бы эти поместья принадлежали мне, такого рода предостережение было бы высказано магометанским проповедникам, а не мне. Вместо того чтобы пугать меня, попробовал бы ты прилугнуть их, это куда больше пристало бы и мне и тебе. Знаешь ли ты, что твоя слабость распространяется и на соседних заминдаров?

— Вот что, Шондин, я не даю тебе советов, но и ты уволь меня от своих наставлений. Они бесполезны. И вот еще что: ты и твои друзья стали с некоторых пор причинять исподтишка неприятности моим арендаторам и всячески тиранить их. Так продолжаться дальше не может, и потому я прошу тебя покинуть мои владения.

— Кто же мне угрожает — мусульмане или еще кто-нибудь?

— Бывают случаи, когда не боятся только трусы.

¹ Перевод В. Рогова.

Поэтому я и предлагаю тебе, Шондип, уехать. Через несколько дней я собираюсь в Калькутту, я хочу, чтобы ты поехал вместе со мной. Там ты, конечно, можешь остановиться в нашем доме, никто возражать не станет.

— Ну что ж, значит, у меня есть пять дней на размышление. Позвольте, Царица Пчела, снять вам прощальную песню пчелиного роя. О поэт ловой Бенгалии, открой мне свои двери, я хочу похитить твою вину. Собственно говоря, это ты обокрал меня, выдав мою песню за свою. Пусть под песней стоит твое имя, все равно она моя!

И Шондип запел низким, сильным и фальшивым голосом песню на мотив бхойроби:

На родине твоей песня цветет отрадно круглый год.
Там радостен разлук и встреч, слез и улыбок хороход;
Тот, кто уходит, недалеко; не осыпается цветок,—
Он вновь способен расцвести, коль ненадолго опадет.
Когда я рядом был с тобой, то песнь моя пронзала тишь...
Я должен уходить — ужель ничем меня не одаришь?
Я под деревьями стою, надежду пылкую таю,
Что ты слезами знойный март в благую осень превратишь¹.

Дерзость Шондипа переходила все границы. Это была ничем не прикрытая, откровенная дерзость. Его невозможно было остановить. Разве можно запретить греметь грому: ослепительный смех молнии снимет любой запрет.

Я вышла из комнаты и направилась во внутренние покои. На веранде передо мной неожиданно вырос Омулло.

— Царица-диди,— сказал он,— ни о чем не беспокойтесь: я уезжаю и ни за что не вернусь, не добившись успеха.

— Я беспокоюсь не о себе,— сказала я, глядя прямо в его серьезное юное лицо,— я думаю о тебе.

Омулло повернулся, чтобы идти, но я окликнула его и спросила:

— У тебя есть мать?

— Есть.

— А сестра?

— Нет, я единственный сын у матери. Отец умер, когда я был совсем маленьким.

— Тогда вернись к своей матери, Омулло.

— Но, диди, ведь здесь я обрел и мать и сестру.

— В таком случае сегодня перед отъездом зайди ко мне, я угощу тебя.

¹ Перевод В. Рогова.

— У меня будет мало времени. Царица-диди, лучше дайте мне что-нибудь на дорогу — что-нибудь, освященное вашим прикосновением.

— Что ты любишь больше всего?

— Если бы я жил с матерью, она дала бы мне много сладких лепешек, вроде тех, что пекут у нас зимой. Когда я вернусь, испеките мне таких лепешек своими руками, Царица-диди.

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

Как-то раз я проснулся среди ночи, и вдруг мне почудилось, что мир, в котором я жил до сих пор, со всеми окружавшими меня предметами, постелью, комнатой, домом, стал каким-то переальным, призрачным. Я внезапно понял, почему человек так боится призраков умерших близких. Очень страшно, когда хорошо знакомое, близкое, родное вдруг становится непонятным, чужим. Жизнь привычную, удобную надо втискивать в другое русло, которого, по существу, еще и нет. Трудно оставаться самим собой в таких условиях — посмотришь на себя, а ты уже и впрямь не тот, что был.

С некоторых пор мне стало ясно, что Шондип со своими последователями пытаются создать беспорядки в нашем районе. Будь я уверен в себе, как прежде, я немедленно предложил бы Шондипу убраться отсюда. Но то, что произошло со мной, выбило почву у меня из-под ног. Я потерял уверенность в себе. Мне целовко сказать Шондипу, чтобы он уехал, я перевожу разговор на другую тему и чувствую себя ничтожеством.

Брак для меня не просто прибежище взрослого человека и не один из этапов его жизненного пути. Он — часть меня самого. И я не могу изменить его по своей воле. Насилие над ним равноценно насилию над моим богом. Я никому не могу рассказать об этом. Возможно, я — чужак. Возможно, меня обманывают. Но если кто-то и может обмануть меня, я себя обмануть не могу.

Я служу истине, которая лежит в основе мира. Мне придется теперь разорвать его пагубные сети. Мой бог освободит меня от рабства. Я получу свободу ценой собственной крови, и она утвердит царство покоя в моей душе.

Я уже сейчас ощущаю радость своего освобождения. Время от времени из мрака доносится песня утренней птицы моей души. Мужающий голос ее твердит мне, что

если я исчезнет Бимола — порождение иллюзии, — то жизнь для меня еще не кончится!

Я узнал от учителя, что Шопдин вместе с Хоришем Купду готовят большие торжества в честь богини Дурги. Необходимые расходы Хориш Купду покрывает из кармана своих арендаторов. Силами папдитов Кобиротно и Биддабагиша был сочинен хвалебный гимн, который звучит весьма двусмысленно. По этому поводу между учителем и Шопдином произошла стычка. Шопдин сказал:

— Эволюция затрагивает и богов. Если потомки не будут приспосабливать к своим вкусам богов, созданных их предками, они кончат атеизмом. Моя миссия состоит в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в наших древних богов. Я рожден их спасителем, они будут обязаны мне своим освобождением от пут прошлого.

С детских лет я наблюдаю, как жонглирует идеями Шопдин. Поиски истины не интересуют его нисколько, зато ему доставляет немалое удовольствие потешаться над ней. Появись он на свет в дебрях Центральной Африки, он с пеной у рта доказывал бы, выдвигая в защиту своего мнения множество всяких доводов, что людоедство — идеальный способ общения между людьми. Но те, которые любят вводить в заблуждение других, в конце концов сами становятся жертвами заблуждения. Я совершенно убежден, что, проповедуя очередную ложь, он каждый раз искренне верит, что открыл истину, даже если она откровенно противоречит его прежним измышлениям. Но я не собираюсь помогать ему строить в нашей стране ви-покурню, где варилось бы зелье, именуемое иллюзией. Молодые люди, готовые посвятить себя служению родине, не должны приучаться к пьянящим напиткам. Люди, которые считают необходимым прибегать к возбуждающим средствам, чтобы заставить других работать в полную меру своих сил, обычно гораздо больше ценят самую работу, чем тех, кого они заставляют глотать эти средства. Если я не смогу спасти страну от этого безумия, то фирмам, который курят Матери-Родине, превратится в ядовитый угар, а патристическое служение родине станет тем смертоносным оружием, которое воплится в ее грудь.

Я выпущен был сказать Шопдину в присутствии Бимола, что он должен покинуть наш дом. Возможно, и Бимола и Шопдин неправильно истолкуют мой поступок, но страх быть неверно понятым больше не мучит меня. И если даже Бимола не поймет меня, пусть будет так!

Проводедники-мусульмане из Дакки все прибывают. В моих владениях мусульмане итали почти такое же от-
вращение к закланию коров, как индусы. Тсперь же доне-
сепня об убийствах этих животных поступают со всех
сторон. Первыми — и с явным неодобрением — сообщили
мне об этом мои арендаторы-мусульмане. Я сразу же
понял, что впереди нас ждет немало трудностей. Дело в
том, что в основе всего этого лежит искусственно разжи-
гаемый фанатизм, однако, пытаясь пресечь такого рода
выходки, можно вызвать взрыв уже настоящего фанатиз-
ма. Со стороны наших противников это довольно тон-
кий ход.

Я призвал к себе нескольких наиболее влиятельных
арендаторов-индусов и попытался объяснить им поло-
жение.

— Мы можем быть непоколебимы в своей вере, — ска-
зал я, — по это отнюдь не означает, что мы имеем право
вмешиваться в религиозные убеждения других. Ведь не-
смотря на то что большинство нас вишнуиты, мы не ме-
шаем шактистам приносить в жертву животных. Тут ни-
чего не поделаешь. Пусть и мусульмане поступают так,
как им правится. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, из-
бегать всяких осложнений и беспорядков.

— Но ведь сколько времени уже, махарадж, — возрази-
ли они, — не знали мы подобных бедствий.

— Мусульмане сдерживались, и все было спокойно.
Нам надо вести себя так, чтобы отношения опять могли
паладиться. Это будет невозможно, если между нами про-
изойдут столкновения.

— Нет, махарадж, — настаивали они, — прежнего так
легко не вернешь. Они не успокоятся, пока вы не употре-
бите власть.

— Если применить силу, — ответил я, — то очень ско-
ро от заклания коров они перейдут к убийствам людей.

Среди моих арендаторов был один, знающий англий-
ский язык. Он умел щегольнуть модным выражением.

— Дело тут не только в предрассудках, — сказал он. —
Наша страпа земледельческая, корова здесь...

— Буйволыци тоже дают нам молоко, и на них же па-
шут, — прервал я его. — Поэтому пока мы сами, намазан-
ные кровью буйвола, с его отсеченной головой на плечах,
пляшем в экстазе на папертях своих храмов, нам незначем
ссориться с мусульманами из-за религиозных убеждений.
Это только посмешист богов и приведет к еще большей

петерпимости. Раз пельзя убивать коров, а буйполов можно, то тут дело не в религии, а в слепых предрассудках.

Знающий английский язык продолжал:

— Но разве вы не видите, что кроется за всем этим? Ведь, парушая закон, мусульмане убеждены, что им не грозит наказание. Разве вы не слышали, что произошло в Папчуре?

— Отчего оказалось возможным, — сказал я, — с такой легкостью натравить мусульман на нас? Не сами ли мы своей петерпимостью подготовили для этого почву? А теперь всевышний решил наказать нас за это и обрушить на наши же головы содеянные нами грехи.

— Хорошо же, раз так, пусть они обрушиваются на нас, — ответил мой собеседник. — Но это им даром не пройдет, нам удалось поколебать основу их бывшего могущества — твердую веру в непогрешимость собственных законов. Некогда они творили правый суд, а теперь сами ведут себя, как разбойники. Может быть, история и не отметит этого, но мы это запомним навеки.

Мое имя приобретает известность благодаря пасквилям, которые перепечатаются всеми газетами. Говорят, что в поместье Чокроборти на погребальном костре у реки на днях было торжественно сожжено мое чучело. Готовятся и другие выпады.

Дело в том, что мои противники решили сообща открыть текстильную фабрику и пришли ко мне с предложением припятать участие в этом деле.

— Если бы убыток терпел я один, в том не было бы беды, — отвечал я. — Но я не хочу даже косвенно быть причипой убытков, которые, песомненно, понесут люди, па последние гроши купившие ваши акции, поэтому я не войду в это дело.

— Правы ли мы будем, заключив, что вопрос процветания родины вас помало не интересует? — осведомилсь мой посетитель.

— Развитие промышленности, безусловно, может привести к расцвету страны, — ответил я, — по одного желания мало, чтобы расцвет этот действительно наступил. Наша промышленность чахла даже в более спокойные времена, так неужели же она расцветет пышным цветом теперь, когда мы окончательно потеряли голову?

— Почему вы не хотите сказать прямо, что боитесь потерять деньги?

— Я вложу свои деньги только тогда, когда увижу, что

вас интересуют действительно успехи промышленности. Но из того, что вы развели огонь, еще не следует, что вы обязательно приготовите обед.

Они считают меня человеком очень расчетливым, скрупулезным и хотя бы то что бы то ни стало заглянуть в книгу моих расходов, связанных со свадьбой. Они, конечно, не знают, что когда-то я пытался поднять урожайность на наших землях. Сколько лет подряд я ввозил сахарный тростник с Явы и, следуя рекомендациям департамента сельского хозяйства, пытался привить его у нас. А чего я добился? Крестьяне до сих пор подсмеиваются надо мной. Сейчас они смеются втихомолку. А когда я, начитавшись сельскохозяйственных газет, советовал им сеять японскую фасоль или разводить хлопок, то они смеялись в открытую. А ведь тогда ни о каких патриотах еще и речи не было и никто не кричал «Банде Матарам». А история с пароходством? Стоит ли вспоминать об этом?

Если бы мое горящее чучело хоть немного утешило их патристический пыл, я был бы очень этим доволен.

Что же это такое! Нашу контору в Чокуйе ограбили. Накануне вечером там собрали очередной взнос в семь с половиной тысяч рупий для главного казначейства. Деньги было решено отвезти в Калькутту сегодня утром по реке. Для удобства кассир обменял деньги на кредитки в десять и двадцать рупий и связал их в пачки. Глубокой ночью бандиты, вооруженные пистолетами и ружьями, ограбили кассу. Стражник Касем был ранен из пистолета.

Удивительней всего то, что грабители забрали только шесть тысяч рупий, остальные кредитки, на полторы тысячи рупий, были разбросаны по компате, хотя бандиты без труда могли забрать все деньги. Как бы то ни было, палет совершен, и теперь примется за дело полиция. Пропали деньги, пропал и покой!

Когда я вошел на женскую половину дома, оказалось, что все уже знают о случившемся.

— Какой ужас, братец! — воскликнула меджо-рани. — Что же нам делать?!

Желая подбодрить ее, я сказал шутливо:

— Ну, как-нибудь проживем. Кое-что у нас еще осталось.

— Не шути, братец, — продолжала она. — И что они на тебя так взъелись? Я об одном прошу: не обостряй ты с

ними отношений. Уступил им в чем-нибудь. Неужели во всей стране не найдется человека...

— В угоду этому человеку я не стану выставлять свою родину на посмешище.

— Это возмутительно, что они устроили на берегу реки с твоим чучелом. Стыд им и позор! Наша чхото-рани ничего не боится, не даром она училась у гувернантки. А я себе просто места не находила, пока не позвала жреца Кепарама, чтобы он молитвами оградил нас от несчастий. Ради меня, братец, милый, уезжай в Калькутту. Я думать боюсь, что они могут еще выкинуть, пока ты здесь.

Меня до глубины души тронула искренняя тревога меджо-рани. О Аннаурна, наши молебны у порога твоего сердца никогда не окажутся тщетными!

— И разве я не предупреждала тебя, что нельзя хранить столько денег рядом со своей спальней, — продолжала она. — Ведь они все могут пропуюхать. Я беспокоюсь не о деньгах. Просто мало ли что может случиться!

— Хорошо, я сейчас же отнесу деньги в коптуру, — пообещал я, чтобы успокоить женщину, — а послезавтра мы отправим их в калькуттский банк.

Мы вместе пошли в спальню, но оказалось, что дверь в гардеробную закрыта.

— Я переодеваюсь, — ответила Бимола на мой стук.

— Так рано, а чхото-рани уже наряжается, — не преминула заметить меджо-ранд. — Удивительно! Наверно, опять собрание у этих «Банде Матарам». О Деби Чоулху-рани, уж не припрятываешь ли ты там награбленное?

— Я заберу деньги немного погодя, — сказал я и пошел к себе: в кабинете уже сидел полицейский инспектор.

— Напали вы на след бандитов? — спросил я.

— Кое-кого мы подозреваем.

— Кого же именно?

— Стражника Касема.

— Какой вздор! Ведь он же ранен.

— Это не рана. Небольшая царапина на ноге. Вполне возможно, что она дело его же рук.

— Я просто не допускаю этого. Касем — очень преданный человек.

— Верю, однако это не мешает ему быть вором. Сколько раз я был свидетелем того, как человек двадцать пять лет служит верой и правдой, и вдруг...

— Все равно я не позволю, чтобы его отправили в тюрьму.

— Как это не позволите? Отправят его те, кто обязат
это сделать.

— Почему же Касем взял только шесть тысяч, а ост
альные бросил?

— Чтобы сбить пас с толку. Что бы вы ни говорили в
его защиту, он, конечно, воробей стреляный. Службу свою
он, правда, нес честно, но я уверен, что он имел касатель
ство ко всем кражам в вашей округе.

Тут инспектор привел массу примеров того, как мо
шенники совершают грабеж за двадцать пять — тридцать
миль от дома и успевают вернуться вовремя к исполнению
своих обязанностей.

— Вы привели Касема? — спросил я.

— Нет, он остался в полицейском участке. Сейчас при
едет судья, и начнется допрос.

— Я хочу его видеть.

Как только я вошел в камеру, Касем бросился мне в
ноги и, рыдая, проговорил:

— Клянусь богом, махарадж, я не совершал кражи!

— Я в этом уверен. Не бойся, я не дам тебя в обиду,
раз ты ни в чем не виноват.

Точность в рассказе Касема отсутствовала. В его из
ложении все принимало грандиозные размеры — участво
вали в ограблении четыреста или пятьсот человек с огром
ными ружьями и мечами и т. д. Все это, конечно, был
вздор. Он был сильно перетрусил, или его мучил стыд от
того, что он не выполнил свой долг и не защитил казну
хозяина. Он настаивал, что все это дело рук Хориша Кун
ду, и утверждал даже, что ясно слышал голос его главного
арендатора, Экрама.

— Вот что, Касем, — сказал я, — поменьше болтай и по
старайся кого-нибудь запутать в это дело. Тебе никто не
поручал возбуждать подозрение против Хориша Кунду.

Вернувшись домой, я попросил учителя зайти ко мне.
Выслушав меня, он покачал задумчиво головой и сказал:

— Если люди заменяют совесть понятием «родина», ни
к чему хорошему привести это не может. В таких случаях
бесстыдно обманывают пороки страны во всем их безоб
разии.

— Как вы думаете, дело чьих рук...

— Не спрашивай меня. Помни, однако, что порок за
разителей. Немедленно удали их всех из своих владений.

— Я дал Шопдину еще один день. Послезавтра они
все уедут.

— Да, вот еще что. Забери с собой в Калькутту Бимола. Здесь кругозор ее слишком ограничен — она не способна видеть людей и их поступки в истинном свете. Покажи ей мир, людей, занятых трудом. Пусть она научится смотреть на вещи широко.

— Я уже думал об этом.

— И не медли. Помни, Никхил, история человечества создается соединенными усилиями всех народов мира. Поэтому нельзя продавать совесть из соображений политики и делать фетиш из родины. Я знаю, что Европа придерживается другого мнения, но разве имеет она право претендовать на роль нашего духовного руководителя? Отдавая жизнь во имя истины, человек становится бессмертным. Обессмертил бы себя на страницах истории человечества и целый народ, погибший за правду. Так пусть же Индия будет первой страной, которая осознала истину в мире, содрогающемся от хохота дьявола. Какая страшная эпидемия порока проникла в нашу родину из чужеземных стран!

Весь день прошел в суматохе допросов и расследования. К вечеру я устал и решил, что отнесу деньги невесток в конторский сейф завтра утром.

Ночью я вдруг проснулся. Было темно. Мне показалось, что я слышу стоны. По-видимому, кто-то плакал. Отчаянные, прерывистые всхлипывания были похожи на порывы ветра дождливой ночью. Мне почудилось, что это рыдает душа нашей компании.

В спальне не было никого: ведь с некоторых пор Бимола спит в соседней комнате. Я встал и вышел на веранду. Там на полу ничком лежала Бимола.

Есть вещи, которые не поддаются описанию. Они открываются лишь тому, кто видит все страдания мира и всем сердцем разделяет их. Безмолвное небо, тихие звезды, темная ночь, и на этом фоне безудержные, неутешные слезы!

Мы даем определения человеческим чувствам. Шастры учат нас делить их на дурные и хорошие и для каждого находить свое название. Но как назвать эту муку, хлывущую из разбитого сердца в почную тьму? Глубокая ночь, покой которой сторожили миллионы безмолвных звезд, обступила меня со всех сторон. Я смотрел на лежащую у моих ног женщину и с трепетом благоговения думал: «Кто дал мне право осуждать Бимола? О жизнь, о

смерть! О владыка мира, которому нет ни начала, ни конца. Я склоняюсь в низком поклоне перед тайной, которую храните вы!»

Надо уйти, — мелькнуло у меня в голове. Но уйти я не мог. Опустившись на пол рядом с Бимолой, я положил руку ей на голову. В первую минуту она словно окаменела, а затем разразилась бурным потоком слез. Трудно представить себе, сколько слез хранился в человеческом сердце.

Я ласково провел рукой по ее волосам. Неожиданно она обхватила мои ноги и прижала к своей груди с такой силой, что, казалось, хотела раздавить ее.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Сегодня утром Омулло должен вернуться из Калькутты. Слуге приказано немедленно сообщить о его приходе. Не находя себе места в ожидании его, я отправилась в гостиную.

Посылая Омулло в Калькутту продавать свои драгоценности, я думала только о себе. Мне и в голову не приходило, что юноша, который продаст такие ценные украшения, неминуемо вызовет подозрения. Мы, жепщины, настолько беспомощны, что поровним переложить на плечи другого бремя опасности, угрожающей нам, а вступая на путь гибели, обязательно тащим за собой близких.

Я с гордостью заявила, что спасу Омулло. Но может ли спасти другого тот, кто сам идет ко дну? Увы!.. Вместо того чтобы спасти, я послала его навстречу гибели. Нечего сказать, хорошей сестрой оказалась я для тебя, братик мой дорогой. Как, наверно, смеялся бог смерти в тот день, когда тебе дала благословение я — несчастная жепщина!

Сейчас мне представляется, что зло нападает на человека, как чума. Непозвешено откуда занесенный микроб начинает действовать, и в одну ночь смерть оказывается у порога. Почему же больного не отделяют от всех остальных? Я-то знаю, как опасна эта зараза. Такой человек подобен пылающему факелу, который может поджечь весь мир.

Прошло девять часов. Мысль о том, что Омулло попал в беду, что его схватила полиция, не переставала мучить меня. Можно себе представить, какой переполох поднялся в полицейском участке из-за моих драгоценностей: чья это шкатулка, откуда она у него? На все эти вопросы от-

вет в конце концов придется дать мне — дать публично. О меджо-рани, сколько времени я презирала тебя! Сегодня пришел и твой черед. Ты будешь отомщена за все. О боже, спаси меня на этот раз, и я сложу свою гордыню к ее ногам.

Не в силах долее оставаться одна, я отправилась во внутренние покои, к меджо-рани. Она сидела в тени на веранде и приготавлила бетель. Увидев рядом с ней Тхако, я на мгновение смутилась, но потом овладела собой, склонилась перед певесткой и взяла прах от ее ног.

— Вот те па! Чхото-рани, что это на тебя пашло? — воскликнула она. — Откуда вдруг такая почтительность?

— Диди, сегодня день моего рождения, — сказала я. — Я часто причиняла тебе зло. Благослови меня, диди, чтобы это больше никогда не повторялось. Я очень глупа.

Я распростерлась у ее ног, поспешно встала и пошла к двери, но она оклинула меня:

— Чхуту, ты никогда не говорила мне, когда день твоего рождения. Приглашаю тебя на обед. Смотри не забудь, дорогая моя, приходи обязательно.

О всевышний, сделай сегодняшний день действительно днем моего рождения! Неужели я не могу снова появиться на свет? О владыка, очисти меня от скверны, испытай меня еще раз!

Я вошла в гостиную почти одновременно с Шондипом. При виде его волна отвращения поднялась в моей душе. Сейчас, в лучах утреннего солнца, лицо его, казалось, потеряло свое волшебное обаяние.

— Уходите отсюда, — не сдержавшись, сказала я.

— Раз уж Омулло нет, — улынувшись, возразил Шондип, — полагаю, что вы можете уделить время и мне для тайнственного разговора.

О несчастная! Вот где подстерегала меня гибель! Как отнять у него право, которое я сама же ему дала?

— Я хочу побыть одна...

— Царица, — ответил он, — мое присутствие не может нарушить вашего одиночества. Не смешивайте меня с толпой. Я, Шондип, всегда одинока, даже когда меня окружают тысячи людей.

— Прошу вас, приходите в другое время, сегодня утром я...

— Ждете Омулло?

Едва овладев собой, я повернулась, чтобы выйти из комнаты, но в эту минуту Шондип выпул из-под шарфа мою

шкатулку с драгоценностями и с шумом поставил ее на мраморный столик.

Я вздрогнула.

— Значит, Омулло не поехал?

— Куда?

— В Калькутту.

— Нет, — ответил Шондин, рассмеявшись.

Спасена! Несмотря ни на что, мое благословение сделало свое дело! Я воровка — пусть я и понесу наказание, какое всевышнему будет угодно послать мне. Лишь бы он пощадил Омулло!

Облегчение, отразившееся на моем лице, не понравилось Шондину.

— Вы так довольны, Царица? — с ехидной усмешкой заметил он. — Эти украшения так дороги вам? Как же вы хотели припестить их в дар богине? Собственно говоря, вы уже сделали это. Неужели вы хотите отнять их теперь?

Гордость не покидает человека даже в самые критические минуты. Я понимала — нужно показать Шондину, что я ни во что не ставлю эти драгоценности.

— Если они возбуждают вашу жадность, берите их, — сказала я.

— Да, я жаден: я хочу владеть всеми богатствами Бенгалии, — ответил Шондин. — Есть ли на свете сила более мощная, чем алчность? Алчность сильных мира сего так же движет миром, как Айравата — Индией. Значит, эти драгоценности мои?

Но не успел Шондин завернуть шкатулку в шарф, как в комнату ворвался Омулло. Под глазами у него были синяки, губы пересохли, волосы взлохмачены. Казалось, в один день он утратил все очарование и свежесть юности. У меня сжалось сердце.

Даже не взглянув на меня, Омулло кинулся к Шондину.

— Так это вы вынули из чемодана мою шкатулку с драгоценностями? — воскликнул он.

— Разве она твоя?

— Нет, но чемодан мой.

Шондин разразился смехом.

— Дорогой Омулло, ты слишком четко разграничиваешь понятия — твое и мое. Сомнений быть не может — ты умрешь религиозным проповедником.

Бросившись в кресло, Омулло закрыл лицо руками.

Я подошла и, положив руку ему на голову, спросила:

— В чем дело, Омулло?

— Диди, мне так хотелось самому вручить вам вашу шкатулку! — сказал он, вставая. — Шондин-бабу знал о моем намерении и потому поспешил...

— Неужны мне эти драгоценности! Пусть пропадают, какая в том беда?

— То есть как пропадают? — спросил пораженный Омулло. — Почему?

— Драгоценности мои, — вмешался Шондин. — Они — дар, полученный мною от моей Царицы.

— Нет, нет, — как безумный, воскликнул Омулло. — Никогда, диди! Я возвращаю их вам, и вы не должны отдавать их никому другому.

— Я принимаю твой дар, брат мой, — сказала я, — а теперь пусть заберет их тот, чья жадность ненасытна.

Омулло взглянул на Шондина так, словно хотел растерзать его.

— Вы знаете, Шондин-бабу, — едва сдерживаясь, произнес он, — что впселицы я не боюсь. Если вы возьмете шкатулку...

— И тебе, Омулло, пора бы знать, что я не из тех, кого можно запугать, — с деланным смешком сказал Шондин. — Царица Пчела, я пришел сегодня не для того, чтобы взять эти драгоценности, а для того, чтобы вернуть их вам. Я не хотел, чтобы вещь, принадлежащую мне, вы получили из рук Омулло. Чтобы не допустить этого, я решил сперва удостовериться в том, что они действительно мои. Теперь я дарю их вам. Улаживайте свои отношения с этим юношей, а я уйду. Последние дни у вас все время происходят какие-то чрезвычайно важные совещания, участия в которых я не принимаю, так и не пеняйте же на меня, если на вас обрушатся события чрезвычайной важности. Омулло, — продолжал он, — чемодан, книги и другие вещи, которые были у меня, я отправил к тебе домой. В будущем прошу тебя не оставлять ничего у меня в комнате.

И с этими словами Шондин торопливо вышел из комнаты.

— Я не знала покоя, Омулло, — сказала я, — с тех пор как поручила тебе продать драгоценности.

— Почему, диди?

— Я боялась, чтобы ты из-за них не попал в беду, чтобы тебя не заподозрили в краже. Я обойдусь и без шести тысяч. Ты же, Омулло, должен сделать для меня еще одну вещь: отправляйся сейчас домой, к своей матери.

Омулло вынул из-под чадора сверток и протянул его мне.

— Диди, но ведь я принес шесть тысяч рупий.

— Где ты их взял?

— Я старался достать гипен,— продолжал он, не отвечая на мой вопрос,— но мне не удалось, я принес банкноты.

— Омулло, поклянись моей жизнью, что скажешь правду,— говори, где ты взял деньги?

— Нет, я не скажу вам.

У меня потемнело в глазах.

— Что ты сделал, Омулло? Эти деньги...

— Я знаю, вы скажете, что я добыл эти деньги пехо-рошним путем. Да, это так. Однако чем страшнее преступление, тем дороже плата за него. Я полной мерой заплатил за свой поступок, и теперь деньги мои.

У меня пропало желание слышать дальнейшие подробности. Кровь застыла в моих жилах, и я вся похолодела.

— Возьми эти деньги, Омулло,— молила я,— и отнеси их туда, откуда взял.

— Это слишком трудно.

— Нет, не трудно, братик ты мой милый. В недобрый час привела тебя судьба ко мне! Даже Шондип не смог причинить тебе столько зла, сколько причинила я.

Слово «Шондип» словно укололо его.

— Шондип! — воскликнул он. — Только вы показали мне, что он в действительности представляет собой. Знаете, диди, получив тогда от вас шесть тысяч рупий, он не истратил из них ни пайсы. Он вернулся в свою компату, заперся, высыпал все гипен из платка на пол, сложил в кучки и стал любоваться ими. «Это не деньги,— говорил он,— это листья божественного древа богатства, застывшие обрывки мелодий, которые несутся из флейты, поющей в столице Куберы. У меня не хватает духу обменять их на банкноты. Они должны ожерельем лежать вокруг шеи вечной Красоты, они мечтают об этом. Дорогой Омулло, не смотри на них с вожделением, ведь в этих золотых светится улыбка Лакшми, вся прелесть и очарование супруги Индры. Нет, нет, они не созданы для того, чтобы попасть в руки тупого и грубого управителя, я уверяю, Омулло, что он все наврал и что полиции не удалось проследить, кто потопил лодку. Просто он сам хочет на этом поживиться. Надо отобрать у него наши письма». — «Каким образом?» — спросил я. «Силою или угрозой», — посоветовал

Шондип. «Согласен, — отвечал я, — я сделаю это, но только при условии, что мы возвратим гинен Царице». — «Гам видно будет», — сказал Шондип. Долго рассказывать о том, как мне удалось запугать управителя, отобрать у него письма и сжечь их. В ту же ночь я отправился к Шондипу и сказал: «Теперь мы в безопасности, отдайте гинен мне, завтра поутру я верну их диди». — «Что за фантазия пришла тебе в голову? — закричал он, — кажется, сарни твоей драгоценной диди затмило тебе всю страну! Прочти «Бапде Матарам!» — это изгонит злого духа из твоего сердца». Вы ведь знаете, диди, какой силой внушения владеет Шондип. Гинен остались у него, а я провел ночь на берегу пруда, повторяя «Бапде Матарам».

После того как вы поручили мне продать драгоценности, я снова зашел к нему. Я видел, что Шондип злится на меня, хотя он и старался не показывать виду. «Если ты обнаружишь в каком-нибудь из ящичков золото, можешь забрать его», — сказал он и бросил мне прямо в лицо связку ключей. Нигде ничего не было. «Скажите, где вы спрятали их?» — спросил я. «Это я тебе скажу, когда увижу, что ты справился со своей дурацкой влюбленностью, по-прежнему».

Я убедился, что его ничем не поколеблешь и что надо искать другого выхода. Потом я попытался обменять у него на гинен свои бапкноты. Он обманул меня, сказав, что идет за золотом, а сам сломал замок моего чемодана, вынул оттуда шкатулку с драгоценностями и через другую дверь отправился прямо к вам. Он пометал мне самому отпести их вам и еще смеет утверждать, что драгоценности — его дар! Если бы вы знали, какой радости он меня лишил. Этого я ему никогда не прощу. Но зато, диди, теперь он потерял всякую власть надо мной. И этим я объясню вам.

— Если это правда, братик, значит, моя жизнь уж совсем бессмысленна. Но это далеко еще не все. Мало того, что рассеяны чары, надо смыть позор, запятнавший нас. Не медли, Омулло, сейчас же отправляйся и возврати деньги туда, откуда ты взял их. Неужели ты не сможешь выполнить мою просьбу, дорогой брат?

— Если вы благословите меня, диди, я все смогу сделать.

— Помни, что, возвратив деньги, ты искупишь не только свою вину, но и мою. Я — женщина, и мне не полагается покидать свой дом, иначе я не пустила бы тебя, а по-

шла сама. Самое тяжкое наказание для меня — это то, что я должна взвалить на твои плечи бремя своего греха.

— Не говорите так, диди. Я по собственной воле вступил на путь, которым шел до сих пор, — меня он привлек своими опасностями и трудностями. Теперь, диди, вы зовете меня встать на ваш путь, и, хоть, может, он будет для меня во сто крат тяжелее, я избираю его. Взяв прах от ваших ног, я бесстрашно пойду вперед и достигну цели. Итак, вы приказываете мне вернуть деньги?

— Это не мой приказ, дорогой, а воля всевышнего.

— О! С меня достаточно, что я узнал об этой воле из ваших уст. Только вот что, диди, ведь вы, кажется, приглашали меня к себе. Я не хочу упускать такой случай. Вы должны дать мне прощад, прежде чем я отправлюсь туда. А я сделаю все, что в моих силах, чтобы сегодня же вечером исполнить свой долг.

На глазах у меня выступили слезы, но я все же попыталась улыбнуться и сказала:

— Да будет так!

Однако не успел Омулло уйти, как я пала духом. На какую опасность послала я его? Ведь он единственный сын у матери! Боже, зачем ты делаешь таким тяжким искупление моего греха! Неужели недостаточно, чтобы страдала одна я? Зачем ты заставляешь столько пости мой грех? Не допусти, чтобы жертвой твоего гнева пал этот певчий юноша.

— Омулло, — крикнула я, желая возвратить его.

Мой голос прозвучал очень слабо, и Омулло не услышал его. Подбежав к двери, я снова позвала:

— Омулло!

Омулло не было.

— Слуга, слуга!

— Что угодно, рапи-ма?

— Позови Омулло-бабу.

Я так и не поняла, что, собственно, случилось, — возможно, слуга не знал Омулло, во всяком случае, он вернулся почти сразу, с ним шел Шопдин.

— Когда вы меня прогоняли, я знал, что вы снова позовете меня обратно, — сказал он, входя в комнату. — Одна и та же луна вызывает прилив и отлив. Я был настолько убежден, что вы позовете меня, что остался ждать на веранде. Как только из вашей комнаты появился слуга, я

поспешно вскочил и, прежде чем он вымолвил слово, воскликнул: «Хорошо, хорошо, я иду, я сейчас же иду!» Этот чудак совершенно оторопел, решив, очевидно, что тут не обошлось без колдовства. О Царица Пчела, всякая борьба в этом мире — это, в сущности, столкновение сильных личностей. Чары против чар — и оружием при этом можно пользоваться явным и скрытым. Наконец-то я нашел себе достойного противника. В вашем козаче много стрел, о искусная вопительница! Во всем мире вы одна могли решиться по своему усмотрению то высылать Шондипа из комнаты, то снова призывать его. Ну что ж, жертва лежит у ваших ног, скажите, что вы с ней намерены делать? Лишить жизни или посадить в клетку? Но разрешите мне предостеречь вас, Царица: дикого зверя одинаково трудно и убить, и запереть в клетку. Во всяком случае, советую вам не медлить и пустить в ход свое волшебное оружие.

Шондип, без сомнения, чувствовал, что надвигается момент, когда он должен будет признать окончательное поражение, и, стараясь выиграть время, говорил без умолку. Он, конечно, слышал, что посланный мною слуга называл имя Омупло, и тем не менее считал возможным разыграть эту комедию. Поток слов он стремился помешать мне сказать, что я звала не его, а Омупло. Но все его хитрости были напрасны. Я отчетливо видела его слабость и решила не отступать ни на шаг от завоеванных мною позиций.

— Шондип-бабу, меня просто поражает, как вы можете столько времени говорить без всякой передышки. Вы что, выучиваете свои речи наизусть заранее?

Лицо Шондипа мгновенно покраснело от злости.

— Я слышала, что профессиональные ораторы всегда имеют при себе тетрадки с речами на все случаи жизни. У вас тоже есть такая тетрадка?

— Всевышний щедро наделил вас, женщин, кокетством, — процедил сквозь зубы Шондип. — Кроме того, в вашем распоряжении имеются портные, ювелиры и так далее. Однако не думайте, что и мы, мужчины, так уж беспомощны...

— Загляните-ка лучше в свою тетрадку, Шондип-бабу. По-моему, вы забыли слова и все перепутали. Это случается... когда вы зубрите что-нибудь наизусть.

Шондип не выдержал:

— Вы, вы смеете меня оскорблять! — загремел он. — Да ведь я вижу вас пасквозь! Вы...

Больше он ничего не мог вымолвить.

Шондип подобен чародею, который лишается сил в тот момент, когда перестают действовать его чары. Властелин превратился в неотесанного мужлана. О, сколь радостно быть свидетельницей его поражения! Чем грубее и резче становились его слова, тем сильнее заливала меня волна радости. Удав разжал свои кольца, и я получила свободу! Спасена! Будьте грубы, оскорбляйте меня,— в этом проявляется ваша подлинная натура, только прошу вас, не пойте мне хвалебных песнопений — в них ложь.

В эту минуту в комнату вошел муж. Шондип не сумел, как обычно, мгновенно овладеть собой, и несколько секунд муж в изумлении смотрел на него. Случись это несколько дней тому назад, я сгорела бы со стыда, сегодня же я радовалась. Мне было все равно, что может подумать муж,— я хотела раз и навсегда покончить со своим ослабевшим противником.

Видя, что мы оба натянуто молчим, муж помедлил немного и сел в кресло.

— Я искал тебя, Шондип,— начал он,— и мне сказали, что ты здесь.

— Да, я здесь, Царица Пчела еще утром вызвала меня,— сказал Шондип, отчеканивая каждое слово.— И я, скромный труженик улья, по ее приказу бросил все и явился сюда.

— Завтра я еду в Калькутту. Ты поедешь со мной.

— Почему? — возразил Шондип.— Разве я вхожу в твою свиту?

— Ладно, будем считать, что в Калькутту едешь ты, а я сопровождаю тебя,— ответил муж.

— Мне нечего делать в Калькутте.

— Поэтому-то тебе и нужно ехать туда. Здесь у тебя слишком много дел.

— Я не двинусь с места.

— Тогда тебя сдвинут.

— Насильно?

— Да, насильно.

— Ладно, в таком случае придется ехать. Но ведь мир не исчерпывается Калькуттой и твоими поместьями. На карте есть и другие места.

— Судя по твоему поведению, трудно было поверить, что на свете есть иные места, кроме моих владений.

Шондип встал.

— Человек порой оказывается в таком положении, когда весь мир заключается для него в маленьком клочке земли, — сказал он. — Я, например, познал вселенную, не выходя из твоей гостиной, вот почему я так засиделся здесь. — Затем он повернулся ко мне: — Царица Пчела, никто, кроме вас, не поймет меня, возможно, не поймете и вы. Низко кланяюсь вам. Я уйду, унося в сердце преклонение перед вами. С тех пор как я увидел вас, мой лозунг изменился. Теперь уж я не говорю: «Привет матери», а «Привет возлюбленной» и «Привет волшебнице!». Мать охраняет нас от гибели, возлюбленная же толкает к ней, но и гибель от ее руки прекрасна. Это вы заставили меня услышать звон запястий танцующей смерти. Это вы заставили меня, своего преданного слугу, новыми глазами взглянуть на нашу родину Бенгалию, «многоводную, плодородную, овеваемую прохладным ветерком». О, у вас нет жалости! Идите, волшебница, принесите чашу с ядом, и я осушу ее, для того ли, чтобы умереть мучительной смертью, для того ли, чтобы победить смерть и жить в веках.

— Да, — продолжал он, — времена царствования Матери миновали. Любимая! Истина, справедливость, само право — ничто перед вами! Долг, обязанности превратились в пустой звук, оковы законов и правил упали с меня. Любимая! Я мог бы предать огню весь мир, кроме того клочка земли, на который ступала ваша изящная ножка, и исполнить неистовый танец на пепле пожарища. Благородные люди, хорошие люди! Они хотят всем делать добро, словно это и есть истина. Нет, нет! Истиной владею лишь я один, эта истина в вас. Я склоняюсь перед вами. Страсть к вам сделала меня жестоким, а преклонение перед вами зажгло во мне огонь разрушения. Я не праведник! Я не верю ни во что! Для меня на земле нет ничего святого. Я почитаю лишь ее одну — ту, что стала для меня выше всего на свете!

Поразительно! Совсем недавно я ненавидела его всем сердцем. Но то, что казалось мне кучкой холодной золы, вспыхнуло вдруг ярким пламенем. Без всякого сомнения, огонь, пылающий в его душе, был истинным. О, зачем бог создал человека таким сложным? Разве лишь затем, чтобы показать свое сверхъестественное мастерство? Всего лишь несколько минут тому назад я считала, что Шонди, бывший когда-то в моих глазах властелином, годится теперь разве что в герои бродячей труппы. Но это не так,

нет, не так! И под пышным театральным костюмом может биться сердце истинного владыки. Оно скрыто под бесчисленными покровами грубости, алчности, фальши. Но все же, все же... Мы не поняли его до конца, как, впрочем, не можем понять и самих себя. Человек — удивительное создание! Только Шива знает, для какой таинственной цели живет человек. Мы же сгораем от внутреннего огня. Разрушение! Шива — бог разрушения! Он — воплощение радости! Он и освободит нас от наших оков!

Снова и снова думаю я, что во мне живут два разных человека. Один из них в ужасе отшатывается от Шонди-па, который представляется ему воплощением страшного бога разрушения, другой же в упоении тянется к нему. Тонуций корабль увлекает за собой на дно всех, кто находится поблизости от него. Шондип обладает той же губительной силой. Он — как водоворот, его притяжение неодолимо, он овладевает вами прежде, чем вы почувствуете спасительный страх, и в мгновение ока заставляет отбросить прочь повседневные заботы, твердо сложившиеся привычки, властно отрывает от неба, добра и света, от всего, что дорого и необходимо, и увлекает за собой на дно — туда, откуда нет спасения! Он прислап к нам из царства бедствий, он проходит по дорогам нашей страны, бормоча кощунственные мантры, и девушки и юноши со всех сторон стекаются к нему. Мать, обитающая в лотосе сердца Бенгалии, рыдает: они взломали двери кладовой, где хранился нектар, и пируют, наполняя чаши пьянящим напитком. Они льют на землю драгоценные вина, приготовленные ею для богов, и вдребезги разбивают древние сосуды. Я всей душой сочувствую ей, но у меня нет сил противостоять общему возбуждению — оно захватывает и меня.

Сама истина послала нам столь суровое испытание, чтобы проверить, по-прежнему ли мы преданы ее заветам. Драпируясь в божественные одежды, пляшет перед паломниками хмельная радость и говорит: «Безумцы, зачем вы вступили на бесплодный путь аскетизма! Этот путь длинн и долог. Меня послала к вам сама повелительница бога Индры. Я готова приять вас! Я прекрасна, я страстна, в моих мгновенных объятиях вы познаете радость исполнения желаний!»

Немного помолчав, Шондип снова обратился ко мне.

— Настало время мне покинуть вас, богиня. Так надо! Я выполнил свое назначение. Если задержусь здесь еще,

все, чего мне удалось достичь, постепенно погибнет. Движимые аячностью, мы перестаем по-настоящему цепить то, что прекраснее и выше всего на свете, и в результате теряем все. Вечное может в один миг стать незначительным и пустым, если растянуть мгновение. Мы едва не погубили наше мгновение, в котором заключена вечность. Лишь сверкнувшая по вашей воле молния спасла нас от этого. Вы решили вступить, чтобы сохранить чистоту и непорочность служения вам, — своим поступком вы спасли и того, кто преданно служил вам. Сейчас, в момент прощанья, я отчетливо вижу, что преклонение перед вами — самое святое, что есть у меня в жизни. Отныне я и возвращаю вам свободу, богиня! Мой скромный храм не может дольше вмещать мои чувства — он каждую секунду грозит развалиться. Теперь я помещу ваше изображение в просторном, прекрасном храме и там буду прославлять вас. Только когда между нами ляжет расстояние, я почувствую, что вы действительно принадлежите мне. Здесь я знал только вашу доброту, там я стану вашим избранником.

На столе стояла шкатулка с моими драгоценностями. Я подняла ее кверху и, протягивая Шондипу, сказала:

— Я вверяю свои драгоценности вам. Положите их к ногам той, кому я поклоняюсь, той, кому я обещала их в дар.

Муж молчал. Шондип вышел из комнаты.

Только я собралась делать пирожки для Омулло, как в комнату вошла меджо-рани.

— Что это, чхуту, — воскликнула она, — да ты, никак, решила сама себе угощение готовить в день своего рождения?

— Будто уж мне совсем некого угостить?

— Ну, сегодня тебе не полагается заботиться об угощении для других. Это наша обязанность. Я как раз собиралась взяться за стряпню, а тут вдруг эти потрясающие новости! Я просто в панике — шайка в пятьсот или шестьсот разбойников напала на одну из наших контор и похитила шесть тысяч рупий. Все уверены, что теперь разбойники явятся грабить наш дом.

Я почувствовала большое облегчение. Так, значит, это были наши деньги. Надо сейчас же позвать Омулло, я скажу, чтобы он немедленно вернул шесть тысяч рупий мужу, предоставив мне давать необходимые объяснения.

— Не пойму я тебя,— удивленно сказала меджорани, заметив радостное выражение моего лица.— Ты что, правда ничего не боишься?

— Я просто не верю этому,— ответила я.— Ну, зачем им понадобилось бы нападать на наш дом.

— Не веришь? А кто бы мог поверить, что ограбят нашу контору?

Не отвечая, я запялась начинкой пирожков. Меджорани долго смотрела на меня, потом сказала:

— Ну, я пошла. Разыщу братца и попрошу его вынуть паши шесть тысяч из сейфа и отправить их в Калькутту, пока не поздно.

Не успела меджорани удалиться, как я бросила свои пирожки на произвол судьбы и стремглав помчалась в комнату, где хранились деньги. Куртка мужа, в кармане которой лежали ключи, все еще висела там — он стал так рассеян. Я сдернула с кольца ключ от сейфа и спрятала его в складках своего сари.

Снаружи постучали.

— Я переодеваюсь,— крикнула я в ответ.

Меджорани рассуждала за дверью:

— Только что готовила пирожки, а сейчас уже переодевается! Что она еще готовится выкинуть, интересно знать! Опять, что ли, собрание этих «Банде Матарам» у них сегодня? Эй, Деби Чоудхуран! — закричала она мне через дверь,— ты что там, выручку от налета подсчитываешь, а?

Когда они ушли, я, сама не знаю зачем, осторожно открыла сейф. Возможно, в глубине дупли теплилась надежда, что все случившееся — сон и что, выдвинув внутренний ящичек, я пайду там аккуратно сложенные столбики золотых. Увы! Ящик так же пуст, как истина в устах лжеца.

Мне пришлось завершить комедию переодевания и даже причесаться по-новому безо всякой надобности. При виде меня меджорани фыркнула:

— Сколько раз ты еще намерена сегодня переодеваться?

— Но ведь сегодня день моего рождения,— ответила я.

— Ты это рада сделать по всякому поводу,— заметила невестка, рассмеявшись.— Видела я кокеток, по ты им всем сто очков вперед даешь!

Пока я собиралась послать слугу за Омулло, мне подали написанную карандашом записку от него.

«Диди, — писал он, — вы приглашали меня к себе, но я решил сперва выполнить ваш приказ, а затем уж принять угощение из ваших рук. Вернусь я, возможно, поздно».

Кому собирается он вернуть деньги? В какую еще ловушку может угодить этот бедный мальчик? О, несчастная, выпустить Омулло, как стрелу из лука, ты могла. Ну а что, если стрела не попадет в цель, как ты вернешь ее обратно?

Я должна была сразу же признаться, что сама виновата во всем. Но ведь вся жизнь женщины основана на доверии к пей окружающих, на этом покоится ее мир. И если окажется, что она злоупотребила доверием, сохранить свое место в этом мире для нее уже невозможно. Прежнее приличие разлетается вдребезги, и пол устилают осколки, по которым ей придется ходить отныне до конца дней своих. Грешить легко, но искупить грех невероятно трудно, особенно женщине.

Последнее время мне вообще стало трудно разговаривать о чем-либо с мужем. Как же я могла вдруг явиться к нему со своим потрясающим сообщением. Сегодня он пришел обедать с большим опозданием, около двух часов дня, и был настолько озабочен, что почти ничего не ел. А я утратила даже право уговаривать его есть побольше. Отвернувшись, я молча утирала глаза краем сари.

Мне так хотелось сказать ему: «Ты выглядишь очень усталым — пойдй и отдохни в спальне». Но только я набралась духу заговорить с ним, как вошел слуга.

— Инспектор полиции привел стражника Касема, — доложил он.

Муж с расстроенным видом поспешно встал и вышел, так и не кончив обедать. Через несколько минут появилась меджо-рани.

— Почему ты не дала мне знать, когда пришел братец? Я решила искупаться, раз он задержался. Когда же он...

— А зачем он тебе?

— До меня дошли слухи, что вы оба завтра уезжаете в Калькутту. Так я тебе прямо скажу — я здесь не останусь. Боро-рани и не собирается расставаться со своим Радхаваллабха Тхакурор. Ну а я не намерена сидеть взаперти в пустом доме и прислушиваться к каждому шороху. Это окончательно решено, что вы уедете завтра?

— Окончательно, — ответила я.

Как знать, какой оборот примут события еще до наступления завтрашнего дня, — промелькнуло у меня в голове, — может быть, нам будет безразлично — ехать ли в Калькутту или оставаться. Я не могла себе представить, что станется с нашей семьей, жизнью, — будущее было зыбким и неясным, как сновидение. Через несколько часов решится моя судьба. Неужели никто не в состоянии остановить бег времени и дать мне возможность исправить все, что в моих снах, или хотя бы подготовить себя и близких к надвигающемуся удару.

Подобно семенам, лежащим глубоко в земле, таятся невидимые предвестники грядущих катастроф. Они никак не обнаруживают себя и ни у кого не вызывают страха. Но приходит день, и крошечный росток подымается над землей и начинает быстро тянуться вверх. И тогда его уже не закроешь ни краем сари, ни грудью, не заслопишь самой жизнью.

Я решила ни о чем больше не думать и молча ждать своей участи. Через два дня все будет позади: огласка, насмешки, слезы, вопросы и объяснения — все!

Но я не могу забыть прекрасного, светящегося преданностью лица Омупло. Уж он-то не ждал с покорным отчаянием своей судьбы, а с головой бросился в пучину опасности. Я, ничтожная женщина, склоняюсь к его ногам. О, юный бог, он решил спасти меня: шутя и смеясь, он извалил на свои плечи тяжесть моего греха и уготованную мне кару. Но найду ли я в себе силы перенести столь суровое милосердие всевышнего?

Я благоговейно склоняюсь перед тобой, мой сын, мой брат! Ты чист, прекрасен и смел! Я благоговейно склоняюсь перед тобой и молю небеса, чтобы в следующем рождении я могла бы прижать тебя к груди как свое родное дитя.

Слухи разрастаются с каждой минутой. В доме толчется полиция: слуги и служанки взбудоражены.

Ко мне пришла моя служанка Кхема и попросила спрятать в сейф ее золотые кольца и браслеты. И никому не скажешь, что сеть всех этих волнений и тревог сплетена руками чхото-рани, которая сама же в нее и попала. Пришлось играть в добрую покровительницу и прятать украшения Кхемы и сбережения Тхако. Наша молочница тоже принесла коробку, в которой лежали бенаресское сари и другие ценные вещи.

— Это сари, рани-ма, я получила в подарок на вашей свадьбе,— сказала она.

Когда завтра откроют сейф в нашей комнате, Кхема, Тхако, молочница... Ох, лучше не думать... Лучше представить себе, что будет в этот же день — в середине января — через год. Затянутся ли, заживут ли к тому времени раны моей семейной жизни?

Омулло обещал прийти ко мне вечером. Я не находила себе места от нетерпения и снова занялась пирожками. Я пажарила уже целую гору, но остановиться не могла. Кто будет их есть? Вечером я угощу ими всю прислугу. Сегодня еще мой день, мой последний день. Завтра уже не в моей власти.

Без устали жарила я один пирожок за другим. Иногда мне казалось, что сверху, из моей комнаты, доносится какой-то шум. Быть может, муж хочет открыть сейф и ищет ключ и меджо-рани созвала всех слуг помогать ему в поисках. Не надо обращать внимания. Лучше поплотнее закрыть дверь.

Вдруг в комнату влетела Тхако. Задыхаясь, она воскликнула:

— Чхото-рани-ма!

— Иди, иди,— сердито вскричала я,— не мешай мне!

— Меджо-рани послала за вами,— продолжала Тхако.— Какую машину привез из Калькутты ее племянник Нондо-бабу! Ну прямо как человек говорит. Вы только послушайте!

Плакать мне или смеяться? Не хватало еще тут гнусающего граммофона! Как ужасно, когда машина начинает подражать человеку!

Сумерки опустились на землю. Я не сомневалась, что Омулло непременно даст мне знать, как только вернется, и все же сгорала от нетерпения. Вызвав слугу, я приказала ему сходить за Омулло. Слуга скоро вернулся и сообщил: «Омулло-бабу нет!»

В ответе слуги не было ничего особенного, но он резал меня по сердцу. Омулло-бабу нет! В сгущающемся вечернем полумраке слова эти прозвучали как сдвленное рыдание. Нет! Его нет! словно золотой луч заходящего солнца, он появился и исчез! Сколько всяких несчастий представлялось мне. Это я послала его на смерть. Ну и что ж из того, что он смело отправился исполнять мое приказание,— это лишь доказывает его благородство. Но как же я буду жить после того, что случилось! Как?

У меня не осталось ничего, что напоминало бы мне об Омудло, разве что пистолет — его братский дар. В этом даре, возможно, был перст всевышнего. Мой бог, припавший облик мальчика, вручил мне, прежде чем исчезнуть навсегда, оружие, чтобы я могла покончить с преступлением, так исковеркавшим всю мою жизнь. О, дар любви! В нем заключались милость и спасение.

Открыв ящичек, я достала пистолет и благоговейно поднесла его к виску. В этот самый момент в нашем домашнем храме зазвучал гонг, и я распростерлась на полу, повторяя слова молитвы.

Вечером я угощала пирожками всех домашних.

— Пир ты устроила нам просто замечательный, — сказала медико-рани, — и все сама, все сама! Но ничего — сейчас и мы тебе доставим удовольствие.

И она завела граммофон, из которого раздался пронзительный, дребезжащий голос певицы. Ее пение походило на радостное ржание, доносящееся из конюшни гандхарвов.

Пир продолжался далеко за полночь. Сильное желание взять прах от ног мужа овладело мною. Я вошла в спальню. Муж крепко спал после возгласов и беспокойств мипувшего дня. Тихонечко приподняв край полога, я опустила голову к его ногам. По всей вероятности, мои волосы коснулись и зацекотали его, он шевельнулся во сне и слегка задел меня ногой.

Я вышла и села на веранде с западной стороны дома. Поодаль росло тутовое дерево. Все его листья опали, и сейчас, в темноте, оно напоминало скелет. Позади него медленно плыл по направлению к горизонту молодой месяц. И вдруг мне показалось, что даже звезды страшатся меня, что весь огромный ночной мир недоверчиво, с опаской смотрит на меня. Почему? Да потому, что я одна во всем мире. Одинокий человек — что может быть более противоположного на свете? Одинок не тот, у кого одни за другим умирают все родные, — его связь с ними остается, несмотря на преграду, воздвигнутую смертью. По-настоящему одинок тот, кто живет под одной крышей со своими родными, но далек от них, кто стал чужим в своей семье; на него из темноты даже звезды смотрят с содроганием. Я здесь — и меня нет здесь. Я бесконечно далека от всех, кто окружал меня, — нас разделяет пропасть, и над этой пропастью живу я, как капля росы на листе лотоса.

Почему, меняясь, человек не изменяется до конца?

Заглянув в свое сердце, я нахожу там все прежние чувства и привязанности, только все они смешались и перепутались. Все, что было аккуратно разложено, сейчас перевернуто, и драгоценные камни моего ожерелья рассыпались в пыли. Мне очень тяжело.

Мне хочется умереть, а в сердце бьется жизнь. Кроме того, я не верю, что смерть принесет конец всему. Скорее всего, она принесет еще более тяжкие мучения. Нет, то, с чем суждено покончить, должно быть кончено при жизни — иного пути нет.

Боже, молила я, прости меня! Прости только на этот раз! Ты дал мне счастье, я же приняла его как жизненное бремя. Я больше не в состоянии его нести, но и сбросить не могу. Боже, сделай так, чтобы я еще раз услышала дивные звуки флейты — той, что пела мне в далекие дни, когда только начинали розоветь облака на заре моей юности. Сделай так, чтобы все трудное, сложное стало простым и ясным! Ничто, кроме звуков твоей флейты, не может скрепить разбитое, сделать чистым запятнанное. Так создай же сызнова мой очаг своей волшебной мелодией! Иного выхода я не знаю.

Я ничком упала на землю и горько зарыдала. Я молила бога о милосердии, о капле милосердия. Я молила о защите, о знаке прощения, о скромном луче надежды — надежды, что все еще в моей жизни может исправиться. «О создатель, — в исступлении шептала я, — день и ночь я буду лежать здесь, не принимая ни воды, ни пищи, и ждать, пока ты не дашь мне своего благословения».

Вдруг я услышала шаги. Сердце забилося сильнее. Кто сказал, что бога нельзя увидеть? Я не решалась поднять глаза, чтобы не спугнуть его. Приди, о приди же ко мне! Коснись своей стопой моей головы, моего трепещущего сердца, владыка, и дай мне умереть в это мгновение!

Он подошел и опустился на землю рядом со мной. Мой муж! Мое «я» в его сердце, вероятно, содрогалось от слез. Мне показалось, что я теряю сознание. Затем страдание, скопившееся в душе, прорвалось и бурным потоком слез хлынуло наружу. Я прижала ноги мужа к своей груди, — как бы я хотела, чтобы их отпечаток сохранился навеки!

Настала минута открыться во всем. Но как? Слова застревали у меня в горле.

Муж ласково погладил меня по голове. Я приняла его благословение. Теперь у меня хватит сил вынести публичный позор, который ждет меня завтра, я смиренно приму

заслуженную кару и с чистым сердцем сложу ее к стопам своего владыки.

Но одна мысль не перестает мучить меня — неужели никогда больше в этой жизни не зазвучит для меня мелодия флейты, сопровождавшая меня девять лет тому назад, когда я готовилась переступить порог дома мужа. Существует ли наказание достаточно суровое, чтобы искупить мою вину и дать мне возможность снова занять священное место невесты! Сколько потребуется дней, столетий, эпох, чтобы снова повторился день, который я пережила девять лет назад!

Всевышний создаст новое, но в состоянии ли он восстановить разрушенное?

РАССКАЗ ШАХИЛЕША

Сегодня мы уезжаем в Калькутту. Жизнь становится тяжким бременем, если ее тревоги поглощают вас целиком. Не надо сидеть на одном месте, не надо накапливать тревоги в сердце. Впрочем, я ведь и не хозяйка дома, а всего лишь случайный прохожий на дороге жизни. Не мне сносить удары судьбы и ждать, пока не грянет последний — смерть. Нет, наш союз с тобой, Бимола, — всего лишь союз двух путников. Пока у нас был один путь, все было хорошо, но, если мы будем стараться сохранять наш союз и впредь, он только стеснит нас. Сегодня мы сбрасываем сго оковы — и снова в путь. Вполне достаточно, если иногда мы сможем мимоходом обменяться взглядом или коснуться рукой руки другого. А дальше? Дальше нам откроется бесконечно широкая дорога, и вечный поток жизни подхватит и понесет нас. Разве ты можешь лишить меня многого, любимая? Стоит мне прислушаться, и до моего слуха откуда-то издали доносится сладостная песня флейты. Божественный нектар Лакшми неиссякаем, — иногда она парочко разбивает чаши жизни и с улыбкой смотрит на наши слезы. Но я не стану собирать осколки, а пойду вперед с неутоленной жаждой в сердце.

— Братец, — обратилась ко мне меджорапи, — твои книги упакованы в ящики и готовы к отправке. Скажи, что это значит?

— Это значит, что я очень к ним привязан и не могу с ними расстаться.

— Я бы хотела, чтобы ты был привязан и к кое-чему другому. Неужели ты больше не вернешься сюда?

— Я буду приезжать, но оставаться здесь надолго больше не хочу.

— Правда? Знаешь что, пойдем ко мне, и я покажу тебе, к скольким вещам я привязана.

С этими словами меджо-рани повела меня к себе.

Ее комната была заставлена всевозможными сундуками, узлами и ящиками. Приоткрыв один из них, она показала мне все необходимое для приготовления бетеля.

— Вот бутылочка с ароматическим порошком, а здесь, в металлических коробочках, разные пряности. Вот карты. Я не забыла и шахматной доски: я найду себе партнеров, если вы оба будете там слишком заняты. Вот гребешок, ты помнишь его? Это один из гребней свадеши, который ты подарил мне, а это...

— Но в чем дело, меджо-рани? Зачем ты собрала эти вещи?

— Я еду в Калькутту вместе с вами.

— Как?

— Не бойся, братец, не бойся. Я не собираюсь ни соблазнить тебя, ни ссориться с чхото-рани. Рано или поздно всем придется умирать, поэтому, пока есть время, лучше устроиться на берегу Гапги. При мысли о том, что меня могут сжечь под нашим старым баньяном, я испытываю настоящий ужас. Поэтому я и не хотела умирать до сих пор и раздражала вас своим присутствием.

Наконец-то я услышал постоянный голос своего домашнего очага. Меджо-рани вошла в наш дом невестой, когда ей было всего девять лет, а мне только что исполнилось шесть. В жаркий полдень, прячась в тени под высокой стеной, мы играли с ней в разные игры. В саду я взбирался на манговое дерево и срывал незрелые плоды, а она сидела на земле, крошила манго, приправляя их перцем, солью и душистыми травами, приготовляя совершенно несъедобное блюдо. Все обязанности по добыванию из кладовой продуктов, необходимых для празднования кукольной свадьбы, лежали на мне, так как бабушкин свод паказаний не предусматривал для меня никаких кар. Я же бегал с ее поручениями к старшему брату, когда меджо-рани нужно было выпросить у мужа что-нибудь из ряда вон выходящее, — я умел так пристать к нему, что в конце концов он соглашался на все. Как-то я заболел лихорад-

кой, и в течение трех дней врач разрешал мне только подогретую воду и засахаренные зерна кардамона. Меджо-рани не могла видеть моих лишений и несколько дней тайно доставляла мне всякие вкусные вещи. И досталось же ей, когда ее поймали как-то на месте преступления! А затем, когда мы подросли, наша дружба перешла в привязанность более нежную, более интимную, у нас бывали и ссоры — и какие! Случалось, что интересы наши сталкивались, вызывая подозрительность, ревность, порой даже вражду. С появлением в доме Бимолы разрыв, казалось, должен был стать неизбежным. Но целительные силы, дремавшие на дне души, легко затягивали трещинки, образовавшиеся на поверхности. Отношения, сложившиеся с детства, окрепли и выросли, обвиняя, словно плещ, весь дом, стены двора, крытые веранды, сад. И сейчас, когда я увидел, что меджо-рани собрала и уложила все свои пожитки и готовится покинуть наш дом, сердце мое больно запыло, словно кто-то до предела натянул нити, связывающие нас, желая оборвать их. Я хорошо понимал, почему решила устремиться навстречу неведомому меджо-рани, которая переступила порог нашего дома девятилетней девочкой и с тех пор ни разу не покидала его, свыклась с его укладом, сроднилась с ним и вряд ли представляет себе жизнь за его стенами. Но она, конечно, никогда не скажет мне истинной причины своего желания уехать и будет приводить всякие пустые доводы.

Во всем мире, кроме меня, у нее не осталось никого близкого. И эта обиженная судьбой, рано овдовевшая, бездетная женщина вкладывала в свое чувство ко мне всю нежность, накопившуюся в ее сердце. Только стоя в ее комнате, среди разбросанных ящиков и узлов, я по-настоящему понял всю глубину горя, которое причиняла ей самая мысль о возможности разлуки. Я отлично сознавал, что в основе ее мелких ссор с Бимолой и столкновений из-за денег лежало вовсе не корыстолюбие — просто ей было трудно примириться с тем, что понижаются ее права на единственного близкого ей человека, что слабеют узы их дружбы, и все это потому, что между ними встала неизвестно откуда взявшаяся женщина. Ее самолюбие страдало на каждом шагу, но она не могла и не должна была жаловаться.

Бимола тоже понимала, что права, которые предъявляет на меня меджо-рани, основываются не только на наших родственных отношениях, что корни их уходит

гораздо глубже. Потому-то она так ревниво относилась к нашей дружбе, возникшей еще в детские годы.

На душе у меня было тяжело. Я опустился на сундук и сказал:

— Диди, как бы мне хотелось вернуть дид, когда мы впервые встретились здесь.

— Нет, брат, я не хотела бы снова пережить свою жизнь,— сказала она, глубоко вздохнув.— В облике женщины — ни за что! Пусть уж те страдания, которые мне пришлось перенести, окончатся в этой жизни. Начать все снова у меня просто не хватило бы сил.

— Свобода, к которой приходят путем страданий, искупает их,— заметил я.

— Возможно, братец. Вы — мужчины, для вас и существует свобода. А мы, женщины, любим связывать других — для этого мы и сами можем надеть оковы. О, вам нелегко освободиться из паших сетей. Если вам непременно нужно расправить крылья и улететь, приходится брать с собой и нас — мы отказываемся сидеть на месте. Поэтому-то я и унаковала столько сундуков. Разве можно отпускать тебя в путь совсем нелегко?

— Твою пошу легко унести,— улыбнулся я.— И если уж мужчины не жалуются на свое бремя, то, по всей вероятности, женщины, которые заставляют их нести тяжелую пошу, щедро вознаграждают их за это.

— Вы не жалуетесь на тяжесть, потому что наш груз слагается из всяких мелочей. Но если вы хотите отбросить хоть какую-нибудь из них, женщина начинает убеждать вас, что именно эта мелочь ничего не весит. Вот при помощи этих пустячков мы и угнетаем вас. Так когда же мы сдем, братец?

— В половине двенадцатого ночи. У нас еще много времени.

— Вот что, братец, дорогой, послушай хоть раз в жизни моего совета; ляг отдохнуть сегодня после обеда и выспись хорошенько. Ведь ночью в поезде ты не поспишь как следует. Ты так скверно выглядишь, кажется — еще немного, и совсем свалишься. Ийдем, спачала тебе надо искупаться.

Мы пошли на мою половину, по по дороге нам встрети-лась Кхема. Она плотно укуталась в свое покрывало и умоляющим шепотом сообщила мне:

— Господин, полицейский инспектор кого-то привез, оп хочет видеть махараджа.

— Разве махарадж вор или разбойник, что инспектор от него не отстает? — вснылила меджо-рани. — Пойди скажи инспектору, что махарадж пошел купаться.

— Дай только схожу и узнаю, в чем там дело, — сказал я, — может быть, что-нибудь срочное.

— Не к чему! — решительно возразила она. — Вчера чхото-рани папекла целую гору пирожков, сейчас пошлю несколько инспектору, это поможет ему скоротать время, пока ты купаешься.

С этими словами она втолкнула меня в ванную комнату и закрыла за мной дверь.

— Мое чистое платье! — взмолился я изнутри.

— Сейчас достану, ты пока купайся.

Я не нашел в себе сил противиться такому деспотизму, это не слишком частое явление на свете. Пусть так, пусть полицейский инспектор лакомится пирожками, с делом можно и повременить. Последние дни полиция усердствовала вовсю — не проходило и дня, чтобы ко мне не приводили какого-нибудь человека, подозреваемого в краже, который, к величайшему удовольствию окружающих, тут же доказывал свою непричастность к этому делу. По всей вероятности, приволокли еще одного несчастного. Но почему же угощаться пирожками будет один инспектор? Какая несправедливость!

Я начал колотить в дверь.

— Если у тебя начался приступ безумия, облей голову холодной водой, — крикнула мне с веранды меджо-рани, — это тебе поможет.

— Пошлите пирожков на двоих, — прокричал я через дверь, — наверно, тот, кого инспектор привел сюда как вора, больше их заслуживает. Скажите слуге, чтобы ему положили побольше.

Я поспешно вымылся и вышел из комнаты. У двери на полу сидела Бимола. Неужели это была моя Бимола — гордая, самолюбивая Бимола?! Что привело ее к моим дверям? Я резко остановился. Она встала и, не поднимая глаз, сказала:

— Я хотела с тобой поговорить.

— Так входи, — сказал я.

— Но ты же идешь по какому-то делу?

— Дело подождет, сперва я хочу выслушать...

— Нет, сначала кончай свои дела. Мы поговорим после обеда.

Инспектора я застал уже перед пустым блюдом. Тот

же, кого он привел, еще был занят поглощением пирожков.

— Божо мой,— в удивлении воскликнул я,— да ведь это Омулло!

— Совершенно верно,— ответил он с набитым ртом.— Ну, я славно поел! Остальные пирожки, если вы позволите, я возьму с собой.

И он принялся складывать поеденные пирожки в свой платок.

— В чем дело? — спросил я, глядя на инспектора.

— Махарадж,— ответил он, улыбаясь.— Мы несколько не приблизились к разгадке тайны этой кражи, напротив, мы еще больше запутались.

С этими словами он развязал грязную рваную тряпицу и протянул мне пачку банкнот.

— Вот, махарадж, ваши шесть тысяч рупий.

— Где вы их нашли?

— У Омулло-бабу. Вчера вечером он пришел к управляющему вашей конторы в Чокуйе и сказал: «Похищенные деньги найдены». Когда была совершена кража, управляющий испугался меньше, чем теперь, когда похищенное возвратили. Он боялся, как бы его не заподозрили в том, что он сам стащил деньги, а теперь решил пойти на понятную и выдумывает всякие небывлицы, чтобы отвести от себя подозрение. Поэтому он предложил Омулло-бабу покушать, а сам дал знать в полицию. Я отправился туда верхом и вот с раннего утра вожусь с Омулло, который упорно отказывается говорить, откуда у него эти деньги. «Не скажете — не отпустим вас», — сказал я. «В таком случае, я придумаю что-нибудь». — «Пу что ж, придумывайте», — согласился я. «Деньги эти я нашел под кустом». — «Лгать тоже не так-то просто», — сказал я. — Надо все сказать: где тот куст, почему вы оказались около него». — «Не беспокойтесь», — ответил он, — у меня будет достаточно времени все придумать».

— Хоричорон-бабу,— обратился я к инспектору,— а что, если вы зря задержали сына почтенного человека?

— Нибарон Гхошал — отец Омулло — не только весьма почтенный человек. Он мой школьный товарищ, махарадж. Позвольте, я расскажу вам, что, по моему мнению, произошло. Омулло знает, кто украл, знает, что деньги предназначались для крикунов «Банде Матарам». Он хочет взять вищу на себя и спасти другого человека. Это как раз в его духе. Вот что, сын мой,— обратился он к Омул-

ло,— и мне было когда-то восемнадцать лет. Я учился в Риппоколледже. Однажды я чуть не угодил в тюрьму, желая спасти извозчика от лап полицейского. Только случай помог мне избежать тюрьмы. Махарадж,— продолжал он,— настоящему вору, по-видимому, удастся скрыться, но мне кажется, я знаю инициаторов всей этой истории.

— Кто же они?

— Ваш управляющий Тонкорп Дотто и стражник Касем.

Высказав все доводы в пользу своей догадки, инспектор наконец ушел.

— Если ты скажешь мне, кто украл деньги, не пострадает никто,— обратился я к Омулло.— Обещаю тебе это.

— Украл я,— ответил он.

— Как же так? А шайка бандитов?

— Я был один.

Омулло рассказал мне поистине удивительные вещи. После ужина управляющий полоскал во дворе рот. Было темно. Омулло имел при себе два пистолета — один с холостым зарядом, а другой с пулями. Лицо его наполовину прикрывала черная маска. Направив свет фонаря прямо в лицо управляющему, Омулло выстрелил в воздух. Управляющий вскрикнул и упал без чувств. Прибежало несколько стражников, но стоило раздаться второму холостому выстрелу, как все они рассыпались в разные стороны и исчезли в доме, заперев за собою двери. Тут прибежал главный стражник Касем с дубинкой в руках, и Омулло пришлось ранить его в ногу. Затем он заставил дрожащего управляющего, который тем временем пришел в себя, открыть сейф и достал оттуда шесть тысяч рупий. Вскочив на копы, он проскакал несколько миль. Потом отпустил копы на волю и к утру преспокойно добрался сюда.

— Зачем тебе понадобилось делать это? — спросил я.

— На это у меня была очень важная причина,— ответил он.

— Почему же ты потом возвратил деньги?

— Позовите ту, которая приказала мне вернуть деньги. При пей я все расскажу.

— Кто это?

— Чхото-рани-диди.

Я послал за Бимолой. Она медленно вошла в комнату, вся закутанная в белую шаль. Ноги ее были босы. Мне показалось, что я никогда не видел мою Бимолу такой. Как луна на заре, она словно вся была окутана прозрачной светлой дымкой.

Омулло повалился в ноги Бимоле и взял прах от ее ног.

— Я пришел, выполнив твоё приказание, диди,— сказал он, поднявшись.— Деньги возвращены.

— Ты спас меня, братик,— ответила Бимола.

— Перед моим мысленным взором неотступно стоял твой образ, диди, поэтому я не произнес ни слова лжи,— продолжал Омулло.— Свой бывший девиз «Банде Матарам» я оставил у твоих ног — он мне больше не понадобится. И я даже получил, вернувшись, свою награду — твой прощад.

Бимола смотрела на него в недоумении, не понимая, что он хочет сказать. Омулло вытащил из кармана узелок и, развязав его, показал ей припрятанные прожки.

— Я съел не все, часть пирожков я оставил, чтобы ты своими руками угостила меня.

Я понял, что я здесь лишний, и вышел из комнаты. Все, на что я способен,— это заниматься разглагольствованием, думал я, а в награду за мое соломенное чучело наденут изодранную гирлянду и сожгут его на берегу реки. Я никого еще не смог уберечь от гибели. Те же, кому дана такая сила, мановением руки достигают этого. В моих словах нет священного огня. Угли у меня в душе не пылают, они подерпнуты пеплом. Я не способен возжечь пламя светильника. Жизнь моя тому доказательство: мой светильник остался незажженным.

Медленно вернулся я в онтохпур. Возможно, меня тянуло к меджо-рани. Я обязательно должен был убедить себя в том, что и моя жизнь может еще будить ответный звук в струнах чьей-нибудь вины. Замкнувшись в себе, трудно осознать, что ты действительно живешь. Это сознание приходит только от соприкосновения с другой жизнью.

Не успел я подойти к комнате меджо-рани, как она вышла мне навстречу со словами:

— Ну, братец, я ведь говорила, что ты и сегодня удержишься. Не медли больше, обед готов, и сейчас его подадут.

— Я пока достану твои деньги.

По дороге в спальню меджо-рани спросила, не сообщил ли инспектор чего-либо нового о краже. Мне почему-то не хотелось рассказывать ей о том, как были возвращены мне шесть тысяч рупий.

— Все вокруг да около, — сказал я довольно уклончиво.

Войдя в гардеробную, я вынул из кармана связку ключей — ключа от сейфа среди них не оказалось. Я стал удивительно рассеян! Сколько ящиков и шкафов отпирал я сегодня и ни разу не заметил отсутствия ключа от сейфа.

— Где же ключ? — спросила меджо-рани.

Не отвечая на вопрос, я тщетно шарил в карманах, по десять раз перетряхивал все вещи. Мы догадывались: ключ не потерян, а кем-то снят с кольца. Но кто мог взять его? В нашей комнате ведь, кроме нас...

— Не волнуйся ты так, — сказала меджо-рани, — пойди сперва поешь. Наверно, чхото-рани, заметив твою рассеянность, спрятала его в свою шкатулку.

Я страшно расстроился. Снять с кольца ключ и ничего не сказать мне было не похоже на Бимолу. Сегодня она не присутствовала при моем обеде. Она сама принесла из кухни рис и сейчас у себя в комнате угощала Омулло. Меджо-рани хотела ее вызвать, но я запротестовал.

Не успел я встать из-за стола, как в комнату пошла Бимола. Мне не хотелось начинать разговор о пропавшем ключе при меджо-рани, но... не успела Бимола появиться, как невестка воскликнула:

— Ты не знаешь, где ключ от сейфа братца?

— У меня, — ответила Бимола.

— А я что говорила, — торжествующе воскликнула меджо-рани. — Чхото-рани делает вид, что не боится никаких грабителей, а сама потихоньку принимает кое-какие меры предосторожности!

Я взглянул Бимоле в лицо и сразу понял, что тут что-то неладно.

— Хорошо, пусть ключ останется у тебя, деньги я выну вечером, — заметил я как ни в чем не бывало.

— Зачем же откладывать, — вмешалась меджо-рани. — Вынь их сейчас да отправь в конторский сейф, пока не забыл опять.

— Деньги я уже вынула, — сказала Бимола.

Я остолбенел.

— Где же ты их прячешь? — спросила меджо-рани.

— Я их истратила.

— О, ма, вы только ее послушайте! — воскликнула невестка. — Как же ты могла истратить столько денег?

Бимола ничего не ответила. Я стоял, присловившись к двери, и молчал. Медико-рани хотела как будто что-то еще сказать, но, взглянув на Бимолу, удержалась.

— Ну что ж, истратила так истратила, — сказала она наконец. — Когда мне попадались под руку деньги мужа, я делала то же самое — какой смысл был оставлять их ему, все равно они перекочевали бы в карманы прихлебателей, которые вечно толклись вокруг него. А думаешь, ты, братец, лучше? Каких только способов вы не изобретаете для того, чтобы побыстрее расправиться с деньгами! У нас нет других возможностей уберечь от вас ваши же деньги, как только украсть их у вас. Ну, а теперь пошли. Сейчас же ложись и отдыхай!

Медико-рани повела меня в спальню, я шел как во сне.

Когда я лег, она села рядом и весело сказала Бимоле:

— Чхуту, угости меня, пожалуйста, бетелем. Что, у тебя нет бетеля? Ты что это — совсем англичанкой заделалась? В таком случае прикажи принести пакетик из моей комнаты.

— Медико-рани, — вмешался я, — ты же до сих пор ничего не ела.

— Давно уже поела, — солгала она и глазом не моргнув.

Сидя возле меня, она болтала о всяких пустяках. Служанка из-за двери сообщила Бимоле, что обед ее стынет. Бимола не двинулась с места.

— Как, — воскликнула медико-рани, — ты еще не ела? Это что еще за новости! Пошли, пошли, ведь уже очень поздно!

И она силой увела Бимолу за собой.

Я догадывался, что между похищенными шестью тысячами рупий и деньгами, вынутыми из сейфа, существует какая-то связь. Но меня вовсе не интересовало, что это за связь. И я не собирался об этом допытываться.

Творец лишь намечает контуры нашей жизни, представляя нам самим по своему вкусу подправлять его наброски и, положив последние мазки, придавать ей тот или иной облик. В своей жизни, очерченной вссвышним, я все же мечтал воплотить какую-нибудь великую идею.

Я потратил много усилий. И лишь тот, кто умеет читать человеческие сердца, знает, как обуздывал я свои страсти, как сурово подавлял собственное «я».

Беда, однако, в том, что жизнь человека не принадлежит ему одному. Пытаясь создать ее по-своему желанию, человек обязан считаться со своими близкими, иначе его ждет неудача. Поэтому я всегда делая мечту привлечь Бимолу к этому сложному созидательному процессу. Я любил ее всей душой и ни на минуту не сомневался в том, что мне удастся зажить ее своей мечтой и заручиться ее поддержкой. Однако скоро мне пришлось убедиться, что люди, которые умеют легко и естественно привлечь к процессу «самосозидания» окружающих, принадлежат совсем к иной категории, чем я. В моей душе дремлют таинственные силы, но я никому не могу передать их. Те, кому я предлагал себя и все мне принадлежащее, брали лишь все мне принадлежащее, но не то, что покоится в глубине моей души. Испытание, посланное мне, тяжело! В тот момент, когда мне особенно нужна была помощь и поддержка, я оказывался предоставленным самому себе. Но я верен своему обету — из этого испытания я выйду победителем. Значит, мне суждено идти одному тернистой тропой, до самого конца своего жизненного пути...

Сегодня в душе моей зародилось сомнение: не сидит ли во мне тиран? Слишком уж настойчиво стремился я вылить наши отношения с Бимолой в какую-то совершенно определенную идеальную форму. Но жизнь человека нельзя отливать по шаблону. Стараясь придать определенную форму добру, как чему-то материальному, мы добиваемся лишь того, что оно гибнет, жестоко мстя нам за наши попытки.

До сих пор я не отдавал себе ясного отчета в том, что именно из-за этой бессознательной тирании мы все дальше и дальше отходили друг от друга. Под моим давлением Бимолы не смогла проявить своего истинного «я» и вынуждена была искать потайной выход своим естественным стремлениям. Ей пришлось украсть шесть тысяч, потому что она не могла быть откровенна со мной, потому что знала мою непреклонность в тех вопросах, в которых я расходился с ней.

Люди, подобные мне, одержимые одной идеей, уживаются лишь с теми, кто с ними заодно. Тем же, кто с ними не согласен, волей-неволей приходится нас обманывать. Своим упрямством мы толкаем на извилистые пути

жизни даже честных людей и калечим жену, стремясь сделать из нее единомышленника.

Если бы можно было начать все сначала! На этот раз я пошел бы прямой дорогой. Я не старался бы стеснять движения подружки моей жизни путами своих идей, я лишь паигрывал бы ей радостные мелодии на свирели любви и говорил ей: «Ты любишь меня? Так цветы же, вершая себе, озаренная светом своей любви. Пусть смолкнут мои настояния, пусть восторжествует в тебе замысел творца, и пусть отступят в беспорядке мои фантазии».

Но в состоянии ли даже природа залечить зияющую рану, которая образовалась из-за наших несогласий, на-капливавшихся так долго? Сорвана навсегда завеса, под покровом которой целительные силы природы незаметно делают свое дело. Раны перевязывают. Может быть, и мы сумеем положить повязку любви на нашу рану, и со временем окажется, что она зарубцевалась и даже шрам исчез навсегда? Но не поздно ли? Сколько времени потеряно в размолвках и недоразумениях — ведь только теперь мы наконец поняли друг друга. И сколько времени еще потребуется, чтобы окончательно изгладить все следы прошлого? А потом? Допустим, что рана затянется, но сможем ли мы восстановить все то, что было разрушено и исковеркано. Послышался шорох. Я обернулся и увидел сквозь приоткрытую дверь удаляющуюся фигуру Бимолы. По всей вероятности, она долго молча стояла у двери, не решаясь войти в комнату.

— Бимола, — позвал я, поспешно вскочив.

Она вздрогнула и остановилась спиной ко мне. Я подошел, взял ее за руку и ввел в комнату.

Она кинулась лицом в подушку и зарыдала. Не выпуская ее руки из своей, я сидел рядом и молчал.

Когда бурный поток слез иссяк, она поднялась, и я попытался привлечь ее к себе. Но она слегка оттолкнула мою руку и, опустившись на колени, несколько раз склонилась к моим ногам в глубоком поклоне. Я попытался отодвинуться, но напрасно — крепко обхватив мои ноги руками, она прерывающимся голосом сказала:

— Нет, нет, не отодвигайся, дай совершить поклопение тебе.

Я не двинулся с места. Кто я такой, чтобы мешать ей? Там, где истинно поклопение, там истинно и божество, которому поклоняются. Но разве я тот бог, поклопение которому она совершает?

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Пора! Настало время поднять все паруса и плыть туда, где река любви вливается в океан преклонения. В его прозрачных синих водах утонет и растворится без следа весь ил и вся грязь.

Я ничего больше не боюсь, я не боюсь ни себя, ни других. Я вышла из огня. Исплом стало то, что должно было сгореть, то, что уцелело, бессмертно. В святом порыве сложила я к его ногам всю свою жизнь, и он припал и растворил мой грех в пучине своей собственной скорби.

Сегодня ночью мы уезжаем в Калькутту. Душевные тревоги мешали мне до сих пор запясться укладкой вещей. Теперь я взялась за дело. Немного погодя ко мне присоединился муж.

— Нет, нет,— запротестовала я,— ты ведь обещал немного поспать.

— Я-то обещал, да вот сон слова не давал и даже не появился,— ответил он.

— Нет, нет,— повторила я,— так не годится. Приляг хоть ненадолго.

— Ты же не справишься одна!

— Прекрасно справлюсь.

— Ты, кажется, очень гордишься тем, что можешь обойтись без меня, а я говорю открыто, что не могу без тебя. Даже уснуть не мог, пока был один в той комнате.

И он снова принялся за работу. Но тут вошел слуга и сказал: «Шондип-бабу просил доложить о себе». У меня не хватило духу спросить, кому он просил доложить. Свет небес мгновенно померк для меня, как мгновенно свертываются лепестки стыдливой мимозы.

— Пойдем, Бимола,— обратился ко мне муж.— Пойдем узнаем, что угодно Шондипу-бабу. Наверно, он хочет сказать что-то важное, раз уж решил вернуться после того, как попрощался со всеми.

Я пошла с мужем. Остаться мне было бы еще труднее.

Шондип стоял, уставившись на картину, висевшую на стене.

— Вас, паверно, очень удивляет, что я вернулся? — сказал он, когда мы вошли.— Видите ли, дух не находит себе покоя, пока не закончены все церемонии погребального обряда.

С этими словами он вынул из-под чадора узелок, положил на стол и развязал. В нем были гипеи.

— Прошу тебя, не заблуждайся на мой счет, Никхил. Не воображай, что честностью я заразился от тебя. Шондип не из тех, кто, пуская слезу раскаяния и хныкая, возвращает деньги, добытые нечестным путем, но...

Он не докончил фразы. Немного погодя он продолжал, обращаясь ко мне:

— Царица Пчела, наконец-то и безмятежную совесть Шондипа посетил призрак раскаяния. Поскольку мне приходится бороться с ним каждую ночь, очевидно, это не плод моего воображения. По-видимому, я смогу избавиться от него, только выплатив ему свои долги слезина. Разрешите мне поэтому вернуть похищенное в руки этого призрака. Богиня! На всем свете только у вас одной я не смогу ничего взять. Вы не освободите меня от своих чар, пока не ввергнете в нищету.

Он поставил шкатулку с моими драгоценностями на стол и торопливо направился к выходу.

— Послушай, Шондип,— окликнул его муж.

— У меня нет времени, Никхил,— ответил он, останавливаясь в дверях.— По слухам, мусульмане видят во мне бесценную жемчужину, они решили похитить меня и спрятать на своем кладбище. Я же считаю, что мне необходимо жить. Через двадцать пять минут уходит поезд на Север. Поэтому приходится спешить. Когда-нибудь мы закончим наш разговор при более благоприятных обстоятельствах. Послушай меня и тоже не задерживайся. Царица Пчела, я приветствую вас, владычицу кровоточащих сердец, прекрасную Царицу гибели...

Шондип почти бегом направился к выходу. Я стояла неподвижно. Никогда прежде не создавала я так ясно, насколько ничемны и презренны были все эти гниль и драгоценности. Несколько минут назад я была озабочена тем, что взять с собой, куда все уложить, теперь я чувствовала, что не нужно брать вообще ничего,— самым важным было уехать отсюда, и как можно скорее!

Муж поднялся с кресла и, взяв меня за руку, сказал:

— Уже поздно, у нас осталось совсем немного времени, чтобы собраться.

В эту минуту в комнату неожиданно вошел Чондронатх-бабу. Увидев меня, он в замешательстве помедлил немного, но затем обратился ко мне:

— Прости меня, ма, что я вошел без предупреждения... Никхил, мусульмане взбунтовались, грабят контору Хори-

ша Кунду. Это бы еще полбеда, по они издеваются над женщинами, насилуют их.

— Я поеду туда,— сказал муж.

— Что ты сможешь сделать один? — воскликнула я, схватив его за руку.— Учитель, не позволяйте ему, скажите, чтобы он не ездил...

— Ма,— ответил он,— сейчас не время его останавливать.

— Не беспокойся обо мне, Бимола,— сказал муж, выходя из комнаты.

В окно я увидела, как он вскочил на лошадь и поскакал, в руках у него не было никакого оружия.

Минуту спустя в комнату вбежала меджо-рани.

— Что ты наделала, чхуту! Какое несчастье! Зачем ты его отпустила? Скорей зови управляющего,— крикнула она слуге.

Меджо-рани никогда не показывалась управляющему, по сегодня ей было не до правил приличия.

— Скорей пошлите гонца, чтобы вернуть махараджа,— сказала она управляющему, как только он появился в дверях.

— Мы все уговаривали его не ездить,— сказал управляющий,— но он не захотел нас слушать.

— Пусть ему скажут, что меджо-рани заболела холерой, что она при смерти,— иступленно кричала она.

Как только управляющий ушел, меджо-рани в бешенстве накинулась на меня:

— Ведьма, чудовище! Не могла сама умереть, нет, ей понадобилось его послать на гибель!

День догорал. За пышными ветвями цветущего дерева шаджапа, что росло возле хлева, садилось солнце. Я, как сейчас, помню все оттенки того багрового закатного неба. По обе стороны раскаленного шара, словно распростертые крылья огромной птицы, раскинулись ярким пламенем горящие облака. И мне казалось, что это готовится подняться в воздух и пересечь океан тьмы минувший роковой день.

Сгустились сумерки. Подобно взлетающим к небу языкам пламени горячей деревни, время от времени из потровоженной тьмы до нас докатывался отдаленный гул и спова зампрал.

Из домашнего храма доносились звуки гонга, призывающего к вечерней молитве. Я знала, что меджо-рани находится там, что, сложив молитвенно руки, она безмолв-

но просит всевышнего о милосердии. Я же не могла оторваться от окна, выходившего на дорогу. Постепенно дороги, деревья, скошенные поля, разбросанные повсюду деревни исчезали во мгле. Как глаз слепца, глядел в небо огромный тусклый пруд. Башня с левой стороны дома, казалось, вытягивала шею, высматривая кого-то.

Ночные звуки так обманчивы! Хрустнет ветка — и чудится чей-то стремительный бег. Хлопнет дверь — и кажется, будто это глухой удар сердца потрясенного мира.

Иногда у края дороги вспыхнет огонек и сразу исчезнет.

Время от времени раздастся стук копыт, но каждый раз оказывается, что это всадники выезжают из ворот усадьбы.

А меня неотступно преследовала мысль, что только моя смерть может положить конец совершающейся трагедии. Пока я живу, проклятие моих грехов будет поражать все вокруг, нести гибель и разрушение всем. Я вспомнила о пистолете, но я не могла оторваться от окна и пойти за ним: ноги не слушались меня. Ведь я ждала свою судьбу!

Часы в вестибюле торжественно пробили десять. Вскоре вдалеке показалось множество огней, и я увидела толпу, которая, извиваясь, как огромная черная змея, медленно ползла к воротам.

Услышав шум, управляющий бросился к воротам и взволнованным голосом спросил подскакавшего всадника:

— Какие новости, Джотадхор?

— Плохие, — последовал ответ.

Эти слова Джотадхора я хорошо слышала сверху. Затем он еще что-то прошептал — что именно, я не расслышала. В ворота внесли паланкин, за ним носилки. Рядом с паланкином шел доктор Мотхур.

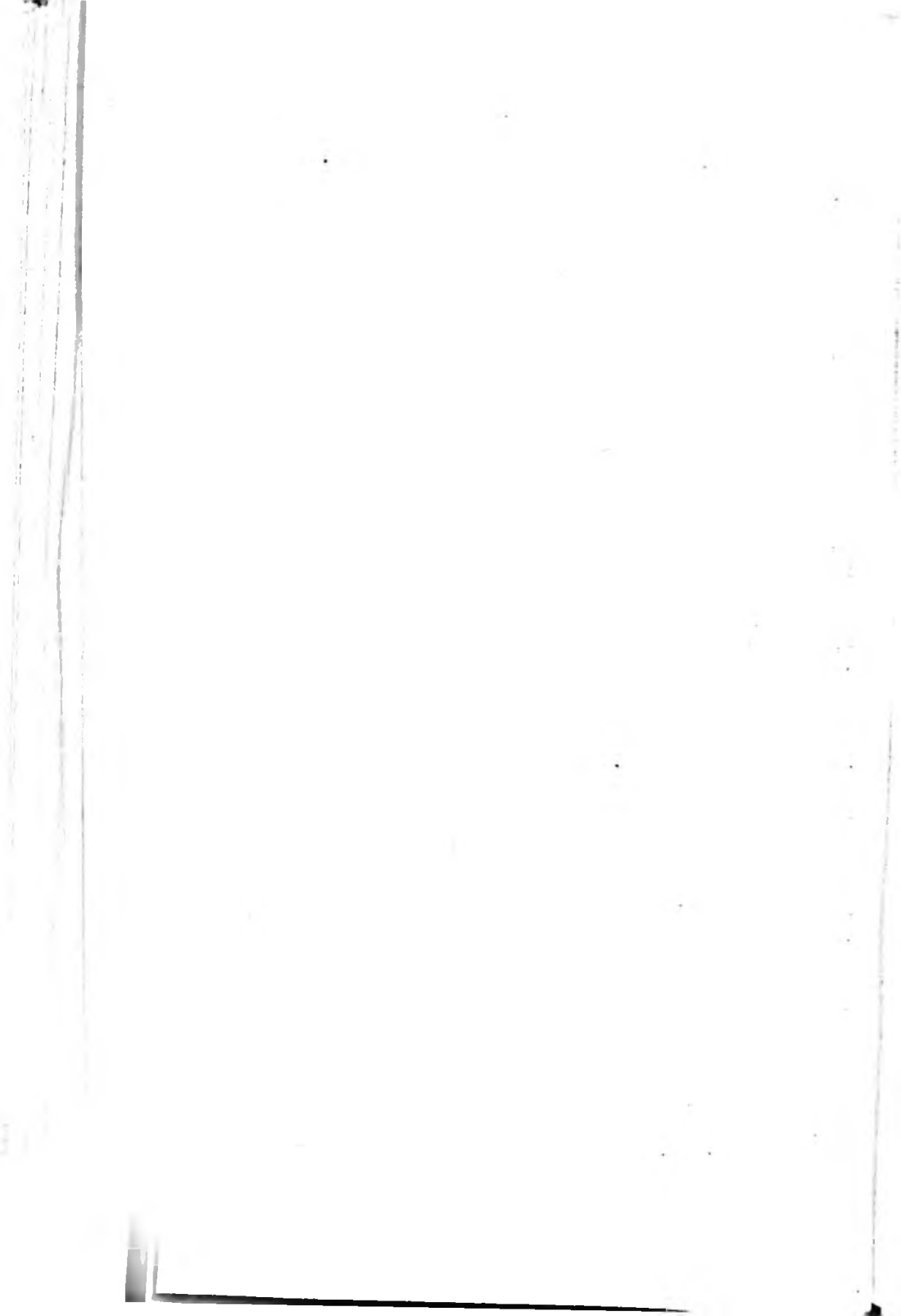
— Каково ваше мнение? — спросил управляющий.

— Ничего пока не известно, — ответил доктор. — Серьезное ранение в голову.

— А Омулло-бабу?

— Пуля попала ему в сердце и убила наповал.

ПОСЛЕДНЯЯ ПУЭМА



ИСТОРИЯ ОМИТО

Омито Рай — адвокат. Когда его бенгальская фамилия под влиянием английского произношения превратилась в «Рой», она, несомненно, утратила свою красоту, зато приобрела внушительность. Стремясь придать своему имени оригинальность, Омито произносил его так, что в устах его английских друзей и подруг оно превратилось в «Эмит Раз».

Отец Омито был непревзойденным адвокатом. Он оставил столько денег, что их не смогли бы промотать и три поколения, однако Омито с легкостью нес бремя отцовского состояния. Не окончив курса обучения в Калькуттском университете, он отправился в Оксфорд, где тянул с экзаменами целых семь лет. Он был слишком умен, чтобы быть прилежным; впрочем, тот же природный ум возмещал недостатки его образования. Отец не возлагал на Омито особых надежд и хотел только, чтобы оксфордский лоск, приобретенный его единственным сыном, не слышался на родине от омовений.

Мне Омито нравится. Чудесный парень! Я писатель начинающий. Читателей у меня совсем немного, а Омито — самый достойный из них. Он очарован моим стилем и уверен, что те, кто сегодня пользуется известностью на нашем литературном рынке, даже не представляют, что такое настоящий стиль. Их произведения похожи на верблюдов, — все в них целовко и неуклюже, — и, как верблюды, они тащатся через безотрадную пустыню бенгальской литературы развалистым, медлительным шагом. Спешу, однако, заверить критиков, что это мнение по моему.

Омито сравнивает стиль с прекрасным лицом, а моду — с маской. Стиль, по мнению Омито, для литературных аристократов, которые считаются лишь со своим мнением,

мода же — удел литературных плебеев, которые потрафляют вкусам других. Если цените стиль Бонкина, читайте его «Ядовитое дерево» — это настоящий Бонкин, но если вам милее подражание Бонкину, читайте «Мономохонер мохопбагаи» Ноширама — там от Бонкина не осталось и следа. Профессиональная танцовщица выступает перед публикой под сенью парусинового полога, но лицо невесты должно быть скрыто за покрывалом из бенаресского шелка, которое поднимается только для «благоприятного взгляда». Модному стилизаторству — парусиновый полог, а стилю — покрывало из бенаресского шелка, каждому лицу свой соответствующий срок. Омито утверждает, будто у нас так пренебрегают стилем потому, что мы не осмеливаемся свернуть с проторенной дороги. Подтверждение этой истины мы находим в древнейших сказаниях о жертвоприношении Дакши. Самые почитаемые небесные боги, Индра, Чандра и Варуна, всегда получали приглашение на церемонию жертвоприношения. Шива же имел свой стиль. Он был настолько оригинален, что жрецы считали неудобным приглашать его.

Мне доставляет удовольствие слышать подобные речи из уст бакалавра Оксфордского университета, ибо я верю, что мои произведения отличаются оригинальным стилем. Видимо, все мои книги действительно совершенны, ибо они пребывают в нирване и не знают последующих рождений-перерождений.

Брат моей жены Нобокришно никогда не мог спокойно слушать рассуждения Омито и кричал: «К черту твоих оксфордцев!» Сам он был крупнейшим специалистом по английской литературе, знал невероятно много, но понимал весьма мало. Недавно он заявил мне: «Омито возвеличивает посредственность, чтобы принизить таланты. Он любит бить в барабан дерзости, а ты ему служишь барабанной малочкой». К несчастью, при этом разговоре присутствовала моя жена. Однако отрадно заметить, что подобное заявление даже ей, его родной сестре, совсем не понравилось. Я видел, что ее взгляды совпадают со взглядами Омито, хотя образование у нее совсем незначительное. Природный ум женщин поистине удивителен!

Порою легкость, с которой Омито опровергал знаменитых английских писателей, приводила в замешательство даже меня. Это были те авторы, о которых можно сказать, что они завоевали книжный рынок и уже «апробированы». Чтобы восхищаться ими, не обязательно их читать. Для

поддержания собственного авторитета достаточно их хвалить. Омито тоже не считал нужным их читать, однако это не мешало ему ругать их без зазрения совести. Дело в том, что знаменитые авторы казались ему слишком официальными и массовыми, словно переполненный зал ожидания на вокзале, в то время как авторы, которых открывал он сам, существовали только для него, подобно отдельному салону специального поезда.

Омито одержим стилем не только в литературе, но и во всем остальном — в одежде, вещах, манерах. На его внешности лежал особый отпечаток: он никогда не казался одним из многих, а всегда единственным в своем роде, затмевавшим других. У него полное чисто выбритое лицо с гладкой смуглой кожей, выразительные глаза, насмешливые улыбающиеся губы; он очень подвижен и ни минуты не сидит на месте. Остроумные реплики так и сыплются из его уст, как искры от кресала. Он носит бенгальское платье, но только потому, что это не принято в его кругу. Его старательно подвязанное дхоти всегда белое, без каймы, и тоже потому, что в его возрасте такие «не носят». Рубашка у Омито с застежкой от левого плеча до правого бока, а рукава он закатывает до локтей. Дхоти он подвязывает широким кушаком каштанового цвета с золотым шитьем, прикрепляя к левому боку маленький мешочек из вриндаванского ситца для своих карманных часов. Обувается он в бело-красные сандалии катаккской работы. Когда он выходит из дому, мадрасский чадор изящными складками свисает с его левого плеча до колен, а когда отправляется в гости к друзьям, на голове его красуется белая вышитая шапочка, какие обычно носят мусульмане Лакхнау. В общем, его одежда — сплошная карикатура! Даже в его английских костюмах трудно что-либо понять. Хотя те, кто разбирается в таких делах, и утверждают, будто в их мешковатости особый шик. Омито одевается так не для того, чтобы выставить себя в смешном свете, а потому, что у него ненасытная страсть к высмеиванию моды. Есть много молодых людей, которым приходится в доказательство своей молодости показывать свидетельство о рождении. Омито же обладает неподдельной редкостной молодостью, не пугающейся ни в каких доказательствах, настолько она безоглядна и расточительна, экстравагантна и безответственна, подобна разливу, который все затопляет и сметает на своем пути.

У Омито было две сестры, Сисси и Лисси. С головы до

пят они являли собой образчик последнего крика моды, словно товар с витрины магазина. Они ходили на высоких каблуках, поверх коротких кофточек, обшитых тесьмой, носили бусы из яптаря и кораллов. Сари извилпстыми, змеиными складками изящно облегали их фигуры. У них была подпрыгивающая и семенящая походка, они громко разговаривали и визгливо смеялись. Чуть склонив голову, они чарующе улыбались, бросали многозначительные взгляды, по умели припять и сентиментальный вид. Веера из розового шелка все время порхали вокруг их щечек. Присев на ручки кресел, в которых сидели их поклонники, они ударяли их веерами по рукам в знак шутивого негодования против их шутивых дерзостей.

Свободное обращение Омито со знакомыми девушками вызывало зависть у его приятелей. Он не был безразличен к чарам представительниц прекрасного пола, хотя и не питал к какой-либо из них особой склонности: галаптность его обхождения распространялась на всех без различия. Словом, можно сказать, что жепидины его привлекали, но не увлекали. Омито ходил на вечеринки, играл в карты, проигрывал, когда хотел, всегда мог уговорить плохую певицу спеть еще раз, а когда видел девушку в сари ужасного цвета, непременно спрашивал адрес продавца. Беседуя со случайной знакомой, он умел настроить разговор на интимный лад, но все знали, что эта интимность рождена полным безразличием. Боги никогда не обманываются, когда молящийся, который поклоняется многим богам, каждого из них называет «всевышним», но все-таки это им приятно. Мамаши, правда, еще не теряли надежды, по дочки давно уже обнаружили, что Омито — как золотое облачко на горизонте: кажется, вот оно, рядом, а поди-ка удержи! Он дарил вниманием многих девушек, не останавливаясь ни на одной, за его интимными разговорами не было никакой цели, — потому-то он и был так отважен; близкое соседство со взрывчатым веществом не пугало его, ибо Омито знал, что не обронит ни одной искры.

Как-то на одном из пикников Омито сидел рядом с Лили Гапгули на берегу Гапги. Луна поднималась над темным, погруженным в безмолвие противоположным берегом. Омито прошептал:

— Лили, восходящая луна по ту сторону Гапги, ты и я на этой стороне, — такое никогда больше не повторится!

В первое мгновение сердце Лили дрогнуло, по она хорошо понимала, что слова эти не имеют никакого тай-

пого смысла и значат не больше, чем радужная плешка мыльного пузыря. Стряхнув с себя наваждение, она рассмеялась и ответила:

— Омито, то, что ты сказал, так верно, что об этом не стоило и говорить. Вон лягушка бултыхнулась в воду, и это тоже никогда больше не повторится.

Омито рассмеялся.

— Тут есть разница, Лили, большая разница! Лягушки могло и не быть, но ты, я, луна, плеск Ганги и звезды в небе — это такое же гармоническое творение, как «Лунная сопата» Ветховена. Этот миг мне представляется прекрасным золотым кольцом, украшенным сапфирами, алмазами, изумрудами, — кольцом, которое выковал безумный небесный ювелир в мастерской Вишвакармы и тут же уронил в море, где его уже никто не найдет.

— Тем лучше! Значит, тебе не о чем тревожиться, Эмит: ювелир не пришлет тебе счет для оплаты.

— Но, Лили, представь, что мы по воле судьбы встретимся через миллионы лет под сенью багряных лесов планеты Марс на берегу какого-нибудь большого озера! Вообрази, что рыбак из «Шакунталы» вскрыет рыбу и достанет для нас это удивительное золотое мгновение сегодняшнего дня, а мы будем лишь в растерянности смотреть друг на друга. Что тогда?

— Тогда, — ответила Лили, слегка ударяя Омито всером, — золотое мгновение ускользнет и опять затеряется в океане и никогда больше не повторится. Ты упустил уже много таких мгновений, изготовленных безумным ювелиром. Их не счесть, потому что ты о них забыл.

Лили быстро встала и присоединилась к своим подругам.

Такие эпизоды в жизни Омито случались нередко.

— Ом, отчего ты не женишься? — приставали к нему сестры Сисси и Лисси.

— Первое, что необходимо для женитьбы, — отвечал Омито, — это невеста. Женить — фактор второстепенный.

— Ты меня удивляешь! — воскликнула Сисси. — Как будто мало на свете невест!

— Видишь ли, в старину выбирали невесту по гороскопу, моя же невеста должна быть хороша сама по себе. Она должна быть единственной, чтобы среди всех остальных ей не было равных.

— Но когда она войдет в твой дом, — упорствовала Сисси, — она все равно перестанет быть единственной: она будет носить твою фамилию и о пей будут судить по тебе.

— Девушка, к которой я тщательно стремлюсь, не имеет дома и никогда не переступала ничего порога. Она сверкнула в моем сердце, как метеор, и исчезла в пространстве, не посетив ни одного земного жилища.

— Другими словами, она несколько не похожа на твоих сестер, — нахмурившись, заметила Сисси.

— Другими словами, она не будет простым пополнением семьи, — подтвердил Омито.

— Кстати, — вставила Лисси, — разве мы не знаем, что Бимми Бос только и ждет, чтобы Оми сказал ей «да»? Стоит ему кивнуть, она сама прибежит! Чем она ему не нравится? Может быть, ей не хватает культуры? Она была первой на экзаменах по ботанике на степень магистра! Разве ученость не признак культуры?

— Ученость, — ответил Омито, — это кристалл алмаза, а культура — излучаемый алмазом свет. Камень обладает весом, а свет ярким сиянием.

— Послушайте его! — вспыхнула Лисси. — Ему не нравится Бимми Бос! Как будто он достоин ее! Ну, теперь я предупрежу Бимми Бос, чтобы она и не смотрела на него, даже если он с ума будет по ней сходить.

— Если и я захочу жениться на Бимми Бос, значит, я действительно сошел с ума. Только, бога ради, лечите меня тогда лекарствами, а не женитьбой!

В конце концов родные и знакомые Омито потеряли всякую надежду на то, что он когда-нибудь женится. Они решили, что он просто не способен нести ответственность, налагаемую семейной жизнью, и поэтому предается бесплодным мечтам и удивляет людей парадоксами. Его ум — как блуждающий огонек, который мерцает и заманивает, но который никогда нельзя поймать.

Меж тем Омито бросался от одного занятия к другому, угощал всяких случайных знакомых чаем в ресторане Фирпо, неизвестно зачем в любое время дня и ночи катал друзей на машине, приобретал повсюду разные вещи и боспечно раздавал их, покупал английские книги, чтобы тут же забыть их в каком-нибудь доме и никогда о них больше не вспоминать.

Сестер больше всего раздражала манера Омито говорить такое, от чего в любом приличном обществе люди буквально шарахались.

Однажды, когда какой-то политик восхвалял демократию, Омито оборвал его на полуслове:

— Когда Шива разъял мертвое тело Сати, везде и всюду, куда упали частицы ее тела, возникли сотни святых мест. Наша демократия сегодня занимается поклонением разбросанным частицам старой мертвой аристократии. А мелкие аристократички наводнили землю — они и в политике, и в литературе, и в общественной жизни. И все они отвратительны, потому что сами не верят в себя.

В другой раз, когда какой-то рьяный поборник социальных реформ и освобождения женщин порицал мужчин за то, что они угнетают женщин, Омито небрежно заметил, вынув сигару изо рта.

— Когда прекратится деспотизм мужчин, начнется деспотизм женщин. А деспотизм слабых поистине ужасен.

Все женщины и защитницы женщин были возмущены.

— Что вы хотите этим сказать? — слышались возгласы.

— А вот что, — ответил Омито. — Кто имеет клетки, сажает птиц в клетки, то есть совершает над ними насилие. А у кого нет клеток, тот опьяняет свою жертву опиумом, то есть одурманивает ее. Первые совершают насилие, но не одурманивают; вторые и совершают насилие, и одурманивают. Сила женщин — дурман, и помогают им самые темные силы природы.

Как-то раз в их баллиганджском литературном кружке решили обсудить поэзию Рабиндраната Тагора. Первый раз в жизни Омито согласился занять председательское место и отправился на собрание кружка, приготовившись к битве. Оратор, безобидный представитель старого направления, старался доказать, что поэзия Тагора — настоящая поэзия. За исключением двух профессоров колледжа, все, видимо, соглашались с тем, что его доводы достаточно убедительны. Но вот поднялся председатель и сказал:

— Поэт должен писать стихи не более пяти лет, от двадцати пяти до тридцати. От его последователей мы должны требовать произведений пусть не лучше, чем у него, но своих, непохожих. Когда проходит сезон манго, мы не требуем манго, тогда мы спрашиваем ата. Зеленые кокосовые орехи долго не держатся, изобилие утоляющего жажду сока в них кратковременно, гораздо дольше сохраняются спелые кокосовые орехи. Так и поэты кратковременны, в то время как философы вечны... Главным недостатком Рабиндраната Тагора является то, что этот господин, подражающий

старому Вордсворту, настойчиво продолжает писать стихи. Много раз Яма, бог смерти, посылал гонца погасить свечильник его жизни, но этот человек все еще цепляется за свой трон. Если он не может удалиться сам, наш долг уйти и оставить его в одиночестве. Его последователи будут звать и кричать, что его царствование не кончилось, что сами бессмертные прикованы к его гробнице. Некоторое время его поклонники будут превозносить и восхвалять его, но затем настанет священный день жертвоприношения. Тогда его приверженцы будут шумно требовать освобождения от оков преданности. Именно так почитают в Африке четвероногого бога. Так же следует почитать двух-, трех-, четырех- и четырнадцатистопных богов стихотворных размеров. Не может быть худшего осквернения религии, чем то, когда почитаемое божество свергают одним ударом. Поклодение также имеет свою эволюцию. Если тот, кому мы поклонялись в течение пяти лет, все еще цепляется за свой пьедестал, ясно, что несчастный не понимает, что жизнь в нем уже угасла. Нужен легкий толчок извне, чтобы доказать, что сентиментальные родственники чересчур затянули похоронный обряд, очевидно, стремясь обмануть законных наследников. Я поклялся разоблачить этот недостойный сговор защитников Тагора.

Тут наш Мопибхушоп перебил его, сверкая очками:

— Значит, вы хотите изгнать лояльность из литературы?

— Совершенно верно! Культ литературного диктаторства быстро выходит из моды. Мое второе обвинение против Рабиндрапата Тагора заключается в том, что его литературные произведения завершены, закруглены, как его почерк, и напоминают о розах, о лунах и жевских личиках. Это примитивно. Он копирует природу. От нового вождя литературы мы ожидаем произведений резких, острых, как шипы, как стрелы, как паночник копья: не таких, как цветы, а подобных вспышке молнии, слепящей боли при невралгии, — угловатых и заостренных, как готическая церковь, а не округлых, как портик храма. Не беда, даже если они будут сходны с джутовой фабрикой или правительственным зданием... Пора покончить с оковами ритма, которые лишь усыпляют душу и затуманивают разум. Освободим свой разум, разбудим душу и похитим их, как Равапа похитил Ситу! Даже если ваш ум будет рваться, рыдать и стонать, все равно ему придется смириться! Даже если старый Джатаю бросится на помощь, пусть встретит

свою смерть! Ведь скоро уже prospetся обезьяний народ, Хануман прыгнет на Ланку, подожжет город и вернет разум в его старое жилище. Тогда мы будем приветствовать наше воссоединение с Тепписомом, проливать потоки слез на груди Байрона и просить прощения у Диккенса, оправдываясь тем, что мы отвергли их на время, дабы излечиться от собственных заблуждений... если бы очарованные красотой Тадж-Махала архитекторы возводили по всей Индии только пузыри мраморных куполов, то всякому порядочному человеку пришлось бы бежать в леса от этого ужаса. Чтобы суметь оденить Тадж-Махал, надо освободиться от его очарования!

Тут надо заметить, что от столь бурного патоса путаных аргументов голова корреспондента пошла кругом, и потому его отчет оказался еще менее понятным, чем доклад Омито, ибо я воспроизвел здесь лишь то, что мне удалось с трудом уловить. При упоминании о Тадж-Махале один из поклонников Тагора вскочил и возбужденно крикнул:

— Чем больше мы имеем хорошего, тем лучше для нас!

— Как раз наоборот, — отпарировал Омито. — Чем меньше хороших вещей создает природа, тем лучше, так как изобилие низводит их до уровня посредственностей... Поэты, которые не стыдятся жить по шестьдесят — семьдесят лет, сами себя наказывают, снижая себе цену. В конце концов их окружают подражатели, которые начинают с ними соперничать. Творения таких долгопещущих поэтов утрачивают всякое своеобразие. Воруя у своего собственного прошлого, эти поэты скатываются до положения тех, кто скупает краденое. В таких случаях обязанность читающей публики ради блага человечества — не позволить этим престарелым пчитожествам влачить свое жалкое существование, — я, конечно, имею в виду поэтическое существование, а не физическое. Пусть они существуют как старые опытные профессора, искусные политики, умелые критики.

Предыдущий оратор задал вопрос:

— Кого же вы прочтете в новые литературные диктаторы?

— Нибарона Чокроборти, — с готовностью ответил Омито.

— Нибарон Чокроборти? Кто это такой? — прозвучал хор удивленных голосов.

— Из маленького семени этого вопроса завтра вырастет могучее дерево ответа.

— Но пока мы хотели бы услышать что-нибудь из его творений.

— Тогда слушайте!

Омито вынул из кармана узкую длинную записную книжку в парусиновом переплете и начал читать:

Я единственный,
ни на кого не похожий
среди тысяч и тысяч прохожих,—
незнакомое, новое Слово
среди смеха и рева
Толпы.

Я говорю:

Отворите двери!

Ибо пришел я

к тем, кто посмеет

Времени вызов принять,

тайными знаками запечатленный,

мне лишь понятный, мне лишь врученный,

посланный Временем через меня.

Но остаются к призыву глухи

неисчислимые войны Глупости:

гневом бессильным меня встречают,

путь преграждают алобой и ложью,

словно волна за волной набегают

и разбиваются в пыль о подножье

несокрушимой скалы.

Пусть не венчают меня гирлянды,

не защищает меня кольчуга,

не украшает наряд богатый,

над неуверенной головою

реет незримо

победы стяг!

Я проникну в святая святых

ваших помыслов и желаний.

Отворите же двери

и примите без колебаний

все, что дерзко скажу!

Ваши души трепещут,

засовы трещат,

твердь колеблется под погами,

и я слышу, сердца ваши в страхе кричат:

«Сжался, сжался над нами!

Ты безжалостный, наглый, мятежный;

твой пронзительный крик,

словно острое лезвие,

в ночь наших мыслей проник

и нарушил наш сон безмятежный!»

Что ж, возьмитесь за меч!

Разрубите мне груди!

Смертью смерть все равно не убьете:

вечной жизни зарю

даже мертвый я вам подарю.

В кандалы закуете —

я на части их разорву,
снова буду свободен,
и вы этот дар обретете.

Принесите священные книги!
Тщетно будут стараться педанты
заглушить вечный голос!

Вся их логика, все афоризмы
разлетятся бесследно,
и спадет пелена с затуманенных фразами глаз:
свет победный
засияет для вас!

Разжигайте огонь!

Не печальтесь,
если все, что вам дорого пыле,
сгорит без остатка, дотла,—
пусть ваш мир превратится в пустыню!
Приветствуйте всеожжесть!
Дряхлый мир, раскаленный в огне добела,
вспыхнет ярче ста солнц
в миг единственный озаренья.

Мой призыв, как могучий удар,
поразит отупевший ум,
и очнется он в изумленье.

Тем, кто ищет полегче путь,
избегает острых углов,
бледным, немощным, жепонодобным,
от тревожного ритма моих стихов
не забытья и не заснуть.

И один за другим,
причитая плаксиво и злобно,
колотя себя в грудь,
неизбежно признают они,—
да, признать им придется! —
что победа за новым, не признанным ими,
отвергаемым ископн.

И тогда грянет буря
и мир содрогнется,
озарится цветением молний,
и канут в безвременье годы
пыщеты и тумана,
и неукротимо
хлынет па землю
ливень свободы! ¹

Сторонники Тагора были вынуждены умолкнуть и удалиться, впрочем, не преминув пригрозить, что еще дадут достойный ответ, на сей раз в печати.

Когда Омито возвращался в машине домой после успешного разгрома своих противников, Сисси сказала ему:

— Я уверена, ты заранее придумал своего Нибарона

¹ Здесь и далее стихи в переводе Ф. Мендельсона.

Чокроборти и принес эти стихи нарочно, чтобы поставить почтенных людей в глупое положение.

— Тех, кто приближает будущее, паывают вестниками судьбы, — ответил Омито. — Сегодня вестником был я. Нибарон Чокроборти явился па землю, и теперь уже никто его не остановит.

Сисси втайне гордилась братом. Она спросила:

— Скажи, Омито, ты, паверное, каждое утро готовишь запас убийственных высказываний па весь день?

— Готовность ко всяким неожиданностям — признак культуры. Варваров всегда захватывают врасплох. Это тоже записано в моей книжке.

— Но у тебя нет своих убеждений! Ты просто всегда говоришь только то, что может поразить в данный момент.

— Мой разум — зеркало, и, если бы я раз и навсегда замазал его своими неизменными убеждениями, оно не отразило бы каждого проходящего мгновения.

— Омн, твоя жизнь пройдет среди теней, — сказала Сисси.

II

СТОЛКНОВЕНИЕ

Омито все-таки решил пакопец побывать в Шиллонге. Две причины определили его выбор: во-первых, никто из его знакомых там не бывал, а кроме того, девицы па выданье были там менее многочисленны и не столь пазойливы. Божественный стрелок, который избрал мишенью сердце Омито, как правило, подыскивал свои стрелы в фешенебельном обществе, а Шиллонг, помимо всех своих красот, имел еще то преимущество, что ограничивал выбор этого стрелка. Сестры Омито, решительно покачав головками, объявили:

— Если тебе падо — поезжай один, а мы не поедем!

Облачившись в одеяния, имитирующие персидские шааи, вооруженные изящными зонтиками и теннисными ракетками, сестры отправились в Даржилинг. Бимми Бос уехала туда раньше них. Когда она увидела, что сестры приехали без брата, она посмотрела вокруг и обнаружила, что в Даржилинге куча народу, но нет интересной компании.

Омито сообщил всем, что едет в Шиллонг насладиться одиночеством. Но вскоре он открыл, что отсутствие большого общества лишает одиночество прелести. Прогуливать-

ся с фотоаппаратом Омито не любил. Он говорил, что он не турист и любит наслаждаться пейзажем, а не глазеть без разбору на все, что ни попадется.

Ему удалось скоротать несколько дней с книгами в тени деодаров на горных склонах. Беллетристику он не читал, потому что беллетристику во время отдыха читают все. Вместо этого он взялся за «Пронсхождение и развитие бенгальского языка» Сунити Чаттерджи — да и то лишь в надежде отыскать в этом труде неточности и поспорить с автором. Временами, в промежутках между запытиями филологией — и скукой, его внезапно поражала красота гор, но полностью она не доходила до него, словно вступительные такты какой-то мелодии, которая все время повторяется и никак не может закончиться. Беспорядочному потоку его впечатлений не хватало единства. Отсутствие этого единства в нем самом вызывало у Омито чувство постоянного беспокойства и неудовлетворенности, такое же мучительное здесь, как и в городе. Но если в городе он мог заглушать это чувство различными способами, то здесь беспокойство, казалось, только возрастало и усиливалось — как горный поток, встретивший препятствие на своем пути. Он уже решил проститься с горами и побродить по давно привлекавшим его равнинам Силхета и Сплчара, когда пришел месяц ашарх, окутав все леса и вершины непроницаемой пеленой дождя. Сообщалось, что около Черрапунджи гряды гор задержали нашествие облаков, по скоро потоки от сильных ливней ринулись вниз по склонам. Поэтому Омито решил на несколько дней поселиться в гостинице Черрапунджи и создать такой «Облако-Вестник», в котором возлюбленная из незримой Алаки будет вспыхивать в небе его воображения, подобно бесплотной молнии, не оставляя следа.

Он надел грубошерстные носки, какие носят горцы, прочные башмаки на толстой подошве, шорты, блузу защитного цвета с поясом и пробковый шлем. В таком наряде Омито скорее походил на дорожного мастера во время обхода участка, чем на мифический персонаж Абаниндрапата Тагора. Однако в кармане у него лежало несколько тоненьких книжечек со стихами на разных языках.

Дорога к дому Омито была узкой и извилистой; справа находился обрыв, поросший лесом. Так как было маловероятно, чтобы кто-нибудь еще передвигался по пей, Омито вел машину, беспечно пренебрегая звуковыми сигналами. Он размышлял о том, что в его время мотор-вестник лучше

всего подходит для того, чтобы отправлять послания далекой возлюбленной: в нем есть «и дым, и огонь, и вода, и ветер», а если дать еще записочку шоферу, то никаких неясностей не останется. Поэтому он решил в начале будущего сезона дождей повторить на автомобиле путь, описанный в «Облаке-Вестнике». Кто знает, может быть, волею судьбы он встретит одну из нимф гималайских деодаровых лесов или найдет какую-нибудь Авантику или Малавику, которая будет ждать его у порога своего дома!

Внезапно за поворотом он увидел встречный автомобиль. Разъехаться было негде. Омито нажал на тормоза, но автомобили столкнулись. Однако это не было катастрофой — встречный автомобиль откатился назад и остановился у склона горы.

Из машины вышла девушка. Из тучи только что миновавшей смертельной опасности она возникла, словно обрисованная молнией, ярко выделяясь среди мрачной окружающей обстановки. Редкое зрелище предстало перед Омито — Лакшми, вновь вышедшая из молочного океана, все еще бурлящего у подножия горы Мандар. В переполненной гостиной эта девушка никогда не явилась бы во всем великолепии своей красоты. На земле есть немало красивых людей, но мы редко видим их в подходящей обстановке.

На девушке было шерстяное белое сари с узкой каймой, такая же шерстяная кофточка, на ногах белые кожаные сандалии. Продолговатые глаза мягко светились в тени густых ресниц. Волосы были откинuty с широкого лба назад и закручены узлом. Прелестное лицо с округлым подбородком напоминало созревающий плод. Рукава кофточки доходили до запястий, на обеих руках было по простому топкому браслету. Свободный конец сари, не заколотый брошью, был накинут на голову и прикреплен к волосам серебряной булавкой работы катакских мастеров.

Омито, оставив шлем в автомобиле, подошел и остановился перед девушкой безмолвно, как человек, ожидающий наказания. Девушку, казалось, тронула его беспомощная комичная поза.

— Простите, я виноват, — пробормотал наконец Омито. Девушка рассмеялась:

— Во всем виновата я!

— Это не вина, а ошибка.

Голос ее напоминал журчанье фоптапа. Он был ровен и звучен, как у юноши. Вернувшись домой в тот вечер,

Омито долго раздумывал: па что похож ее голос? В конце концов он записал в своей книжечке: «Ее голос струится, как дым душистого табака из кальяна, смягченный водой, освобожденный от едкого привкуса никотина и приправленный тонким ароматом роз».

Девушка добавила, словно извиняясь:

— Я собиралась встретить друга, который должен приехать. Правда, скоро мой шофер сказал, что мы едем не по той дороге, но развернуться мы уже не могли, поехали дальше, и вот ваш автомобиль столкнулся с нашим.

— Нет, нет, машины здесь ни при чем! — сказал Омито. — Во всем виновата коварная злая звезда.

Тут шофер доложил, что серьезных повреждений нет, однако потребуется какое-то время, чтобы привести автомобиль в порядок.

— Если вы будете снисходительны к моей несчастной машине, — осмелился предложить Омито, — я с удовольствием отвезу вас куда угодно.

— Благодарю, но это вряд ли необходимо. Я привыкла ходить по горным дорогам.

— Это необходимо для меня — как доказательство, что вы меня простили.

Девушка молчала, колеблясь.

— Видите ли, — добавил Омито, — водить машину, конечно, не велика заслуга и этим не прославишься перед потомством. Однако при первом знакомстве я даже в этом выказал себя далеко не лучшим образом. Судьба несправедлива! Позвольте же мне доказать, что хотя бы как водитель я не уступаю вашему шоферу!

Страх перед неведомыми опасностями в таких случаях сковывает девушек, и они робеют при встрече с незнакомцем. Но сейчас испуг от недавнего столкновения оказался сильнее нерешительности. Нетерпеливая судьба свела их на безлюдной горной дороге, чтобы озарить их души внезапным светом откровения. Как вспышка молнии долго еще слепит глаза, вглядывающиеся во мрак ночи, так запечатлелась в их сознании эта яркая встреча — словно новое солнце засияло в лазури небес в результате какой-то гигантской космической катастрофы.

Девушка села в автомобиль. Она сказала, куда ехать, а когда они добрались до ее дома, предложила Омито:

— Если у вас будет время, загляните завтра. Я познакомлю вас со своей хозяйкой.

Омито хотелось сказать: «Я могу зайти хоть сейчас,

Джогомайю. Отныне ее поведение определялось строжайшими предписаниями, составленными по всем правилам традиционных таможенных и паспортных ограничений. На ее лицо накинута покрывало, на ее ум — тоже. Даже самой богине Сарасвати, покровительнице пауков, приходилось подвергаться унижительному обыску, прежде чем ее допускали на женскую половину. Английские книги были сразу изъяты, а из бенгальских писателей до Джогомайи доходили лишь те, кто творил задолго до Бонкина, да и то не все. Зато прекрасное издание «Йогавашиштхи Рамаяны» в переводе на бенгальский долгое время стояло на ее полке. До последних дней жизни хозяин дома искренне надеялся, что когда-нибудь его жена выберет время и прочтет этот классический труд, хотя бы ради развлечения.

Джогомайе было нелегко в железных тисках древних правил, она чувствовала себя, точно вещь, положенная в сейф на хранение, однако умела обуздывать свою мятежную душу.

В этой духовной неволе единственным утешением для нее был их старый домашний жрец папдит Диншорон Беданторонто. Он высоко ценил ее ясный природный ум и говорил ей:

— Все эти обряды и ритуалы не для тебя, дочь моя. Глупцы не только сами обманывают себя, их обманывает весь мир. Ты думаешь, мы сами во все это верим? Разве ты не видишь, как мы без зазрения совести искажаем шастры, если нам это надо? Значит, мы не очень-то чтим всякие правила. Дураками мы прикидываемся только для дураков. И если ты сама не хочешь дурачить себя, то я и по-прежнему не стану тебя обманывать. Когда захочешь, присылай за мной, дочь моя, я почитаю тебе шастры, в которые верю сам.

Он часто приходил и читал Джогомайе то «Гиту», то «Брахмабхашью». Джогомайя задавала вопросы, заставлявшие его удивляться ее уму, и ему никогда не надоедало беседовать с ней. Он глубоко презирал духовных наставников, которыми окружил бы Бородашонкор. Беданторонто признавался Джогомайе:

— Из всего города ты единственная, с кем мне приятно поговорить. Дочь моя, ты спасла меня от угрызений совести!

Так среди молитв и постов бесконечно тянулись дни. Ее жизнь была во всем «строго регламентирована», как говорят наши газетчики, но даже эта жизнь ее не сломала.

После смерти мужа Джогомайя зажила с сыном Джотишонкором и дочкой Шуромой. Зиму они проводили в Калькутте, лето — где-нибудь в горах. Джотишонкор посещал колледж, но ей не нравились учебные заведения для девочек, и для своей дочери Шуromы она после долгих поисков пригласила Лабонно. С ней-то и встретился Омито так неожиданно на дороге.

IV

ПРОШЛОЕ ЛАБОННО

Отец Лабонно, Обошиш Дотто, был директором английского колледжа в Западной Индии. После смерти жены он воспитывал дочь так, что впоследствии даже бесконечные университетские экзамены не остановили ее развития. Как это ни удивительно, никакие академические премудрости не смогли отбить у нее тягу к знаниям.

Единственной страстью отца была наука. В своей дочери он готовил себе преемницу и потому любил ее даже больше, чем свою библиотеку. Он был убежден в том, что, если человек достаточно вооружен знаниями, ему вовсе не обязательно вступать в брак, ибо разуму, занятому наукой, не хватит времени на легкомысленные пустяки. Он твердо верил, что если сердце его дочери и могло когда-то склониться к мысли о браке, то теперь оно так надежно защищено броней истории и математики, что никакие печальные чувства не смогут пустить в нем корни. Он допускал даже, что Лабонно вовсе никогда не выйдет замуж. «Что из того! — говорил он. — Ведь она на всю жизнь обручена с наукой!»

Был у него еще один предмет любви по имени Шобхонлал. Этот юноша обладал прилежанием, редкостным для его возраста. Все в нем привлекало взор: большой лоб, ясные глаза, добрый изгиб губ, открытая улыбка и правильные черты лица. При этом он был необычайно застенчив, тотчас смущался, если кто-нибудь обращал на него внимание.

Шобхонлал происходил из небогатой семьи и потому особенно упорно поднимался по ступенькам знаний. Обошиш лелеял в душе надежду, что со временем Шобхон прославится и тогда он с гордостью сможет сказать, что в этом — немалая его заслуга.

Шобхонлал частенько приходил к Обошишу посоветоваться или поработать в библиотеке. Каждый раз при виде

Лабонно он мучительно смущался. Из-за этой робости он много терял в ее глазах: такова судьба всех застенчивых мужчин, которые не могут привлечь внимание женщин.

Но внезапно в дом Обонина нагрянул Нинигопал — отец Шобхонлала — и набросился на профессора с совершенно неожиданными оскорблениями. Он кричал, что Обонин под видом обучения просто заманивает в свой дом женихов. Он обвинял его в коварном стремлении жепить Шобхонлала на Лабонно и тем лишить его касты во имя своих социальных теорий. В доказательство он предъявил парисованный карандашом портрет Лабонно, обнаруженный им под лепестками роз в сундуке у Шобхонлала. Нинигопал не сомневался, что этот портрет подарила ему в знак любви сама Лабонно. Торгашеский ум Нинигопала тотчас высчитал стоимость Шобхонлала как жениха и на сколько он может еще подпрыгнуть в цене, если товар малость попридержать. И такую ценную персону Обонин хотел заполучить даром! Как же это назвать, если не кражей со взломом? И чем подобный грабеж отличается от кражи девер?

До сих пор Лабонно даже не подозревала, что ее образу кто-то поклоняется на тайном алтаре, скрытом от глаз непосвященных. Шобхонлалу в библиотеке Обонина среди различных брошюр и журналов просто посчастливилось отыскать старую фотокарточку Лабонно. Он попросил своего друга-художника срисовать с нее портрет и положил фотографию на место. Розы тоже были из сада его друга, такие же невинные, как его стыдливая, робкая любовь. И все-таки он не избежал кары. Опустив пылающее лицо, украдкой вытирая слезы, застенчивый юноша простился с этим домом.

В последний раз Шобхонлал доказал все бескорыстие своей любви уже издавелека, но об этом было известно только ему да всевышнему, перед которым открыты все тайны людских сердец. На экзаменах на степень бакалавра Шобхонлал занял первое место, а Лабонно оказалась на третьем. Это больно задело Лабонно по двум причинам: ей всегда не нравилось, что отец так восхищается способностями Шобхонлала, но еще больше не нравилось то, что к этому восхищению применяется привязанность отца к юнине. Она изо всех сил старалась обогнать Шобхонлала на экзаменах и, когда он все же оказался впереди, была не в силах простить ему эту дерзость. Она даже стала подозревать, что на результаты экзаменов повлияло пристрастие

се отца, хотя Шобхонлал никогда не просил у Обонниша помощи в запятиях. С тех пор, завидев Шобхона, она отворачивалась и уходила. Во время экзаменов на степень магистра у Лабонно не было никаких шансов победить Шобхонлала. И все же она победила. Даже сам Обонниш удивился. Если б Шобхонлал был поэтом, он посвятил бы Лабонно целые тома стихов, но он вместо этого пожертвовал ради нее своими высокими отметками на экзаменах.

Кончились годы их ученья. Вскоре Обоннишу пришлось внезапно и очень болезненно убедиться в том, что, как бы ни был ум забит знаниями, в нем всегда найдется местечко для бога любви. Обоннишу было сорок семь лет, и вот тогда, воспользовавшись его беззащитностью, одна бойкая вдова прорвалась сквозь ряды томов его библиотеки, преодолела стену его учениости и завладела его сердцем. Ничто не препятствовало свадьбе, кроме любви Обонниша к Лабонно, и между этим чувством и его цовой страстью назрел неизбежный конфликт. Обонниш старался работать изо всех сил, но радужные мысли, отвлекавшие его от занятий, оказались сильнее. Редакция «Модерн ревью» прислала заказанные им книги о буддийских развалинах, но он сидел над нераскрытыми любимыми книгами, словно сам превратился в буддийское изваяние, застывшее в безмолвии веков. Издатель начинал уже терять терпение, но что было делать? Так происходит со всяким ученым, когда столпы мудрости поколеблены. Что может спасти слона, ступившего на сыпучие пески пустыни?

Запоздалую угрызения совести терзали Обонниша. Он решил, что из-за своих книг не разглядел любви дочери к Шобхонлалу, ведь не влюбиться в такого юношу невозможно! И проникся отвращением ко всем отцам вообще, а к себе и Ноингопалу — в особенности.

К этому времени и подоспело письмо от Шобхонлала. Он сообщал, что хочет написать статью о династии Гунта, чтобы получить стипендию «Премчанд Райчанд», и просил позволения воспользоваться некоторыми книгами из библиотеки своего учителя. Обонниш сразу же дал самый любезный и теплый ответ: «Приходи и занимайся в моей библиотеке, как в добрые старые дни!»

Сердце Шобхонлала затрепетало. Он решил, что за столь обнадеживающим письмом скрывается молчаливое олобрение Лабонно, и начал наведываться в библиотеку. Иногда встречая в доме Лабонно, он нарочно замедлял шаг в надежде, что та обратится к нему с каким-нибудь

вопросом, поинтересуется, над какой статьей он работает, и если бы она это сделала, он с радостью раскрыл бы свои тетради и рассказал ей обо всем. Ему так хотелось узнать мнение Лабонно о проблемах, которые его занимали. Но она ни о чем не спрашивала, а сам он не решился пачать разговор без поощрения с ее стороны.

Так прошло несколько дней. Настало воскресенье. Шобхонлал разложил на столе свои тетради и делал пометки, листая какую-то книгу. Был полдень, и он сидел в комнате один. Воспользовавшись воскресеньем, Обонинш ушел куда-то в гости, но куда — не сказал, только предупредил, чтобы к чаю его не ждали.

Внезапно дверь в библиотеку распахнулась. У Шобхонлала застучало сердце. В комнату вошла Лабонно. Ошеломленный Шобхон встал, не зная, что ему делать. Лабонно пламенела от гнева.

— Зачем вы ходите в этот дом? — спросила она.

Шобхонлал вздрогнул, поиник и не смог ничего ответить.

— Знаете ли вы, что говорит ваш отец об этом? Вам не стыдно меня оскорблять?

— Простите, я сейчас уйду, — пробормотал Шобхонлал, опустив глаза. Он даже не сказал, что отец Лабонно сам пригласил его. Он собрал свои бумаги. Руки его тряслись, тупая боль рвалась из груди и не находила выхода. Так он и ушел, совершенно уничтоженный.

Если мы можем полюбить, но из-за какой-то помехи пропускаем благоприятный момент, наше чувство превращается не в безразличие, а в слепую ненависть, прямую противоположность любви. Возможно, Лабонно, сама того не зная, и готовилась отдать свою любовь Шобхонлалу. Но он не сделал первого шага, и все обернулось против него. И последний злосчастный разговор стал последним ударом. Обида и раздражение мешали Лабонно справедливо судить о близких: она вообразила, что отец пригласил Шобхонлала, желая от нее отделаться, и вот вся тяжесть ее гнева обрушилась на нее в чем не повинного юпошу. Теперь уже Лабонно сама понуждала отца торопиться со свадьбою. Обонинш отложил для дочери около половины своих денежных сбережений, однако после его свадьбы Лабонно объявила, что денег не возьмет, а будет зарабатывать на жизнь сама. Это очень опечалило Обонинша.

— Ведь я не хотел этой свадьбы, Лабонно, ты сама настояла! Зачем же сейчас ты отворачиваешься от меня? — сокрушенно спросил он.

— Я решила это сделать, чтобы не испортить наших отношений, — ответила Лабонно. — Не расстраивайся, отец! Благослови меня и позволь мне самой пайти свое счастье.

Лабонно скоро нашла работу: она взялась обучать Шурому. Она вполне могла бы учить и ее брата Джотти, но тот наотрез отказался, считая для себя оскорбительным подчиняться женщине.

Жизнь ее текла довольно спокойно, согласно ритму повседневных забот. Свободное время Лабонно посвящала английской литературе — от стариков до Бернарда Шоу, — но в основном изучала историю Древней Греции и Рима по трудам английских историков Грота, Гиббона и Джилберта Меррея. Нельзя сказать, чтобы ни одно дуновение не тревожило ее души, но в ее жизни не было места для бурь. И вдруг это неожиданное столкновение машины на дороге! История Греции и Рима сразу утратила все свое значение. Жизнь приблизилась к Лабонно, отодвинула на задний план все второстепенное, встряхнула ее и сказала: «Пробудись!» И Лабонно пробудилась. Только теперь она увидела себя. И не науки открыли ей глаза, а страдание.

V

НАЧАЛО ДИСКУССИЙ

Покинем теперь руины прошлого и вернемся к настоящему.

Оставив Омито в комнате для занятий, Лабонно пошла сказать о его приходе Джогомайе. Омито чувствовал себя в этой комнате, точно шмель в лотосе. Куда бы он ни посмотрел, все неуловимо напоминало ему о Лабонно и приводило в волнение. На книжной полке и на письменном столе он видел английские книги. Они говорили о ее вкусе и, казалось, жили своей особой трепетной жизнью. Все они словно ждали Лабонно, ее пальцы листали их страницы, эти книги занимали ее мысли днем и ночью, по их строчкам скользил ее нетерпеливый взгляд, они лежали у нее на коленях в часы размышлений. Омито удивился, заметив на столе сборник поэмы Донна. Когда Омито учился в Оксфордском университете, его самого живо интересовал Донн и современные ему поэты. И вот теперь тот же поэт свидетельствовал о счастливом совпадении склонностей двух людей.

Жизнь Омито складывалась из тусклых серых дней, похожих на потрепанные страницы учебника, который школьный учитель перелистывает из года в год. Будущее утратило для него всякий интерес, а потому он без радости встречал каждый наступающий день. Но сегодня он словно перенесся на другую планету. Здесь предметы утратили свой вес, поги, казалось, не чувствовали под собой земли, и каждое мгновение было преддверием к неведомому: тело обвевал прохладный ветерок, и хотелось петь, как поет флейта; жар солнца пропикал в кровь и волновал, как весенние соки волнуют дерево. Пыльная завеса, так долго висевшая перед его глазами, упала, и самое обыденное стало казаться необыкновенным. Поэтому, когда Джогомайя тихо вошла в комнату, Омито был поражен. «О, она не просто вошла, — воскликнул он про себя. — Она явилась!»

Джогомайе было около сорока лет. Но годы не состарили ее, только придали ей благородную утонченность. Ее светлое румяное лицо, обрамленное коротко стриженными, по вдовьему обычаю, волосами, украшала ласковая улыбка. Глаза сияли материнской любовью. Край простого белого чадора она накинула на голову. Красивые, стройные ноги были босы. Когда Омито, склонясь в приветствии, коснулся их рукой, ему показалось, будто на него излилась милость богини.

Покончив с приветствиями, Джогомайя сказала:

— Твой дядя Омореш был лучшим адвокатом в нашем округе. Он спас нашу семью, когда нам грозило полное разорение. Меня он звал невесткой.

— Я всего лишь его недостойный племянник, — ответил Омито. — Дядя избавил вас от несчастия, а я доставил вам неприятность. Он принес вам прибыль, а я — убыток. Вы были для него невесткой, так будьте же для меня хотя бы маминой.

— У тебя есть мать? — спросила Джогомайя.

— Когда-то была, — ответил Омито. — Теперь мне бы хотелось иметь тетю.

— Зачем, сын мой?

— Видите ли, если бы я разбил сегодня автомобиль моей матери, она без конца пилила бы меня за мою «медвежью ловкость». Но если бы машина принадлежала тете, она бы посмеялась над моей оплошностью и сочла ее мальчишеством.

Джогомайя улыбнулась:

— Ну хорошо, пусть будет так.

Омито вскочил, коснулся ног Джогомайи и воскликнул:

— Вот почему надо верить в судьбу. У меня была мать, я не совершал никаких подвигов благочестия, чтобы приобрести тетю. Но вот столкнулись автомобили — подвиг далеко не благочестивый, — и тотчас же в мою жизнь, словно посланница богов, вошла тетя. Подумайте, сколько веков благочестия должно было предшествовать этому чуду!

— Чья же судьба этому помогла — твоя, моя или шопера? — улыбаясь, спросила Джогомайя.

Омито взъерошил свои густые волосы.

— Трудный вопрос! Судьбы одного человека для этого мало. Вся вселенная из века в век, от звезды к звезде должна была готовиться к тому, что произошло в пятницу, ровно в десять часов сорок восемь минут. Но что будет теперь?

Джогомайя искоса взглянула на Лабонно и усмехнулась. Еще как следует не зная Омито, она уже решила, что эти двое созданы друг для друга. Поэтому она сказала:

— Вы пока здесь побеседуйте, а я пойду позабочусь о завтраке.

Омито умел быстро завязывать разговор. И он сразу же начал:

— Тетя велела нам побеседовать. Но прежде надо представиться. Давайте сразу же покончим с этим. Вы ведь знаете мое имя — то, что в английском языке называют «именем собственным»?

— Я знаю только, что вас зовут Омито.

— Далекое не во всех случаях.

— Случаев может быть много, — улыбнулась Лабонно, — но имя должно быть одно.

— То, что вы сказали, несовременно. Страна, время, люди — все меняется, и говорить, что имя не должно меняться, — непаучьно. Я решил прославиться, пропагандируя теорию относительности имен. И для начала объявляю вам, что в ваших устах мое имя не должно звучать «Омито-бабу».

— Вам нравится, когда вас называют по-английски — мистер Рой?

— Это заморское имя какое-то чужое. Чтобы определить, насколько коротко имя, надо узнать, как быстро доходит оно от ушей до сердца.

— Какое же ваше самое быстрое имя?

— Чтобы увеличить скорость, надо уменьшить вес. Отбросьте «бабу» от «Омито-бабу»!

— Не торопитесь, для этого нужно время,— возразила Лабонно.

— Время не для всех одинаково. В мире нет единых часов. Карманные часы показывают время в зависимости от того, в каком кармане они находятся. Это теория Эйнштейна.

Лабонно встала.

— Вода для вашего омовения остывает.

— Я охотно совершу омовение холодной водой, если вы уделите мне еще немного времени.

— Простите, я спешу, и дела не ждут.— С этими словами Лабонно вышла.

Омито не сразу пошел совершать омовение. Он сидел и припоминал каждое улыбочное слово Лабонно, произнесенное ее прекрасными устами. Омито видел много красивых девушек, но их красота напоминала лунную ночь, яркую и в то же время таинственную. Красота Лабонно была похожа на утреннюю зарю — все в ней было ясно, все было озарено светом разума. Создавая ее, творец вложил в эту девушку какие-то мужские качества. С первого взгляда становилось ясно, что она наделена не только способностью чувствовать, но и способностью мыслить. Это и привлекало Омито. Он и сам был умен, но не умел прощать, был рассудителем, но нетерпелив, многому научился, но не обрел успокоения. На лице Лабонно он впервые увидел выражение покоя, порожденного не самодовольством, а глубоким миром серьезного и уравновешенного ума.

VI

ПРИЗНАНИЕ

Омито не выносил одипочества. Он не мог долго любоваться красотами природы. Ему необходимо было с кем-либо говорить. С природой нельзя обходиться фамплярно. Если с ней обращаться не так, как должно, наказание не замедлит последовать. Природа подчиняется закону и хочет, чтобы другие тоже следовали закону. Одним словом, природа лишена чувства юмора. Поэтому вне города Омито задыхался, как рыба, вытасченная из воды. Но теперь —

странное дело — горы Шиллопта словно притягивали Омито.

Сегодня он встал раньше солнца, и это было на него совершенно непохоже. Он взглянул в окно и увидел, как колеблются неясные сплуэты деодаров, а за ними из-за гор поднимается солнце и пронизывает золотыми иглами своих лучей прозрачные облака. Омито долго и безмолвно наблюдал за игрой огненных красок.

Торопливо проглотив чашку чая, он вышел из дому. Дорога была безлюдна. Под старой сосной, поросшей лишайниками, Омито сел на душистый ковер из опавшей хвои. Вытянув ноги, он зажег сигарету, но тут же забыл о ней, и она скоро потухла. Через этот лес шла дорога к дому Джогомайи. Так же как человек перед обедом вдыхает запахи пищи, доносящиеся из кухни, так и Омито, сидя здесь, представлял себе все очарование дома Джогомайи. Он ждал часа, когда можно будет пойти туда на чашку чая.

Сначала он приходил в этот дом только по вечерам. Но потом репутация знатока литературы дала Омито возможность посещать дом Джогомайи в любое время. Первые дни Джогомайя тоже проявляла интерес к литературным беседам, однако скоро обнаружила, что ее присутствие охлаждает энтузиазм собеседников. Нетрудно было понять, что третий тут лишний. С тех пор у нее всегда пахнулись причины для отсутствия. Эти причины были, конечно, вымышленными, так как хозяйка дома заметила, что интерес, который проявляли к беседам Омито и Лабонно, был чем-то большим, нежели просто интерес к литературе. Омито, в свою очередь, понял, что, хотя Джогомайя не молода, глаза ее зорки, а душа отзывчива. И его любовь к беседам возросла. Чтобы продлить свое пребывание в их доме, он договорился с Джотишонкором, что будет помогать ему в изучении английской литературы — час утром и два вечером. Он взялся за дело с таким рвением, что утренний час неизменно растягивался до полудня, а там начинались всякие посторопные разговоры, и в конце концов ему приходилось уступать просьбам Джогомайи и оставаться до завтрака. Так со временем круг его обязанностей в доме постепенно расширился.

Его занятия с Джотишонкором должны были начинаться в восемь утра. Для Омито это было очень неудобное время. Он говорил, что существо, которое провело в утробе девять месяцев, не может вставать вместе с птицами

и животными. До сих пор почтой сон захватывал немало утренних часов. Омито любил говорить, что украденное время — самое приятное для сна, так как оно незаконное. Но теперь сон Омито утратил безмятежность: ему самому не терпелось встать пораньше. Он просыпался раньше времени и уже не позволял себе поваляться в постели, опасаясь проспать. Иногда он даже переставлял стрелку своих часов вперед, но делал это не слишком часто, опасаясь быть уличенным в краже времени. Сегодня он взглянул на часы и увидел, что еще нет и семи. Часы наверняка испортились! Он поднес их к уху, но услышал обычное тиканье...

Размышляя обо всем этом, Омито вдруг увидел Лабонно. Она шла по дороге, размахивая зонтиком; на ней было белое сари, на плечах треугольная шаль с черной бахромой. Омито не сомневался, что Лабонно сразу заметила его, но не хочет в этом признаться и взглянуть ему прямо в глаза. Однако, когда Лабонно дошла до поворота, Омито уже не мог удержаться и догнал ее.

— Вы знали, что вам не уйти от меня, и все-таки заставили меня бежать, — сказал он. — Разве вам неизвестно, какие неудобства вызывает всякое расстояние?

— Какие же?

— Из души несчастного, который остался позади, рвется крик. Но как он крикнет? С богами удобнее: они довольны, когда их называют по имени. Если крикнуть: «Дурга! Дурга!», десятирукая богиня будет довольна. С женщинами труднее...

— Вы могли бы и не кричать.

— Мог бы, если бы вы были близко. Поэтому я и говорю: не удаляйтесь! Нет ничего трагичнее, когда хочешь позвать и не можешь.

— Почему же? Вы ведь знакомы с английскими обычаями!

— Назвать вас мисс Датт? Это хорошо за чайным столом. Земля сегодня встретилась с небом, и сияние зари благословило их встречу. Слышите? Ключ летит от неба к земле, а от земли вздымается к небесам. Разве в жизни человека не приходит мгновение, когда такой же ключ рвется из груди? Вообразите, что сейчас из моей груди вырвется ваше имя, разнесется по лесу, достигнет этих ярких облаков! Эти горы, увенчанные шапкою туч, тоже услышат его и задумаются. Разве уместно здесь «мисс Датт»?

— Придумывание имен требует времени, — уклонилась от ответа Лабонно. — А я хочу завершить прогулку.

— Человеку требуется немало времени, чтобы научиться ходить, — продолжал Омито, шагая рядом с ней. — А вот мне, напротив, пришлось довольно долго учиться сидеть. Только этому и научился! Английская пословица гласит: катящийся камень мхом не обрастет. С этой мыслью я и пришел сюда еще затемно и сел у края дороги.

— Вы знаете, как называют этих зеленых птичек? — спросила Лабонно, неожиданно меняя тему разговора.

— Я знал понаслышке, что среди живых существ есть птицы. Но никогда не придавал этому значения. И только здесь с удивлением обнаружил, что на свете действительно есть птицы и что они поют.

— Удивительно! — со смехом воскликнула Лабонно.

— Вы смеетесь! — воскликнул Омито. — Даже о серьезных вещах я не умею говорить серьезно. Это какое-то наваждение! Видно, я родился при свете луны, которая не исчезает, не ухмыльнувшись, — даже в самую страшную и черную ночь.

— Не вините меня! Даже птицы рассмеялись бы, если бы вас слышали.

— Знаете, люди смеются потому, что не сразу понимают значение моих слов. Если бы они понимали, то, наверное, промолчали бы и задумались. Вам смешно, что сегодня я впервые увидел птиц. Но это означает, что сегодня я все вижу в новом свете, даже себя. Над этим не стоит смеяться. Вот видите, на этот раз и вы молчите, хотя я сказал почти то же самое.

— Но ведь вы еще не старик, вы молоды, откуда же такое чувство? — улыбнувшись, спросила Лабонно.

— На это трудно ответить, трудно пайти слова... То ощущение нового, которое пришло ко мне, бесконечно старо. Оно старо, как сияние зари, как распускающийся цветок, как нечто давно знакомое, но вечно новое.

Лабонно молча улыбнулась.

— Ваша улыбка — будто луч фонаря полицейского, охотящегося за вором. Я знаю: то, что я сейчас сказал, вы читали раньше у вашего любимого поэта. Прошу вас, однако, не считайте меня презренным вором! Бывают моменты, когда превращаешься в Шанкарачарью и говоришь, что разница между «я написал» и «он написал» — всего лишь иллюзия. Так вот, когда я сидел здесь сегодня утром, мне вдруг пришло в голову, что из всех известных

мне стихотворений некоторые строки мог бы написать только я и никто другой.

— Что же это за строки? — любопытствовала Лабонно. — Вы их помните?

— Да, конечно.

Лабонно больше не могла сдерживать любопытства и попросила:

— Прочтите их мне!

Омито продекламировал по-английски:

Ради бога, молчи и дозвожь мне любить!

Сердце Лабонно вздрогнуло.

После долгого молчания Омито спросил:

— Вы, конечно, знаете, кому принадлежит эта строка?

Лабонно кивнула головой.

— Как-то на вашем столе я обнаружил стихи Донна, — продолжал Омито, — иначе я не припомнил бы этой строки.

— Обнаружили?

— Как же сказать иначе? В книжной лавке я просто вижу книги, но на вашем столе они раскрывают свои богатства. На столах публичной библиотеки они только лежат, но на вашем столе — живут. Не удивительно, что, увидев у вас стихи Донна, я был потрясен. У дверей других поэтов стоит толпа, точно нищие на похоропах богача. Чертог поэзии Донна пустынен, там есть место только для двоих, чтобы сесть рядом, близко друг к другу. Поэтому я так отчетливо услышал утром голос сердца:

Ради бога, молчи и дозвожь мне любить!

Омито повторил строку по-бенгальски.

— Разве вы пишете стихи на бенгали? — удивленно спросила Лабонно.

— Боюсь, что с сегодняшнего дня начну. Прежний Омито Рай и не подозревал, каких дел патиротит новый Омито Рай. Кажется, он уже сейчас ринется в бой!

— В бой? С кем?

— Еще точно не знаю, знаю только, что готов пожертвовать жизнью ради чего-то большого, великопленного. И если потом придется раскаться — что ж, времени па это всегда хватит.

— Если вы действительно хотите пожертвовать жизнью, делайте это осторожно, — с улыбкой предостерегла Лабонно.

— Бесплезно говорить мне об этом. Я не собираюсь

участвовать в каком-нибудь бунте. Я буду избегать и мусульман и англичан. Но если я увижу приверженца древних обычаев, с кротким лицом типичного сторонника не-насилия, старое чучело в машине, я стану на его дороге и крикну: «К бою!» Вы знаете этих «больных», которые вместо того, чтобы лечь в больницу, едут в горы и бесстыдно нагуливают здесь аппетит.

— А если этот человек отмахнется от вас и поедет дальше? — засмеялась Лабонно.

— Тогда я подниму обе руки к небу и воскликну: «На сей раз я простил тебя! Ты мой брат, и мы оба — дети одной матери — Индии». Знаете, когда сердце переполнено, оно может звать в бой, но может и прощать.

Лабонно рассмеялась.

— Когда вы сказали, что рветесь в бой, — сказала она, — я испугалась, но когда вы заговорили о прощении, я поняла, что тревожиться не о чем.

— Вы исполните мою просьбу? — спросил Омито.

— Смотря какую.

— Прервите вашу прогулку, чтобы я не подумал, будто вы тоже нагуливаете аппетит.

— Хорошо. Это все?

— Давайте сядем под деревом. Вот здесь, под смеющимся ручьем, на этот камень, покрытый разноцветными лишайниками.

Лабонно посмотрела на свои часики и сказала:

— Но у нас мало времени.

— Недостаток времени — самая сложная и трагичная проблема пхэзии. Когда у путника в пустыне остается только полкувшина воды, он должен следить, чтобы она не вылилась на песок. Пунктуальными могут быть лишь те, у кого времени хоть отбавляй. У богов время безгранично, только поэтому солнце всходит и заходит всегда вовремя. Наше время ограничено, и тратить его на то, чтобы быть пунктуальным, — непростительное безрассудство. Если кто-нибудь из бессмертных спросит меня: «Что ты делал на земле?» — я со стыдом отвечу: «Постоянно следя за стрелкой часов, я не имел времени увидеть, что в жизни есть еще что-то, кроме времени». Вот почему я и предюжнил вам посидеть здесь.

Омито всегда пребывал в полной уверенности, что другие одобряют все, что одобрял он сам. Поэтому возражать ему было трудно. И Лабонно согласилась.

— Хорошо, посидим.

Узкая тропинка спускалась из густого леса к деревне. Не обращая внимания на эту тропинку, тонкий ручеек от маленького водопада пересекал ее и бежал дальше, оставив мелкие камешки в знак своего права выбирать путь, где ему вздумается. Лабонно и Омито сели на камень. В этом месте в небольшой, но глубокой заводи вода притаилась, как робкая девушка за зеленым занавесом на женской половине дома. Дух уединенности, витавший здесь, заставил Лабонно покраснеть, словно с нее самой сняли покрывало. Она хотела что-нибудь сказать, чтобы скрыть смущение, но не могла вымолвить ни слова, — так бывает во сне, когда пытаешься закричать и не можешь.

Омито понял, что надо нарушить молчание.

— Знаете, — произнес он, — у нас существует два языка — литературный и разговорный. Но, кроме них, необходим еще третий язык — не повседневный, не деловой, а интимный, для таких уголков, как этот. Он должен быть как песня птицы, как стихи поэта, он должен литься произвольно, как плач ребенка. Какой стыд, что нам приходится заимствовать этот язык из книг! Представьте, что было бы, если бы всякий раз, когда захочется посмеяться, нам пришлось бы бежать к зубному врачу! Скажите правду, вам хотелось бы, чтобы сейчас ваша речь звучала, как музыка?

Лабонно опустила голову и промолчала.

Омито продолжал:

— За чашкой чая все время приходится думать, что уместно, а что неуместно. Здесь нет ни приличного, ни неприличного. Что же нам делать? Остается излить душу в стихах. Проза требует слишком много времени, а у нас его мало. Если вы позволите, я начну.

Лабонно пришлось согласиться, чтобы скрыть свое смущение.

Прежде чем начать, Омито спросил:

— Вы, кажется, любите стихи Рабиндраната Тагора?

— Да, люблю.

— А я нет. Поэтому извините меня. У меня есть свой поэт. Его поэзия так хороша, что его мало кто читает, даже мало кто удостоивает ругани. Я хочу прочесть вам его стихи.

— Но почему вы так волнуетесь?

— У меня печальный опыт. Порция лучшего из поэтов, мы развенчиваем его. Даже если мы просто молча

пренебрегаем им, все равно в душе мы паграждаем его самыми нелеплыми эпитетами. То, что правится мне, может не понравиться другому. Сколько кровавых битв происходит из-за этого на земле!

— О, я не сторонница кровавых битв и никому не навязываю своего вкуса.

— Хорошо сказано. В таком случае я начну без страха:

О Неведомая,
Почему ты хочешь бежать,
Не дашь мне себя познать?

Вы уловили суть? Оковы неведомого — самые страшные из оков! Я узник неведомой Тайны и, только когда познаю ее, получу освобождение. Это и есть мукти, освобождение души от перерождения.

В час глухой, предрассветный, сонный,
Когда разум отягощенный
Разомкнул на мгновение видений кольцо,
Я увидел твоё лицо
И глаза, обведенные тенью,
И ресницы — как два крыла...
Где же ты до сих пор была?
В каких тайниках забвенья?

Нет пещеры темнее той, где человек забывает себя. Все сокровища, которые мы не заметили в жизни, собраны в тайниках потерявшей себя души. Но не следует впадать в отчаяние!

Да, познать тебя пелегко!
Путь к тебе не продолжишь
Ложью
Слов, нашептываемых на ушко,—
Я от этого далеко.
Гордый сплой души моей,
Я рассею твои сомнения,
Нерешительность, подозрения,
И тогда лишь — из тьмы почей
Вознесу тебя прямо к свету
И победу восславлю эту!

Чувствуете, какая уверенность? Какая сила? Какая мужественная энергия стиха?

Ты в слезах от сна пробудишься
И, познав свою красоту,
К жизни истинной возродишься.
Я тебе подарю свободу
И свободу сам обрету.

Таких стихов нет ни у кого из ваших знаменитостей!
Это не просто лирика, а сама неуловимая правда жизни!
И, пристально глядя на Лабонно, Омито продолжал:

О Неведомая!
День уходит, и вечер горит пожаром,—
Поспеши!
О, дозвожь мне одним ударом
Сокрушить оковы души,
Чтобы вспыхнуло перед нами
Ярче солнца познания пламя!
Жизнь готов отдать
Ради этого,
Чтоб тебя познать,
О Неведомая!

Дочитывая стихи, Омито взял Лабонно за руку. Лабонно не отняла руки. Она смотрела на Омито и не произносила ни слова. Да теперь и не нужны были никакие слова. Лабонно забыла о времени.

VII СВАТОВСТВО

Омито пришел к Джогомае и объявил:

— Маши-ма, я пришел свататься. Пожалуйста, не привередничайте и не отказывайте мне.

— Согласна, если понравится жених. Прежде всего, кто он? Где живет? Каков собой?

— Имя не определяет достоинства жениха,— возразил Омито.

— Что ж, в таком случае мне придется быть особенно требовательной.

— Это несправедливо. Люди с громкими именами хороши только в обществе, но не дома. Они пекутся о своей славе, а не о счастье домашнего очага. Женам они уделяют лишь частицу себя, этого недостаточно для семьи. Брак знаменитых людей — не настоящий брак, он так же достоин порицания, как и многоженство.

— Хорошо, оставим пока имя жениха. А как он выглядит?

— Мне не хочется говорить об этом: я боюсь преувеличить.

— Насколько мне известно, все сваты преувеличивают.

— При выборе жениха важны две вещи: чтобы его

громкое имя не мешало счастьем дома и чтобы его красота не затмевала красоту невесты.

— Ладно, не будем говорить о его имени и внешности. Поговорим об остальном.

— Остальное все считают положительными качествами жениха.

— Умен?

— Достаточно, чтобы заставить людей поверить в его ум.

— Образован?

— Как сам Ньютон. Он знает, что на берегу океана знаний сумел подобрать всего несколько камешков. Но, в отличие от Ньютона, не осмеливается в этом признаться, боясь, как бы его не поймали на слове.

— Я вижу, достоинств у жениха не очень-то много.

— Для того чтобы узнать щедрость Анпапури, сам Шива называл себя нищим и несколько этого не стыдился.

— В таком случае опиши жениха поподробнее.

— Он из знакомой вам семьи. Имя жениха — Омито Кумар Рай. Что вы смеетесь, тетя? Вы думаете, это шутка?

— Да, дорогой, я опасюсь, что в конце концов это окажется шуткой.

— Такое подозрение порочит жениха.

— Ох, суметь насмешить — тоже немалое достоинство!

— Этой способностью обладают боги. Поэтому они и не годятся в женихи. Дамаянти это поняла.

— Тебе правда нравится моя Лабонно?

— Испытывайте меня, как хотите.

— Испытание может быть только одно. Ты хорошо знаешь, что Лабонно в твоих руках.

— Нояните ваши слова.

— Я считаю настоящим ювелиром того, кто знает истинную цену жемчужины, даже если она досталась ему дешево.

— Вы слишком усложняете вопрос. Это все равно, что заострять психологические проблемы в маленьком рассказе. На деле все обстоит гораздо проще: один человек без ума от одной девушки и хочет на ней жениться. Молодой человек, учитывая все его достоинства и недостатки, можно сказать, подходящий, о девушке и говорить не приходится. В подобных случаях матери невест радуются и веселятся.

— Не беспокойся, дорогой, все радости еще впереди. Вообрази, что Лабонно уже твоя. Если и сейчас ты будешь

так же сильно желать ее, тогда я поверю, что ты достоин такой девушки, как Лабонно.

— Вы удивляете даже такого сверхсовременного человека, как я.

— Чем же это?

— Похоже, в двадцатом веке маши-ма боятся выдавать девушек замуж!

— Это потому, что в прошлом веке они выдавали замуж не девушек, а кукол. А сейчас девушки не желают быть игрушками для маши-ма.

— Не беспокойтесь. Люди никогда не довольствуются достигнутым, наоборот — они всегда хотят иметь больше. В доказательство скажу, что Омито Рай для того и явился на землю, чтобы жениться на Лабонно. Иначе зачем бы неодушевленный предмет — мой автомобиль — совершил столь невероятный фантастический поступок в таком невероятном месте и в такое фантастическое мгновение?

— Дорогой мой, твои речи не подходят человеку, собирающемуся жениться. Как бы в конце концов все это не оказалось детской затеей.

— О нет, просто у меня особый склад ума, благодаря которому самые серьезные мысли облекаются в легкомысленные слова. Но от этого они не менее серьезны.

Джогомайя вышла присмотреть за приготовлениями к завтраку. Омито некоторое время слонялся из комнаты в комнату, но так и не пошел ту, которую хотел увидеть. Он встретил лишь Джотишонкора и вспомнил, что сегодня должен был читать с ним драму Шекспира «Антоний и Клеопатра». Увидев выражение лица Омито, Джотишонкор тотчас понял, что его первейший долг — пожалеть несчастного и отложить на сегодня всякие занятия.

— Омито, — сказал он, — если ты не против, я бы сегодня отдохнул и полазил по горам Шиллонга.

Омито искренне обрадовался.

— Те, кто занимается без отдыха, не усваивают прочитанное, — ответил он. — Почему ты думаешь, что я могу быть против, если тебе хочется отдохнуть? Это глупо.

— Но завтра ведь воскресенье. Ты мог подумать...

— Нет, братец! Я не рассуждаю, как школьные учителя. Я не считаю воскресенье днем отдыха. Наслаждаться свободой в назначенный день — все равно что охотиться за привязанным животным. Пропадает всякое удовольствие.

Джоти развеселился, догадавшись об истинной причине

ше, но которой Омито вдруг начал ратовать за свободу в выборе дней отдыха.

— С некоторых пор ты выдвигаешь все новые теории насчет свободных дней,— сказал он.— В прошлый раз ты мне тоже прочел об этом целую лекцию. Если так пойдет дальше, я скоро в этом деле стану крупнейшим специалистом.

— О чем это я говорил в прошлый раз?

— Ты сказал: «Стремление к педозволенному — великая добродетель. Когда появляется такое стремление, не следует медлить». С этими словами ты закрыл книгу и тотчас вышел. Наверное, за дверью появилось нечто педозволенное, только я не заметил...

Джоти было еще далеко до двадцати. Волнение в душе Омито затронуло и его. До сих пор он видел в Лабонно только учительницу, но теперь благодаря Омито обнаружил, что она женщина.

— Есть совет, который ценится, как золотая монета с изображением Акбара. Вот он: «Когда есть дело, надо всегда быть к нему готовым». Но на обратной стороне следует выгравировать: «Когда безделье вызывает на бой, принимай геройски его вызов»,— весело парировал Омито.

— Понятно. За последние дни я убедился в твоём гонизме!

Омито похлопал Джоти по спине.

— Когда в календаре твоей жизни настанет чистый ашгам, немедля почти богиню, пожертвуй ради нее всеми неотложными делами. Ибо сразу за этим наступит бедный дашамп.

Джоти ушел. Дух искушения резвился вовсю, но та, что выпустила его на волю, не показывалась. Омито вышел в сад.

Ветки вьющейся розы были усыпаны цветами. С одной стороны дорожки росли подсолнухи, с другой, в деревянных квадратных вазонах, цвели хризантемы, напоминающие луну. В верхнем конце отлогой лужайки возвышался могучий эвкалипт. Под этим деревом, прислонившись к стволу, сидела Лабонно, закутанная в сари пепельного цвета. Лучи утреннего солнца освещали ее ноги. На коленях у нее был расстелен платок с кусками хлеба и колотыми грецкими орехами. Она собиралась с утра покормить животных, но позабыла об этом. Омито подошел и остановился перед ней. Лабонно подняла голову. Омито сел напротив.

— У меня хорошие вести,— сказал он,— я получил согласие твоей маппи-ма.

Не отвечая, Лабонно бросила расколотый орех под персиковое дерево, на котором не было плодов, и тотчас по его стволу соскользнула белочка. Это была одна из многих подопечных Лабонно.

— Если ты не против, я придумаю тебе особое имя,— снова заговорил Омито.

— Придумай.

— Я буду звать тебя Бонно-Лесная.

— Бонно?!

— Нет, нет, это тебе совсем не подходит! Такое имя годится только для меня. Я буду звать тебя Бонне-Поток. Что ты скажешь?

— Что ж, зови, только не при тете.

— Конечно, нет. Это имя как маппра, только для посвященных, оно только для монахов и твоих ушей.

— Пусть будет так.

— Мне тоже нужно иное имя. Как тебе покажется Брахмапутра? Внезапно в нее вливается Поток-Бонне и переполняет берега.

— Слишком тяжелое имя для каждого дня.

— Ты права. Придется нанимать кули, чтобы его носить. Тогда сама придумай мне имя. Пусть оно будет создано тобой.

— Хорошо, я тоже сделаю из твоего имени уменьшительное и буду звать тебя Мита-Друг.

— Превосходно! В стихах это слово звучит: «товарищ». А почему бы тебе не называть меня так при всех? Что в этом такого?

— Боюсь, то, что дорого для одного, покажется дешевым для других.

— Гм, ты, пожалуй, права. Послушай, Бонне!

— Что, Мита?

— Если я напишу поэму, знаешь, какой эпитет я поставлю в твоему имени? Несравненная.

— Что это значит?

— А то, что ты такая, как есть,— и больше никакой.

— В этом нет ничего удивительного.

— Как ты можешь так говорить! Наоборот, это очень удивительно. Волею судеб я встречаю человека и до того поражен, что не могу удержаться от крика: «Она похожа только на себя и ни на кого больше!» Знаешь, что я скажу в своей поэме?

О Бонне, твоя красота совершенна
Тем, что она ни с чем не сравнима!

- Надеюсь, ты не собираешься писать стихи?
- А почему бы нет? Кто может мне помешать?
- Откуда такая отчаянная решимость?
- Сейчас объясню. Сегодня ночью я не мог уснуть

до половины третьего, но вместо того, чтобы переверачиваться с боку на бок, я перелистывал страницы одного оксфордского сборника. И я не нашел стихов о любви, хотя раньше они попадались мне там на каждом шагу. Тогда я понял, что мир ждет таких стихов от меня.

Он взял руку Лабонно в свои и продолжал:

— Мои руки запяты, как же я возьму карандаш? Лучшая рифма — прикосновение рук. Твои пальцы — как они шепчутся с моими! Ни один поэт не может писать выразительней и проще.

— Ох, Мита, ты так разборчив, так требователен, что я просто боюсь!

— Но подумай о том, что я говорю. Рама хотел испытать чистоту Ситы огнем, обыкновенным материальным огнем костра, и потерял ее. Чистота поэзии тоже испытывается огнем, но огнем души. Чем же будет испытывать стих тот, у кого в сердце нет огня? Ему придется довериться чужим словам, а они зачастую лживы. Сейчас в моем сердце горит огонь. При свете этого огня я перечитываю все, что читал раньше. Как же мало из этого остается. Почти все сгорает и превращается в пепел. Сегодня этой шумной толпе поэтов мне пришлось сказать: «Умолкните, не кричите! Тихо произнесите единственно правильные слова:

Радн бога, молчи и дозволяй мне любить!

Они долго сидели молча, потом Омито поднял руку Лабонно, тихонько провел ею по своему лицу.

— Подумай, Бонне,— заговорил он,— как много людей в это утро, в это самое мгновение жаждут счастья и как немного из них его получают. Я один из немногих. И на всей земле только ты одна видишь этого счастливого в горах Шиллонга под этим эвкалиптом. Самые чудесные вещи на земле застенчивы, они избегают попадаться людям на глаза. А вот когда какой-нибудь политикан где-нибудь между Голдигхи в Калькутте и Ноакхали в Читтагонге с криком грозит кулаком в пространство и стре-

ляет холостыми патронами, сообщения об этом разносятся по всей Бенгалии и считаются самыми интересными... Но кто знает, может быть, оно и к лучшему!

— Что к лучшему?

— То, что прекрасное незримо бродит по дорогам жизни, а не увядает от докучного внимания толпы. Этой мудростью живет все мироздание. Но что с тобой? Я все болтаю, а ты молчишь и о чем-то думаешь. О чем?

Лабонно сидела, опустив голову, и ничего не отвечала.

— Мне кажется, ты даже не обратила внимания на мои слова,— сказал Омито.

Лабонно проговорила, не поднимая глаз:

— Когда я слушаю твои речи, Мита, мне делается страшно.

— Чего же ты боишься?

— Я не могу понять, чего ты хочешь от меня и что я могу дать тебе.

— Твой дар тем и ценен, что ты даешь, не размышляя.

— Когда ты сказал, что маши-ма дала согласие, меня охватил непреодолимый страх оказаться в плену, в ловушке.

— Ты и попадешь ко мне в плен!

— Мита, ты гораздо умнее меня, и вкус у тебя тоньше. Если я пойду одной дорогой с тобой, настанет время, когда я отстану от тебя, и ты не обернешься и не позовешь меня. Я не буду тогда винить тебя. Нет, не говори ничего, прежде выслушай! Я умоляю тебя, откажись от жеманности. Если развязывать узел после свадьбы, он только туже затянется. Мне достаточно того, что я получила от тебя. Я пронесу это через всю жизнь. И сейчас прошу об одном: не обманывай сам себя!

— Боже, зачем ты вносишь в щедрость сегодняшнего дня скверность завтрашнего?

— Мита, ты дал мне силы говорить правду. Ты и сам в глубине души согласишься с тем, что я говорю. Ты не хочешь признаться в этом, боишься, что даже тень сомнения омрачит твою радость. Но ты не из тех, кто удовлетворится семьей. Ты вечно ищешь чего-то нового, что можешь утолить жажду твоей души. Поэтому ты бросаешься от литературы одной страны к другой, поэтому ты пришел ко мне. Сказать тебе правду? В глубине души ты убежден, что брак, как бы ты сказал, «вульгарен». Он слишком добропорядочен, он для тех, кто бормочет священные заклинания, валяется на мягких подушках и считает жену

своей собственностью, такой же, как мебель или домашний скот.

— Бонне, ты умеешь говорить самые жестокие вещи самым нежным голосом.

— Мита, я так люблю тебя, что скорее буду жестока, чем дам тебе ошибиться. Оставайся таким, каков ты есть, и люби меня так, как можешь, но не бери на себя никаких обязательств, — тогда и я буду счастлива.

— А теперь дай сказать мне! Как удивительно ты описала мой характер. Я не буду возражать. Но в одном ты ошиблась. Даже человеческий характер меняется. Как домашнее животное, он скован цепями и неподвижен. Но в один прекрасный день под напором неожиданного счастья цепи рвутся, и он устремляется на свободу, в леса — тогда характер становится совсем иным.

— Каков же твой характер сейчас?

— Сейчас я сам на себя не похож. Раньше мне приходилось встречаться со многими девушками — на гладко вымощенных перекрестках общественной жизни при изысканном свете полужатенных ламп, там, где люди знакомятся, но не узнают друг друга. Скажи сама, Бонне, разве наша встреча похожа на эти?

Лабонно не отвечала. Омито продолжал:

— Две звезды совершают свой путь, приветствуя друг друга с почтительного расстояния. Пристойный и безобидный закон, по которому между двумя звездами существует взаимное тяготение, но нет непреодолимого влечения. И вдруг на них обрушивается удар, и свет их меркнет, и они сливаются, чтобы вспыхнуть одним ярким пламенем! Вот такой огонь переплавил Омито Рая. Так происходит не только со звездами, но и с людьми. Кажется, что их жизнь — непрерывный поток, а на деле — это цепь случайностей. Создание идет внезапными толчками, порывами, в быстром ритме, — так одна эпоха сменяет другую. Бонне, ты нарушила ритм моей жизни, и в новом ритме твой голос и мой слились вместе!

Глаза Лабонно были влажны от слез. Но она не могла отделаться от мысли, что у Омито чисто литературный склад ума, что каждое впечатление вызывает в нем новый поток слов. Этот дар дала ему жизнь, и в нем он находит радость. «Поэтому-то я ему и нужна! Боже, дай мне тепла, чтобы растопить лед его застывших чувств!» — думала Лабонно.

Они долго сидели молча. Вдруг Лабонно спросила:

— Ты не думаешь, Мита, что, когда был закончен Тадж-Махал, в тот день Шах Джахан радовался смерти Мумтаз? Ведь ее смерть была необходима, чтобы увековечить его мечты! Ее смерть — самый великий дар любви Мумтаз. В Тадж-Махале воплощено не горе, а радость Шаха Джахана.

— Ты все время меня удивляешь,— проговорил Омито.— Ты настоящая поэтесса.

— Поэтессой я не была и не буду.

— Почему?

— Не хочу огнем жизни зажигать светильники слов. Слова хороши для тех, кто получил приказ украсить зал празднеств жизни. Огонь моей жизни — для жизненных дел.

— Ты отвергаешь слова, Бонне? Разве ты не видишь, что твои слова пробудили меня? Ты сама не знаешь, какая сила в твоих словах! Я чувствую, мне снова придется призвать Нибарона Чокроборти. Тебя сердит частое повторение этого имени, но что делать? Этот человек — хранитель моих самых сокровенных мыслей! Нибарон еще не стар и еще не надоел самому себе. Каждый раз, как он пишет поэму, ему кажется, что это его первая поэма. На днях, роюсь в его записных книжках, я нашел новые стихи. Это стихи о водопаде. И откуда он только узнал, что в горах Шиллонга я тоже нашел свой водопад? Вот слушай:

О Водопад, в прозрачных струях
Твоих кристальных вод
И солнце и луна, ликуя,
Ведут свой хоровод.

Если бы я писал сам, то не смог бы описать тебя вернее. Твоя душа так прозрачна, что в ней отражается свет небес. Я вижу этот свет на твоем лице, в твоей улыбке, в твоих словах, в том, как покойно ты сидишь, и в твоей походке, когда ты идешь по дороге.

Дозволь и мне хотя бы тенью
Коснуться струй твоих,
Услышать вечное в движении,
Твой голос, говор, смех и пенье
И захлебнуться в них!

Ты водопад. Ты не просто движешься в потоке жизни, ты поешь при движении. Даже тяжелые неподвижные камни подпевают тебе, когда ты прыгаешь по ним, касаясь их легкой стопой.

Пусть тень моя со дня потока,
Впитав твой смех и свет,
Воспримет к небу так высоко,
Как может воспарить лишь сокол
Да пламенный поэт,
И с каждым мгном, с каждым часом
Светлей душа, яснее разум,
И я безмерно рад,
Что, в струях чистых утопая,
Я новый голос обретаю,
Что я в тебе себя познаю,
О Водопад!

Лабонно слабо улыбнулась:

— Тень — всего лишь тень, ни свет, ни музыка не в силах ее удержать.

— Может быть, когда все исчезнет, ты поймешь, что красота моих слов останется.

— Где? — рассмеялась Лабонно. — В тетрадах Нибарона Чокроботи?

— А почему бы и нет? Поток, который струится в глубине моей души, изливается в фонтане Нибарона.

— Значит, когда-нибудь я найду твою душу только в фонтане Нибарона, и больше нигде.

Подошел слуга и доложил, что завтрак готов.

По дороге к дому Омито размышлял: «Лабонно хочет ясности, ей нужно все осветить светом разума, и она не может обманывать себя даже там, где самообман так естествен! И я не могу опровергнуть ее слов. Люди ищут отдушину для выражения самого сокровенного. Одни находят ее в жизни, другие — в своих сочинениях, то прикасаясь к жизни, то отходя от нее, как река, которая то набегает волнами на берег, то откатывается. А я? Неужели поток моих творений пронесет меня стороной — мимо жизни? Не в этом ли разница между мужчиной и женщиной? Мужчина создает новое, отдавая ему все свои силы, а новое спешит опровергнуть само себя, чтобы развиваться дальше. Женщины, наоборот, берегут свои силы и препятствуют появлению нового ради сохранения старого. И новое безжалостно к старому, которое преграждает ему путь. Отчего так происходит? Ведь рано или поздно они неизбежно сталкиваются! И чем больше точек соприкосновения, тем непримиримей вражда. Наверно, и для нас высшее счастье не в соединении, а в свободе».

Эти мысли причинили Омито страдание, но он не мог не согласиться с ними.

VIII

ДОВОДЫ ЛАБОННО

— Лабонно, милая, ты не ошиблась? — спросила Джогмайя.

— Нет, не ошиблась.

— Омито очень своенравен, я знаю, но за это и люблю его. Посмотри, ведь он сам не свой. У него все из рук валится.

— Если бы он мог все удерживать, если бы у него ничего не валилось из рук, вот тогда это было бы странно, — улыбувшись, ответила Лабонно. — А так он либо отказывается от легко достижимого, либо терлет полученное. Не в его характере беречь достигнутое.

— Сказать по правде, дорогая, мне его ребячество нравится.

— Таковы все матери и маши. Они берут на себя заботы и хлопоты, а на долю детей остаются забавы. Но почему ты велишь мне возложить на себя это бремя? Разве я смогу его вынести?

— Ты же видишь, Лабонно, как он притих, он, прежде такой порывистый и необузданный! Меня это даже растрогало. Что ни говори, а он тебя любит.

— Да, любит.

— Тогда о чем же ты печалишься?

— Я не хочу совершать над ним насилия.

— Лабонно, любовь всегда так или иначе стремится к насилью и поощряет его.

— Но всему есть предел! Нельзя насилловать душу! Сколько я ни читала о любви, мне всегда казалось, что трагедия любви начинается тогда, когда один не хочет принять другого таким, каков он есть, а стремится переделать его по своей мерке, подавить его волю.

— Дорогая моя, в семье не бывает так, чтобы супруги не оказывали друг на друга влияния. Там, где есть любовь, это происходит легко, а там, где нет любви, — насилие приводит к тому, что ты называешь трагедией.

— Мы не говорим о мужчине, созданном для семьи. Такой мужчипа как глина: жизнь без труда лепит из него то, что ей надо. Но когда характер у мужчипы твердый, он вряд ли откажется от своих привычек и склонностей, от своей индивидуальности. Если женщина этого не понимает, то чем больше она требует, тем меньше получает. Если мужчипа этого не понимает, то чем больше он на-

стаивает, тем скорее теряет власть над ее сердцем. И я думаю потому: очень часто, когда мы отдаем мужу руку, нам надевают наручники.

— Но чего же ты хочешь, Лабонно?

— Я не хочу выйти замуж и принести несчастье. Семейная жизнь не для всех. Есть люди, которые способны принять в другом человеке лишь какую-то часть его. А между тем мужчина и женщина, понавшие в сети семейной жизни, становятся столь близкими, что выпуждены иметь дело с другим человеком как с чем-то целым, со всем, что в нем есть. Между ними нет тогда ни малейшего расстояния, и ни один из них потому не в силах спрятать от другого даже частицу самого себя.

— Лабонно, ты себя не знаешь! В тебе нет ничего, что другой не мог бы принять.

— Но он-то не принимает меня такой! Мне кажется, он не видит настоящую меня — простую, обыкновенную девушку. Стоит мне затронуть его душу, и он разражается неудержимым потоком слов. Он придумал меня. Когда его мысль устанет и слова иссякнут, он увидит, что я вовсе не такая, какой он меня вообразил, и тогда — пустота. Когда человек женится, он должен брать другого таким, каков он есть, потому что потом его будет трудно переделать.

— Ты думаешь, Омито не сможет принять такую девушку, как ты?

— Сможет, если сам переменился. Но зачем ему меняться? Я этого не хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Я хочу как можно дольше оставаться для него мечтой, порождением его слов, игрой его фантазии. Но почему я называю это мечтой? Это мое новое рождение, моя новая жизнь, — если я ему представляюсь такой! Пусть этот образ появился из кокона его воображения яркой бабочкой, всего на день. Что за беда? Чем бабочка хуже других живых существ? Пусть она рождается с восходом и умирает на закате, — что из того? Это значит лишь, что времени мало и его нельзя терять понапрасну.

— Ну хорошо, предположим, для Омито ты только мимолетная мечта! Но что будет с тобой? Ты что же, вообще не собираешься замуж? Разве Омито для тебя тоже мечта, иллюзия?

Лабонно сидела молча, не говоря ни слова.

— Когда ты говоришь, — продолжала Джогомайя, — сразу видно — ты очень начитанна. Я не умею так думать

и так рассуждать. Может быть, даже в нужный момент я не смогу быть такой твердой, как ты. Но я разглядела тебя сквозь все твои рассуждения, дорогая. Как-то около полуночи я заметила свет в твоей комнате. Я вошла и увидела, что ты плачешь, склонившись к столу и закрыв руками лицо. Тогда ты не философствовала. Сперва я хотела подойти и утешить тебя, но потом подумала, что для всякой девушки приходит время, когда ей надо выплакаться, и тогда не следует ей мешать. Я прекрасно знаю, что ты хочешь любить сердцем, а не разумом. Ты не можешь жить, если тебе некому отдать душу. Потому я и говорю: ты должна быть с ним! Не связывай себя слишком поспешными зарокami. Я боюсь твоего упрямства, — если уж ты что-нибудь вобьешь в голову, переубедить тебя будет нелегко.

Лабонно не отвечала. Опустив голову, она неизвестно зачем то собирала в складки, то расправляла край сари у себя на коленях.

— Когда я смотрю на таких, как ты, — заговорила снова Джогомайя, — мне часто кажется, что от книг и размышлений ум ваш стал слишком уж изощренным. Вы придумали себе идеальный мир, не имеющий ничего общего с нашей земной жизнью. Вы уже не можете обходиться без лучей разума, пронизывающих тела, словно они вовсе не из плоти и крови. В наше время эти пути были нам неведомы, но для наших простых чувств и без того хватало радостей и печалей и поводов для размышлений. А сейчас вы напридумывали столько проблем и так их преувеличиваете, что все кажется вам чрезмерно сложным.

Лабонно улыбнулась. Совсем недавно Омито говорил Джогомайе о невидимых лучах — и вот, оказывается, как она поняла. Это свидетельствовало об ее утонченности. Мать Джогомайи, наверное, не смогла бы так понять эту мысль.

— Чем глубже разум человека проникает в тайну будущего времени, тем легче ему будет противостоять ударам судьбы, — проговорила Лабонно. — Страх перед тьмой непереносим потому, что тьма — это неизвестность.

— Мне сейчас кажется, — сказала Джогомайя, — что было бы лучше, если бы вы с ним не встретились.

— Нет, нет; не говори так! Я даже представить не могу, что все могло случиться иначе. Одно время я думала, что мне уже никогда не пробудиться, что вся моя жизнь пройдет в чтении книг и сдаче экзаменов. А теперь я вдруг увидела, что могу любить. Невозможное стало воз-

можным, и это уже очень много. Мне кажется, раньше я была всего лишь тенью, а теперь стала живым существом. Чего мне еще желать? Только не проси меня выходить замуж!

С этими словами Лабонно соскользнула со стула на пол и зарыдала, спрятав лицо в коленях у Джогомайи.

IX

ПЕРЕМЕНА ЖИЛИЩА

Сначала все были уверены, что Омито вернется в Калькутту через пару недель. Норен Миттер даже поспорил, что Омито не высидит в Шиллонге и недели. Но прошел месяц, прошло два, а о возвращении не было и речи. У Омито кончился срок аренды дома, и его занял заминдар из Рангпура. После долгих поисков Омито удалось найти себе жилье неподалеку от дома Джогомайи. Одно время там жил не то пастух, не то садовник, затем дом попал в руки какого-то клерка, который придавал ему вид скромного, но приличного коттеджа. Клерк умер, и теперь его вдова сдавала коттедж. В нем было так мало окон и дверей, что тепло, свет и воздух с трудом проникали внутрь, зато в дождливые дни вода в изобилии просачивалась сквозь бесчисленные щели.

Джогомайя была поражена, увидев, в каком состоянии находится комната Омито.

— За что ты себя так наказываешь, друг мой? — воскликнула она.

— Ума долго постилась, совершая подвижничество, — ответил Омито. — Под конец она перестала есть даже листья. Я совершаю подвижничество, лишая себя обстановки. Сначала я отказался от кровати, потом от дивана, потом от стола, потом от стульев и вот остался среди четырех голых стен. Подвижничество Умы проходило в Гималаях, а мое — в горах Шиллонга. Там невеста жаждала встречи с женихом, а здесь жених жаждет встречи с невестой. Там сватом был Нарада, а здесь — вы. И если в конце концов сюда не явится Калидаса, мне придется самому взяться за его труд.

Омито говорил весело, но Джогомайя опечалилась. Она чуть было не предложила ему перебраться в ее дом, но удержалась. «Если творец затеял что-нибудь, нам не следует вмешиваться, а то завяжется такой узел, что потом и не развязать», — подумала Джогомайи. Она послала

Омито кое-какие вещи и прониклась к несчастному еще большим сочувствием. Снова и снова говорила она Лабонно: «Смотри, милая, как бы сердце твое не превратилось в камень!»

Однажды после сильного ливня Джогомайя пришла проводить Омито. Она застала его сидящим на шерстяном одеяле под шатким столом и погруженным в чтение английской книги. Видя, что в его комнате повсюду каплет вода, Омито устроил себе убежище под столом и устроился там, как мог. Сначала он посмеялся над собой, а потом с наслаждением принялся за стихи. Его душа рвалась к дому Джогомайи, но тело не могло последовать за ней. И все потому, что Омито купил очень дорогой плащ, совсем ему ненужный в Калькутте, и забыл его привезти сюда, где он нужен был постоянно. Правда, он взял с собой зонтик, но, очевидно, забыл его там, куда сейчас так стремилась его душа, или оставил его под старым деодаром.

— Что случилось, Омито? — воскликнула Джогомайя, входя в комнату.

— Сегодня мою комнату лихорадит, ей не лучше, чем мне.

— Лихорадит?

— Иными словами, крыша моего жилища весьма похожа на Индию. В ней слишком мало единства, то есть слишком много щелей. Когда над ней проносятся стихи, она раздражается неудержимым потоком слез, а когда палает ветер, она оглашается вздохами. В знак протеста я возвел над головой навес — образец незыблемой законности среди всеобщего хаоса и анархии. Все в соответствии с основными принципами политики.

— Какими принципами?

— Они заключаются в том, что жильцы гораздо лучше приведут дом в порядок, чем полновластный хозяин, который в доме не живет.

В тот день Джогомайя очень рассердилась на Лабонно. Чем больше она привязывалась к Омито, тем выше его оцепила. «У него такие знания, такой ум, такие манеры и притом такая непосредственность! А как он говорит! Что же до внешности, то он, по-моему, даже красивее Лабонно. Видно, она родилась под счастливой звездой, если смогла очаровать Омито. И такому прекрасному юноше Лабонно причиняет мучения! Ни с того ни с сего объявляет, что не выйдет за него замуж, будто она какая-нибудь принцесса и ради нее надо ломать копья! Откуда

такое невыносимое высокомерие? Несносная девчонка, она еще плачется...»

Сначала Джогомайя хотела отвезти Омито в своей машине к себе, но потом решила иначе.

— Подожди немного, дорогой, я скоро вернусь, — сказала она.

Приехав домой, она увидела, что Лабонно сидит на диване, накрыв ноги шалью, и читает «Мать» Горького. При виде того, как уютно она устроилась, Джогомайя разгневалась еще больше.

— Пойдем-ка со мной прогуляемся, — предложила она.

Но Лабонно ответила:

— Мне сегодня что-то не хочется выходить.

Откуда Джогомайе было знать, что Лабонно взялась за книгу только для того, чтобы уйти от самой себя. После завтрака она все время с беспокойством ждала прихода Омито. Ей то и дело слышались его шаги. Сосны снаружи раскачивались и вздрагивали от резких порывов ветра, и дождевые потоки, рожденные ливнем, задыхаясь, стремились куда-то, словно снесья обогнать мимолетный срок своей жизни. Лабонно страстно хотелось разрушить все преграды, отместить все сомнения, взять обе руки Омито в свои и сказать ему: «Я твоя навсегда!»

Сегодня это признание далось бы легко. Сегодня само небо кричало в отчаянии и леса откликались ему. Вершины гор, окутанные целеной дождя, чутко прислушивались к этому крику. Пусть он придет и с таким же вниманием, в таком же глубоком молчании выслушает Лабонно! Но час сменялся часом, и никто не приходил. Мгновение для великого признания было упущено, и теперь он пришел бы напрасно, она бы ничего не сказала. Сомнения опять родились, и музыка стремительного космического танца, освобождающего душу от страха, уже растаяла в воздухе. Безмолвно проходят год за годом, и только однажды наступает час, когда богиня Сарасвати стучится в дверь. И если в это мгновение не окажется под рукой ключей, чтобы открыть дверь, божественный дар признания никогда больше не вернется. В такой час хочется кричать на весь мир: «Слушайте, я люблю! Люблю!» Этот крик летит, точно птица из-за моря, летит день и ночь. Его так долго ждала душа Лабонно! И когда он коснулся ее, весь мир, вся жизнь приобрели наконец смысл. Скрывав лицо в подушку, Лабонно твердила, обращаясь неизвестно к кому: «Да, это правда, единственная правда».

Время истекло. Омито не пришел. Сердце Лабонно не выдержало тяжести ожидания. Она вышла на веранду, постояла немного под дождем, потом вернулась. Ее охватило безысходное отчаяние. Ей казалось, что свет ее жизни, вспыхнув, угас и впереди больше ничего нет. Внутренняя решимость приять Омито таким, каков он есть, покинула ее. Недавняя отвага души исчезла без следа. Лабонно была словно в оцепенении и лишь долгое время спустя смогла взять со стола книгу. Сначала ей никак не удавалось сосредоточиться, но постепенно, увлеченная романом, она незаметно забыла обо всем, — а главное, о себе, — и тут пришла Джогомайя и пригласила ее погулять. Нет, на это у нее не было сил!

Джогомайя придвинула стул, села перед Лабонно и спросила, пристально глядя на нее:

— Скажи мне правду, Лабонно, ты любишь Омито?

— Почему ты спрашиваешь меня об этом? — вопросом на вопрос ответила Лабонно, поспешно вставая.

— Если не любишь, почему не скажешь ему прямо? Ты безжалостна! Если он тебе не нужен, не держи его.

Сердце Лабонно стучало так, что она не могла сказать ни слова.

— Видела бы ты его сейчас. Прямо сердце разрывается, — продолжала Джогомайя. — Ради чего он ютится там, как нищий? Можно ли быть настолько слепой? Да ты знаешь, что девушка, которую посватает такой юноша, должна небо благодарить!

С трудом собравшись с силами, Лабонно ответила:

— Ты спрашиваешь, люблю ли я? Я не могу представить, чтобы в мире кто-нибудь мог любить сильнее. Я готова жизнь отдать ради этой любви. Теперь я совсем иная, чем прежде. Во мне появилось нечто новое, и это новое вечно. Какое-то чудо родилось во мне! Как рассказать об этом? Кто поймет, что сейчас творится в моей душе?

Джогомайя была изумлена. Лабонно при ней никогда не теряла самообладания. Как же она так долго скрывала эту бушующую страсть?

Джогомайя заговорила осторожно и мягко:

— Лабонно, дорогая, не сдерживай свои чувства. Омито ищет тебя, как света во тьме. Откройся ему до конца. Пусть он увидит огонь души твоей. Ведь ему больше ничего не нужно! Пойдем, родная, пойдем со мной.

И они вдвоем пошли к дому Омито.

X ЕЩЕ ОДНО ИСПЫТАНИЕ

Застелив мокрый стул газетой, Омито сидел у стола. Перед ним лежала большая пачка бумаги; он только что начал писать свою биографию, о которой столько говорил. Если бы его спросили, почему он взялся за это, он бы ответил, что неожиданно понял: жизнь его многоцветна, словно горы Шиллонга утром после дождя. Он ответил бы, что только сегодня познал смысл своего существования и что он не может об этом не писать. По мнению Омито, биографии пишут после смерти потому, что, только когда человек уходит из жизни, он по-настоящему живет в сердцах людей. Омито считал, что, поскольку какая-то часть его умерла здесь в Шиллонге, поскольку его прошлое исчезло, как призрак, он возродился здесь вновь и с необычайной остротой ощущал свое новое существование и видел его словно ярко освещенную картину на фоне темноты, которая осталась позади. Только откровение он считал достойным описания, ибо мало кому посчастливилось испытать это на себе. Большинство людей от рождения и до самой смерти так и живут в потемках, словно летучие мыши в пещере.

Еще моросило, но буря уже улеглась, и облака поредели.

— Что вы наделали! — вскричал Омито, вскакивая со стула.

— Что такое, что я наделала?

— Вы же застали меня врасплох! Что подумает госпожа Лабонно?

— Госпоже Лабонно не мешает немножко подумать. То, что следует знать, надо знать. Чего же господин Омито беспокоится?

— Госпоже следует знать лишь о благополучии господина. А о нищенском существовании несчастного можете знать только вы.

— Почему такое неравенство, дитя мое?

— Оно в моих интересах. Сокровищ можно требовать лишь тогда, когда сам можешь их предложить. А нищете рассчитывать не на что, разве что на сочувствие. Цивилизация обязана Лабонно своим блеском и славой, а вам — человечностью и добротой.

— Но разве цивилизация не может существовать наряду с добротой? Тогда тебе незачем будет скрывать свою нищету!

— На это можно ответить только словами поэта. Мою жалкую прозу необходимо заковать в размер и укрепить рифмами, чтобы она стала ярче и доходчивее. Мэтью Арнольд говорил, что поэзия — это критика жизни. Перефразируя его слова, я бы сказал, что поэзия — комментарий жизни в стихах. Однако из уважения к дорогой гостье предупреждаю заранее: стихи, которые я сейчас прочту, написаны отнюдь не гением.

Пусть сердце разрывается в груди!
Пока ты нищ — к любимой не ходи,
И не моли, и жалких слез не лей,—
Стоять напрасно будешь у дверей.

Подумайте, ведь любовь — это богатство, и ее страстные порывы не выразить хныканьем бедняка. Только бог, желая выразить свою любовь к верующему, приходит к его двери в рубищах нищего.

Сначала драгоценный дай залог
И лишь потом проси в обмен вздох;
Будь мудр и на обочине в пыли
Своей богине ложе не стели.

Поэтому я и просил Лабонно смилостивиться и не входить в комнату. Что же я расстелю для нее, если у меня ничего нет? Эти мокрые газеты? Боюсь, останутся пятна от теперешних передовиц. Поэт сказал: «Я не зову любимую разделить мою жажду, — я зову ее, когда чаша жизни полна до краев».

Когда приносит злой опустошенье,
И сохнет лес, и вянут цветы,
Ужели на алтарь, как приношенье,
Пучок сухой травы возложишь ты?

Нет! Дорогую гостью приглашая,
Ее ты встретишь, радостью сияя,
И сотни ярких факельных огней
Рассеют тьму ночную перед ней.

Первое подвижничество человек совершает в младенчестве, когда он, бедный и голый, лежит на коленях своей матери. Это его первое испытание: он должен завоевать любовь. Моя хижина сурово готовится к такому испытанию. Я уже твердо решил назвать эту хижину «Дом мамы-ма».

→ Сын мой, второе подвижничество человека — это подвижничество славы, испытание любви, когда по левую руку сидит девушка. И никакие мокрые газеты в твоей хи-

жипе не помешают этому испытанию. Зачем ты уверяешь себя, что не дождешься взаимности? Ты же знаешь в глубине души, что тебе скажут «да»!

Джогомайя привела Лабонно, поставила ее рядом с Омито и положила ее правую руку на правую руку Омито; затем она сняла с шеи Лабонно золотое ожерелье и, обвив им их руки, воскликнула:

— Пусть ваш союз будет вечен!

Омито и Лабонно склонились и почтительно коснулись ног Джогомайи.

— Подождите меня,— сказала она,— я привезу из нашего сада цветов.

Джогомайя села в машину и уехала.

Омито и Лабонно молча сидели на кровати. Наконец Лабонно взглянула на Омито и спросила:

— Почему ты не пришел сегодня?

— Причина так незначительна, что в такой день я даже не решаюсь о ней говорить. В книгах нигде не упоминается, что влюбленный отказался от свидания с любимой только потому, что шел дождь, а у него не было плаща. Наоборот, там описывается, как он переплывает бушующий океан. Впрочем, это относится к области чувств, а я тоже барахтаюсь в этом океане. Как ты думаешь, переплыть я когда-нибудь его просторы?

И он процитировал:

Туда, где ни один моряк не плавал,
мы плывем,
Плывем вперед, рискуя всем,
и жизнью и кораблем.

Боппе, ты ждала меня сегодня?

— Да, Мита. В шуме дождя мне все время слышались твои шаги. Мне казалось, что ты идешь из бесконечной дали. И вот наконец ты пришел ко мне.

— Боппе, когда я не знал тебя, в моей жизни была огромная черная пустота. Это было самое ужасное в моей жизни. Сейчас эта пустота заполнена; над ней сияет свет, и небо отражается в ней. Теперь эта заполненная пустота — самое прекрасное в моей жизни. Моя неудержимая болтовня — лишь разбегающиеся волны на переполненном озере моей души. Кто остановит их?

— Мита, что ты делал сегодня весь день?

— В моей душе была ты, и ты хранила молчание. Я хотел сказать тебе что-то, но слова изменили мне — я не

мог их найти. С неба лил дождь, а я сидел и твердил:
«Верните мне слова! Дайте мне слово!»

Но что со мной?
Тот миг непостижимый, неземной,
Блаженства полный и очарованья,
Мне кажется, когда года прошли,
Улыбки легче, проще, чем дыханье,
Древней самой земли.

Вот этим я и занимаюсь — присваиваю чужие слова. Если б я имел талант композитора, я бы и «Песню о дожде» Видьяпати переложил на музыку и переделал по-своему. Хотя бы так:

Скажи, Видьяпати,
Какой мерой мерить
Мои дни и ночи
Без бога, без веры?

Как могут дни проходить без той, без кого невозможно жить? И где мне найти музыку, достойную этих слов? Я смотрел на небеса и просил то слов, то музыки. И бог спустился с небес и со словами и музыкой, но по дороге ошибся и, неизвестно почему, вручил их кому-то другому, может быть, твоему Рабиндранату Тагору.

Лабонно рассмеялась:

— Даже те, кто любит Рабиндраната Тагору, не вспоминают его так часто, как ты!

— Боппе, сегодня я слишком много болтаю, да? В меня вселился демон болтливости. Если бы ты следила за барометром моих настроений, ты поразилась бы моей эксцентричностью. Если бы мы были в Калькутте, я посадил бы тебя в машину и помчался прямо в Морадабад, не жалея шин. Если бы ты спросила, почему в Морадабад, я не смог бы ответить. Когда мчится поток, он шумит, шепнит и, смеясь, увлекает за собой время, словно пену.

В эту минуту в комнату вошла Джогомайя с полной корзиной цветов подсолнечника и сказала:

— Лабонно, милая, почти его сегодня этими цветами.

Это было всего лишь женское желание выразить в форме обряда то, что совершилось в душе. Любовь к форме у женщины в крови.

Омито улучил момент и шепнул Лабонно на ухо:

— Боппе, я хочу подарить тебе кольцо.

— Зачем, Мита? — возразила Лабонно. — Разве это необходимо?

— Вложив свою руку в мою, ты дала мне больше, чем я мог представить. Поэты говорят лишь о лице возлюбленной, по сколько скрытых сокровищ в прикосновении руки. Нежность любви, самоотверженность, преданность — все невысказанные чувства в этом прикосновении. Кольцо само обовьется вокруг твоего пальца, как мои слова: «Ты моя». Пусть эти слова языком золота, языком драгоценных камней звучат на твоей руке вечно.

— Хорошо, пусть будет так, — согласилась Лабонно.

— Я велю привезти кольцо из Калькутты. Скажи, какие камни ты любишь?

— Никакие. Лучше пусть будет жемчуг.

— Превосходно! Я тоже люблю жемчуг.

XI

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

Свадьбу назначили на месяц огрохайон. Решено было, что Джогомайя поедет в Калькутту и все приготовит.

— Тебе давно следовало уехать в Калькутту, — обратилась Лабонно к Омито. — Теперь, когда все сомнения позади и все ясно, ты можешь ехать, ни о чем не тревожась. До свадьбы мы больше не увидимся.

— Зачем такие строгости?

— Как-то ты говорил, что счастье — сама простота, так вот — для того чтобы уберечь эту простоту.

— Мудрые слова! Раньше я думал, что ты поэтесса, а теперь подозреваю, что ты философ. Ты говоришь замечательные вещи. Действительно, если хочешь сохранить естественность простоты, надо быть непреклонным. Чтобы ритм не утратил своей простоты и естественности, необходимо делать паузы в нужных местах. А мы из-за чрезмерной жадности не делаем пауз в поэзии жизни, ритм нарушается, и жизнь становится бессвязной какофонией. Хорошо, я завтра же уеду, вырвусь из плена этих сказочных дней. Это будет стих из поэмы «Смерть Мегханада», обрывающийся так же внезапно:

И когда в царство Ямы ушел, он
До срока...

Пусть будет так, я уеду из Шиллонга, но месяц огрохайон из календаря никуда не сбежит. Знаешь, чем я займусь в Калькутте?

— Чем же?

— Пока маши-ма все готовит ко дню свадьбы, сам я буду готовиться к дням, которые последуют за свадьбой. Люди забывают, что супружество — это искусство и ему нужно каждый день учиться запово. Ты помнишь, Бонне, как в «Рагхуванше» махараджа Аджа описывает Инду-мати?

Лабонно продеклампировала па санскрите:

— «В искусстве страстном ученица!»

— Без искусства любви нет супружества. Глупцы считают супружество просто соединением и потому после свадьбы пренебрегают истинным единством двух сердец.

— Объясни мне, как ты понимаешь это единство? Если хочешь, чтобы я была твоей ученицей, дай мне первый урок!

— Хорошо, слушай. Добровольно ограничивая себя, поэт создает ритм. Брачный союз также надо украсить ритмом, ограничивая себя по доброй воле. Когда все получаешь сразу, это самообман, потому что самая дорогая вещь кажется тогда дешевой. Только то, что достается дорогой ценой, принесит истинную радость.

— Что же ты считаешь дорогой ценой?

— Подожди, дай я сначала расскажу о картине, которая мне представляется. Берег Ганги. Сад близ Даймонд-Харбора. Маленький пароходик, на котором можно за два часа добраться до Калькутты.

— Тебе опять понадобилась Калькутта?

— Сейчас Калькутта мне не нужна, ты знаешь это. Правда, я хожу в библиотеку, — но не заниматься, а играть в шахматы. Адвокаты уже поняли, что в работе я не заинтересован и душа моя к ней не лежит. Поэтому они передают мне только такие дела, которые можно уладить полюбовно. Но после свадьбы я покажу им, что такое работа, — не ради заработка, а ради самой работы! Внутри плода много твердое ядро, — несладкое, жесткое, несъедобное, — но именно оно определяет форму плода. Ты поняла, для чего нужна жесткая каменная Калькутта? Чтобы у нашей нежности было твердое ядро.

— Поняла. Тогда она и мне нужна. Видно, мне тоже придется ездить в Калькутту каждый день.

— А почему бы и нет? Но не гулять, а заниматься делом.

— Каким же делом? Благотворительностью?

— Нет, благотворительность — не работа и не отдых,

это глупейший фарс. Если хочешь, ты можешь проповедать в женском колледже.

— Да, хочу. Что же дальше?

— Я ясно вижу берег Ганги. На отлогом берегу поднимаются воздушные корни старого разросшегося баньяна. Когда Дхапапати плыл по Ганге, направляясь на Цейлон, он, наверно, причаливал к этому баньяну и под ним готовил себе пищу. Направо от баньяна — мощеная пристань, полуразрушенная, растрескавшаяся, поросшая лишайниками. У пристани — наша легкая лодочка, зеленая с белым. На голубом флажке белыми буквами написано ее название. Какое — придумай сама.

— Ты хочешь? Хорошо, пусть будет «Дружба».

— «Дружба» — это то, что нужно! Я, правда, придумал другое название — «Мореplавательница», и гордился даже им, но придется пальму первенства отдать тебе. Итак, через наш сад струится маленький приток Ганги, словно пульсирующая вена гиганта. На одном его берегу мой дом, на другом — твой.

— И ты будешь каждый день переплывать этот проток, и мне придется зажигать для тебя огонек в окне?

— Мы будем переплывать его мысленно, а ходить будем по деревянному мостику. Твой дом будет называться «Разум», а мой — как захочешь ты.

— «Светильник».

— Прекрасно! Я установлю на крыше дома лампу, достойную этого названия. По вечерам наших встреч она будет гореть красным светом, а в ночь разлуки — голубым. Каждый раз, вернувшись из Калькутты, я буду ждать от тебя письма, — оно может прийти, но может и не прийти. Если к восьми вечера я его не получу, я прокляну мою несчастную судьбу и попытаюсь утешиться «Йогикой» Бертрапа Рассела. Без приглашения я к тебе никогда не приду — мы это возьмем за правило.

— А я к тебе?

— Лучше и тебе придерживаться наших правил. Впрочем, если ты иногда будешь их нарушать, это даже неплохо!

— Если нарушение этого правила не станет правилом, что будет твориться в твоём доме, ты подумай? Уж лучше я стану носить покрывало!

— Хорошо. Но мне все-таки нужно такое приглашительное письмо. Пусть в нем не будет ничего, только несколько строк из какого-нибудь стихотворения.

— А я, я не буду получать приглашений? Разве я этого недостойна?

— Я буду приглашать тебя раз в месяц, в ночь полнолуния, когда луна является во всей своей красе и славе.

— Ты покажешь своей дорогой ученице образец такого приглашения?

— С удовольствием.

Омито вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок и написал:

О ветер южный, прилети,
Легко повея над нашим домом!
Я жду тебя, моя любовь,
Приди ко мне путем знакомым!

Лабонно не вернула ему листочек.

— Теперь покажи образец твоего письма, — попросил Омито. — Посмотрим, какие ты сделала успехи.

Лабонно взяла было лист бумаги, но Омито запротестовал:

— Нет, нет, пиши в моей книжке!

Лабонно написала на санскрите, цитируя Джаядеву:

Мита, ты — моя жизнь сокровенная, украшение жизни моей,
Ты — жемчужина несравненная в океане жизни моей.

— Удивительное дело, — заметил Омито, пряча книжку в карман, — я цитировал стихи женщины, а ты — мужчины. Но это понятно. Будь то дерево шимул или бокул, они горят одинаковым огнем.

— Приглашения сделаны, — перебила Лабонно. — Что же дальше?

— Взошли звезды, Ганга поднялась от прилива, в тамарисковой роще шумит ветер, вода плещется в узловатых корнях старого баньяна. За твоим домом — пруд, поросший лотосами. На его уединенном пологом берегу ты только что искупалась и расчесываешь волосы. Твои сари всякий раз нового цвета, и вот по дороге к тебе я гадаю, каким оно будет сегодня. У нас нет установленного места встречи. Мы встречаемся то на утоптанной площадке под деревом чампак, то на плоской крыше дома, то на берегу Ганги. Я уже совершил омовение в Ганге, надел белое муслиновое дхоти и чадор, а на ноги — сандалии, украшенные слоновой костью. Тебя я застаю сидящей на ковре. Перед тобой на серебряном блюде — пышная

гирлянда цветов, в чаше — сандаловая паста, в углу курятся благовония. Во время праздника Пуджи мы отправимся путешествовать по крайней мере месяца на два. Но в разные места. Если ты поедешь в горы, я отправлюсь к морю. Вот основы нашего супружеского двоецарствия. Что ты скажешь о них?

— Я согласна им подчиняться.

— Между «подчиняться» и «принимать» большая разница.

— Я не буду противиться тому, что нужно тебе, даже если мне это будет не нужно.

— Тебе не нужно?

— Да. Как бы ни был ты близко, ты все равно от меня далеко, и не нужны никакие правила, чтобы сохранить это расстояние. Мне нечего от тебя скрывать и нечего стыдиться. Поэтому супружеская жизнь на два дома на противоположных берегах мне даже удобней.

Омито вскочил со стула и воскликнул:

— Я не желаю сдаваться, Бонне! Долой мой сад! Мы и шагу не ступим из Калькутты! Я найму комнату за семьдесят пять рупий над конторой Ниронджона, и мы будем жить там вместе. В мире чувств нет расстояний. На левой стороне широкой полутораметровой постели будет твоя резиденция — «Разум», а на правой мой «Светильник». У восточной стены мы поставим шкаф с зеркалом, в котором будет отражаться твое лицо и мое. У западной стены — книжный шкаф. Он будет заслонять солнце, и в нем будет помещаться единственная в своем роде библиотека для двух читателей. В северной части комнаты — диван. Я буду сидеть в углу дивана, оставив немного места слева от себя. Ты будешь стоять в двух шагах, возле вешалки. Дрожащей рукой я протяну тебе приглашительное письмо, где будет написано:

О ветер южный, прилети,
Прошлести над нашим садом;
Приди, любимая, взгляни
В мои глаза влюбленным взглядом!

Разве это плохо звучит, Бонне?

— Вовсе нет, Мпта. Но откуда эти стихи?

— Из тетради моего друга Нильмадхоба. Он еще не знал тогда своей предполагаемой жены. Но, вдохновленный предположениями, все же отлил английские стихи в калькуттскую форму, причем и я в этом участвовал. Он

стал магистром экономики и привел в дом молодую жену, получив за ней пятнадцать тысяч рупий наличными и целый килограмм драгоценностей. Любимая смотрит в его глаза, южный ветер шелестит, и стихи ему больше уже не нужны. Теперь он не будет иметь ничего против, если его соавтор их присвоит.

— Над нами тоже будет веять южный ветер, но всегда ли твоя жена останется для тебя молодой?

— Останется! Останется! Останется! — ударяя кулаком по столу, закричал Омито.

Из соседней комнаты поспешно выбежала Джогомайя.

— Что останется, Омито? — спросила она. — Моего стола явно не останется!

— Останется все, что вечно. Вечно юная жена — редкость. Но если по милости богов находится хоть одна на сто тысяч, такая жена всегда будет юной.

— Может быть, ты приведешь нам пример?

— Настанет время — приведу.

— Очевидно, это будет не скоро. Так что пойдете пока обедать.

XII

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

После обеда Омито объявил:

— Завтра я еду в Калькутту. Мои друзья и родные, наверное, уже решили, что я совсем превратился в кхаси.

— Разве твои друзья и родные знают, что ты так легко меняешься?

— Они многое обо мне знают. Иначе какие же это родственники и друзья? Но это не значит, что я легко меняюсь или могу превратиться в кхаси. То, что произошло во мне, даже не превращение — это смена эпох, конец старого века. Бог-творец пробудил меня, чтобы создать нечто новое. Позволь нам с Лабонпо прогуляться. Перед отъездом я хочу, чтобы мы вместе простились с горами Шиллонга.

Джогомайя разрешила. И Омито с Лабонпо пошли рука об руку, тесно прижавшись друг к другу. Дремучий лес сбегал вниз от края безлюдной тропинки. В одном месте, где лес расступался, сквозь теснины гор виднелось небо. Казалось, оно протягивало ладони, озаренные последними отблесками заходящего солнца. Там они остановились,

обернувшись к западу. Омито привлек к себе на грудь Лабонно и приподнял ее голову. Из полуприкрытых глаз Лабонно струились слезы. По золоту неба разливалось рубиновое и изумрудное сияние. Сквозь редкие облака проглядывала такая яркая голубизна, что казалось, будто там, в бесплотном эфирином мире, звучит неуловимая радостная мелодия небесных сфер. Постепенно сумерки сгустились, и раскрытое небо, словно цветок, сомкнуло свои многоцветные лепестки.

— Пойдем,— прошептала Лабонно, не поднимая головы с груди Омито. Она чувствовала, что настало время вернуться. Омито понял это и ничего не сказал. Он прижал к себе Лабонно, и они медленно пошли обратно.

— Я должен ехать завтра рано утром,— заговорил Омито.— До отъезда я тебя уже не увижу.

— Почему?

— Глава нашей жизни в горах Шиллонга кончилась на самом подходящем месте. Это была первая песнь нашей прелюдии к раю.

Лабонно промолчала. Она шла, сжимая руку Омито, и в груди ее радость мешалась со слезами. Она знала, что никогда больше непостижимое не пройдет так близко. Священный миг озарения миновал, но за ним для нее не будет покоев новобрачной; ей останется только проститься. Лабонно неудержимо хотелось поблагодарить Омито за эту встречу, сказать ему: «Ты дал мне счастье». Но она не смогла это сделать.

Когда они уже подходили к дому, Омито попросил:

— Бонне, скажи мне что-нибудь на прощанье, только скажи стихами, чтобы легче было запомнить. Говори что хочешь, что придет в голову.

Немного помолчав, Лабонно произнесла:

Я счастья тебе не дала,
Свободу лишь подарила,
Последней светлою жертвой
Разлуки ночь оарила.

И ничего не осталось —
Ни горечи, ни сожаленья,
Ни боли, ни слез, ни жалости,
Ни гордости, ни презренья.

Назад уж не оглянусь
Вручаю тебе свободу,
Последний дар драгоценный
В ночь моего ухода.

— Бонне, не надо! Сегодня ты должна была мне сказать совсем не то! Что это на тебя нашло? Сейчас же возьми свои стихи назад, прошу тебя!

— Чего ты испугался, Мита? Очищенная огнем любовь не требует счастья. Свободная, она дарует свободу. Она не оставляет после себя ни пресыщения, ни скуки. Что может быть прекраснее!

— Но где ты взяла эти стихи, хотел бы я знать?

— Это стихи Рабиндраната Тагора.

— Я не встречал их ни в одной из его книг.

— Они еще не опубликованы.

— Как же ты их достала?

— Я знала юношу, который глубоко чтит моего отца как гуру-наставника. Отец давал пищу его разуму, но в сердце юноши был голод. Поэтому в свободное время он обращался к Рабиндранату Тагору и черпал из его рукописей милостыню поэзии.

— И приносил ее к твоим ногам?

— Он не был так дерзок. Он клал стихи так, чтобы я случайно увидела их сама.

— И ты его не пожалела?

— Мне не представилось случая. Но я молила бога, чтобы он сжалился над юношей.

— Я уверен, что стихи, которые ты мне прочитала, созвучны мыслям этого несчастного.

— Да, конечно.

— Почему же ты вспомнила их сегодня?

— Как тебе сказать... Вместе с этими стихами был еще отрывок. Его я тоже сегодня вспомнила, а почему — не знаю.

Кроткие глаза твои
переполнены слезами.
Но слезами не залить
сердца жертвенное пламя:
В нем сгорает без следа
скорбь любви неразделенной,
Умолкает навсегда
разум, болью ослепленный,
И цветет среди скорбей,
слез и беспредельной муки
Дивным лотосом столстым
вечная печаль разлуки.

Омито спросил, взяв руку Лабонно:

— Бонне, почему сегодня этот юноша встал между нами? Это не ревность, я не признаю ревности, но какой-

то страх закрадывается в душу. Скажи мне, почему именно сегодня тебе вспомнились эти стихи?

— Когда он уже навсегда оставил наш дом, я нашла в его письменном столе эти два стихотворения. Кроме них, там были другие неопубликованные стихи Рабиндраната Тагора, почти целая тетрадь. Сегодня я прощаюсь с тобой, и, быть может, потому мне пришли на память эти прощальные стихи.

— Разве то прощание и это — одно и то же?

— Что тебе сказать? И о чем вообще мы спорим? Просто эти стихи мне нравятся, вот я их и прочитала тебе. По-моему, других причин нет.

— Боппе, произведения Рабиндраната Тагора раскроют свою истинную красоту лишь тогда, когда люди их совершенно забудут. Поэтому я никогда не читаю его стихов. Популярность подобна туману, который влажной рукой заслоняет небесный свет.

— Видишь ли, Мита, если женщине что-либо понастоящему дорого, она это прячет в тайниках души, не выставляя напоказ; так что популярность здесь ни при чем. Это ведь не рынок! Люди сами определяют ценность вещи и обычно никогда не торгуются.

— В таком случае, Боппе, у меня есть надежда. Я снимаю жалкое клеймо моей рыночной цены и с готовностью ставлю печать твоей оценки!

— Мы уже подошли к дому, Мита. Теперь я хочу услышать твои стихи, посвященные концу пути.

— Не сердись, Боппе, но я не смогу декламировать стихи Рабиндраната Тагора.

— Зачем же мне сердиться?

— Я обнаружил поэта, стиль которого...

— Я все время слышу о нем от тебя. И уже написала в Калькутту, чтобы мне прислали его книги.

— О, ужас! Его книги! За ним водится немало недостатков, но чтобы печататься — до этого он не дошел! Тебе придется через меня понемногу знакомиться с ним, иначе может...

— Не бойся, Мита, я надеюсь, что тоже пойму и оценю его, как ты. И от этого только выиграю.

— Каким образом?

— То, что я приобретаю по своему вкусу, — мое, и то, что я получаю от тебя, — тоже будет моим. Моя способность восприятия удвоится, словно во мне две души. И в твоей маленькой комнате в Калькутте я смогу дер-

жать в книжном шкафу стихи двух поэтов. А теперь прочти мне стихи.

— После всех этих рассуждений мне уже не хочется стихов.

— Но почему же? Я прошу...

— Хорошо.

Омито откинул волосы со лба и с чувством начал:

О, прекрасная звезда зари!
Ночь уходит, утро у порога...
Пусть уходит, только ты гори,
Чтобы я нашел к тебе дорогу.

Понимаешь, Бонне, месяц просит утреннюю звезду разделить его одиночество. С ночью ему уже скучно, он ее больше не любит.

Там, где небо встретилось с землей,
Тьму полоской света прорезая,
Я, печальный месяц молодой,
В полусне к звезде моей изываю.

Он в полудремоте, его свет слаб и едва прорезает тьму,— это изливается его печаль. Он попал в сети обыденности и всю ночь бредит, пытаясь их разорвать. Какая идея! Грандиозная!

Кружат, завораживают сны.
Царство грез у ног моих клубится,
Пальцы чуть касаются струны,
Не очнуться мне, не пробудиться...

Но бремя такого существования в действительности невыносимо. Медленное и вялое течение пересыхающей реки собирает лишь мусор. Тому, кто слаб, достаются одни огорчения. Поэтому месяц говорит:

Ускользает песня от меня,
Замирают звуки вины соинной...
Я угасну на пороге дня,
Завершая путь свой неуклонный.

Но разве эта усталость означает конец? Он еще надеется натянуть ослабевшие струны вины, ему еще слышатся за горизонтом чьи-то шаги.

Приходи ж скорей, моя звезда,
Пробудь меня, напомним мне
Песню ту, звучавшую всегда,
Мною позабытую во сне.

Он надеется на спасение. Он слышит смутный гул пробуждающейся вселенной, и вестница Велкого Пути вот-вот появится со светильником в руке.

Песня тонет в бездне тьмы ночной...
Ты спаси ее, звезда зари!
В темноте потерянное мной
Отыщи и свету подари.

Я стряхну оцепенение сна,
И тогда сошлется песнь моя,
Песнь, которой вища не пужна,
С величавым хором бытия.

Этот несчастный месяц — я. Завтра утром я уеду. Но я хочу, чтобы пустоту, которая останется после моего отъезда, заполнил свет прекрасной утренней звезды. Все, что было туманным и смутным спом жизни, оживет и засверкает в лучах этой утренней звезды под ее чудесную песнь пробуждения. В этих стихах есть сила надежды, радостная гордость веры в наступающий рассвет. Это не то, что беспомощные, сентиментальные стенания твоего Тагора!

— Но почему ты сердился, Мита? И для чего без конца повторять, что Рабиндранат Тагор может быть только тем, что он есть?

— Все люди сговорились превозносить...

— Не говори так, Мита. У меня свой вкус. Разве я ниповата, что он сходится со вкусом других и, напротив, не сходится с твоим вкусом? Я даю тебе слово: если мне найдется место в твоей комнате, которую ты будешь снимать за семьдесят пять рупий, я буду выслушивать стихи твоих поэтов, но не буду тебе навязывать моих!

— А вот уж это несправедливо! Супружество означает взаимные уступки взаимной тирании.

— Ты никогда не сможешь поступиться своим вкусом. На свой духовный пир ты не допускаешь никого, кроме приглашенных, а я с радостью приму любого гостя.

— Зря я начал этот спор. Он испортил красоту нашего последнего вечера.

— Нисколько. Истинная красота не боится правды, а красота наших отношений именно такова: она вынесет любые испытания.

— Все равно мне надо избавиться от неприятного привкуса. Бенгальские стихи тут не помогут. Английские скорее охлаждают гнев. Когда я вернусь на родину, я ведь некоторое время преподавал.

— Ох уж этот гнев! — засмеялась Лабонно. — Он словно бульдог в английском доме, который рычит, завидев развешивающиеся складки дхоти, кто бы его ни носил. А при виде ливрена вылетит хвостом!

— Совершенно верно. Пристрастие к чему-либо не возникает из ничего и не дается от рождения; но большей частью его создают по заказу. В нас с детства вдалбливали пристрастие к английской литературе. Поэтому у нас и не хватает смелости ни ругать ее, ни хвалить. Ну и пусть! Сегодня не будет Нибарона Чокроборти, сегодня будут только английские стихи, без перевода!

— Нет, нет, Мита, оставь английский, пока не сядешь дома за свой письменный стол! А сегодня наши последние вечерние стихи должны принадлежать Нибарону Чокроборти, и больше никому.

Омито просиял.

— Да здравствует Нибарон Чокроборти! — воскликнул он. — Наконец-то он стал бессмертным! Боине, я сделаю его твоим придворным поэтом. Только от тебя он примет вепок победителя.

— И это его удовлетворит?

— Если нет, то я возьму его за ухо и выведу вон!

— Ну хорошо, поговорим об этом после. А теперь я хочу услышать твои стихи.

И Омито прочитал:

Как терпелива была ты со мной
Все ночи и дни,
Как часто легкой стопой
Дорогой судьбы шла за мною по следу...
Так позволь мне теперь,
Как последний прощальный дар,
Пропеть эту песнь победы!

Как часто старался я зря —
Священный жизни огонь
Не загорался:
Разжечь его я не мог.
И таял бесследно в небо
Горький дымок.

Как часто во тьме ночной
Блуждающими огнями
Возникали чьи-то черты,

И тут же вновь угасали
В безвременье пустоты.
А сегодня перед тобой
Возгорелся огонь святой

И вздымается ввысь, пылая,
Благословляя меня.
Я тебе эту песнь посвящаю,—
Дар последний на склоне дня.

Прими мое припошенье,—
Жизни полное воплощенье.
Пусть руки твои прикосновенье
Навсегда осенит меня,
Ты моею стала судьбой,
Полной силы и вдохновенья;
Пусть же страсть моя и преклоенье
Навсегда пребудут с тобой!

ХІІІ ТРЕВОГА

С утра Лабонно не могла заниматься. Гулять она тоже не пошла. Омито сказал, что не увидит ее до отъезда из Шиллонга. Ей самой придется помочь ему выполнить это решение и не появляться на троне, по которой он должен был пройти. Лабонно очень хотелось встретить его там, но пришлось подавить в себе это желание.

Джогомайя вставала всегда рано, совершала омовение и отправлялась за цветами для утреннего приношения. Но сегодня Лабонно еще до ее ухода вышла из дома и уселась под эвкалиптом. В руках у нее были две книги, но только для того, чтобы обмануть себя и окружающих. Книжки были раскрыты, время шло, а она не перевернула даже страницы. Внутренний голос твердил ей, что великий праздник ее жизни окончился вчера. Утреннее небо все в пятнах света и тени временами ошипалось, словно кто-то могучей рукой протирал лазурь. Лабонно была убеждена, что Омито — вечный беглец и что если он исчезнет, то исчезнет бесследно. Он идет по дороге, и каждая встреча пробуждает в нем песню любви, но проходит ночь, песня обрывается, путник идет дальше. Поэтому Лабонно казалось, что ее песня никогда не будет допета. Сегодня мука этой незавершенности казалась разлитой в утреннем свете, а горе безвременной разлуки — во влажном воздухе.

Но неожиданно в девять часов Омито ворвался в дом и стал звать Джогомайю.

Джогомайя уже окончила утреннюю молитву и была в кладовой. Сегодня ей тоже было не по себе. Омито так долго наполнял ее дом и ее любящую душу своей болтов-

ней, живостью и смехом! Гнетущая мысль об его отъезде тяготила ее все утро — так тяжесть дождевых капель оглядывает цветы, сгибая их до земли. Онечаленная разлукой, она не просила Лабонно помочь ей в хозяйственных делах. Она понимала, что Лабонно надо побыть одной, вдали от людских глаз.

Услышав голос Омито, Лабонно вскочила: книги упали с ее колен, но она этого даже не заметила. Дикогомайя выбежала из кладовой.

— Что случилось, Омито? — спросила она. — Землетрясение?

— Вот именно, землетрясение! Я уже отослал вещи, машина была готова, я захожу на почту узнать, нет ли писем, а там — телеграмма!

Взглянув в лицо Омито, Дикогомайя встревоженно спросила:

— Я надеюсь, вести хорошие?

Лабонно вошла в дом. Омито пропзнес с подавленным видом:

— Сегодня вечером приезжает Сисси, моя сестра, со своей подружкой Кэтти Миттер и ее братом Нореном.

— Что же ты расстраиваешься, мой мальчик? Я слышала, что неподалеку есть свободный дом. А если тебе никак не удастся достать им квартиру, разве у меня здесь не найдется места?

— Об этом я не беспокоюсь. Они сами заказали по телефону комнаты в отеле.

— Во всяком случае, я не хочу, чтобы они застали тебя в твоей жалкой лачуге. Они могут осудить нас за твои безумства.

— Да, мой рай потерял. Прощай мое неблагоустроенное небо! Мои сны теперь улетят из уютного гнездышка в изголовье моей простой кровати. Потому что мне тоже придется покинуть ее и поселиться в самом лучшем номере фешенебельного отеля!

В его словах не было ничего особенного, однако Лабонно побледнела. До сих пор ей никогда не приходила в голову мысль о том, какое большое расстояние отделяет ее в обществе от Омито. Только теперь она вдруг поняла это. В том, что Омито собирался уехать в Калькутту, еще не было грозного признака разрыва. Но, узнав, что теперь он вынужден переселиться в отель, Лабонно почувствовала, что дом, который они создали в своих мечтах, никогда не воплотится в осязаемую форму.

Взглянув на Лабонно, Омито сказал Джогомайе:

— Отправляюсь ли я в отель или прямо в ад, мой па- стоящий дом останется здесь.

Омито знал, что Сисси и ее друзья приезжают неспро- ста. Он ломал себе голову, как сделать так, чтобы они сюда не явились. Но с недавнего времени письма для него ста- ли приходить на адрес Джогомайи. Тогда он и не думал, что это может привести к осложнениям.

Омито не умел скрывать свои чувства — наоборот, он проявлял их чересчур открыто, и сейчас Джогомайя пора- зилась, как он сильно обеспокоен приездом сестры. Ла- бонно тоже подумала, что Омито стыдится показать ее се- stre и друзьям сестры. Это было горько и унижительно.

— У тебя есть время? — обратился Омито к Лабон- но. — Ты не хочешь пройтись?

— Нет, мне некогда, — сухо ответила Лабонно.

— Иди же, милая, прогуляй немного, — сказала Джого- майя, ощущая смутное беспокойство.

— Последнее время я и так запустила занятия с Шу- ромой, — ответила Лабонно. — Я чувствую себя инноватой и вчера решила искупить свою нерадивость. — Губы Ла- бонно были плотно сжаты, лицо выражало суровую непре- клонность. Джогомайе было знакомо это упрямое выра- жение, и она не решалась настаивать.

— И меня ждут дела, — также сухо произнес Омито. — Я должен все подготовить к приезду гостей.

Но прежде чем уйти, он задержался на веранде.

— Бонне, посмотри: из-за деревьев чуть-чуть видна крыша моего дома. Я еще не сказал тебе — я купил этот дом. Хозяйка была изумлена. Она решила, что я обнаружил тут золотую жилу, и взвинтила цену. Да, я нашел там золотую жилу, но что это за жила, известно лишь мне. Сокровища моей ветхой хижины будут скрыты от всех!

Тень глубокой печали легла на лицо Лабонно.

— Почему ты так беспокоишься о том, что скажут люди? — спросила она. — Пусть все узнают! Если сказать правду прямо, никто не посмеет злословить.

— Бонне, — не отвечая на ее слова, продолжал Омито, — я решил, что после свадьбы мы будем жить в этом доме. Мой сад на берегу Ганги, спуск к реке, баньяновое дерево — все соединилось в нем. И даже название, кото- рое ты придумала — «Дружба», подходит к нему.

— Сегодня ты ушел из этого дома, Мита. Если когда- нибудь ты захочешь в него вернуться, то увидишь, что

он тебе уже не нравится. В жилище сегодняшнего дня нет места для завтрашнего. Как-то ты сказал, что первая сажа в жизни — это испытание бедностью, а вторая — испытание богатством. Но ты ничего не сказал о третьем испытании — испытании разлукой.

— Опять слова твоего Рабиндраната Тагора! Он писал, что Шах Джахан отказался даже от своего Тадж-Махала. Твоему поэту и в голову не приходит, что мы создаем лишь для того, чтобы отказаться от созданного. Это и есть эволюция созидания! Какой-то демон овладевает нами и приказывает: «Твори!» Но когда что-то создано, этот демон покидает нас, и созданное становится ненужным. Однако это вовсе не означает, что оно должно исчезнуть. Память о Шах Джахане и Мумтаз никогда не опустеет. Нибарон Чокроборти написал стихи о брачной комнате. Это краткий, написанный на почтовой открытке ответ твоему поэту по поводу его «Тадж-Махала»:

Когда убегает ночной покой
От грохота колесницы зары.
Влюбленные расстаются с тобой,
О брачный покой!
Разлука жестоко и неумолимо
Сминает любовных гирлянд цветы,
Но ступы твои — несокрушимы.
Узы твои — нерасторжимы.
Смерть, и забвенье, и годы — мимо!
Всегда остаешься ты.
Кто сказал, что супругов твоих больше нет
И ложе твоё опустело навек?
Слова эти лживы!
Покуда горит на пороге свет,
Покуда зовет их брачный покой,
Супруги-влюбленные живы!
Из страстных неведомых вновь и вновь.
Они возвращаются бескопечно...
Брачный покой,
Бессмертна любовь,
И ты стоять будешь вечно!

Рабиндранат Тагор, — продолжал Омито, — все время оплакивает то, что уходит. Он просто не умеет воспевать то, что остается. Посуди сама, Бонне, достойно ли поэт утверждать, что мы напрасно стучим в дверь, ибо она все равно не откроется!

— Умоляю тебя, Мита, не затевай сегодня ссоры из-за поэзии! Ты думаешь, я с первого дня не догадалась, что Нибарон Чокроборти — это ты? И прошу тебя, не воздвиги

гай из своих стихов мавзолее нашей любви, подожди хотя бы, пока она умрет!

Лабонно понимала, что Омито сегодня говорит о всяких пустяках, чтобы скрыть свою тревогу. Он и сам чувствовал, что если вчера спор о поэзии был до какой-то степени уместен, то сегодня он звучит просто нелепо. Но то, что Лабонно видела его насвозь, было ему неприятно.

— Хорошо, я пойду, — сказал он сдержанно. — В этом мире и у меня есть предназначение: на сегодня оно состоит в том, чтобы посмотреть отель. Похоже, несчастный Шибарон Чокроборти отвеселился.

Лабонно взяла Омито за руку.

— Послушай, Мита, — сказала она, — никогда не сердись на меня. Если настанет время разлуки, молю тебя, не уходи, не прости!

И она постепенно вышла в другую комнату, чтобы скрыть свои слезы. Омито замер на месте. Затем почти бессознательно он побрел к эвкалипту. Под ним были разбросаны колотые грецкие орехи. При виде их у него сжалось сердце. Следы, которые остаются после того, как пронесется поток жизни, всегда печальны, потому что уже ничего не стоят. Потом он увидел на траве книжку «Курани» Рабиндраната Тагора. Последняя страница была влажной. Сперва он хотел положить книгу на место, но вместо этого сунул ее в карман. Он хотел пойти в отель, но вместо этого сел под деревом. Мокрые почные облака дочиста отмыли небо. Пыль прибило, воздух был прозрачен, и все вокруг казалось необычайно ярким. Очертания гор и деревьев четко вырисовывались на фоне небесной синевы. Казалось, будто природа приблизилась к душе человека. Время сделалось осязательным, и в нем слышалась печальная музыка вселенной.

Лабонно пыталась заняться делами, но, когда она увидела, что Омито сидит под эвкалиптом, не смогла сдержаться: сердце ее забилось, глаза наполнились слезами. Она подошла и спросила:

— Мита, о чем ты думаешь?

— Совсем не о том, о чем думал раньше.

— Тебе, видно, необходимо время от времени менять свои взгляды на противоположные. Что же ты придумал теперь?

— До сих пор я строил для тебя жилища — то на берегу Гауги, то на холме. А сегодня моему мысленному взору предстала дорога, поднимающаяся по горам, вся в нит-

пах тепл и утреннего света. В руках у меня длинная палка с железным наконечником, за спиной — квадратный рюкзак на кожаных ремнях. Ты идешь рядом, я благословляю имя твое, Бонне, за то, что ты вывела меня из четырех стен па дорогу. Дом всегда переполнен, а па дороге нас только двое.

— Значит, сад в Даймонд-Харборе исчез, и несчастная компата за семьдесят пять рупий тоже? Согласна! Но как же в пути сохранить расстояние между нами? Останавливаться на ночь в разных гостиницах, ты в одной, а я в другой?

— Этого больше не нужно, Бонне. В пути новизна никогда не теряется. В движении ничто не стареет — для этого не останется времени. Старость приходит с неподвижностью.

— Откуда эти мысли, Мита?

— Сейчас объясню. Я неожиданно получил письмо от Шобхонлала. Наверно, ты слышала его имя: он удостоен стипендии «Премчанд Райчанд»; так вот, Шобхонлал вздумал пройти по всем древним путям, о которых упоминается в истории Индии. Он хочет отыскать затерянные пути прошлого, а я хочу проложить дороги будущего.

У Лабонно вдруг перехватило дыхание.

— Я сдавала экзамены на степень магистра в один год с Шобхонлалом, — сказала она, перебивая Омито. — Что ты о нем знаешь?

— Одно время он посылался с мыслью отыскать дорогу, которая когда-то проходила через древний афганский город Капиш. По этой дороге Сюань Цзап пришел в Индию как паломник, а задолго до него — Александр Македонский как завоеватель. Шобхонлал начал усердно изучать язык пушту, законы и обычаи патапов. Правда, в их широких одеждах он скорее походил на красавца перса, чем на патана, но это между прочим. У меня он попросил рекомендательное письмо к французским ученым, которые занимались той же проблемой, — кое-кого из них я уже знал во Франции. Письмо я дал, но индийское правительство не дало ему заграничного паспорта. С тех пор он ищет древние пути через непроходимые Гималаи: то в Кашмире, то в Кумаоне. Сейчас он хочет поискать в восточной части Гималаев дорогу, по которой из Индии шли проповедники буддизма. Его страсть к путешествиям волнует и меня. Мы портим главы, отыскивая в рукописях пути слов, а этот безумец читает рукопись дорог, в кото-

рой запечатлепа судьба рода человеческого. Но знаешь, что мне кажется?

— Скажи!

— Что когда-то Шобхонплала поразил удар псажной ручки, украшенной браслетами, вот он и бежал из дома на дорогу. Я не знаю всей его истории, но как-то раз мы с ним вдвоем болтали чуть ли не до полуночи. Внезапно из-за ветвей цветущего дерева джарул выглянула луна, и он заговорил об одной девушке. Он не назвал ее по имени и не описал ее, но голос его задрожал от волнения, и он поспешил уйти. Я понял, что когда-то его жестоко ранили и теперь он хочет заглушить боль бесконечными страданиями.

Ощувтив вдруг прилив интереса к ботанике, Лабонно наклонилась, чтобы рассмотреть в траве бело-желтый лесной цветок. Видимо, ей было совершенно необходимо считать все его лепестки.

— А знаешь, Боине, — снова заговорил Омито, — сегодня ты толкнула меня на дорогу.

— Каким образом?

— Я построил дом, но сегодня утром из твоих слов я понял, что ты колеблешься: входить в него или не входить. Два месяца я мысленно украшал этот дом. Сегодня я позвал тебя: «Приди, мой жепал!» Но ты сняла брачные одежды и сказала: «Нет, мой друг, там слишком тесно! Наша помолвка никогда не кончится свадьбой».

Ботаника сразу перестала интересоваться Лабонно. Она выпрямилась и с болью в голосе воскликнула:

— Довольно, Мита, не надо!

XIV

КОМЕТА

Только теперь Омито обнаружил, что его отношения с Лабонно известны всем бенгальцам Шиллонга. Обычно среди клерков основной темой разговоров было положение светил их конторы. Но когда они вдруг заметили в своей солнечной системе появление двух звезд первой величины, они, подобно всем добросовестным астрономам, пачали обсуждать всевозможные варианты феерической драмы, в которой новые звезды играли главную роль.

В самый разгар этих обсуждений в Шиллонге появился адвокат Кумар Мукхерджи, приехавший сюда поды-

шать горным воздухом. Для краткости одни называли его Кумар Мукхо, другие — Мар Мукхо. Он не принадлежал к узкому кругу друзей Сисси, по его там прекрасно знали. Омпто прозвал его «Мукхо-комета», потому что, хотя Мукхо и был из иного мира, он, подобно комете, то и дело пересекал орбиту их общества. Все догадывались, что имя звезды, которая его притягивала, было Лисси. Все подтрунивали по этому поводу, а Лисси смущалась и сердилась. Она все время старалась прищемить комете хвост, но, видимо, это не причиняло никакого вреда ни хвосту кометы, ни голове.

Время от времени Омпто видел издалека Кумара Мукхо на дорогах Шиллонга. Не увидеть его было трудно. Хотя он никогда не бывал за границей, его английские манеры так и лезли в глаза. Во рту у него всегда дымилась длинная толстая сигара, что также отчасти объясняло его прозвище «Комета». Завидев его, Омпто старался улизнуть, теша себя надеждой, что Комета его не заметит. Однако увидеть и притвориться, что не видишь, — сложное и тонкое искусство. Как и при воровстве, успех сопутствует тебе лишь до тех пор, пока не попадешься. А для того чтобы не заметить столь заметную фигуру, как Мукхо, искусства Омпто явно не хватало.

То, что Кумар Мукхо узнал в Шиллонге, можно было подать под заголовком: «Омпто Рай бросает вызов обществу». Больше всех любят скандалы те, кто больше всех ими позущается. Кумар предполагал провести здесь некоторое время, чтобы подлечить большую печень, но безмерная любовь к сплетням уже на пятый день заставила его вернуться в Калькутту. Здесь, в кругу Сисси, Лисси и компании, он и выложил все сплетни об Омпто, вперемешку с сигарным дымом, издевками и откровенным враньем.

Пропагандистский читатель, вероятно, уже догадался, что верховным жрецом культа богини Сисси был Норен, старший брат Кэтти Миттер. Поговаривали, из положения поклонника он скоро переместится в положение супруга. Сисси в душе была давно согласна, однако скрывала это, окружив себя мраком таинственности. Норен надеялся с помощью Омпто рассеять туман неизвестности, но обманщик Омпто и в Калькутту не возвращался, и на письма не отвечал. Норен вслух и про себя ругал исчезнувшего Омпто всеми английскими ругательствами, какие только знал. Он даже отправил в Шиллонг несколько телеграмм отнюдь не лестного содержания, но их огненный след за-

терялся, как след дерзких ракет, устремившихся к невозмутимой звезде. В конце концов все единодушно решили, что нельзя больше терять ни минуты и что, если в пучине, где тонет Омито, еще виднеется хотя бы его макушка, надо без промедления вытащить его на берег, пусть даже за волосы. В этом отношении гораздо больше энтузиазма, чем его родная сестра Спесс, проявляла чужая ему Кэтти. Кэтти Миттер испытывала такое же негодование, какое испытывают наши политики, видя, как богатства Индии утекают за границу.

Норен Миттер долгое время жил в Европе. Сын зампицара, он не беспокоился ни о доходах, ни о расходах; еще менее — о собственном образовании. За границей он только тратил и деньги и время. Если выдавать себя за художника, можно одновременно обрести ничем не ограниченную свободу и ничем не оправданную самоуверенность. Так, служа богине искусств Сарасвати, он знакомился с богемой всех крупнейших городов Европы. После нескольких попыток ему пришлось последовать настоятельным советам своих искренних доброжелателей и оставить живопись. С тех пор он выдавал себя за знатока живописи, обнаруживая при этом полную к ней непричастность. Если ничего не удастся сделать самому, можно, на худой конец, поносить других.

Норен старательно закручивал по французской моде усы и так же старательно пренебрегал своей лохматой головой. Он был хорош собой, но, стремясь во что бы то ни стало стать еще красивее, загромоздил свой туалетный стол всевозможными средствами парижской косметики. Его принадлежностей для умывания хватило бы и для десятиголового Раваны. При виде того, как он небрежно бросает дорогую гавайскую сигару после двух-трех затяжек, как ежемесячно посылает свое белье почтовой посылкой в парижскую прачечную, никто бы не осмелился усомниться в его аристократизме. Его мерки были занесены в книги лучших ателье Европы: рядом с именами индийских князей Патталы и Карпурталы. Он жеманно растягивал английские фразы, уснащенные жаргонными словечками, и речь его была так же ленива и невыразительна, как вялый взгляд чуть приоткрытых сонных глаз. Знатоки уверяют, что из уст многих английских аристократов голубой крови льется именно такая гнусавая и неразборчивая речь. Кроме того, среди людей его круга он слыл знатоком жокейского жаргона и английских ругательств.

Настоящее имя Кэтти Миттер было Кетокки. Переняв все, что можно было перенять у брата, она создала свой собственный стиль — пекую квинтэссенцию всего заграничного. Она обрезала свои длинные волосы, гордость бенгальской девушки, — видимо, подражая головастику, чей отпавший хвост свидетельствует, что он поднялся на новую ступень развития. Она покрывала кремом лицо, хотя цвет его был красив от природы. В детстве черные глаза Кэтти были ласковыми и внимательными, по сейчас она решила, что далеко не каждый достоин ее внимания. Кажалось, она никого не видела, а если видела, то не замечала, а если и замечала, то во взгляде ее появлялся металлический блеск. Ее губы, когда-то нежные и мягкие, теперь застыли в презрительной гримасе и напоминали очертаниями спотпнутый явкуп.

Я не знаток всех деталей женского туалета и не знаю, как они называются. Но в ее наряде прежде всего бросалась в глаза чересчур прозрачная верхняя одежда, сквозь которую просвечивало пижнее белье. Большая часть ее груди была всегда обнажена, и она искусно выставляла напоказ свои голые руки, то облачаясь на стол или на ручки кресла, то скрещивая их с небрежным изяществом. Когда она затягивалась сигаретой, держа ее пальцами с лапашиклорепными ногтями, это тоже делалось больше ради кокетства, чем ради курения. Но хуже всего были ее немислшмые туфли на высоких каблуках! Можно подумать, что творец просто не сумел или не успел дать человеку козлиные копыта и теперь сапожники призваны исправить эту ошибку, чтобы каждый из нас мог терзать себе ноги и землю их чудовищными приспособлениями.

Сисси пока занимала промежуточное положение: она делала большие успехи, но еще не получила диплома о полной европеизации. Звонкий смех, неудержимая веселость, забавная болтовня и неукротимая жизнерадостность очаровывала ее поклонников. Она, как Радха, была то жестовенно спокойна, то ребячливо шаловлива. Ее туфли на высоких каблуках знаменовали победу новой эпохи, но длинные волосы, связанные узлом, свидетельствовали о том, что старая еще не миновала. Хотя пижкий край ее сари был на два-три дюйма короче, чем полагалось, зато верхний край скромно прикрывал плечи. Она без всякой надобности носила перчатки, но браслеты были у нее на обеих руках. Сигареты еще не вскружили ей голову, но бетель она по-прежнему жевала с удовольствием. Она не

возражала, если ей присылали маринад и консервированный сок манго, по гораздо больше любяла праздничные пиршества месяца поуш, чем рождественский плам-пудинг. Она научилась таппевать у европейского учителя танцев, но не могла заставить себя кружиться с кем-нибудь в паре в танцевальном зале.

Когда до них дошли толки об Омито, все трое — Сисси, Кэти и Норен — обеспокоились и отправились в путь. Их тревога была тем более попятна, что они считали Лаббно гувернанткой, то есть одной из тех, кто для того и создан, чтобы губить людей их круга. Наверняка ее привлекали в Омито его деньги и положение. И чтобы освободить его, придется применить всю женскую изобретательность. Четыре пары глаз четырехглавого Брахмы взирают на женщин с любопытством и сочувствием, поэтому Брахма и делает мужчин круглыми дураками, когда дело касается женщин. Значит, если мужчина не поможет родственница, ему самому не освободиться от любовных сетей, сплетенных соблазнительницами.

Обе подружки немедленно разработали план спасения Омито. Разумеется, он ни о чем не должен знать, пока они не разведают силы врага и не осмотрят поле будущего сражения. Тогда будет видно, как лучше справиться с чародейкой! При встрече их поразило дочернее загорелое лицо Омито. Он и раньше не походил на людей своего круга, однако всегда оставался истинным горожанцем, выхоленным и отшлифованным до блеска. Сейчас не только его кожа огрубела на открытом воздухе, — казалось, лесная жизнь наложила отпечаток на все его существо. Он словно помолодел и, по их мнению, чуть-чуть поглупел. Держал он себя так же, как самые простые люди. Раньше он реагировал на все жизненные затруднения смехом, а сейчас потерял к этому всякую охоту. Это показалось им признаком деградации.

Сисси сказала ему прямо:

— Когда мы были вдаль от тебя, мы думали, что ты опустился до уровня здешних горцев — кхаси, а теперь видим, что ты просто одревенел, как здешние сосны! Может быть, ты стал здоровее, чем прежде, но ты совсем не такой интересный.

В ответ Омито процитировал ей слова Вордсворта о том, что на человека при долгом общении с природой оказывают влияние «вещи немые, неодушевленные». Сисси подумала про себя, что вещи немые, неодушевленные здесь

ни при чем: куда страшнее существа одушевленные и к тому же паделенные даром красноречия.

Они падеялись, что Омито сам заговорит о Лабонно. Но прошел день, другой, третий, а он молчал. Однако можно было догадаться, что ладья его любви заплывала довольно далеко, пожалуй, даже слишком. По утрам, когда они еще валялись в постели, Омито куда-то уходил, а когда возвращался, на лице его отражались самые бурные чувства, при взгляде на него невольно вспоминались пальмовые листья, истрепанные бурей. Еще тревожнее было то, что на его постели оказалась книга Рабиндраната Тагора. На титульном листе книги было написано имя Лабонно, причем первые две буквы были выведены красивыми черпилами. По-видимому, эта подпись имела волшебные свойства обращать в золото все, на чем бы она ни стояла.

Омито часто исчезал. Он говорил, что уходит, чтобы погулять аппетит. Аппетит его действительно возрастал, но все догадывались, что в действительности может его удовлетворить. Сисси в душе посмеивалась. Катти открыто возмущалась. Омито был так поглощен своими делами, что не замечал тревоги окружающих. Он беззаботно объявлял двум подругам, что идет искать водопад, и ему в голову не приходило, что другие могут заинтересоваться, что это за водопад и куда падают его воды. Сегодня он сказал, что пойдет искать апельсиновый мед. Обе девушки с певчим видом спокойно заявили, что этот необыкновенный мед вызывает у них неудержимое любопытство и что они тоже хотят пойти с ним. Сказав, что дорога трудна и опасна, Омито пресек спор в самом начале и улетел. Хлопотливость этой пчелы заставила подруг принять наконец решение и, не теряя времени, отправиться за нею в таинственную апельсиновую рощу. Норен, правда, собирался на скачки и очень хотел, чтобы Сисси поехала с ним, но Сисси отказалась. Какого усилия воли стоил ей этот отказ, знает только тот, кто бывал в ее положении.

XV

ПОМЕХА

Подруги вопли в ворота сада Джогомайи и, не встретив слуг, приблизились к дому. Здесь на веранде они увидели учительницу и ученику, которые занимались, сидя

у маленького столика. Нетрудно было догадаться, что старшая из них — Лабонно.

Поступившая каблучками, Кэтти поднялась на веранду и сказала по-английски:

— Простите, могу я...

— Что вам угодно? — спросила Лабонно, поднимаясь с места.

Окинув ее колючим взглядом с головы до ног, Кэтти объявила:

— Мы пришли узнать, здесь ли мистер Эмитрой.

Лабонно сразу не поняла, кто такой этот Эмитрой, и ответила:

— Я такого не знаю.

Подруги молниеносно обменялись взглядами, по их губам скользнула усмешка.

— Зато мы знаем, что он часто ходит в этот дом — гораздо чаще, чем следует! — прошипела Кэтти, сердито трясая головой.

Лабонно вздрогнула. Только теперь она поняла, кто они такие и какую ошибку она допустила.

— Я позову хозяйку дома, — проговорила она в замешательстве, — от нее вы узнаете все, что вам нужно.

Когда Лабонно ушла, Кэтти обратилась к Шуроме:

— Твоя учительница?

— Да.

— Зовут, кажется, Лабонно?

— Да.

— Спички есть? — спросила она по-английски.

Сбитая с толку неожиданной просьбой о спичках, Шуроме не поняла вопроса. Она продолжала смотреть на Кэтти.

Кэтти повторила по-бенгальски:

— Спички!

Шуроме принесла коробку спичек, Кэтти зажгла сигарету, затапулась, потом спросила Шурому:

— Английский учишь?

Шуроме кивнула и убежала в дом.

— Если она чему-нибудь и научится у своей наставницы, то только не хорошим манерам, — изрекла Кэтти.

Подруги делились впечатлениями:

— Вот она, знаменитая Лабонно! Прекрасна, не правда ли? И это она разбудила в горах Шиллонга вулкан и растопила каменное сердце Омито! Ничего не понимаю. Глупцы эти мужчины!

Сисси громко рассмеялась. Это был искренний, веселый смех, потому что глупости мужчины несколько ее не задевали. Она сама сокрушалась и разбивала каменные сердца. Но странно! Одно дело — такая девушка, как Кэтти, и совсем другое дело — эта гувернантка в нелепом паряде! Как неприступна! Положи ей масла в рот, и то не растает! А сама — точно узел мокрого белья. Только сядь с ней рядом — сразу отсыреешь, как бискупит в дождливый день. Как это Эмиг может терпеть ее хоть одну минуту!

— Сисси, у твоего брата давно уже мозги шиворот-навыворот. Только человеку с извращенным вкусом эта девица могла вдруг показаться ангелом.

Сказав это, Кэтти швырнула сигарету на учебник алгебры и, открыв сумочку с серебряной цепочкой, припудрилась и подвела карандашом брови.

Сисси не возмущало отсутствие здравого смысла у ее брата, в глубине души она даже сочувствовала ему. Весь ее гнев обратился против лжеангела, который завлек его и околдовал. А Кэтти, видя странное безразличие Сисси, просто выходила из себя! Ее так и подмывало встряхнуть хорошенько перадивую сестру.

В эту минуту к ним вышла Джогомайя в белом шелковом сари. Лабонно осталась в доме.

Кэтти привела с собой маленькую лохматую собачонку по кличке Тоби, у которой глаза прятались под косматой шерстью.

Знакомясь с Лабонно и Шуромой, Тоби ограничился тем, что только обнюхал их. Но вид Джогомайи привлек его в восторг. Тоби бросился к Джогомайе и засвидетельствовал ей свою пылкую любовь, оставив на белоснежном сари следы грязных лап. Сисси оттащила песика за ошейник к Кэтти, та щелкнула его по носу и сказала по-английски:

— Не лезь, не лезь, озорник!

Кэтти и не подумала встать со стула. Покуривая сигарету, она только повернула голову и с нескрываемым пренебрежением уставилась на Джогомайю. Она явно злилась на нее еще больше, чем на Лабонно. Кэтти решила, что в прошлом у Лабонно было какое-то пятно, и теперь Джогомайя, прикинувшись доброй тетей, старалась сбить ее на руки Омига. Чтобы обмануть мужчину, не требуется много хитрости, ибо мужчины слепы от природы.

Сисси подошла к Джогомайе, сделала какое-то подобие традиционного поклона и представилась:

— Я Сисси, сестра Омпто.

Джогомайя улыбнулась.

— Оми зовет меня теткой, значит, и тебе я прихожусь теткой.

Взглянув на Кэтти, Джогомайя решила не обращать на нее внимания.

— Войди в дом, дорогая, — обратилась она к Сисси.

— У нас нет времени, — ответила Сисси. — Мы пришли только, чтобы узнать, здесь ли Оми.

— Он еще не приходил, — сказала Джогомайя.

— А вы не знаете, когда он придет?

— Подожди немного, я схожу и узнаю.

Кэтти, не двигаясь с места, бросила:

— Эта учительница, которая здесь сидела, говорила, что даже не знает, кто такой Эмит.

Джогомайя смутилась. Она чувствовала враждебность Кэтти и понимала, что ей нелегко будет добиться от нее уважения. Сразу же перейдя на официальный тон, Джогомайя сказала:

— Насколько мне известно, Омпто-бабу остановился в одном отеле с вами. Вы сами должны знать, где он бывает.

Кэтти засмеялась ей в лицо, и смех этот должен был означать: «Можете скрывать, обмануть нас все равно не удастся!»

Дело в том, что при виде Лабонно, да еще после ее слов о том, что она не знает Омпто, в душе Кэтти закипел гнев. Сисси же хотя и чувствовала себя задетой, однако вовсе не сердилась. Красивое, спокойное лицо Джогомайи вызывало симпатию и уважение, поэтому дерзкое поведение Кэтти, которая даже не встала со стула, смущало Сисси. Однако противоречить она не осмеливалась, потому что Кэтти не терпела возражений. Она быстро подавляла любой бунт и при этом не стеснялась применять самые крайние меры. Люди обычно теряются и отступают перед такой напористостью. А Кэтти даже гордилась своей резкостью и никогда не щадила друзей, если замечала, что кто-нибудь из них проявляет, как она говорила, «слишком сентиментальность». Свою грубость она выдавала за прямоту, и те, кто боялся этой грубости, всячески старались завоевать расположение Кэтти, лишь бы она оставила их в покое. Сисси была из их числа. Чем больше она боялась Кэтти, тем старательнее подражала ей, стремясь скрыть свою слабость. Но ей не всегда это удавалось.

Кэтти догадывалась, что в глубине души Сисси стыдно за ее поведение. Такая дерзость должна была быть немедленно наказана, и в присутствии Джогомайи! Она встала со стула, подошла к Сисси, сунула ей в рот сигарету и наклонилась к ее лицу, давая прикурить от своей. Сисси не осмелилась возразить, хотя и зарделась до кончиков ушей. Она заставила себя сделать вид, что готова дать отпор каждому, кто вздумает хотя бы намеком выразить недовольство ее западными манерами.

Перед домом появился Омито. Девушки были поражены. Из отеля он ушел в английском костюме и фетровой шляпе, а сейчас на нем было джогги и шаль. Он переменял одежду в своем домике. Там у него была полка с книгами, запас белья и кресло, которое ему дала Джогомайя. Он часто уходил туда отдыхать после завтрака в отеле. Лабонно запретила являться к ней во время ее занятий с Шуромой каким бы то ни было искателям водопадов или апельсинового меда, так что Омито не мог утолить ни физической, ни духовной жажды до половины пятого, когда у Джогомайи подавали чай. Он кое-как дотягивал до этого времени, переодевался и приходил точно к назначенному часу.

Сегодня перед уходом из отеля он получил наконец заказанное в Калькутте кольцо. В своем воображении он уже видел, как наденет его на палец Лабонно. Сегодня был как раз подходящий день! Второго такого дня не скоро дождешься. Сегодня можно отложить все прочие дела. Он решил явиться прямо туда, где занималась Лабонно, и сказать ей: «Однажды исканий падишах ехал на слоне. Ворота, через которые ему надо было проехать, были низки, он не захотел нагнуть голову и вернулся, так и не понав в свой новый дворец. Сегодня для нас большой день, но ты сделала ворота своего досуга слишком низкими. Сломай их, чтобы царь мог въехать в ворота твоего мира, не склоняя головы!»

Омито также решил сказать ей, что люди называют пунктуальными тех, кто приходит вовремя, однако время, отсчитываемое часами, не есть истинное время: часы лишь отсчитывают время, но разве они знают его ценность?

Омито огляделся. Небо затянуло тучами, и, судя по всему, было уже часов пять-шесть. На часы он не смотрел, боясь, что их упрямые стрелки могут не согласиться с небом. Так мать, которой показалось, что после долгих дней лихорадочного жара лоб ребенка стал прохладнее,

не решается взглянуть на термометр. На самом-то деле Омито явился гораздо раньше времени, но терпение не знает стыда.

Часть веранды, на которой Лабонно обычно занималась со своей ученицей, была видна с дороги. Сейчас там никого не было, и сердце Омито запрыгало от радости. Теперь он взглянул на часы. Было только двенадцать минут четвертого! Как-то он сказал Лабонно, что если люди повипуются законам, то боги законов не признают. На земле мы чтим законы в надежде насладиться нектаром беззакония на небесах. Но иногда небеса спускаются на землю, и тогда высший долг людей — нарушать законы. И теперь у него появилась надежда, что, может быть, Лабонно поняла необходимость время от времени нарушать заведенный порядок, может быть, и она почувствовала всю важность сегодняшнего дня и отказалась от обычных ограничений.

Омито подошел ближе и увидел, что Джогомайя, одетая в шелк, стоит на пороге дома, а Сисси прикуривает от сигареты Кэти. Он сразу понял, что это преднамеренная демонстрация. Лохматый Тоби, проявление дружеских чувств которого было так решительно пресечено, прикорнул у ног Кэти, но, увидев Омито, опять разволновался и бросился его приветствовать. Сисси снова дала ему понять, что такой способ проявления дружеских чувств по меньшей мере неуместен.

Омито даже не взглянул на подруг. Еще издали он закричал: «Тетя!», а подойдя ближе, склонился и взял прах от ее ног. Обычно он никогда не приветствовал ее таким образом.

— Где Лабонно? — спросил он.

— Не знаю, дорогой, наверное, у себя в комнате.

— Но ведь сейчас еще время запытий!

— Я думаю, она ушла, когда явился, м-м-м, вот они.

— Пойдемте посмотрим, что она делает.

И Омито ушел с Джогомайей в дом, словно обе подруги были неодушевленными предметами.

— Это оскорбление! — взвизгнула Сисси. — Уйдем отсюда!

Кэти была возмущена не меньше, если не больше, но она не собиралась уходить, не выяснив всего до конца.

— Мы ничего не добьемся, — сказала Сисси.

— Нет, добьемся! — ответила Кэти, сверкая глазами.

Они подождали немного, потом Сисси снова взмолилась:

— Уйдем отсюда! Я не хочу больше здесь оставаться!
Но Кэтти не двинулась с места.

Наконец вышел Омито вместе с Лабонно. Лицо ее было лучезарно-спокойно: оно не выражало ни гнева, ни презрения, ни надменности. Джогомайя осталась в доме. У нее не было ни малейшего желания выходить, однако Омито пошел и привел ее. Кэтти сразу увидела кольцо на пальце Лабонно. Кровь бросилась ей в голову, глаза покраснели, она была готова рвать и метать.

— Тетя, — сказал Омито, — это моя сестра Шомита. Наверно, отец хотел, чтобы наши имена рифмовались, но рифмы не получилось. А это Кетоки, подруга моей сестры.

Тут снова произошел переполох. Любимая кошечка Шуромы вышла из дома. Тоби эта дерзость показалась достаточным основанием для объявления войны. Сначала он с рычаньем бросился на кошку, но тут же трусливо отступил, засомневавшись в исходе боя при виде выпущенных когтей шипящего врага. Собачонка заняла позицию на почтительном расстоянии, решив проявить героизм, не связанный с опасностями, залилась неудержимым лаем. Однако на это кошка никак не реагировала, она только выгнула спину и торжественно удалилась.

Для Кэтти это было уже слишком! Вне себя от ярости она принялась трепать Тоби за уши, словно он был главной причиной ее дурного настроения. Собака громким визгом выразила свой протест против такого обращения. Судьба явно потешалась над Кэтти.

Когда шум утих, Омито обратился к Сисси:

— Сисси, это Лабонно. Ты еще не слышала ее имени от меня, но, я думаю, слышала его от других. Наша свадьба состоится в Калькутте, в месяце огрохайон.

Кэтти тотчас изобразила на лице улыбку.

— О, поздравляю! — сказала она. — Оказывается, не так уж трудно добыть апельсиновый мед. И ходить далеко не пришлось, и мед сам просится в рот.

Сисси, по обыкновению не удержавшись, рассмеялась. Лабонно почувствовала, что в этих словах скрыт какой-то яд, но не поняла намека. Омито пояснил:

— Сегодня, когда я уходил, они меня спросили, куда я иду. Я сказал, что за диким медом. Поэтому они и смеются. Это моя беда — люди не понимают, когда я шучу, а когда нет.

— Теперь, когда ты выиграл свой апельсиновый мед, —

с притворной скромностью произнесла Кэтти, — помоги мне не остаться в проигрыше.

— Что я должен для этого сделать?

— Я билась с Нореном об заклад. Он утверждает, что тебя не затащить туда, где бывают настоящие джентльмены, что па скачки ты ни за что не пойдешь. Я поспорила на свое бриллиантовое кольцо, что приведу тебя на скачки. Мы ходили по всем окрестным водонадам и пескам, пока наконец не нашли тебя здесь. Ведь правда, Спеси, нам пришлось немало походить в поисках нашей волшебной птицы, или дикого гуся, как говорят англичане!

Сисси вместо ответа только хихикнула.

— Я вспоминаю рассказ, который как-то слышала от тебя, Эмит, — продолжала Кэтти. — Один персидский философ не мог найти вора, укравшего его тюбан. Тогда он пошел на кладбище и сел там, рассудив, что уж этого места вору не миновать. Когда мисс Лабонно сказала, будто не знает тебя, я усомнилась, но что-то в душе говорило мне, что, в конце концов, и тебе не миновать своего кладбища.

Спеси громко расхохоталась.

Кэтти обратилась к Лабонно:

— Эмит никогда не упоминал вашего имени. Медовым языком метафор он называл вас «апельсиновый мед». Ваш ум не искушен в рассказаниях, и вы прямо сказали, что Эмит вам незнаком. И небо не наказало ни вас, ни Эмита, хотя в воскресных школах и говорят, что ложь никогда не остается безнаказанной. Один из вас единым глотком проглотил невдомый апельсиновый мед, а другой с первого взгляда узнал незнакомого. И только я в проигрыше. Правда же, Сисси, это несправедливо!

У Сисси опять вырвался смехок. Тоби тоже счит своим долгом присоединиться к общему веселью, и пришлось его успокаивать в третий раз.

— Эмит, ты знаешь, если я потеряю это бриллиантовое кольцо, мне не будет покоя! — снова заговорила Кэтти. — Ты сам подарил его мне. Я никогда его не снимала, оно стало как бы частью меня самой. Неужели теперь мне придется лишиться его здесь, в Шиллонге, на-аа несчастного спора?

— Зачем же ты спорила на него, дорогая? — спросила Сисси.

— Я была слишком самонадеянна и слишком верила в мужчин. Ну что ж, гордость прежде всего. Я поставила на

свою лошадку и проиграла. Мне кажется, Эмит уже и пальцем не шевельнет для меня. О, ты безжалостен! Зачем ты подарил мне это кольцо, зачем был так нежен, — не для того ли, чтобы сегодня оскорбить меня? Разве этот дар ли к чему не обязывает? Разве он не означал, что ты никогда меня не оставишь?

У Кэтти прервался голос, но она сумела сдержать слезы.

А случилось все это семь лет назад, когда Кэтти было всего восемнадцать лет. Однажды Омито снял кольцо и надел его на палец Кэтти. Они находились тогда в Англии. Один педжабец, студент Оксфордского университета, был страстно влюблен в Кэтти. В тот день Омито и этот педжабец состязались в гребле. Победа досталась Омито. Вспыльчивое лунаное небо даже июньское небо обрело красноречие, и, казалось, сама земля потеряла самообладание, охваченная ароматом луговых цветов. Тогда-то Омито и надел на палец Кэтти кольцо. Это было многозначительно, но не имело никакого глубокого, скрытого смысла. В те дни смех Кэтти был жизнерадостен, лицо еще не было напылено, и ничто не мешало ей краснеть. Надев кольцо, Омито прошептал ей на ухо:

Ночь исполнена нежности.

И вкушает блаженство на троне царица-луна.

Кэтти тогда не умела много говорить. Она глубоко вздохнула и словно про себя прошептала по-французски: «Друг мой».

И вот сейчас Омито не знал, что ответить. Он не находил нужных слов. А Кэтти продолжала:

— Если уж я проиграла спор, пусть лучше это кольцо останется у тебя как символ моего поражения. Я не хочу носить на своем пальце ложь!

Кэтти сняла кольцо, бросила его на стол и сбегала с веранды. По ее напыленным щекам катились слезы.

XVI

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Лабонно получила коротенькое письмо от Шобхонлала:

«Я приехал в Шиллонг вчера вечером. Если вы позволите, я зайду к вам. Если не позволите, я завтра же еду. Вы наказали меня, но я до сих пор не могу понять,

когда и в чем я провинился. Я приехал, чтобы узнать это, иначе я не обрету покоя. Не бойтесь! Больше я ни о чем не собираюсь просить».

Глаза Лабонно наполнились слезами. Она отерла их и долго сидела молча, вспоминая прошлое. Она думала о юношеской робости, из-за которой заглушила, не дала пробиться нежному ростку любви. Если бы она сберегла этот росток, теперь он бы окреп и расцвел и она смогла бы воспользоваться его плодами. Но она чересчур гордилась своими знаниями, целиком была поглощена занятиями и слишком цепляла свою самостоятельность. Роковая слепота отца заставила и ее смотреть на любовь как на слабость. Но теперь любовь отомстила ей, и ее гордость повержена в прах. То, что раньше было таким простым и естественным, как смех или дыхание, стало теперь и сложным и трудным. Она уже не могла с легкой душой приветствовать гостя из прежней жизни, но и отвергнуть его было бы жестоко. Лабонно вспомнила несчастное, жалкое лицо Шобхонлала в день его изгнания. Это было так давно! В каком же нектаре бессмертия столько времени сохранялась отвергнутая любовь юноши? Таким нектаром могло быть лишь благородство его души.

Лабонно написала ответ:

«Вы — лучший из всех моих друзей. У меня нет сокровищ, которыми я могла бы отблагодарить вас за вашу дружбу. Вы никогда не просили ничего взамен, и даже сегодня вы явились, чтобы отдать то, что имеете, ничего не требуя. У меня не хватает ни сил, ни гордости, чтобы отказаться от вашего дара и попросить вас уйти».

Она едва успела отправить письмо, когда пришел Омито.

— Бошне, — сказал он, — пойдем погуляем.

Он говорил очень неуверенно, так как боялся, что Лабонно не согласится.

Но она ответила просто:

— Пойдем.

Они вышли. Омито робко взял руку Лабонно. Она не протестовала. Омито крепко сжал ее кисть. Только так мог он выразить свои чувства. Слова ускользали от него.

Они дошли до места своих прежних встреч, до лесной поляны, где лес внезапно расступался. Солнце зашло,

последний отблеск его лежал только на голой вершине горы. Чудесные переливы зеленого света постепенно переходили в нежно-голубой. Лабонно и Омито остановились, глядя на закат.

— Зачем ты заставил меня принять кольцо, если раньше надел такое же на палец другой? — мягко спросила Лабонно.

— Как объяснить тебе все это, Боине? — с болью ответил Омито. — Я действительно надел кольцо на палец другой. Но разве та, которая сняла его сегодня, была той же самой?

— Одна из них создана любовью творца, другая создана твоим пренебрежением.

— Это не совсем так, — возразил Омито. — В том, что Кэтти стала такой, как теперь, не только моя вина.

— Когда-то она целиком доверилась тебе, Мита. Почему же ты не сберег ее? Сначала ты выпустил ее из своих рук, — я не спрашиваю почему, — а потом десятки людей лепили из нее, что хотели, пока она не сделалась такой, как сейчас. Потеряв тебя, она стала подлаживаться под вкусы других. И теперь похожа на заграничную куклу. Этого бы не случилось, если бы ее сердце не было разбито. Но оставим это. Я хочу просить тебя об одолжении, и, надеюсь, ты мне не откажешь.

— Говори, я сделаю все.

— Съезди со своими друзьями на неделю в Черрапунджи. Даже если ты не сможешь сделать Кэтти счастливой, ты доставишь ей удовольствие.

После паузы Омито произнес:

— Хорошо.

Лабонно склонила голову на его грудь.

— Мита, я хочу тебе что-то сказать, чего я никогда больше не повторю. Внутренние узы, соединяющие нас, не должны тебя связывать. Я говорю это не потому, что сержусь, а потому, что глубоко люблю тебя. Не дарю мне колец, не падо никаких залогов. Пусть моя любовь будет свободна от всяких внешних проявлений и от всяких пут.

Сказав это, Лабонно сняла кольцо и нежно надела его на палец Омито. И он не стал ей мешать.

День угас. Земля в молчании подпjala лицо к небу, залитому лучами заката. Так же безмолвно Лабонно подпjala умиротворенное лицо к склонившемуся над ней лицу Омито.

Через семь дней Омито вернулся из Черрапунджи и пришел к Джогомаёе. Но дом был закрыт, и там никого не было. Куда все уехали — никто не мог сказать.

Омито постоял под старым эвкалиптом. Сердце его сжималось. Пытаясь успокоиться, он начал расхаживать взад и вперед. Подошел знакомый садовник, поздоровался.

— Открыть дом? — предложил он. — Может, вы хотите войти?

— Да, — ответил Омито, немного колебавшись.

Он вошел в комнату Лабонно. Стол, стул, книжная полка были на месте, но книги исчезли. На полу валялись два пустых разорванных конверта, на них незнакомой рукой был написан адрес и имя Лабонно. На столе лежало несколько старых перьев и маленький огрызок карандаша. Омито сунул его в карман. Рядом с этой комнатой находилась спальня. В ней Омито увидел только железную кровать с матрацем да туалетный столик с пустым флаконом из-под масла. Железная кровать закрипела. Тишина заполнила комнату. Никто не мог ответить на его вопросы; и казалось, оцененнее это никогда не нарушится.

Совершенно обессиленный, Омито поплелся в свою хижину. Там все было, как раньше. Даже кресло Джогомаёе не взяла. Омито понял, что Джогомаёе оставила его как последний знак сочувствия. И Омито показалось, что он слышит мягкий, нежный голос, зовущий его: «Друг мой!..» Омито встал на колени и поклонился этому креслу до земли.

Горы Шиллонга утратили всю свою притягательную силу. Омито нигде не мог найти успокоения.

XVIII

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА

Джотишонкор учился в колледже в Калькутте и жил в общежитии. В те дни Омито часто приглашал его к себе обедать, читал с ним разные книги, удивлял его неожиданными рассуждениями, совершал с ним прогулки на своей машине.

Но в течение некоторого времени Джотишонкор потерял Омито из виду. Одни говорили, что он в Утакаунде, другие — в Найпитале. Однажды Джотишонкор услышал, как один из приятелей Омито ядовито заметил, что тот

сейчас весьма запят: смывает с Кэтти Миттер заграничную краску! Наконец-то он нашел себе задачу по сердцу — перекрашивать других! До сих пор Омито утолял свою жажду созидания, играя словами, а теперь получил живую игрушку. Что касается этой живой куклы, то она сама, как цветок, стремилась сбросить яркие лепестки в надежде на будущие прекрасные плоды. Сестра Омито Лисси сказала, будто Кэтти теперь не узнавать, такой она стала естественной. Она даже просила друзей называть ее Кетоки, и, если видела девушку, одетую в сари из толстого шантипурского муслина, это казалось ей ужасным бесстыдством, словно та ходила в ночной рубашке. По слухам, Омито наедине звал ее Кея. Поговаривали даже, что во время катанья на лодке по озеру Найингтал Кетоки правила, а Омито читал ей «Путешествие в никуда» Рабиндраната Тагора. Но мало ли чего не говорят люди! Джотишюнкор понял только одно — что душа Омито в праздничном настроении мчит по волнам, распустив все паруса.

Наконец Омито вернулся. Молва твердила о его свадьбе с Кетоки, но сам Омито не говорил об этом ни слова. Поведение его тоже сильно изменилось. Он, как и раньше, покупал английские книги и дарил их Джоти, но больше не обсуждал их с ним по вечерам. Джоти мог лишь догадываться, что словесный поток Омито нашел новое русло. Теперь Омито не приглашал Джоти и на автомобильные прогулки. Впрочем, Джоти был достаточно взрослым, чтобы понять, что в «путешествиях» Омито был явно лишним.

Больше сдерживаться Джоти не мог. Он спросил Омито напрямик:

— Я слышал о твоей свадьбе с Кетоки Миттер. Это правда?

Номолчав, Омито ответил вопросом на вопрос:

— Лабонно об этом знает?

— Нет, я ей не писал. Я не писал потому, что не слышал от тебя подтверждения.

— Эти слухи справедливы. Но я боюсь, что Лабонно неправильно их поймет.

Джоти засмеялся:

— Что же тут не понять? Если ты женишься, значит, женишься. Все очень просто.

— Знаешь, Джоти, в жизни все непросто. Слово, которое в словаре имеет только одно значение, в жизни может иметь полдюжины. Ведь и Ганга, приближаясь к океану, дробится на множество рукавов.

— Уж не хочешь ли ты сказать, — подхватил Джоти, — что для тебя женитьба не есть женитьба?

— Я хочу сказать, что слово «женитьба» имеет тысячу значений. Оно приобретает значение только в жизни человека. Убери человека, и смысл слов будет утрачен.

— Какое же значение вкладываешь в это слово ты?

— Это нельзя передать. Это можно только пережить. Если я скажу, что главный смысл слова «женитьба» — любовь, мне придется определять слово «любовь», а то, что называют любовью, еще теснее связано с жизнью, чем женитьба.

— В таком случае вообще не о чем разговаривать. Если мы будем гнаться за смыслом, изнемогая под грузом слов, и смысл будет увлипать от нас, а слова — уводить в сторону, мы ничего не добьемся.

— Молодец! Я таки научил тебя искусству владеть словом. Слова совершенно необходимы, если хочешь, чтобы жизнь хоть как-то продвигалась вперед. Но поскольку слово не может вместить всех значений, в повседневных делах приходится обходиться неполноценными понятиями. Что же делать? Конечно, полного взаимопонимания при этом не достичь, зато, хоть и вслепую, мы осуществляем наши намерения.

— Что ж, на этом мы и кончим наш разговор? — спросил Джоти.

— Можно кончить, если этот разговор — только умозрительные упражнения, не имеющие никакого отношения к жизни.

— А если допустить, что они имеют отношение к жизни?

— Ладно, тогда слушай.

Здесь не лишним будет дать маленькое пояснение.

Джоти частенько приходил на чашку чая, который собственноручно разливала младшая сестра Омито Инесса. Можно предположить, что именно по этой причине Джоти несколько не обижался на то, что Омито больше не обсуждал с ним литературные проблемы днем и перестал приглашать его на автомобильные прогулки по вечерам. Он простил Омито от чистого сердца.

Итак, Омито продолжал:

— Мы знаем, что кислород незримо присутствует в воздухе: если бы его не было, жизнь была бы невозможна. С другой стороны, кислород, соединяясь с углем, дает огонь, который так много значит в жизни. В обоих слу-

чаях мы не можем обойтись без кислорода. Теперь ты понимаешь?

— Не совсем, но я хотел бы понять.

— Любовь, которая вольно парит в небесах, согревает душу. А любовь, которая растворена в повседневных мелочах, вносит тепло в семью. Я хочу той и другой любви.

— Что-то не разберу, понял я тебя или нет. Говори, пожалуйста, яснее.

— Когда-то я распростер крылья и достиг небесной высоты. А сейчас я сложил крылья и сплел в маленьком гнездышке. Но я не забыл о моем небе.

— Но разве невозможно найти женщину, которая была бы и женой и другом?

— В жизни возможны счастливые случайности, но возможность одно, а действительность — другое. Счастлив тот, кто завоевывает сразу и принцессу и полцарства. Однако человек, который в правой руке держит царство, а в левой принцессу, тоже счастлив, хотя и не может их объединить.

— Но...

— Но в романах такой человек несчастен, — ты это хочешь сказать? Разуверься! Зачем нам создавать свои романы по книжечным образцам? Я сам буду творцом своего романа! Мой первый небесный роман я храню в душе, но теперь я создам новый роман на земле. Ты называешь романиками тех, кто для спасения одного из этих романов губит другой. Они либо плавают в воде, как рыбы, либо крадутся по земле, как кошки, либо летают по воздуху, как летучие мыши. Я — Нарамхапса романа. Я разом постигну истину любви в воде, на земле и в небе. Мое гнездо будет свито на твердой почве речного островка, но, когда я устремлюсь к высшему духу, передо мной раскинется безбрежный небесный океан. Да здравствует моя Лабонно! Да здравствует моя Кетони! Да будет благословен Омито Рай!

Джоти молчал; казалось, все эти мысли были ему не по душе. Заметив выражение его лица, Омито усмехнулся и сказал:

— Послушай, брат, то, что для одного человека яство, для другого — яд. Я говорю лишь для себя и о себе. Не старайся усвоить эти мысли, ты только рассердишься на меня, но все равно не поймешь. На земле происходит тьма неурядиц из-за того, что люди вкладывают свой смысл в слова других людей. Ну, я еще раз поясню тебе свои мысли. Мне придется облечь их в образную форму, иначе об-

наженные слова устыдятся. То, что привязывает меня к Кетоки,— любовь. Но эта любовь — как вода в сосуде, которую я пью каждый день. Любовь к Лабонно — это озеро, которое нельзя вместить в сосуд, но в котором омывается моя душа.

Джоти спросил в замешательстве:

— Но, Омито, разве нельзя выбрать одну из двух?

— Кто может — пусть выбирает. Я не могу.

— Но если Кетокк...

— Она знает все. Может быть, не понимает до конца,— в этом я не уверен,— но всей своей жизнью я докажу ей, что не обманываю ее ни в чем. И пусть она знает, что она должница Лабонно.

— Пусть будет так, однако Лабонно надо сообщить о нашей встрече.

— Конечно, я сообщу. Но прежде я хочу послать ей письмо. Ты передашь?

— Передам.

Вот письмо Омито:

«В тот вечер, когда мы стояли в конце пути, я закончил наше путешествие стихами. Сегодня я тоже остановился в конце пути, и я хочу отметить этот последний миг стихами, потому что ему не выпести тяжести новых слов. Несчастный Инбарон Чокроборти умер, подобно рыбе, вытащенной из воды. И так как с этим ничего уже не поделаешь, я поручаю твоему любимому поэту передать тебе мои последние слова:

Ты, уходя, со мной осталась навсегда,
Лишь под конец мне до конца открылась,
В безрпмом мире сердца ты укрылась,
И я коснулся вечности, когда,
Заполнив пустоту во мне, ты скрылась.

Был темн храм души моей, но вдруг
В нем яркая лампада засветилась,—
Прощальный дар твоих любимых рук,—
И мне любовь небесная открылась.
В священном пламени страданий и разлук.

Мита».

Прошло некоторое время. Как-то Кетокки отправилась на праздник аппапрашан к своей племяннице. Омито остался дома. Он сидел в кресле, положив голову на стул перед собой, и читал «Письма» Уильяма Джеймса, когда Джотипшонкор принес ему письмо от Лабонно. В нем сообщалось, что свадьба Лабонно и Шобхонлала будет отпразд-

повапа через полгода, в месяце джойшхто, в горах Рая-
гарх. На обороте были стихи:

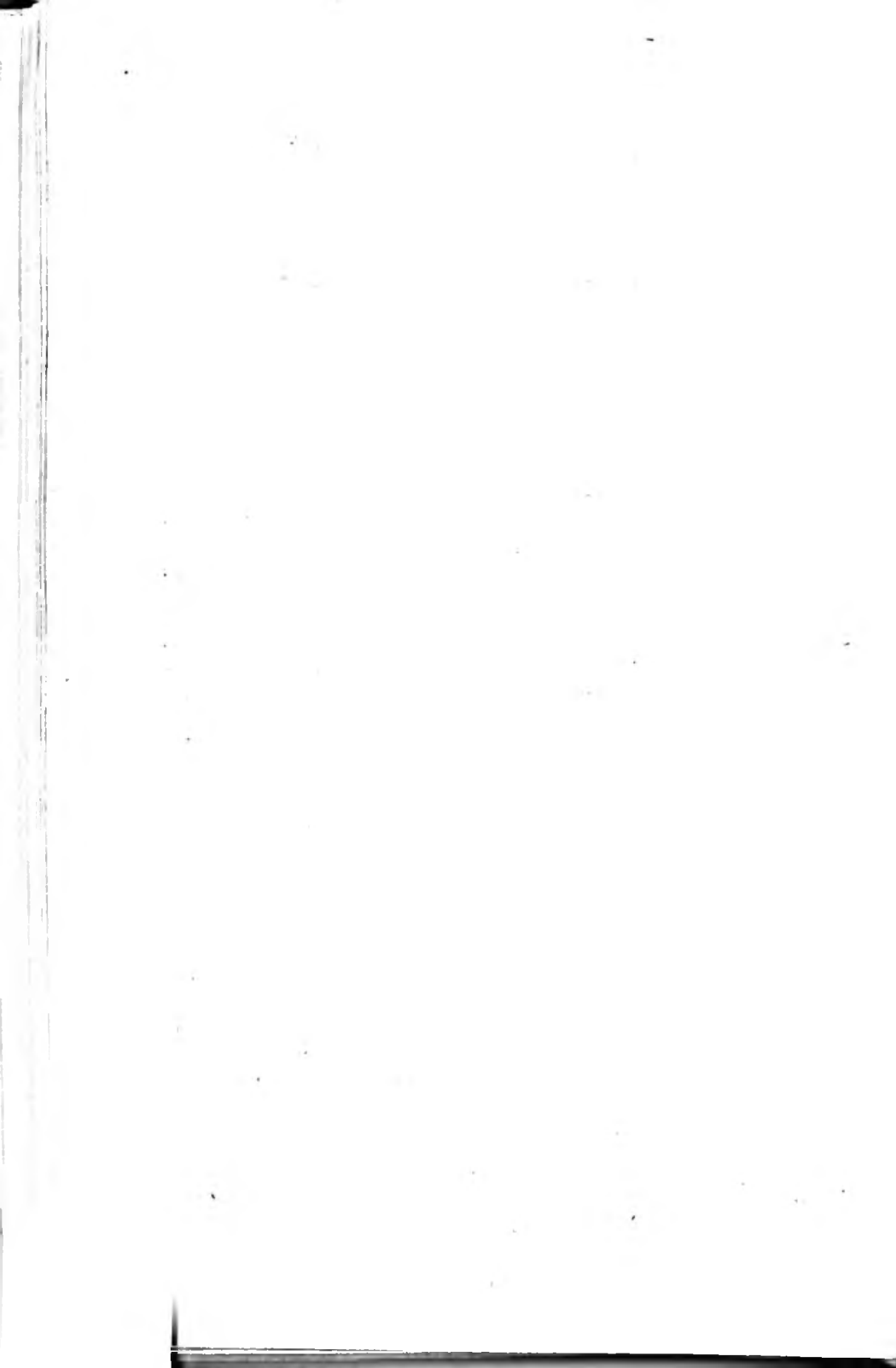
Неумолимой Времени возница
Меня увозит вдаль, и темнота
Распахивает падо мной крыла.
Ты слышишь, как грохочет колесница?
Ты слышишь, друг? Сегодня я не та,
И мне пной рассвет сегодня снится,—
Я тысячу смертей пережила!
Напрасно ты о прошлом вспоминаешь:
Нет прежней Лабонию,— об этом знай!
И ты меня при встрече не узнаешь.
Мой друг, прощай!

Но, может быть, когда-нибудь вспую,
Когда в росниках, как в слезах, цветы
Доверчиво раскроют лепестки,
Заглянешь ты в туманное былое,—
Увидишь там не слабый свет мечты,
А пламя сердца, вечное, живое!
Пылающее смерти вопреки!
И пусть меплется все в этом мире брениом,
Пусть уйду все дальше в дальний край,
Мой дар тебе пребудет неизменным,
Мой друг, прощай!

Я все тебе дала! Из смертной глины
Сам изваяй богиню для себя
И в храме сердца поклоняйся ей.
Не оскверню твой храм, рукой не допну,
Слезинки я не урюю, скорбя,
Не заглушу папев священной вины
Печалью безысходною моею.
Все к лучшему, и ты разлуку папу
Не смей оплакивать со мною,— обещаю!
Я вновь могу наполнить жизни чашу.
Мой друг, прощай!

Я не одна. Оп добрыми руками
Мне собирает бледный свет луны.
Он все простил, и я воскресла вновь.
Со всеми слабостями и грехами,
Какие есть, друг другу мы нужны;
Очаг домашний, кров над головами,—
Смирена наша тихая любовь.
А ты, мой друг, любовник вечный мой,
Ты предпочел безмерный дар, иной,
Неуловимый, яркий, как зарница,
Нам озарившая на миг небесный рай!..
Тот миг был щедр, и я твоя должница.
Прощай, мой друг, прощай!

МИНИАТУРЫ



ДОРОГА

Дорога...

Вот она вышла из лесу, пробежала полем и спустилась к реке под сень баньяна, что растет у причала, перебралась на другой берег и, избежав по разбитым ступеням набережной, свернула к деревне; затем она обогнула льняное поле, юркнула в тень манговой рощи и, миновав пруд, заросший лотосами, и ротхотолу, исчезла в неведомой дали, достигнув, наверно, какого-нибудь нового селения.

Сколько людей проходит по этой дороге, — кто обгоняет меня, кто идет рядом, а кто едва различим далеко позади; у одних лица скрыты покрывалом, у других они открыты; одни идут по воду, другие возвращаются с полными кувшинами.

Кончился день; спустились на землю тени.

Некогда казалось мне, будто дорога эта — моя, всецело моя; теперь вижу: мне дано пройти по ней только один раз.

Мимо того лимонного дерева, по берегу того пруда, по набережной Двенадцати Храмов, по той речной отмели, мимо молочной фермы, мимо житницы, — к знакомым взглядам, к знакомым речам, к знакомым лицам, — не вернуться мне к ним и не приветствовать их вновь. Это дорога, по которой можно идти лишь вперед, обратно пути нет.

Сегодня в сумерках, оглянувшись назад, я увидел, что дорога эта — словно давно позабытая книга несеи, где слова — чьи-то следы, а мелодия — голос, зовущий вдаль.

Жизнь тех людей, что по ней проходили, дорога изобразилась этой пыльной полосой, которая тянется от утренней зари до зари вечерней, от одних золотых врат к другим.

«О дорога, не оставляй всех ведомых тебе историй под покрывалом праха; я приложу ухо к твоей пыли — расскажи их мне!»

Но дорога указывает пальцем на черную завесу ночи и молчит.

«О дорога, все мысли, все желания стольких путников — где они?»

Дорога не отвечает, лишь молчаливым намеком пролегла она от восхода и до заката.

«О дорога, все шаги, цветочным дождем орошавшие твою грудь, — где они теперь?»

Но разве знает дорога конец свой, где живы все увядшие цветы и всегда звучат умолкшие песни, где в звездном свете, в неутешной скорби, вечно движется бесшумный хоровод огней?

ПАСМУРНЫМ ДНЕМ

Дела — весь день. Все время я среди людей! А к вечеру мне кажется: дела завершены и все исчерпано в беседах. Но недосуг подумать, что в глубине души заветного осталось...

С утра сегодня тучи свинцовым бременем легли на грудь небес. Сегодня снова я среди людей, и вновь передо мной дела. И не дает покоя мысль: «То, что сокрыто в недрах сердца, не выразить в словах!..»

Не властен ли над миром человек? Он перекрыл просторы океана; он одолел заоблачные горы, он в сердце скал проник и в царстве вечной тьмы похитил жемчуг и рубины, — а вот поведать, что в глубине души его, не в силах он.

Сегодня утром, пасмурным, дождливым, проснулись мысли пленные и бьются крыльями в ограду. И существо, которое во мне таится, молвит: «Где вечный спутник мой, тот, кто опустошит клубящиеся в сердце тучи, заставит их пролить дожди?»

Сегодня, утром пасмурным, я слышу, как речи пленные гремят засовом замкнутых дверей. И думаю: «Кто бросит мне желанный зов? Пусть пленницы перемахнут через ограду дел дневных и выйдут со светильней песен на свиданье с миром... Кто мне подарит долгожданный взгляд, что претворит мои страдания в радость, в блеск лучей полдневных?.. Кто в этом мире попросит голосом, от века мне родным, и от меня в ответ получит дар, что

предназначен только для него?.. Где, по каким дорогам мира бродит нищий-странник, который у меня возьмет сокровище заветных дум?»

Боль сердца моего сегодня облеклась в одежду желтую сапьян. Она готова выйти на дорогу, далекую от повседневной суеты, подобную эктаре с единственной струной, уже звенящей под шагами неведомого спутника души...

ОБЛАКО-ВЕСТНИК

Мне вспоминается день нашей первой встречи.

О чем тогда пела флейта?

Она пела: «Я встретился с тем, кто был далек мне».

«Я уловил неуловимое, я задержал вечно ускользающее!»

Отчего же теперь не поет моя флейта?

Оттого, что не до конца постиг я извечную правду. Я думал, мы совсем близко, не заметил, не понял, что она и далека от меня. Оттого, что познал я лишь одну грань любви — единенье, и не ведал другой ее грани — разлуки. Я забыл, что встречи, лишённые трепетного стремления к далекому, — не встречи и близость стала для нас преградой.

В необъятном пространстве, разделившем два сердца, — тишина: там не слышно речей. Только флейте дано развеять великое это молчанье. Но не звучат ее песни, если им нет простора.

Разделившее нас пространство заполнено мраком, засорено мусором будничных слов, мелких дел, ограничено скудостью вечных забот и тревог.

Порою в залитой лунным сияньем ночи нест прохладой; я пробуждаюсь, сердце стонет; это мысль: я навеки утратил ту, что рядом со мною.

Чем завершится наша разлука? Соприкоснется ли вновь ее бесконечность с моею?..

Кто она, с кем говорю всякий вечер, освободившись от дел? Она — одна из тысяч и тысяч подобных ей в мире; все в ней познано мною, все знакомо, исчерпано.

Но я чувствую: что-то в ней ушло от меня, что было и должно быть моим. Обрету ли я вновь его в безбрежном потоке желаний?..

Наступит ли день, когда в сумерках праздных, напоенных благоуханием лесного жасмина, будут снова беседовать наши сердца?

Дождь словно окутал своим покрывалом небосклон на востоке. Вспомнились мне строки поэта Удджанини. И подумалось: не послать ли и мне к возлюбленной вестника.

Пусть летит моя песня! Пусть пронесется над бездною нашего отчуждения!

Пусть плывет моя песня против течения времен! Пусть достигнет далекого дна нашей первой встречи, дна, полного светлой тревоги, о которой тогда пела флейта, дна, пронизанного рыданием потоков дождей, дна, овеянного ароматами песчаных весен вселенной, вздохами дремной котки и веселыми взмахами цветущих ветвей дерева шал!..

Пусть, проливаясь дождем, она шелестит в листве кокосовых пальм, осеняющих берега безлюдных озер! Пусть достигнет песня моя слуха возлюбленной в час, когда, стянув узел волос и поправив сари, она суетится у домашнего очага!..

Сегодня бескрайний небосвод склонился над смуглой землею, окутанной синиею дымкой лесов, и нежно шепнула ей:

— Я твой!

— Да разве это возможно? — удивилась земля. — Ты безграничен, а я так мала!

— Иль не видишь? — отвечал небосвод. — Стали тучи моими границами, я окружил тебя их пеленою.

Смутилась земля:

— Ты одет сиянием бесчисленных звезд, а в моем одеянье — ни единой искорки света!..

— Сегодня все потеряно мной — и луна, и солнце, и звезды, — и вот я приник к тебе!

— Мое сердце полно слезами и дрожит при любом дуновенье, а ты неподвижен...

— О нет! В глазах моих тоже слезы. Разве не видишь? Вот-вот они хлынут потоком, мрачно мое лоно — как сердце твое...

И тут напилась песня слез, заполняя пространство, разделившее небо и землю, — пришел конец их разлуке...

Пусть поет юный дождь вдохновенные гимны в честь обручения неба с землею, пусть прольется он и на нашу разлуку!.. Пусть все несказанное, что затаилось в сердце любимой, зазвонит, как струна вины! Пусть набросит любимая на темные пряди аичал, синий, как дали лесные! Пусть во взоре ее черных очей прозвучат все мелодии ливня! И да будет благословенна гирлянда бокула, вплетенная в косы любимой!..

Когда сумрак, сгустившийся в роще бамбука, задрожит от звона цикад, когда на холодном сыром ветру, затрепетав, угаснет пламя светильника, — пусть покинет возлюбленная свой мирок, так ей знакомый, и придет лесною тропой, овеянной влажным дыханием трав, в пастороженную ночь моего одинокого сердца!..

ФЛЕЙТА

Речи флейты — речи вечных времен, волны священной Ганги, родившейся из волос всемогущего Шивы и омывающей грудь первозданной земли; дитя бессмертных богов, спустилась она с небес и с прахом мира смертных играет.

Я стою у дороги и слушаю флейту, и непонятное чувство сжимает грудь. Это чувство не похоже ни на одну из привычных мне радостей или печалей. Оно ярче знакомой улыбки, глубже моря изведанных слез...

И смутно брезжит догадка: обычное вовсе не истина, истина то, что неведомо нам. Но как проникла в душу такая странная мысль?.. Не ответить на это словам.

Сегодня с утра я слышу: в доме напротив, где свадьба, флейта поет.

Разве голос свадебной флейты подобен обыденным звукам, голосу будничной жизни?.. Тайное недовольство, утрата надежды, презрение, упреки, пустые раздоры, усталость, уныние, мелочность, ничто в пыльной одежде повседневия — разве это звучит в дивном лепете флейты?..

Едва раздался влекущий напев, как соскользнула завеса привычного, закрывая мир. Жених и невеста вечных времен встречаются благонравным взглядом под алым покровом, — об этом поет флейта.

Но вот из вечности донеслась мелодия обмена гирляндами, я взглянул на невесту и вижу: на шее у нее свер-

кает золотое ожерелье, на ногах — браслеты; и почудилось, будто невеста стоит на лотосе радости среди озера слез...

Флейта воспевала ее как неземное создание; и девушка из давно знакомого дома предстала невестой в неведомом брачном чертоге.

— В этом истина! — вот что сказала флейта

ВЕЧЕР И УТРО

Здесь на землю спустились вечерние сумерки. Бог солища, где, за какими морями сейчас воссияла рожденная тобою зря?

Здесь в сумраке ночи трепетно раскрывает белые свои лепестки тубероза, подобная юной жене под покрывалом, что в смущенье стоит у входа в брачный чертог. А где-то расцвел цветок зари — золотой чампак.

Где-то пробудились от сна, погасили светильник, зажженный с восходом вечерней звезды, и бросили паземь шлетенную накануне гирлянду белых роз...

Здесь затворяются двери хижин, громыхают засовы, — там широко распахнули окна домов. Здесь причалены к берегу лодки, снят глубоким сном рыбаки, — там ветром наполнились паруса.

Там люди покинули свой придорожный приют и пошли навстречу встающему солнцу. Лучи зари-осенили чело их. Им предстоит долгий путь, — еще не настало время платить за паром, увозящий в вечность. Вслед им из окон жилищ смотрят черные глаза с надеждой и грустью. Перед ними развернулась дорога, словно алое письмо с приглашением: «Все готово для вас!» В лад биению их сердец гремят барабаны победы.

Здесь в пенельно-палевых отблесках вечерней зари люди отплыли во мглу на пароме уходящего дня.

Располагаются все на почлег: иной в одиночку, иной со спутником утомленным. Что их ждет впереди, во мраке почном, им неведомо, они лишь беседуют тихо о том, что случилось на дороге, оставшейся позади. Но прерываются их голоса. Они умолкают и задумчиво смотрят ввысь, в просторы небес, где появляются Семь Мудрецов...

Бог солнца, по левую руку твою сгущаются сумерки, по правую руку заря занимается,— соедини их! Пусть вечерние тени и утренние лучи обнимут друг друга! Пусть воедино сольются наш вечерний напев и утренний гимн дальних стран!

НАШ ПЕРЕУЛОК

Это наш переулочек, тесный и узкий. Вьется каменной лептой среди высоких каменных зданий; то влево свернет, то вправо — словно потерял что-то и теперь ищет. И куда ни свернет, все на что-нибудь натывается.

А сверху, высоко-высоко над ним, протянулась полоска неба, такая же узенькая и кривая.

Однажды, с удивлением глядя на эту полоску, переулочек спросил:

— Скажи мне, диди, кто ты? Как зовется твой синий город?

В полдень, лишь на один миг встретившись с солнцем, он восклицает в недоумении:

— Ничего не могу понять. Что это?!

Когда приходит время дождей, густая тень свинцово-серых туч ползет меж домов переулочка, стирая с его поверхности слабые отблески света. Рожденный ливнем поток течет, извиваясь, по каменным плитам, и кажется, будто дождь, частой каплей играя на барабанах, закликает змею. Скользко. То и дело цепляются друг за друга зонты. Вот струя воды прыгнула с крыши кому-то на зонтик, и он вздрогнул, словно в испуге.

— Как было хорошо, сухо! — в замешательстве говорит переулочек. — И откуда вдруг эта потоками хлынувшая беда?

В месяце фальгун, когда все живое ожидает прихода весны, южный ветер разгулялся, разбушевался у нас в переулочке. Летит пыль, кружатся обрывки бумаги.

— Верно, какой-нибудь бог нашлся доньяна и буянит, — ворчит переулочек.

Каждый день по обеим сторонам переулочка собираются целые кучи всякого мусора — тут и рыба чешуя, и зола, и очистки, и дохлые крысы. Переулочек знает: это и есть реальность. И никогда, даже случайно, не забредет к нему мысль: «Отчего все это так?»

Только осенью, когда косые лучи нежаркого солнца падают на верхние веранды домов, когда слышится зовущая в другие края мелодия бхойроби, в душе переулка пробуждаются какие-то новые чувства. «Есть, наверное, за этой грудой камней, — думает он тогда, — что-то великое и значительное».

Но время течет. Солнечный луч соскальзывает со стены дома к его основанию — так соскальзывает с плеча хлотноливой хозяйки край сари. Часы бьют девять. Идет служба с корзиною на бедре, скупив чуть не весь базар. Все вокруг заполняется дымом и запахами кухни. Люди спешат на работу.

И снова наш переулок думает: «Истина — это то, что здесь, на этой полоске из камня. То же, что представляется мне великим, — всего лишь мечта, сон».

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Входя в вагон, она лишь чуть-чуть обернулась и бросила мне свой последний, короткий, как миг, взгляд.

Сумею ли я сохранить это мгновение?

Найдется ли в огромном мире место, где не летели бы так стремительно часы, минуты, секунды?

Неужели этот взгляд растает в сумерках, сольется с пенельно-серой далью, как сливаются с нею золотые отсветы пламенеющих облаков? Или его смоем дождь, как смывает он золотую пыль с цветов нагкешора?

Неужели он потонет в море мелочей повседневной жизни, в несметном множестве суетных слов, в несчетных страданиях?

Единственный, мимолетный взгляд ее достался мне одному как бесценный дар. Я сохраняю его. Я сохраняю его в песнях, в ритмах стихов — в раю красоты бессмертной.

Власть раджи, сокровища богача — все преходящее в этом мире. Но не таится ли в слезе напиток бессмертия, который может даровать вечную жизнь даже мимолетному взгляду?

«Хорошо, — согласилась песня, — я готова принять этот дар. Мне нет дела ни до власти раджи, ни до сокровищ богача, мое нетленное богатство — в этих крупницах жизни, в этих мгновениях, из них я сплетаю гирлянду вечности».

ПОЛДНЕВНЫЙ ЧАС

Мне вспоминается тот далекий полдневный час. Потоки дождя то утихнут, устальные, то снова залетит порывистый ветер и подхлестнет их.

В комнате было темно. Мной овладели истома и лень. Я взял гитару, из-под пальцев моих потянулась мелодия дождя, шумевшего за окном.

Она вышла из своей комнаты. Вернулась. Слова выпала, постояла немного. И опять тихоенько ушла к себе. Она села у окна и, склонив голову, стала пить. Потом отложила работу. Ее задумчивый взор устремился в просветы между деревьями, едва различимыми сквозь пелену дождя.

Дождь перестал, смолкла и моя песня.

Она поднялась, поправляя волосы.

Вот и все. Только этот полдневный час, овеянный песней, дремой, дождем и сумеречною мглой.

Легенд о раджах, падишахах, сказаний о славных сражениях — сколько угодно, они легко забываются. Но этот полдневный час, как драгоценный камень, надолго останется в хранилище времени. И никто не узнает о нем, кроме нас двоих.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ

Она ушла на рассвете.

И сердце стало меня уверять: «Все это обман, иллюзия!»

А я отвечал ему гневно: «Разве не видишь? На столе шкатулка ее, она только что шила, на вешалке букет сорванных ею свежих ароматных цветов, на постели раскрытый веер. Неужели все это иллюзия?»

Но сердце упрямо твердило: «Иллюзия!»

«Перестань, — уговаривал я свое перазумное сердце. — Видишь, книга заложена шпилькою, она не успела ее дочитать. Если и это иллюзия, то что же тогда правда?..»

И сердце замолкло...

Пришел старый друг.

Он пытался меня успокоить:

— Истинно то, что прекрасно. Прекрасное не исчезает. Вселенная вечно хранит красоту, словно редкостный жемчуг.

— Откуда ты знаешь! — рассердился я вновь. — Разве станешь ты отрицать, что тело прекрасно? Но вот его нет — оно куда-то исчезло!

И подобно тому, как младенец отталкивает мать, когда сердится на нее, я стал отвергать все, что мне дотоле служило отрадой. Я восклицал: «О, мир вероломный!»

Но что это?! Мне послышался укоризненный голос: «Неблагодарный!»

Я посмотрел в окно. Новорожденный месяц медленно поднимался по небосклону. Он глядел на меня сквозь ветви пушистого тамариска, и мне чудилось, будто это улыбка той, что ушла, играет в прятки со мною. Из тьмы, пронизанной звездами, до слуха вновь долетело: «Ты счел ложью мою любовь, лишь в разлуку поверил всем сердцем».

НЕ В ТОТ РАЙ ПОПАЛ

Это был самый настоящий бездельник.

Дела его не занимали, только забавы да развлечения.

Паленит, бывало, на дощечку глины, набрасает сверху морских ракушек, и чудится ему то стая птиц над морскими волнами, то стадо коров на холмистом поле, а то привидятся ему горы — по склонам их мчатся вниз бурные потоки, сбегают исхоженные людьми тропы.

Родные постоянно брали его. Он обещал оставить все эти глупости. Но... глупости не оставляли его.

Иной сорванец за весь год не заглянет в книжку, а экзамены каким-то чудом сдает отлично. Так было и с нашим бездельником.

Вся его жизнь прошла в бесполезных занятиях, однако после смерти, как это ни странно, его пустили на небо.

Но и там, в небесных краях, богиня судьбы не оставляет человека в покое. Случилось так, что посланцы Ямы поставили на бездельнике не ту метку и отвели его в рай деловых людей.

Всего в этом раю было вдоволь. Не было лишь досуга.

Мужчины здесь без конца твердили: «Ох! И вадохнуть некогда». Женщины, едва повстречавшись, спешили разойтись по домам: дела ждут. «Время — деньги!» — говорили они. Только и слышалось отовсюду: «Тяжко! Сил больше нет!» И произносились эти слова с наслаждением.

Даже гимн деловых людей начинался так: «Я устал, я замучен работой».

Наш бедняга никак не мог найти себе места в раю деловых людей. Он как потерянный бродил по дорогам, то и дело патыкаясь на спящих прохожих. Только расстелет свой чадор и сядет отдохнуть, как слышит окрик: «Эй ты, куда сел? Не видишь: засеяно?» И так с утра до ночи: посторонись да встань!

Одна молодая женщина каждый день ходила к райскому источнику по воду.

Легкая, торопливая поступь ее была подобна мелодии, слетающей со струн ситары.

Волосы она небрежно стягивала узлом на затылке, и упрямые локоны спадали на лоб, пытаясь заглянуть в черные звезды глаз.

Райский бездельник обычно стоял поодаль, неподвижный, как дерево тамал на берегу стремительного потока.

Однажды женщина встретилась с ним взглядом. И почувствовала жалость — так принцесса проникает жалостью к нищему, который стоит у нее под окном.

— Я вижу, у тебя нет никакого дела, — обратилась она к бездельнику с состраданием в голосе.

— Дела? Но у меня нет времени заниматься делами, — с тяжким вздохом промолвил бездельник.

Женщина не поняла его.

— Не хочешь ли ты помочь мне? — спросила она.

— Конечно, хочу.

— Чем же ты можешь помочь?

— Вот если ты дашь мне один из кувшинов, в которых носишь воду, я...

— Зачем тебе мой кувшин? Воду носить?

— Нет, я его разрисую.

— Что за глупости! — рассердилась женщина. — Нет у меня времени болтать тут с тобой! — и ушла.

Но разве деловой человек устоит против бездельника?

Каждый день встречались они у источника, и всякий раз бездельник твердил свое: «Дай мне кувшин, я разрисую его».

И женщина уступила, дала кувшин.

Бездельник стал выводить на нем пестрый узор.

Когда он закончил работу, женщина взяла кувшин и

залюбовалась рисунком; она поворачивала кувшин то в одну сторону, то в другую и все смотрела, смотрела.

— Что значат эти линии? — спросила она наконец, подняв в изумлении брови.

— Ничего, — ответил бездельник.

Женщина пошла с кувшином домой, тихая и задумчивая.

Там она села в укромном месте и снова стала любоваться рисунком. Ночью она не раз вставала с постели, зажигала светильник и молча рассматривала узоры. Она впервые увидела нечто, лишенное всякого смысла, значения.

На другой день, когда молодая женщина направлялась к источнику, движения ее уже не были так уверенны и деловиты. Казалось, поги ее шли-шли и вдруг задумались — и то, о чем они думали, не имело никакого смысла.

А бездельник уже стоял там, немного поодаль.

— Что тебе надо? — спросила в смущении женщина.

— Я хотел бы сделать для тебя еще что-нибудь.

— Что же?

— Хочешь, я сплету из разноцветных нитей шнур для твоих волос?

— Зачем?

— Да так.

Он сплет для ее волос шнур, яркий, красивый. И с тех пор молодая женщина каждый день подолгу сидит перед зеркалом, стараясь как можно искуснее вплести цветной шнур в свои волосы. А дела стоят, время идет.

И вот в раю деловых людей зазвучали песни и полились слезы любви, надолго отрывавшие всех от работы.

Это встревожило старейшин рая. Созвали совет.

— В наших местах, — заявили они, — такого еще никогда не случалось.

Тут посланцы Ямы признались в своем проступке.

— Это мы по ошибке привели сюда не того человека.

«Не-тот-человек» был призван на совет. И все пошали, какая страшная произошла ошибка, — ведь на нем был яркий тюрбан и сверкающий пояс!

— Ты должен вернуться на землю, — повелел «Не-тому-человеку» глава старейшин.

«Не-тот-человек» вдохнул облегченно, собрал свои кисти и краски и с готовностью сказал:

— Так я пошел.

— Постой, п я с тобою! — воскликнула молодая жеп-
щина.

Глава старейшин растерялся. И не мудрено. Первый раз в раю деловых людей произошло нечто, лишенное всякого смысла.

ПРИДВОРНЫЙ ШУТ

Раджа княжества Капчи пошел походом на княжество Карпат. И одержал победу. Он нагрузил слонов сандалом, золотом и драгоценными камнями.

На обратном пути раджа заехал в Балешвар и совершил жертвоприношение; весь храм был залит потоками крови.

Облаченный в красные одежды, с гирляндой красных роз на шее возвращался раджа к своему войску. С ним были его любимыи министр и шут.

Неподалеку от дороги, в манговой роще, ребяташки затеяли какую-то игру.

— Давайте посмотрим, — предложил раджа, останавливаясь.

Дети играли в войну.

— Кто у вас с кем воюет? — спросил раджа.

— Раджа Капчи и раджа Карпата, — отвечали мальчишки.

— Кто же победил!

— Конечно, раджа Карпата!

У раджи глаза налились кровью от гнева, министр помрачнел, а шут громко расхохотался.

Когда раджа со своим войском опять проходил мимо манговой рощи, дети все еще играли в войну.

— Привяжите этих мальчишек к дереву да выпорите хорошенько, — повелел он.

Прибежали родители.

— Прости их, государи! Они еще малы и неразумны. Это ведь просто игра.

Раджа подозвал военачальника:

— Ну-ка, проучи эту деревенщину, чтобы они долго помнили раджу Капчи!

И раджа поехал дальше, в свой лагерь.

Вечером военачальник предстал пред ясные очи своего повелителя.

— О махараджа,— молвил он с низким поклоном,— теперь, кроме воя шакалов, ты не услышишь в этой деревне ни звука.

— Честь радикки спасена! — произнес министр.

— Владыка вселенной помог махарадже,— подхватил жрец.

А шут сказал:

— Отпусти меня, махараджа.

— Почему? — удивился радика.

— Я не умею ни душить, не резать,— отвечал шут.— Милостью божьей я умею только смеяться. Если же я останусь при дворе махараджки, то и смеяться разучусь.

ЛОШАДЬ

Работа по сотворению мира подходима уже к концу, когда гонг, призывавший обычно к отдыху, вдруг вознес:

— В голове Брахмы зародилась новая мысль!

Творец призвал к себе хранителя сокровищ.

— Принеси-ка в мою мастерскую пять стихий, каждой понемногу,— хочу сотворить еще одно существо.

— О владыка,— почтительно сложив руки, отвечал хранитель сокровищ,— создавая слонов и китов, змей, львов и тигров, ты в пылу увлечения слишком щедро расточал богатства вселенной. Земли, огня и воды у нас почти не осталось; только ветра и воздуха — хоть отбавляй.

Четырехликий в раздумье покрутил все четыре пары своих усов.

— Хорошо, давай все, что у тебя есть в кладовых. Посмотрим.

На сей раз Брахма расходовал землю, огонь и воду весьма бережливо. Новой твари он не дал ни рогов, ни когтей, а зубами она могла только жевать, но не кусаться. Правда, из запасов огня он кое-что взял, поэтому сотворенное им существо могло пригодиться на поле браш, но страсти к борьбе ему не досталось. Существо это лошадь. Говорят, что оно кладет яйца и потому считается дважды-рожденным, хотя это неправда.

Но вернемся к тому, как Брахма творил.

Всемогущий все нутро своего создания накачал ветром и воздухом. И теперь душа его непрестанно стремится к свободе — лететь бы ветра быстрее, оно клятву дало преодолеть бескрайнее небо! Все — твари как твари: бегут, когда нужно, а эта мчится просто так, без всякой нужды, будто ей от самой себя хочется убежать. Она не станет ни хватать добычу, ни убивать, ей бы только мчаться и мчаться. В этом беге она то пьянеет, впадая в экстаз, то становится вялой и сонной, то снова мчится, чтобы уйти в небытие. «Так случается, — говорят мудрецы, — когда в созданной всевышним твари слишком много ветра и воздуха».

Брахма был в восторге от сотворенного им существа. Всех животных он поселил в лесах и пещерах, а этому даровал поле, чтобы любоваться его стремительным бегом.

По ту сторону поля жил человек. Он все прибирал и прибирал к своим рукам и скопил столько добра, что оно стало для него тяжким бременем. Увидев мчащуюся по полю лошадь, он тут же подумал: «Эх, обуздать бы ее, как она пригодилась бы мне в хозяйстве!»

И вот однажды человек расставил сети и поймал лошадь. На спину ей он водрузил седло, изнуздal и стал стегать нещадно кнутом, а в бока вопзал пшоры. Правда, иногда он мыл и чистил ее, но в поле никогда не выпускал — чтобы не убежала, а запер в четырех стенах.

Никто не отнял у тигра леса, у льва — пещеры, а у лошади отобрали ее широкое поле и посадили в конюшню. О ветры и воздух, вы наделили эту тварь высоким стремлением к свободе, но не смогли избавить ее от оков!

Когда лошади стало невмоготу, она забила копытами в стену. Она изранила себе ноги, а стена... Впрочем, со стeпы осыпалась штукатурка...

Человек не на шутку разгневался.

— Какая неблагодарность! — вскричал он. — Я кормлю ее и пою, плачу конюхам, чтобы ни днем ни ночью глаз с нее не спускали. Право же, трудно ей угодить!

И вот, стараясь угодить лошади, конюхи с таким рвением принялись за работу, что вскоре она уже не в силах была шевельнуться. Тогда человек сказал своим друзьям и соседям:

— Готов поклясться, во всем мире не сыскать такого верного и преданного существа, как эта лошадка.

— О да! — угодливо отозвались друзья и соседи. — Всегда спокойная, как вода в пруду. Такая же кроткая и мирная, как ваша вера.

Да оно и понятно. Ведь лошади не было дано ни настоящих зубов, ни когтей, ни рогов, а бить копытами не то что в стену, но даже в пустоту ей строго-настрого запретили. Чтобы хоть немного отвести душу, ей только и оставалось, что ржать, задрав голову к небу. Но это нарушало покой человека, да и соседи невесть что могли подумать — ржание лошади отнюдь не выражало любви и преданности.

Тогда появилось на свет множество всяких приспособлений, чтобы заткнуть лошади глотку. Но заставить лошадь совсем замолчать все же не удалось, и порой у нее вырывался сдавленный звук, подобный предсмертному хрипу.

Однажды этот звук долетел до ушей Брахмы и прервал его созерцательный сон. Глянул Брахма на землю, на открытое поле. Где же его лошадь?

И призвал к себе творец Яму:

— Твои предделки, конечно! Это ты стащил мою лошадь?

— О творец, — взмолился Яма. — Почему ты всегда подозреваешь меня? Обрати свой взор в ту сторону, где живет человек.

Творец посмотрел в ту сторону, где живет человек. И что же он увидел? Крохотный клочок земли, на нем высятся каменные стены, а за ними стоит лошадь и чуть слышно, устало похрапывает.

Вскипел Брахма.

— Если ты не освободишь мою тварь, — грозно крикнул он человеку, — я дам ей острые, как у тигра, когти и зубы, и уж тогда она не будет служить тебе!

— Неужели ты станешь поощрять кровожадность? — упрекнул его человек. — По правде сказать, твоё создание недостойно свободы. Для его же блага, в ущерб себе я построил конюшню. Превосходную конюшню.

— Нет, ты отпустишь ее на свободу! — упрямо твердил всевышний.

— Ладно, отпущу, — согласился наконец человек. — Но не раньше чем через семь дней. Если и тогда ты скажешь, что ей больше годится поле, чем конюшня, я сдаюсь: твоя взяла.

Что же, вы думаете, сделал человек? Он пустил лошадь в поле. Но крепко streпожил ее. Бедное животное стало

передвигаться прыжками, нелеными и смешными,— лягушка и та грациознее скачет.

Брахма живет высоко в небе. Как лошадь ковыляла, он видел, по пут на ее ногах не разглядел, и все же — в каком смехотворном виде предстало пред ним его создание! Творец даже покраснел от стыда.

— Да, ошибся я, видно,— пробормотал он.

Человек, сложив почтительно руки, сказал:

— Как поведишь мне теперь поступить с этой несчастной тварью? Если бы в твоих небесных владениях было поле, я, пожалуй, решил бы отправить ее туда.

— Что ты, что ты! — всполошился Брахма. — Забирай ее, да поскорее, в свою конюшню!

— О владыка,— не унимался хитрец,— для человека эта тварь — тяжелое бремя!

— Так ведь на то ты и человек, чтобы принять это бремя,— отвечивал Брахма.

ПРИЗРАК

Пришла смерть за старым раджею. И все его подданные в страхе и горе воскликнули:

— Что с нами будет, когда ты покинешь нас?!

Услышав это, раджа и сам приуныл. «Ах, какая беда,— подумал он,— кто о них позаботится, когда меня не станет?»

Но горюй не горюй, а от смерти все равно не уйдешь. Тут на помощь пришли добрые боги.

— Ну что за беда? Пусть,— сказали они,— владыка ваш станет призраком, если вам так уж хочется таскать хомут на шее. Это человек умирает, а призрак бессмертен!

И подданные раджи перестали горевать и тревожиться.

Ведь больше всего беспокойства людям причиняют мысли о будущем. Когда же люди вверяют свою жизнь призраку, этому символу прошлого, они могут быть совершенно спокойны — теперь он должен думать о подданных раджи, теперь у него должна болеть за них душа... Но... у призрака нет ни головы, ни души, а стало быть, и думать ни о ком он не может, и душа у него не болит.

Ну, а если кто по дурной привычке сам пожелает о себе беспокоиться, тому призрак задаст хорошую трепку. И не

отвертнешься от него, не сбежишь, не пожалуешься, не найдешь на него ни суда, ни управы.

И вот жители страны, отдавшись на волю призрака, стали двигаться как во сне, с закрытыми глазами. Мудрецы так объясняли это: «Движение с закрытыми глазами и есть изначальное движение вселенной. Оно совершается по велестью слепой судьбы. Так передвигались микробы, черви и все прочие первозданные твари земные; мы наблюдаем его и ныне — в траве, на кустах и деревьях».

Поверив в сне изречение мудрецов, подданные призрака возомнили о своем изначальном высокородстве. И возрадовались.

Страной правил наместник призрака, старший смотритель тюрьмы. Стен этой тюрьмы не было видно. А потому жителям страны и в голову не приходило, что можно разрушить стены и выйти на волю.

Заключенные испытывали от непосильной, каторжной, по совершенно ненужной работы. От зари до зари кружили и кружили они вокруг маслобойной машины, но не могли выжать и капли масла. Только сил у них с каждым днем становилось все меньше, а покорности и смирения больше. Пусть они живут в нищете, пусть их терзают голод, болезни. Зато у них тишина и покой.

А вот в других странах было иначе. В других странах стояло призраку разбушеваться, как человек, беснокойный и смелый, усмирят его, звал на помощь заклинателя призраков. Здесь же ни у кого даже мысли такой не возникало. Здесь сам заклинатель был под пятою призрака.

Шли годы. Власть призрака не подвергалась ни малейшему сомнению. И люди вечно гордились бы тем, что их будущее, как ягненок, на привязи у призрака-прошлого. Молчит это будущее, онемело от страха, валяется в пыли, ненужное и бесполезное.

И все было бы хорошо, если бы... Почему-то все соседние страны не попали под власть призрака. Там все машины работают на полную мощность, там выжимают масло, чтобы смазывать оси великой колесницы Будущего, и никто не выдавливает кровь из сердца, чтобы утолять жажду призрака. Там люди не терпят покоя, там жизнь бьет ключом!

В безмятежном царстве призрака только и слышалось: «Спит дитя, уснуло; тишина и покой в деревне»,

Для малых детей эта песенка хороша, для нянек их — тоже. Но она усыпила всех селян...

А в песне-то дальше шло: «На родину праг напал».

Не стоит забывать этих слов. Ведь из песни слова не выкинешь!

И тогда титулованных мудрецов страны — широмони, чуромони и прочих — спросили: «Как это случилось?»

Тряхнув брахманской косичкой, мудрейшие отвечали:

— Призрак тут ни при чем, и народ винить не в чем; во всем виноваты завоеватели. Как посмели они напасть на нашу страну?!

— Да, конечно, — согласились все. И снова погрузились в безмятежный сон.

А жизнь шла своим чередом. По переулкам и закоулкам шныряли прислужники призрака, а по широким улицам и проспектам свободно разгуливали агенты отнюдь не призрачной власти. И в доме жителя не было, и из дому выйти нельзя — ни черным ходом, ни через парадную дверь. С одной стороны кричат: «Плати налог», — и с другой — «Плати налог!».

«Но что мы дадим в уплату налога?»

Пока искали ответ на этот вопрос, со всех сторон — с севера и юга, с востока и запада — налетели заморские итицы и поклевали весь рис. Равнодушные ко всему на свете, подданные призрака даже не заметили этого. Правда, были в стране и беспокойные, не равнодушные люди, но их чурались, опасаясь, что придется совершать обряд очищения. Мудрецы и на этот случай отыскивали в священных книгах подходящее место: «Бесстрашие очищает душу. Страсти оскверняют ее. Сторонись людей, оскверненных страстями, и помни: «Воистину бодрствует лишь тот, кто спит!»

Изречение это наполнило восторгом сердца подданных.

Однако никакие изречения уже не могли помочь. Все тот же вопрос нарушал безмятежный покой страны призрака: «Что мы дадим в уплату налога?»

С кладбищ и мест сожжения трунов в реве и хохоте ветра донесся ответ:

— Душу, честь, совесть, кровь сердца!

Но вот беда — вопросов всегда возникает множество.

Так и на этот раз за первым вопросом тотчас же последовал второй:

— Вечно ли будет длиться власть призрака?

Вопрос этот возмущил дядюшек и тетушек, напевавших колыбельные песни.

— Безобразия! — завонили они. — Отроду не слыхали мы ничего подобного. Что же тогда будет с вечным сном?! С тем изначальным сном, что древнее всех пробуждений?!

— Так-то оно так, — возразили им. — Но как избавиться от заморских птиц и полчищ врагов?

— Будем заклинать их именем Кришны.

Но юное поколение отвергло этот устарелый путь.

— Нет, мы должны уничтожить власть призрака, чего бы нам это ни стоило!

— Молчать! — злобно вращая глазами, вдруг рявкнул наместник призрака. — Маслобойка еще не остановилась!

Окрик подействовал. Дети страны замолчали, затем повернулось на другой бок и снова погрузилось в глубокий сон.

Короче говоря, старый раджа и не живет, и не умер — он призрак. Он ничего не разрушает, но и нового не дает создавать.

Сейчас даже те, кто днем не решается слова сказать в страхе перед наместником, по ночам, сложив молитвенно руки, шепчут:

— О повелитель, неужели тебе не пришло еще время покинуть нас?

— Глушцы, — отвечает им повелитель. — Меня не держат, но и не дают мне уйти. Отпустите меня, и я уйду.

— Но ведь страшно, владыка!

— В том и беда ваша!

КАК ОБУЧАЛИ ПОПУГАЯ

Жил-был попугай. Глупый-преглупый. Священных книг не читал, только и знал, что трещать, прыгая с ветки на ветку. Он и понятия не имел о том, что такое правила и законы.

— Не понимаю, зачем существуют такие птицы! — брюзжал раджа. — Только плоды в лесах поедают, а мы терпим убытки на нашем на царском рынке. — И он отдал приказ обучить попугая всяким наукам и хорошим манерам.

Обучение полугая было поручено царским племянникам.

Всех пандитов страны призывали ко двору на совет. Долго обсуждали они вопрос: в чем причина невежества вышеупомянутой птицы.

И решили: все дело в том, что гнездо птицы, сплетенное из травинки и соломы, уж очень убого. Прежде всего надо соорудить ей красивую клетку.

Пандиты получили вознаграждение и, довольные, разошлись по домам.

Золотых дел мастер стал сооружать клетку из чистого золота. Клетка вышла на славу. Посмотреть на эту диковинку стекались любопытные со всех концов света. Одни качали головой:

— Зачахнут теперь науки.

— Ну и пусть чахнут,— говорили другие.— Зато какая чудесная клетка. Повезло птице!

Золотых дел мастер получил в награду целый мешок денег и, не чуя под собой ног от радости, поспешил домой.

Наконец решили приступить к обучению птицы.

— Однако для нашего дела,— прогнусавил пандит, засовывая в носдрию табак,— потребуется немало книг.

Тогда племянники раджи созвали целую армию переписчиков и посадили их за работу. Переписчики день и ночь делали копии с книг, затем копии с копий, пока не выросла целая гора рукописей.

— Ну, теперь конец,— говорили те, кому довелось видеть это.— Пропали науки.

Переписчики вернулись домой с подарками, которых было столько, что пришлось везти их на повозках. С тех пор их семьи не знали нужды.

Драгоценная клетка доставляла племянникам уйму хлопот — то чинить ее надо, то чистить. Наблюдая, как моют, скребут и чистят клетку, люди говорили:

— А ведь лучше становится.

Между тем для обслуживания сего «храма наук» с каждым днем требовалось все больше мастеров и подмастерьев, а еще больше надсмотрщиков. И все, понятно, мечтали на этом руки нагреть.

Сказать по правде, мастера с подмастерьями и вся их родня набили сундуки всяким добром и зажили в полном довольстве в новых роскошных домах.

Многого недостает в нашем мире, зато хулителей всегда вдоволь.

— Клетка, — уверяли они, — все краше становится, а вот про птицу забыли.

Слова эти достигли слуха раджи. Приказал он тогда позвать племянников.

— Дорогие племяннички, — сказал он, — что это я слышу?

— Махараджа, — отвечали племянники, — если ты хочешь знать правду, вели позвать золотых дел мастеров, пандитов и переписчиков, вели позвать тех, кто чинил клетку, и тех, кто наблюдал за птичкой. У хулителей подвело животы от голоду, вот они и возводят напраслину!

Раджа прекрасно все понял и... пожаловал каждому из племянников золотое ожерелье.

Обучение продолжалось с блистательным успехом. И вот однажды раджа пожелал сам в этом удостовериться. В сопровождении свиты он направился к великому святилищу знаний.

Как только раджа приблизился к вратам святилища, затрубили раковины, горны и охотничьи рога, зазвучали гонги и тамтамы, загрохотали барабаны и литавры, заиграли флейты и дудки. Пандиты трихнули своими косичками и, откашлившись, заунывными голосами затянули мантры. Мастера, переписчики, надсмотрщики и несметные полчища их родни разразились приветственными кликами.

— Каково, махараджа? — спросили племянники с победоулыбкой.

— Да, шуму немало, — согласился раджа.

— Только ли шуму? Немало и смысла во всем этом.

Радже все пришло по вкусу. Выйдя из святилища знаний, он уже хотел взобраться на слона. Как вдруг к нему подскочил какой-то человек, из тех, что скрывался в толпе хулителей, и спросил:

— Махараджа, а видел ли ты птицу?

Раджа вздрогнул от неожиданности.

— В самом деле, — спохватился он. — Птицы-то я и впрямь не видел.

Он вернулся и заявил пандитам:

— Хочу посмотреть, по какой системе вы обучаете попугая.

Ему показали. Раджа пришел в совершенный восторг. Еще бы! Система обучения оказалась настолько значительной, что птички за ней не было даже видно. Да, пожалуй, и смотреть на нее было незачем. Раджа и так убедился, что условия для ее обучения великолепные. В клетке ни воды, ни зерна, всюду только рукописи и книги, а в клюв птицы кончиком пера записывают вырванные из книг листы. Какие там песни, даже не пискнешь. Душераздирающая картина!

Влезая на слона, раджа приказал главному тренателю ушей хорошенько надрать уши хулителю.

А между тем птица, как и подобает всякому порядочному пернатому, медленно угасала. Все идет хорошо, решили воспитатели. Но такова уж птичья натура: утренние лучи пробуждали попугая, и он начинал беззащитно хлопать крыльями. Не раз люди видели, как он своим слабеньким клювом пытался сломать прутья клетки.

— Какая паглость! — узнав об этом, возмутился начальник городской стражи.

Тогда в ведомство просвещения пригласили кузнеца. Загудел огонь в горне, загремел молот. Была изготовлена железная цепь. Птице подрезали крылья.

Племянники раджи сердито надулись, и лица их стали похожи на печные горшки.

— В нашем царстве птицы не только лишены здравого смысла, но даже не способны на благодарность.

А пандиты, вооруженные каламом и палкою, снова принялись нисколоть птицу.

Кузнец получил повышение по службе, у жены его прибавились новые золотые украшения, а начальник городской стражи за бдительность был пожалован почетной чалмой.

И вот попугай не стало. Никто не заметил, как и когда это произошло. Недобрую весть распространил все тот же злополучный хулитель.

— Нет больше птички, — сообщал он всем и каждому. Раджа снова призвал племянников.

— Что я слышу, дорогие племянники!

— Ничего особенного, махарджа, — отвечали они, по моргнув глазом. — Воспитание попугая закончилось.

— Он по-прежнему прыгает? — полюбопытствовал раджа.

— Что вы?! — отвечали племянники.

— Все летает?

— Нет.

— Поет песни?

— Нет, нет.

— Пищит, когда ему не дают зерна?

— Нет, повелитель!

— А ну-ка принесите мне птицу, я сам посмотрю.

Птицу принесли; за нею следовал целый кортеж — начальник городской стражи, глашатай и всадники. Раджа ткнул в птицу пальцем. Она — ни гугу. Только в животе у нее зашурцали-зашелестели листы бумаги.

А под ясным небом, на весеннем ветру плавно качались ветви, и свежее дыхание молодой листвы разливалось в расцветающей роще.

СПАСЕНИЕ

Одна женщина, тоскуя в разлуке с любимым, захотела вылепить его из глины. Образ, запечатлевшийся в ее душе, с каждым днем приобретал все более зримые очертания. Она долго и жадно смотрела на это подобие любимого ею человека, мысли ее уносились в прошлое, из глаз медленно падали горячие слезы.

Но вот образ, прежде такой отчетливый, начал меркнуть, словно заволакиваясь туманом. И лесенки памяти мало-помалу сомкнулись — так закрываются вечером лесенки лотоса.

Женщина сердилась на себя, ее терзал стыд. Она подвергала себя жестоким истязаниям, питалась только водой и плодами, ложем ей служила земля.

Когда женщина кончила лепить изваяние, оно уже совсем не походило на того, чей образ она силилась удержать в памяти. Да и едва ли оно было отражением какого-либо определенного человека. Чем больше старалась женщина, тем меньше и меньше оставалось сходства.

Тогда она принялась украшать свое божество, припесла ему в жертву сто один лотос, но вечерам зажигала све-

тильник с благоуханным маслом; светильник был золотой, масло дорогое.

Украшений с каждым днем становилось все больше, жертвенные приношения покрыли собой весь алтарь, изваяния почти не было видно.

Однажды к женщине подошел мальчик.

— Можно, мы поиграем здесь? — обратился он к ней с вопросом.

— Где?

— Вот здесь, возле твоей куклы.

Но женщина закричала сердито:

— Здесь никто никогда не будет играть!

Потом пришел другой мальчик.

— Можно, мы нарвем здесь цветов? — спросил он.

— Каких цветов?!

— Да вот, что растут на дереве чампак за той большой куклой.

Женщина прогнала мальчика.

— Никто не смеет прикасаться к этим цветам!

Пришел третий мальчик.

— Пожалуйста, — попросил он женщину, — возьми светильник, посвети нам...

— Какой светильник?!

— Да тот, что ты зажигаешь около твоей куклы.

Женщина и его прогнала.

Но ребяташки по-прежнему приходили в сад.

Женщина прислушивалась к их звонким голосам, с любопытством смотрела на их игры. Иногда она отвлекалась от своих печальных дум. Но тут же спохватывалась, и лицо ее заливала краска стыда.

Наступил день ярмарки.

Один старик, проходя мимо дома покинутой женщины, позвал ее:

— Пойдем с нами, дочка, на ярмарку.

— Никуда я не пойду, — огрызнулась женщина.

Пришла подруга и тоже позвала ее:

— Идем скорее на ярмарку!

— Не пойду, я занята.

Прибежал маленький мальчик.

— Возьми меня с собой на ярмарку,— пролетел он.
— Нет, я не могу оставить свое божество,— ответила женщина.

Как-то ночью сквозь сон она услышала шум, подобный рокоту морского прибоя. Через деревню двигалась большая толпа — тысячи пришельцев из дальних и ближних краев; кто ехал на повозке, кто шел пешком, кто нес тяжелый груз, а кто шагал налегке.

Утром она проснулась и не услышала пения птиц, его заглушили песни путников. На миг и у нее вспыхнуло желание слиться с людским потоком. Но ее остановила мысль: «Ах нет, я должна поклониться своему божеству». И она побежала в сад.

Но где же ее божество?! Через то место, где стояло изваяние, теперь пролегла дорога. А по ней шли и шли люди.

— О, где же тот, кому я служила так преданно?

И в душе ее раздался голос:

— Он ушел вместе с людьми!..

Снова подбежал мальчик:

— Возьми меня с собой.

— Куда?

— Ты ведь пойдешь на ярмарку?

— Пойду, конечно, пойду.

И женщина зашагала по дороге. Она потеряла свое божество, но вновь обрела его среди людей.

СТАТУМ

СОЦИАЛИЗМ

Как явствует из сообщений английских газет, европейские социалисты с каждым днем все более решительно заявляют о себе. Рано или поздно их деятельность может привести к крупной социальной революции. Поэтому небезыптересно узнать, в чем состоит суть социалистического учения. Социалисты далеки от подлинного единства взглядов, и подробно рассмотреть их воззрения — дело отнюдь не легкое. Я ограничусь пересказом общих положений, выдвинутых в книге г-на Белкорта Бэкса.

«Либералами» в Англии называют тех, кто в недалеком прошлом стремился к исправлению некоторых общественных установлений, а также их нынешних последователей. Г-н Белкорт Бэкс рассматривает в своей книге различие между либералами и социалистами.

Некогда король и знать, говорит он, обладали всей полнотой власти. Движение за ограничение их власти называли «либерализмом». Благодаря ему каждый гражданин получил право неограниченного владения материальными средствами и имуществом. Усилиями либералов была обеспечена неприкосновенность имущества каждого гражданина.

Однако эта свобода привела к новой зависимости. Повсюду утверждается власть капитала. Охраняя капитал, либерализм служит интересам богачей и лишает народные массы равного права на счастье и прогресс.

Социализм стремится уничтожить власть богатых и установить свободу для народных масс.

Появление заводов и фабрик положило начало новому общественному перевороту, породив два класса: растущий новый класс фабрикантов и класс тех, кто на них трудится: этот последний класс состоит из бывших ремесленников. Пока производство основывалось на индивидуальном мастерстве ремесленников, они пользовались относительной самостоятельностью. Развитие фабричного производства приводит к исчезновению самостоятельности ремесленников и росту могущества богачей-фабрикантов.

Социалисты хотят, чтобы производство и распределение находились в руках всего общества, а не отдельных лиц. Они заявляют, что производство и распределение материальных благ — дело всего общества.

В настоящее время производство материальных благ определяется волею и интересами богатых, и поэтому народные массы не могут улучшить свое положение. Не так-то просто бороться с господством капитала. Грабитель с пистолетом в руках требует: «Кошелек или жизнь!»; фабрикант же заявляет: «Зарабатывай себе на пропитание или погибай!» Неимущий же совершенно беззащитен. Переход капитала и земли в собственность народа устранит возможность такого рода принуждения. Резко повысится и качество выполняемой работы. Представьте себе, например, что социалистическое государство поручает кому-нибудь выпекать хлеб. Если пекарь будет работать плохо, небрежно, используя недоброкачественные продукты, он не только не получит от этого никакой выгоды, но и пострадает сам вместе со всеми другими. Ведь он будет работать не ради платы или прибыли, а во имя общества. Поскольку он не заинтересован в выпечке плохого хлеба, а выпечка хорошего принесет удовлетворение и ему, и всем остальным, естественно, он будет выпекать хороший хлеб. Капиталист же стремится к удешевлению стоимости работы, ему отнюдь не свойственно бескорыстное стремление к повышению качества.

Многие считают, что между богатством и свободой существует неразрывная связь. Человек, лишенный богатства, неизбежно оказывается в зависимости, и поэтому якобы стремление социалистов освободить бедняков противоречит самой природе вещей. Автор соглашается с утверждением, что свобода немыслима без богатства; потому-то и необходимо, чтобы богатство принадлежало всем, ибо только тогда свобода станет достоянием всего народа.

Из сказанного вытекает, что цель социализма — свобода для всех и каждого. На это может последовать возражение: осуществление этой цели приведет к результатам, противоположным ожидаемым. Ведь именно эгоистический интерес заставляет ныне человека трудиться; этот интерес — движущая сила всей работы, выполняющейся в обществе. Если же не станет стимула к обогащению, обществу самому придется заставлять людей трудиться, и в этом случае оно вынуждено будет прибегнуть к сильному принуждению. Общество не может существовать, если

каждый волею предаваться безделью. Попадётся какая-то система принуждения. Сам автор тоже считает, что мир пока еще не может обойтись без принуждения. Но при нынешнем общественном устройстве господствует слепое принуждение. При социализме же принуждение будет осуществляться в обществе разумно, обоснованно, лишь по мере необходимости и под тщательным контролем. И поскольку принуждение в социалистическом государстве не связано с чьими-либо своекорыстными интересами, можно рассчитывать, что надобность в нем будет постепенно сокращаться.

Г-н Бэкс говорит, что люди в первобытном обществе сообща владели имуществом, но с развитием цивилизации этому был положен конец. Каждый стал стремиться к тому, чтобы быть самому себе хозяином. Стремление к главенству обычно вызывало появление двух антагонистических классов. В результате единство общества сменялось разобщенностью. Если в прошлом вражда и соперничество проявлялись по отношению к чужим племенам, то теперь, в результате стремления к превосходству, конфликты стали разгедать общество изнутри. Таков был закономерный итог развития цивилизации. Ее главная отличительная черта — конфликт между обществом и личностью: каждый стремится обеспечить могущество прежде всего себе самому, а не обществу в целом.

1892

ПРЕКРАСНОЕ

Религия издавна призывает к воздержанию и предписывает неукоснительное выполнение правил периода брахмачарья с детских лет. Многие, однако, считают, что это слишком трудный способ достижения совершенства. По их мнению, он пригоден для воспитания человека сильного духом или святого, порвавшего путы желаний, но не для развития чувства Прекрасного, ибо он, этот способ, игнорирует искусство: литературу, музыку, живопись.

Не подлежит сомнению, что развитие чувства Прекрасного — неотъемлемое условие для воспитания гармоничной личности. Прекрасное необходимо. Совершенство не в подавлении человеческой души, а в ее развитии. Выполнение правил брахмачарья не ведет к оскудению души. Не для того трудится в поте лица крестьянин, чтобы превратить свое поле в пустырь. После того как он вспашет и взборонит свой участок, а затем вырвет сорную траву,

остается голое место. Человек несведущий может подумать, что это надругательство над землей, но только так можно получить хороший урожай. Чувство Прекрасного вырабатывается упорным трудом.

По пути к постижению Красоты легко заблудиться. Тот, кто хочет преодолеть все препятствия и достичь совершенства, должен научиться владению собой, должен научиться сдержанности. Путь этот труден и суров, но Прекрасное стоит того, чтобы ему приносили жертвы.

К сожалению, средство достижения цели часто заслоняет самое цель. Учатся пению — погрязают в изучении его техники, стремятся к богатству — начинают скряжничать, копить деньги ради самих денег, заботятся о благе страны — заседают в комитетах, вырабатывают резолюции и полагают, что достигли желанного.

Нередко бывает и так, что воздержание и аскетизм превращаются в самоцель. Воздержание всецело поглощает человека, считающего его высшей добродетелью. Стремление к подавлению страстей становится нашей седьмой страстью, помимо известных шести: чувственности, похоти, алчности, одержимости, пьянства, зависти.

Это признак негибкого ума. Одержимый страстью к накоплению человек уже не может остановиться. Среди англичан есть множество страстных собирателей погашенных марок, своих и зарубежных, это хлопотливое увлечение поглощает много денег и времени. Другие заядлые коллекционеры собирают фарфор, третьи — старую обувь. То же самое чувство проявляется и в стремлении во что бы то ни стало водрузить свой флаг на Северном полюсе. На полюсе нет ничего, кроме льдов, но это не останавливает нас, мы опьяняемся подсчетами, кому сколько миль остается до этой заветной точки — Северного полюса. Чем выше взберется альпинист, тем больше считается его достижение. Многие не только жертвуют своей жизнью ради этого мнимого успеха, но и губят посыльчиков, которые сопровождают их не по своей воле. Но ничто не может остановить этих людей. Их ничтожные и бессмысленные победы кажутся тем значительнее, чем больше затрат и страданий влекут они за собой.

Человек, охваченный слишком пылким стремлением к самообузданию, радуется самым переносимым страданиям. Сперва он спит на кровати, затем перебирается на землю. Потом отказывается от подстилки и одеяла и, наконец, спит на голой земле. Признание, что самонистязание полез-

по, неминуемо ведет к самоубийству. Подавление страстей превращается во всепоглощающую страсть. Петля, которую пытаются разорвать, затягивается все крепче и крепче, пока не наступает удушье.

Если воздержание превращается в страсть, суровость может вытеснить чувство Прекрасного из человеческой души. Но если на пути к совершенству придерживаться разумного воздержания, не пострадает ни одна черта человеческого характера, напротив, все они займут еще более яркими красками.

Основание должно быть твердым, иначе оно не может служить опорой. Для всего, что несет на себе тяжесть и определяет внешнюю форму, нужна жесткость. Тело человека мягкое. Если бы не твердый скелет, оно превратилось бы в бесформенную массу. Такой же должна быть и основа познания, основа радости. Познание, лишненное прочной основы, превращается в бессвязный бред: беспочвенная радость смыкается с безумием.

Воздержание — вот надежная основа. Оно предполагает здравый смысл, силу, самоотречение, равно как и беспощадную строгость. Оно, как божество, одной рукой создает, другой разрушает. Трудно научиться воздержанию, но если оно войдет в кровь и плоть, его не искоренить; между тем воздержание необходимо для того, чтобы в полной мере наслаждаться Прекрасным. Человек несдержанный уподобляется ребенку: еда у него попадает не столько в рот, сколько на одежду и на пол. Погрязнув в наслаждениях, мы перестаем ощущать всякое удовольствие.

Прекрасное — отнюдь не плод необузданной игры фантазии. Никто не поджигает дом, чтобы затеплить светильник. Огонь надо поддерживать умело, иначе при первой небрежности он вырвется на свободу. Сказанное можно отнести и к желаниям. Пылая их необходимо для восприятия Прекрасного, но если не держать его в узде, оно может спалить Прекрасное. Так, срывая цветок, мы тем самым губим его, а затем бросаем в пыль.

Прекрасное часто находится там, куда стремится пашо неутешное желание. Плод хорош не только тем, что полезен, — прекрасен его вкус, аромат, вид. Конечно, проголодавшись, мы съели бы его, даже если бы он и не был красив. Но как бы ни терзал нас голод, мы оцениваем плод не только с точки зрения его пользы, но и с точки зрения эстетической. Прекрасное не входит в необходимое — оно существует сверх необходимого.

Как же на нас воздействует Прекрасное? Оно ослабляет пути желания, связывающие наш дух, не дает ему стать нашим единственным божеством. Голод, ужасный, как богиня Дурга, озаренная пламенем, приказывает нам: «Ешь! В этом вся земная премудрость». Но в тот же миг улыбающаяся Лакшми Прекрасного облегчает бремя необходимости и притупляет остроту голода. Замкнув необходимое в подвал, она готовит пиршество радости в верхних покоях.

В удовлетворении насущных потребностей есть что-то унижающее. Но Прекрасное — выше необходимости, и оно избавляет нас от этого чувства унижения. Прекрасное вносит благородство в процесс удовлетворения желаний. Вот почему прежние необузданные варвары ушли в прошлое, а их место заняли люди, умеющие сдерживать себя, вот почему те, кто повиновался только велениям своей плоти, признали над собой власть любви. Теперь, даже голодные, мы не станем есть, как животные. Мы должны соблюдать хоть минимум пристойности, не то пропадет аппетит. Потребность в еде не отпала, но цивилизация смягчила ее. Мы упрекаем детей: «Не ешь так жадно, обжора. Смотри противно!»

Прекрасное удерживает наши желания в определенных рамках. Благодаря ему мы связаны с окружающим миром не только цепями необходимости, но и узами высшей радости. Цепи необходимости — символ нашего угнетения, нашего рабства; узы высшей радости — символ нашей свободы.

Итак, ясно, что Прекрасное учит воздержанности. Оно дает животворную силу, помогающую побеждать плотские влечения. Человек не откажется от невоздержанности как от зла, но его оттолкнет ее безобразное обличье. Прекрасное не только приобщает к культуре, оно, как мы уже сказали, учит сдерживать свои чувства, а сдержанность помогает наслаждаться Прекрасным. В душевных метаниях не оценить Прекрасного. Истинную красоту любви может познать только преданная жена, но не блудница. Верность в любви требует воздержания, но только с помощью ее можно постичь сокровенную прелесть любви. Что же произойдет, если наша любовь к Прекрасному будет лишена сдержанности, присущей верной жене? Наша любовь не сможет тогда постичь Прекрасное, опьянение она примет за настоящую радость, единственное, что могло бы даровать ей прочное спокойствие, не зависящее от перипетий судьбы, останется чуждым для нее. Подлинно Прекрасное до-

ступню только сдержанному, оно скрыто от алчущего. Обжора не может оценить вкуса еды.

Царь Паушья молвил сыну мудреца Утанке: «Войди во дворец, там ты узришь царицу». Утанка вошел, но не увидел царицы. Только чистому душой дано узреть Красоту. Утанка же не был чист.

Перед нами богиня красоты и величия, царящая во вселенной, но мы не увидим ее, если нечисты душой. Если мы утопаем в роскоши, омыняемся вином плотских желаний, светлая владычица вселенной скрыта от наших глаз.

Я не хочу проповедовать мораль. Хочу только напомнить о радости, доставляемой искусством, тем, что англичане называют «Art». Воздержание, учат наши шастры, нужно не только для того, чтобы вести праведную жизнь, но и для собственного счастья. Счастье дается только сдержанному. Хочешь, чтобы твои желания сбылись, научись сдерживать их. Хочешь наслаждаться красотой, подави в себе жажду наслаждений, сохраняй чистоту и спокойствие духа. Не умея обуздать желание, мы ошибочно принимаем его исполнение за постижение Прекрасного. Цепляясь руками за духовное начало, мы думаем, что завладели им. Вот почему я утверждаю: воздержание подготавливает нас к восприятию Прекрасного.

Скептики могут спросить: «А не слишком ли вы идеалистичны в своих рассуждениях?» К этому они добавляют, что видели много талантливых людей, творцов Прекрасного, которые отнюдь не отличались воздержанностью. Их жизненный путь явно не заслуживал подражания.

Оставим пока обвинение в идеалистичности и посмотрим, насколько верен этот последний довод. «Почему мы так верим фактам?» — хочется мне спросить. «Потому что они самоочевидны», — последует ответ. Но ведь иногда то, что представляется нам неоспоримым фактом в жизни людей, в большей своей части скрыто от нас. Увидев лишь ничтожную часть события, мы думаем, что увидели его целиком. Поэтому одно и то же событие некоторые рассматривают как положительное, другие — как отрицательное, порою даже не находят в нем ни единого светлого пятна.

Одни говорят, что Наполеон — бог, другие — что он чудовище. Одни называют Акбара великим благодетелем народа, другие считают, что именно с него начались бедствия для индусской части населения. Одни утверждают, будто кастовая система сохранила индусское общество, другие — будто она погубила его. При этом все ссылаются на факты.

И верно, в человеческих поступках много противоречивого. Противоречия в видимой части события имеют свое объяснение в его незримой части. Истина не столько плавает на поверхности Явного, сколько находится в глубине Тайного, потому-то она вызывает так много споров и разногласий; потому-то на одно и то же событие ссылаются противоположные стороны.

Нельзя, подметив какой-нибудь недостаток у гения, повсюду трубить об этом и тут же делать скоропалительный вывод, будто творения искусства порождаются бессилием, суетностью, несдержанностью. Мало того что свидетелями выступают факты, надо, чтобы на суде присутствовал главный свидетель. Из преуспевания разбойничьей шайки нельзя делать вывод, что разбой — лучшее средство для преуспевания. Мы можем только предполагать, что успехи разбойников объясняются их сплоченностью, тем, что они придерживаются честных правил по отношению друг к другу. Когда же разбойники потерпят неуспех, мы не станем искать объяснения в их сплоченности, мы будем искать объяснения в насилиях, которые они совершают по отношению к другим, в попрании моральных принципов. Если торговец сперва заработает, а затем проматывает большие деньги, мы не скажем, что деньги могут зарабатывать все те, кто их проматывает. Мы только скажем, что, пока торговец зарабатывал деньги, он проявлял расчетливость, осмотрительность, сдержанность. Потом же страсть к мотовству пересилила в нем расчетливость.

Талантливые художники — настоящие подвижники в своей области. Здесь нет места для произвола, здесь идет напряженная духовная работа и господствует самоограничение. Мало найдется таких волевых людей, которые ни на шаг не отклонялись бы от своих жизненных принципов. Где-нибудь да будет срыв. Все мы стремимся от несовершенства к совершенству и не останавливаемся, пока не достигнем вершины. Создать великое помогает верность духовным принципам, а не отход от них. Талант художника проявляется в его творениях, а не в его жизненных ошибках. Мучительное искушение иногда заставляет его идти против собственных убеждений. Созидание требует подавления страстей; когда же они вырываются наружу, начинается разрушение. Чтобы постичь истину, надо обуздать свои чувства, но, чтобы поверить в ложь, их незачем сдерживать.

«Могут ли в одном человеке уживаться способность к

созданию Прекрасного и несдержанность, — зададут мне вопрос. — Ведь тигр и корова не ходят к одному водопою».

«Да, они не ходят к одному водопою, но только после того, как становятся взрослыми, — отвечу я. — Тигрепок преспокойно играет с теленком. Но взрослый тигр нападает на корову. Поэтому при его появлении она обращается в бегство». Зрелое чувство Прекрасного несовместимо с взрывами страстей, несдержанностью желаний. Между ними непримиримая вражда.

«Почему непримиримая вражда?» — возможно, поинтересуетесь вы. На это есть своя причина. Вишвамित्रа создал свой мир в боре с божеством. Мир этот был порождением его гнева и гордыни, поэтому он не слился с миром богов. Хаотичный и обособленный, он не смог приспособиться к движению вселенной и в конце концов погиб, испытывая мучения сам и причиняя их другим.

Необузданная страсть содержит в себе нечто противное миру богов. Она вступает в раздор с окружающим миром. Наш гнев, как и наша алчность, видят все в искаженном свете: малое представляется им великим, великое — малым, преходящее — вечным, вечное же ускользает от их внимания. Объект, на который направлена наша страсть, вырастает до гигантских размеров, заслоняя в наших глазах великие истины мира, заслоняя солнце, луну и звезды. Так наша страсть приходит в столкновение с божеством.

Представьте себе: перед вами река. У каждой волны — свой гребень, но все они текут к одному морю, и их согласный плеск сливается в единую песню. Одна волна не мешает другой. Но вдруг где-то образуется завихрение; бешено пляшущий водоворот преграждает поток и даже тянет на дно. Он не может остановиться и в то же время не движется вперед.

Несдержанное желание вырывает нас из естественного потока жизни и заставляет вертеться на одном месте. Наш дух начинает кружиться, как привязанный, вокруг одной точки, стремясь принести в жертву все, что у него есть, и погубить все чужое. Кое-кто видит нечто прекрасное в таком безумии. Мне кажется, что европейская литература черпает свое вдохновение в этом неистовом разгуле страстей, бесплодных и неумных. Но для нас это не образец для подражания, а недостаток, даже извращение. Человек с широким взглядом на вещи отмечает многое из того, что правится человеку с узким кругозором. Пьяному снится, что он в райской обители, но, протрезвев, он поймет все

безобразия окружающего. Как бы ни пылала в нас страсть, ее безобразие тотчас обнаружится, едва она предстанет на фоне всего необъятного мира. Человек, не умеющий трезво сопоставлять малое с великим, частное с целым, принимает нездоровое возбуждение за радость, уродство за прекрасное. Прекрасное для своего понимания требует душевного спокойствия. Его нельзя постичь без воздержания.

Каков же путь, ведущий к полноценному восприятию Прекрасного?

Цивилизованные народы отвергают то, что казалось варварам прекрасным и достойным восхищения. Это происходит потому, что их разум и наш разум стоят на разных ступенях развития. Мир цивилизованного человека велик и внешне и внутренне, в пространстве и времени и отличается большим разнообразием. Поэтому не может быть одного мерила для мира цивилизации и варварского мира.

Человеческому, несведущему в живописи, правится пестрота красок на холсте, гладкость и округленность изображаемых форм. У него недостает широты восприятия, нет высокого дара суждения, который контролировал бы восприятие. Он видит лишь то, что лежит на самой поверхности, не глубже. Страж, стоящий у входа в царский дворец, с его бородой и значком, кажется человеку невежественному важной особой и вызывает его восхищение. У него даже не возникает желания пройти сквозь ворота, чтобы побывать в царском дворце. Но не так легко обмануть умного человека. Он знает, что дворцовый страж для того и наделен величием, чтобы оно было замечено всеми. Величие же царя заметить не так просто, его надо постигнуть умом. Это свидетельствует о том, что в величии царя есть подлинная мощь, спокойствие и глубина.

Знаток не восхитится пестротой красок на полотне; он будет искать сочетание между главным и второстепенным, между передним и задним планом. Пестрота бросается в глаза, но красоту гармонии надо постигать разумом. Она требует пристального внимания, именно потому она и доставляет большее наслаждение.

Часто встречаются талантливые люди, избегающие убожества внешней красоты. Их творения отмечены печатью суровости. К их дхрупаде не примешана мелодия кхейл. Их наружная строгость отпугивает толпу, в то время как избранные люди черпают безграничную радость в высокой одухотворенности их созданий.

Для глубокого понимания Прекрасного недостаточно

созерцания, нужно еще духовное видение, а для того чтобы его выработать, требуется особая наука.

Духовное восприятие зависит от многих факторов. Чувства, например, во много раз расширяют восприятие, основанное на голом рассудке. Этика открывает еще более широкие возможности. А духовное видение делает наше восприятие безграничным.

Прекрасное доставляет большое наслаждение, если трогает душу. Даже красота цветов не пленяет нас так, как человеческое лицо, ибо оно прекрасно не только своей формой, но и тем, что отражает глубокую мысль, вдохновение, жар сердца. И потому оно имеет над нами такую власть.

Лучшие из людей воплощают в себе божественное Добро на земле; они затрагивают глубочайшие тайники наших сердец, которые без них так бы и остались непотревоженными. Вот почему благородство принца, который покинул царство ради своих подданных, прославляется во множестве стихов и картин.

Здесь меня опять прервут скептики. «Вы начали с Прекрасного, а перескочили на мораль, — скажут они. — Зачем смешивать эти два понятия? Добро есть Добро, Прекрасное есть Прекрасное. Красота и Добро воздействуют по-разному, поэтому их и называют разными словами. Добро привлекает своей пользой, а чем правится Красота, мы и сами не знаем». Тут я должен возразить: сказать, что Добро есть добро потому, что приносит пользу, значит сказать далеко не все. Истинное Добро не только удовлетворяет нашу насущную потребность, оно, кроме того, прекрасно и содержит в себе неизъяснимую притягательную силу. Философы проповедают свою концепцию Блага, исходя из мировой необходимости, поэты же раскрывают его в облике Прекрасного.

Конечно, нельзя назвать Благо Прекрасным лишь потому, что оно удовлетворяет наши потребности. Рис, одежда, зонтик, обувь — вещи, безусловно, полезные, но они не вызывают у нас трепета, который мы ощущаем пред ликом Прекрасного. Но когда мы слушаем рассказ о том, как Лакишмана ушел в лес вместе с Рамой, в нашей душе начинает звучать музыка, будто кто-то незримыми перстами касается струн вины. Их преданность заслуживает того, чтобы ее запечатали в бессмертных словах, в строках поэм. И не только потому, что братская любовь полезна для общества, а потому, что она прекрасна сама по себе. Между Благом и окружающим миром существует глубо-

кая гармония, есть такая скрытая связь между Благом и душами людей. Заметив полное соответствие между Истиной и Благом, мы уже не сомневаемся, что Благо прекрасно. Прекрасно сострадание, прекрасно милосердие, прекрасна любовь. Любовь сравнивают со столпестковым лотосом, с полной луною, она гармонична сама по себе и в то же время полностью гармонирует с миром окружающим. Она гармонирует со вселенной, и вселенная гармонирует с ней. В наших пуранах Лакшми предстает не только как богиня Красоты и Богатства, но и как богиня Добра. Прекрасное — это заповещное выражение Добра, Добро же — заповещное выражение Прекрасного.

В чем общность Добра и Прекрасного? Мы уже говорили, что Прекрасное выше необходимого. Поэтому мы считаем, что истинное богатство — в Прекрасном. Освободившись с его помощью от скудости корыстолюбия, мы находим истинную свободу в любви.

Такое же подлинное богатство мы видим и в Добре. Когда герой жертвует своей выгодой, даже самой жизнью, во имя высокого идеала, этот подвиг, достойный восхищения, возносит его над нашими горестями и радостями, над узкими личными интересами, над повседневностью. Добро одарено таким внутренним богатством, что оно легко преодолевает потери и страдания. Оно стоит выше своекорыстных интересов. Добро, как и Прекрасное, побуждает нас к самопожертвованию. Прекрасное раскрывает богатство всевышнего в природе; Добро же — в жизни людей. Добро доносит Прекрасное до людей не только более наглядно и рационально, но также и с большей широтой и глубиной. Оно очеловечивает божественное начало. В сущности, в самой природе Добра заключено Прекрасное; оно настолько близко и знакомо нам, что мы с трудом можем осознать Добро как Прекрасное. Когда же мы это поймем, наша душа наполнится восторгом, как река в половодье. И ничто на свете уже не кажется нам замечательнее.

Кому не приятно, когда праздничный стол украшен гирляндами цветов, светильниками, золотой и серебряной посудой. Но если хозяин встретит гостей холодно, без должного уважения, им не понравится все это пышное убранство, ибо подлинное богатство — в сердечности и щедрости души. Добрая улыбка, ласковое слово, приветливое обращение — вот что делает простые банановые листья дорожке золотых блюд. Конечно, так думают не все. Найдется немало людей, готовых пойти на унижение, лишь бы побы-

вать на роскошном пиру. Люди эти не понимают, в чем заключается цель и красота пирашества, которое устраивается не ради самой еды и украшений. Эгоничный человек сам не знает своих сил; он похож на цветок, сомкнувший лепестки. Но едва он вступает на путь служения другим, как его душа распускается в прекрасном единении со всем миром. Тому, кто не видит глубокого внутреннего смысла пира, самым важным кажется изобилие яств и папитков, ослепляющий блеск роскоши. Несдержанность в желанниях, алчность и чревоугодие мешают такому человеку ясно увидеть величавую красоту самого обряда.

«Милосердие — украшение сильного», — поучают шастры. Но не каждому дано понять красоту силы, которая проявляется в прощении. Глупец прежде всего уважает силу разрушающую и карающую.

Застенчивость украшает женщину. Но только человек с глубоким восприятием Красоты может заметить прелесть ее стыдливости, презрев блеск дорогих украшений. Вода, бегущая в узком протоке, волнуется и кипит; но, влившись в широкий простор океана, она обретает спокойствие. Обозреть этот океан Красоты можно только с возвышения. Чтобы выработать в себе умение смотреть широко, нужен внутренний покой и сосредоточенность.

Наши древние поэты не колеблясь воспевали красоту беременной женщины. Но европейский поэт видит в беременности что-то постыдное и унижающее. В самом деле, внешность женщины, ожидающей ребенка, отнюдь не радует глаз. Но она выполняет свое высшее предназначение, и весь облик ее как бы озарен сиянием материнской гордости. Пусть ее внешность и не так приятна для глаз — тем большее уважение вызывает к себе женщина.

Легкое облачко, лишенное влаги, бесцельно скитается в просторах неба. Вот на него упали лучи заходящего солнца — и оно вспыхнуло ослепительными красками. Тяжелая, похожая на большую черную корову дождевая туча почти не двигается, она словно застыла на месте. Она не сияет красками, но невольно привлекает к себе все взоры. Темная синева грозовой тучи несет в себе прохладу для раскаленной земли и влагу для пересохших пажитей и обмелевших рек. Поэтому она прекрасна в своей благодатной щедрости. Было бы вполне естественно, если бы посланцем от якиши, томящегося в изгнании, Калидаса отправил весенний ветер, который обычно дует с юга и не встречает никаких препятствий на своем пути: он уже делал это в

других своих произведениях. Но поэт все-таки выбрал облако начала дождей. Ведь это облако, охлаждающее жар земли, не только должно было передать послание возлюбленной якши — оно щедро дарило свою красоту всему, над чем пролетало: рекам, лесам и горам. Оно видело, как расцветают цветы кадамбы, как наливаются плоды джамбу, слышало курлыканье журавлей и плеск полноводных рек в прибрежных камышах, и, казалось, само небо времени дождей ласково отвечало на безмятежные, полные любви взгляды поселянок. Связав полет облака-вестника с благом всей земли, поэт удовлетворил свою жажду Прекрасного.

Поэт «Рождения бога войны» не изобразил соединение Шивы и Парвати среди дождя цветочных стрел любви, на неожиданном празднестве весны. Он сначала притушил бушующий огонь, рожденный взаимным влечением, лишь потом соединил их. Поэт хотел, чтобы любовь Гаури нашла свое прекрасное выражение в пламени подвижничества. То же повторяется и в «Шакуптале». Царственная чета соединилась лишь после того, как возлюбленная уже стала матерью, волнения страсти растворились в страданиях и раскаяние царя обрело прощение Шакунталы. Первая встреча принесла беду, вторая — спасение. И в поэме и в пьесе Калидаса не пользуется богатой палитрой цветов, вина его звучит сдержанно; это помогает ему создать законченный образ Прекрасного, озаренный сиянием Добра и Мира.

Прекрасное, если оно совершенно, не терпит многословия. Яркие краски и пьянящий аромат цветка сменяется тайной прелестью плода; эта метаморфоза знаменует слияние Красоты и Блага.

Для того, кто понял это единение Красоты и Блага, Прекрасное несовместимо с роскошью и чувственными наслаждениями. Его скромность и непритязательность истекают не от недостатка эстетического чувства, а скорее от его избытка. Где теперь увеселительные сады Ашоки? От его дворца не осталось даже оснований. Но до сих пор высятся в Бодха Гайя колонны и ступа, воздвигнутые царем у смоковницы Будды. Они сохраняют непреходящую художественную ценность, ибо Ашока построил их не для прославления мимолетных земных наслаждений, а для того, чтобы возвеличить божественного Будду, указавшего человечеству путь к избавлению от страданий. Много храмов и других священных памятников искусства осталось в Индии, но роскошные дворцы индийских царей исчезли, как в воду канули. Не случайно почти все памятники ис-

куства находятся не в больших городах, а среди лесов, в неприступных горах, на пустынном морском побережье. В этих творениях человек выразил свое изумление, восторг и благоговейный трепет перед тем, что выше его. Красота, созданная руками людей, вызывает к еще большей красоте; величие повествует о еще большем величии.

Человек как бы говорит своим искусством: «Узри того, кто подлинно прекрасен и велик». Он не восславляет наслаждений, которые изведал при жизни, но его величие пережгло смерть.

С какой бы пышностью ни украшали свои дворцы древние индийские владыки, народ не захотел сохранить их с благоговением. Теперь они смешались с прахом тех, чью славу должны были превозносить. Но мы сберегаем памятники искусства, прославляющие божественное Добро, даже если они труднодоступны для нас. Между Добром и Прекрасным, между Вишну и Лакшми — полное тождество. Эта мысль незримо присутствует во всех цивилизациях. Несомненно, придет день, когда Корысть перестанет губить Прекрасное, когда его больше не будет терзать Зависть, а Чувственность не сможет опошлять. Тогда оно воссияет в неизреченной чистоте, посреди Добра и Мира. Прекрасного не постичь, если не отделить его от низменных влечений и страстей. Неполное, отрывочное восприятие, которым страдает человек неподготовленный, не умеющий владеть собой, не утоляет жажду, а только разжигает ее; оно не насыщает, а лишь одурманивает и портит аппетит.

Поэтому некоторые философы советуют держаться вдали от Прекрасного. Опасаясь потерь, они закрывают дорогу к обогащению души. Но истина заключается в том, что для полноценного восприятия Прекрасного надо воспитывать в себе воздержание. Именно в этом, а не в том, чтобы бесплодно иссушать дух, и состоит цель брахмачарьи.

Меня могут спросить: «Для чего добиваться совершенства? Зачем оно?» Нетрудно понять, для чего человек трудится, для чего приобретает знания, но зачем ему дано чувство Прекрасного? Чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел кратко остановиться на том, для чего существует Прекрасное.

Когда мы воспринимаем Прекрасное с помощью чувств, оно кажется совершенно очевидным. В этом случае между Прекрасным и тем, что не прекрасно, есть четко очерченная разница. Но когда мы оцениваем Прекрасное рассудком, мы уже не можем провести такую четкую линию меж-

ду этими двумя понятиями. И тогда то, что затропуло наши сердца, может не привлечь нашего внимания. Радуюсь стройной внутренней гармонии между началом и концом, главным и второстепенным, а также между отдельными частями целого, мы уже не придаем прежнего значения внешней красоте. Понятие Блага еще больше раздвигает границы нашего мышления, оно стирает разницу между Прекрасным и Непрекрасным. Прекрасным становится то, что воплощает Добро. Там, где сияет свет сдержанности, мужества, милосердия и любви, пышность и пестрота красок оказываются неуместными.

В поэме «Рождение бога войны» Шива предстает перед Умой, исполняющей обет подвижничества, в другом облике. Не узнавший его, он поносит свою красоту, свои достоинства, возраст и богатство, на что Ума ему отвечает: «Я вижу лишь духовную суть моего повелителя». Этого ей достаточно, чтобы чувствовать блаженство. В сфере духовного отпадает необходимость деления на Прекрасное и Непрекрасное.

Но и в Добре скрыто противоречие. Понятие Добра предполагает столкновение двух начал — Добра и Зла. Однако эта двойственность не является конечной целью. Река течет между двух берегов, но там, где ее конец, начинается единое безбрежное море. В этот миг исчезает ее двойственность. Чтобы зажечь огонь, надо потерять два куска дерева друг о друга. Как только вспыхнет пламя, трение прекращается. Загораясь от искр, порожденных трением противоположностей — Добра и Зла, Радости и Горя, чувство Прекрасного освобождается от половинчатости и зыбкости. И тогда двойственность исчезает, уступая место Красоте. Истина и Прекрасное сливаются в тождественное понятие. Отсюда можно заключить, что радость порождается правильным восприятием Истины. В этом и есть Высшая Красота. Где же можем мы найти Истину в этом беспокойном мире? Мы можем найти ее там, куда устремлен наш дух. Случайные прохожие для нас всего лишь тени, они не доставляют нам никакой радости, так как мы воспринимаем их как нечто эфемерное. Гораздо важнее для нас один-единственный друг. Он для нас — реально существующая Истина. В мысли, что у нас есть друг, мы находим большое утешение. Чужая страна для нас всего лишь географическое понятие, но его народ готов отдать за нее жизнь. Он рад умереть за свою родину, потому что познал ее истинный облик.

Наука отпугивает глупца, но ученому она доставляет счастье: он посвящает ей всю свою жизнь. Мы радуемся, постигая Истину. Если же радости нет, это означает, что мы только знакомы с Истиной, но не сумели постичь ее. Истина, бесспорная для нас, — всегда источник радости и любви. Усвоив это, мы можем считать, что восприятие Прекрасного и восприятие Истины — одно и то же.

На этом, сознательно или не сознательно, строится все мировое искусство: литература, музыка, живопись. Поэт, музыкант, живописец ярко изображают Истину. Поэт раскрывает нам глаза на то, чего мы ранее не замечали и что поэтому не было для нас Истиной, тем самым он раздвигает для нас границы царства Истины, царства Радости. Каждый день литература делает достоянием искусства все будничное и незаметное; в обыденности она открывает гордое могущество Истины. Она превращает в близкого друга того, кто был лишь нашим знакомым, облакает привлекательностью то, по чему мы небрежно скользили взглядом.

Один современный поэт сказал: «Истина есть Прекрасное, Прекрасное есть Истина». Наша светлоликая богиня Сарасвати, стоящая на лотосе, воплощает в себе и Красоту и Правду. «Упанишады» говорят, что ее благостный образ, дарующий радость, отражается во всем зримом. От пыли, которую мы топчем своими ногами, до небесных звезд — все есть Истина и все прекрасно; все есть воплощение благодетельной радости.

Литература призвана раскрывать радостный и жизнеутверждающий образ Истины. Но выразить Истину в литературе мы можем лишь тогда, когда чувствуем ее сердцем, не только видим и сознаем рассудком.

Что же такое литература? Искусство или самораскрытие? Литература есть творчество. Сердце, одаренное щедрым богатством, выражает в словах, созвучиях, красках это чудо, эту радость самораскрытия. Так рождается литература, музыка, живопись.

Человек воздвиг грандиозные пирамиды среди бескрайних песков. В прибрежных скалах пустынного острова он высек пещеры — памятник высочайшего художественного мастерства; это пещеры Элефанты около Бомбея. За сотни миль привез он камни на восточный берег, где величаво всплывает солнце из океанских пучин; там он возвел канаракский храм. Человек оставлял свои творения везде, где прозревал чистый, радостный, животворный образ Истины. Эти творения — скульптуры, храмы, святые места, города.

И литература — тоже творение, оставленное им. Любое место, на которое ступает нога человека, он освящает своими словами, делая его достойным других людей.

Человек оставляет свое удивительное наследие на воде, земле, и в небе, и в любое время года, он оставляет свое наследие в практических делах, в истории и религии — и везде он зовет обратить взор к прекрасному лику Истины. Это его наследие становится все богаче и богаче, а призыв звучит с нарастающей силой. Трудно даже себе представить, как узок был бы сегодня наш кругозор, если бы человек не оставлял отпечаток своей души в литературе. Только благодаря литературе мир осязаемый, видимый, слышимый стал достоянием нашего духа. Литература озарила мир светом человеческого сердца.

Между покоем и движением существует гармония, гласит истина. Другая истина говорит, что следствие вытекает из причины. Эти истины мы почерпнули из пауки. Но только литература возвещает, что Истина — радость, что Истина — животворящее начало. Литература без устали повторяет слова «Упаннашад»: «Он — суть всего. Постигнув эту суть, человек достигает блаженства».

1906

ПРЕКРАСНОЕ И ЛИТЕРАТУРА

В статьях «Прекрасное» и «Сравнительное изучение литературы» мои рассуждения не отличались достаточной стройностью и вызвали множество возражений. Чтобы защитить высказанное ранее, я попытаюсь яснее выразить свою основную мысль.

Если о каком-либо явлении в мире известно лишь то, что оно существует, но мы не знаем ни причины его возникновения, ни его протяженности во времени, ни связи его с другими явлениями, это значит, что данное явление еще не до конца познано нами, так же как не воспринята сердцем истина, о которой я знаю лишь, что она существует, но которая не приносит мне радости. Нами не познаны до конца многие явления в нашем огромном мире, даже те из них, которые относятся к области Прекрасного.

Всеобъемлемость моих взглядов зависит от того, в какой степени окружающий мир познан моим разумом и вос-

принят сердцем. Чем меньше мир познан мною, тем я вичтожнее. Следовательно, мой интеллект, все мои душевные силы и моя деятельность устремлены к тому, чтобы одержать верх над окружающим миром, подчинить его себе. Так наше бытие обогащается истинными знаниями, и мы обретаем силу.

В чем же смысл нашего представления о Прекрасном? Только ли в том, чтобы, выделив какую-то часть истины, назвать ее прекрасной и только ее принимать, отвергая все остальное как бесцветное и достойное лишь презрения? Подобное восприятие Прекрасного было бы лишь помехой нашему духовному развитию, оно не дало бы нам постичь сердцем истину до конца. Словно горы Виндхья, оно поделило бы истину на прекрасную Арьяварту и не прекрасную Южную Индию, стало бы препятствием на пути к их взаимопроникновению. Я пытался доказать, что не в этом смысл восприятия Прекрасного. Как познание шаг за шагом должно сделать все истины достоянием нашего интеллекта, так и восприятие Прекрасного постепенно должно превратить для нас истину в источник радости — только в этом залог успеха. Все в мире истинно, следовательно, все — объект нашего познания, все — прекрасно, и потому все — объект нашей радости.

Роза кажется мне прекрасной потому же, почему кажется прекрасной всему миру. Вселенная полна красоты, и она неуловима; центробежная сила Прекрасного направляет ее во все стороны бытия тысячами потоков бесконечного многообразия; а ее центростремительные силы способствуют единению стихийной радости этого многообразия. Синтез и анализ — две стороны одного процесса, в ритме которого рождается Прекрасное; Прекрасное раскрывает себя в вечной игре освобождения и притяжения. Подбрасывая и ловя на лету шары, жонглер показывает чудеса красоты и ловкости. Но если мы увидим шар лишь в какое-то одно мгновение, неважно, будет это в момент его полета вверх или в момент падения, у нас не создается цельного впечатления и мы не испытаем чувства полной радости. От того, в какой мере дано нам увидеть игру радости в мире, зависит степень нашего познания добра и зла, горя и счастья, жизни и смерти; сменяя друг друга, они создают ритм песни вселенной. Этот ритм един, как едина красота.

Целью восприятия должно быть умение видеть Прекрасное во всей его полноте. Чем ближе человек к такому

видевью, тем выше его способность ощущать радость от общения с миром. И то, что раньше казалось ему бессмысленным, постепенно наполняется глубоким смыслом, к чему он был равнодушен, становится частью его самого, и он испытывает огромное удовлетворение, когда находит в великом целом истинное место тому, что прежде считал враждебным себе. Видение Прекрасного во всех его проявлениях во всеобщей и процесс познания мира посредством радости запечатлены в литературе.

Однако, и это совершенно очевидно, мы часто рассматриваем Прекрасное в отрыве от всеобщей истины. Одни в Европе призывают поклоняться Прекрасному, другие, воинственно размахивая знаменами, заявляют, что постижение Прекрасного требует героических усилий. Есть и такие, что, ринувшись в бой, пытаются привлечь на свою сторону самого всевышнего.

Вряд ли стоит говорить о том, что далеко не все отрывают Прекрасное от окружающей действительности и в погоне за ним попирают все остальное в мире.

Впрочем, далеко не уйдешь, если, подобно джайнам, оглядываться на каждом шагу, стараясь не причинить вреда ни Прекрасному, ни Безобразному.

Люди утонченные, для которых пысканность и есть Прекрасное, презирают всех тех, кто не отличается пышеством вкуса, и называют их простонародьем. А те в смущении мирятся с этим.

В европейской литературе мы находим попытки во имя Прекрасного отместить все, что обыденно, естественно и незначительно, как банальность.

Мне особенно запомнилось, хотя и прошло много лет, произведение крупного писателя, которое я читал в переводе с французского на английский язык. Поэт Сунпберн назвал это произведение «Заповедью красоты».

В нем рассказывается о мужчине и женщине, поклявшихся всю свою жизнь посвятить поискам идеального человека. В этой книге, написанной с поразительным художественным мастерством, проявилось стремление к недостижимому, к Прекрасному в его совершенной форме, тому Прекрасному, которое, избегая всего будничного и обыкновенного, всякий раз попирает обыденность жизни большинства людей.

Мне кажется, никогда не читал я более жестокой книги. И если стремление к Прекрасному отвращает душу человека от мира, нарушая гармонию человеческих желаний

с окружающей действительностью и вынуждает все обыденное считать ничтожным, а над тем, что приносит пользу, насмехается, тогда оно воистину презренно. Ведь это все равно, что, делая вино, думать лишь о его крепости, забывая об аромате и вкусе винограда. Прекрасное не имеет касты, оно во всем и везде. Своим светом оно озаряет нам вечность в нашей мгновенности, открывает чудо в нашей обыденности, заставляет звучать песнь мира в наших душах и помогает глубже постичь истину. Однажды под вечер в месяце фальгуни я шел самой обыкновенной проселочной дорогой, и вдруг аромат горчичных шив открыл мне то, чего я прежде не замечал: надолго запечатлелось в моем сердце извилистая дорога, берег пруда, сгущающиеся сумерки. Мы не просто зрим само Прекрасное, а сквозь его призму видим весь мир: нежная мелодия красоты звучит в воде, на суше, в небе — во всем бытии.

Великие писатели считают своим долгом восневать действительность. Благодаря совершенству их языка и стиля, их поэзии, мы словно бы прозрели и увидели многое, прежде недоступное нам. Как правило, привычное кажется обыкновенным; но стоит писателю осветить его своим художественным мастерством, и мы вдруг начинаем понимать, что оно необычно. Его красота и ценность выявляются в прекрасном обрамлении. Нечто хорошо знакомое, озаренное светом литературы, кажется нам новым, поэтому и известное и неизвестное мы воспринимаем как нечто удивительное и необыкновенное.

Человек изуродованный как бы отринут от всего Прекрасного, Прекрасное лишь подчеркивает его уродство. Отделите голову от туловища, и она перестанет служить ему украшением. Отвергая обыкновенное, мы тем самым противопоставляем ему Прекрасное, которое, таким образом, становится врагом истины и порождает отвращение к обычному. И тут уж обычное и в самом деле как бы пренебрегает истинными законами красоты. Попытка обособить любое явление, будь то закон или красота, ведет к уничтожению его своеобразия. Если, желая обуздать реку, запрудить ее, она перестанет быть рекой и превратится в пруд.

Многие видят в Прекрасном, сужая его понимание, лишь источник чувственности и страстей, с их точки зрения красота опасна — ведь погибла же из-за красоты золотая столица Ланки.

Но разве милостью всевышнего мы ограждены от опасностей? Они таятся во всех четырех стихиях: воде, земле,

огне и воздухе. Именно опасность часто заставляет нас познать истинную сущность явления, по-настоящему его изучить.

Мне могут возразить, что вода, земля, огонь и воздух необходимы человеку, без них он не сможет просуществовать и мгновения, потому, несмотря на опасность, их следует всесторонне изучать, но совсем не обязательно нам чувствовать их красоту и наслаждаться ею. Ведь красота — это иллюзия, магия, она опасна и послана нам всевышним как испытание. Ее надо остерегаться — иначе беда!

Но позвольте! Просто невыносимо слушать все эти лживые рассуждения о том, что создатель — наш экзаменатор, а мир — экзаменационная зала.

Не сравнивайте с нашими псевдоуниверситетами мир всевышнего — эту сокровищницу знаний! Там не проводят испытаний — в них нет никакой пужды! Там учатся, там идет процесс развития. И чем выше способность человека к восприятию Прекрасного, тем быстрее развитие. Если же из страха перед опасностями свернуть с этого пути, ничего хорошего не получится.

О том, что я понимаю под развитием, я уже писал. Развитие частного зависит от того, насколько тесно оно связано с общим. Если же поверить, что небесный владыка Индра послал Прекрасное в бренный мир лишь для того, чтобы затруднить нам постижение такой связи, то лучше всего закрыть глаза на этот божественный обман и поклоняться ему издали.

Что до меня, то я полностью доверяю Индре. И мне трудно примириться с тем, что нужно отвергать его посланцев. Я твердо верю, что чувство Прекрасного послано нам, чтобы соединить нашу душу в прочном и вечном союзе с истиной, союзе, скрепленном не необходимостью, а радостью. Стоит голубому небу опустить свой солнечный покров на зеленую землю, как эта картина завладевает нашим сердцем и мы с чувством восклицаем: «Что за красота!» Когда весной наш взор случайно привлекают к себе листья, юные и пежные, будто пальцы лесных богинь, душа наполняется восторгом.

Однако в силу присущего нам чувства Прекрасного мы воспринимаем только часть истины, остальное сердце наше отвергает, и я часто задумываюсь над тем, как устранить эту позорную несправедливость.

Способны ли мы познать данным нам разумом все истины мира? Используем ли мы в своей деятельности всю его

энергию? Нет, мир нами познан лишь частично; и лишь незначительную долю запасов мировой энергии мы используем в своей деятельности, большая же их часть — не в нашей власти. Впрочем, не так уж это страшно! Потому что наш разум шаг за шагом стирает грань между познанным и непознанным. Постепенно все истины становятся подвластными нашему разуму, а окружающий нас мир превращается в мир нашего разума, наших знаний.

Сегодня от нас овладеваем мы энергией мира и все чаще используем в своей всеобъемлющей деятельности электричество, энергию воды, огня и ветра. А наше чувство Прекрасного исподволь превращает весь мир в мир нашей радости — в этом и заключается процесс развития. Силой разума, обогащенного знаниями, мы сможем объять весь мир, трудом подчиним его себе, а чувство Прекрасного поможет нам сделать его миром нашей радости — в этом смысл человеческого существования. Быть человеком — значит познать мир разумом, трудом и радостью.

Однако постичь мир можно лишь путем борьбы познающего с непознанным, развитие без противоречий немыслимо — таков закон созидания. Развитие и есть единство двух противоположающихся сил.

Теперь вспомним о науке. Некогда человек находился на такой ступени развития, что не видел разницы между деревом, камнем, человеком, облаком, луной, рекой и горой, он не делил предметы на одушевленные и неодушевленные. Все, казалось ему, подчинено одному закону. С развитием мышления человек осознавал разницу между живой и неживой природой.

Так из тождественности впервые родились противоположности. Без этого человек никогда бы не распознал подлинных признаков жизни. И чем дальше постигал он эти признаки, тем меньше видел различия между живым и неживым. Разница между животным и растительным миром начала стираться, и теперь уже трудно определить, где кончается один мир и начинается другой. Ныне же в мифах, считавшихся неживой природой, ученые находят признаки жизни. С помощью аналитического мышления люди выделили живую и неживую природу, но в процессе познания это различие со временем исчезнет. Так из тождества рождается противоположность, а из противоположностей — единство; и когда-нибудь ученые вместе с мудрецами «Упанишад» провозгласят: «Жизнь во всем и везде».

Но в «Упанишадах» сказано, что жизнь присуща всему

в той же мере, в какой присуща радость. Разделение на Прекрасное и Непрекрасное, несомненно, появилось на пути к постижению единого лица радости мира. Иначе оказалось бы невозможным познать Прекрасное.

Восприимчивая Прекрасное, мы ощущаем его исключительность, которая ошеломляет нас. Таким образом, исключительность — главное оружие Прекрасного. Красный цвет, изящество форм, как бы прорвавшись сквозь пелену серости, вызывают к нам. А музыка своей взволнованностью стремится нанести поражение самому себе.

С развитием чувства прекрасного Прекрасное утратит для нас свою исключительность, и мы будем воспринимать его в совокупности со всем остальным; оно будет привлекать нас к себе, а не ошеломлять, и его гармоничность станет для нас источником радости. Итак, мы выделяем Прекрасное, чтобы вновь воссоединить его с тем, из чего выделили; это единственный путь познания Прекрасного.

Невозможно выявить закономерность явления, рассматривая его вне связи с окружающим. Дым тянется кверху, а камень падает на землю, пробка плавает в воде, а железо тонет — и все же мы не считаем, что это противоречит закону земного притяжения.

Чтобы познание наше было безошибочным, а радость ничем не омраченной, мы должны уберечь их от дробления и рассматривать во взаимосвязи с целым. Наука остановится в своем развитии, если любое воспринимаемое нами явление сразу же считать истиной. Точно так же мы отдалимся от подлинного понимания радости, если все, что нам приятно, будем считать Прекрасным. Как истинность нашего восприятия устанавливается тщательной проверкой, так и радость наша может считаться подлинной, лишь когда она в единении со всем миром.

Сколь бы счастливым ни чувствовал себя пьяница от вина, он далек от истинного счастья, потому что для него это счастье, для других — горе; сегодня это — счастье, завтра — несчастье. Подобное счастье противоречит его внутренней сущности, губит Прекрасное, разрушает радость.

Через противоречия, через горе и счастье человек познает сущность Прекрасного и радости, всесторонне проверяя истинной. Где же накапливаются наши знания? Из века в век усилиями многих людей сокровищница науки пополняется знаниями о мире; благодаря этому можно сопоставить наблюдения одного человека с наблюдениями другого, знания данного века — со знаниями прошлого. Без

этого наука не развивалась бы. Так и литература отражает процесс постижения Прекрасного и радости в разные эпохи и в разных странах. В ней запечатлено, как обретало человеческое сердце власть над истиной, как понятие счастья перестало относить лишь к сфере чувственных ощущений. Постепенно оно завладело и умом и сердцем человека, стало частью его религиозных представлений, сделало малое — великим, а горе — радостью. Успеха достигают лишь те исследователи, которые изучают литературу прежде всего с этой точки зрения и хотят понять, к чему люди стремятся сердцем, что воспринято им и как истина становится для человека источником счастья и радости.

Мы познаем человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он радуется. Именно это представляет для нас интерес. Когда мы узнаем, что кто-то во имя правды готов на изгнание, в нашем сердце словно сияет ореол радости, окружающий подобного героя. Эта радость столь огромна, что поглощает чувство горечи, вызванное изгнанием. Так чувство горечи превращается в источник беспредельной радости. Тот же, для кого радость заключена в деньгах, легко мирится и с ложью и с позором: он и на службе без зазрения совести будет творить несправедливость; но сколько бы такой человек ни выдержал экзаменов, какие бы ни одолел науки, ему никогда не узнать, сколь велико могущество радости. Буде было ведомо такое безграничное чувство радости, что его не могли прельстить никакие царские почести. Видя перед собой подобный пример, каждый человек осознает беспредельность радости, даруемой истинной человечностью, открывает в ближних богатые душевные качества, свойственные ему самому, видит в других свое отчетливое отражение. Постигая радость на примере жизни великого человека, мы постигаем и самих себя.

Человек, запечатлевший в литературе собственное ощущение радости, выявляет все вечное и лучшее в себе.

Можно легко опровергнуть мои выводы с помощью самых ничтожных примеров, взятых из литературы, и я окажусь в довольно затруднительном положении, если от меня потребуют объяснить все, что получило хоть малейшее отражение в ней. Однако любое важное деяние таит в себе сотни противоречий. Я говорю, например, что японская армия воевала с большим мужеством. Но если взять мужество каждого солдата в отдельности, то мое утверждение окажется в некоторых случаях неверным. Тем не менее я прав, так как именно бесстрашие большинства японцев

превозмогло страх меньшинства и помогло выиграть войну. В литературе человек выражает себя в великом, в своем проявлении радости он идет от частного к целому. Бывают, разумеется, исключения и отступления, но в основном это абсолютно верно.

Мы должны всегда помнить о том, что литература приписит нам двоякую радость: она представляет нам истину в художественной форме и доводит эту истину до нашего сознания. Даже если нам скажут, какова в футах высота Гималаев, сколько снега на его вершинах, где и какая там растительность, мы все равно не сумеем представить их себе со всей ясностью. Человека, же, который несколькими словами нарисует нам картину Гималаев, мы назовем поэтом. Да что там Гималаи! Мы испытываем радость, если перед нашим внутренним взором предстает картина заросшего лилиями пруда. Подобный пруд мы видели не раз, но через посредство языка воспринимаем его совершенно по-новому. Становясь седьмым чувством, речь может показать нам любую вещь, которую мы прежде воспринимали зрением, в совсем ином свете, чем вызовет в нашей душе неизведанные дотоле эмоции. Будто дополнительный орган наших чувств, язык помогает нам по-новому увидеть мир. Обладает он и еще одной особенностью: только человек владеет языком, и во многом он творение человеческого разума.

Явление само по себе может и не привлечь нашего внимания, но язык окрашивает его человеческими эмоциями, и оно становится нам родным. С помощью языка вселенная проходит сквозь чистилище сердца и словно бы приближается к нам.

Более того, воссоздавая картину действительности, язык отбрасывает все несущественное и примет лишь то, что способствует ее завершенности. Благодаря этому наше эмоциональное восприятие не распыляется и никакие излишества не нарушают его целостности. А то, что воспринято чувством, глубже западает в душу.

В образе Бханпру Дотто из «Песни о богине Чанди» Мукундорама Кобиконкона нет никаких достоинств, собственных человеческой натуре; подобных людей, корыстных, ловких, назойливых, мы встречаем довольно часто. И нельзя сказать, чтобы они были нам приятны. Но Мукундорам все же сумел нарисовать образ этого ловкого человека, и нарисовал так забавно, что он прочно занял место не только при дворе Калокету, но и в нашем сердце.

В жизни мы бы восприняли Бхапру Дотто иначе. И вот чтобы сделать Бхапру Дотто терпимым для нас, рисуя его, поэт соблюдает меру. Разумеется, Бхапру Дотто несколько иной в жизни, поэтому и воспринимаем мы его по-иному. И нам не было бы от него никакой радости, если бы мы не получили возможности воспринять его столь исчерпывающе.

В поэме Мукупдорама Кобиконкова образ Бхапру Дотто предстал перед нами во всей своей целостности, без всяких излишеств.

Таков Бхапру Дотто. А вот Рама из «Рамаяны» доставляет нам радость не только потому, что он велик, но и потому еще, что его величие трогает нас. В «Рамаяне» Рама лишен всего несущественного и написан в едином эмоциональном ключе, поэтому мы ясно его себе представляем, в чем есть особая радость. Представить себе ясно какое-либо явление — значит видеть его в целом и тем самым постичь его внутреннюю сущность. Литература тем и доставляет нам радость, что запечатлевает все в гармоническом совершенстве, которое и есть само Прекрасное.

Не следует забывать и о другой важной части литературы — ее строительном ведомстве. Это ведомство не уподобись департаменту строительных работ, который лишь возводит здания, в нем обжигают груды кирпичей. Люди непосвященные способны презирать кирпичи, считая, что они еще не есть здание, но в департаменте строительных работ знают им цену. В царстве литературы немалое значение придается ее строительному материалу. Поэтому там часто превозносят лишь красоту языка, художественное мастерство писателя.

Можно бесконечно говорить о том, как неутомим человек в стремлении выразить свои переживания. На душе становится легче, если сумеешь выразить свои чувства через чувства другого человека, — таков непреложный закон сердца. И чем труднее выразить чувство, тем сильнее человек стремится к этому. Потому мы испытываем огромное удовлетворение, когда кому-нибудь удастся чудесным образом выразить наши переживания, и счастливы, если рушатся препятствия на пути к нашему самовыражению. Это придает нам силы. Человека восхищает необычность формы даже при незначительности содержания. Литература использует все средства, чтобы показать искусство выражения. Писатель, разумеется, вызывает у нас чувство радости не только тем, что раскрывает перед нами свой та-

лант. Но ему доставляет удовольствие давать представление о закономерностях самовыражения, и он паделает нас избытком этой своей радости. Нам всегда приятно паблюдать, когда человек играючи совершает трудную работу. Иногда мы видим, как кто-нибудь не ради дела, а просто так щеголяет своей физической ловкостью, но нашу душу волнует и радует это проявление жизненной силы, энтузиазма даже в делах самых незначительных. Так и в литературе находит свое отражение бессцельная игра душевных закономерностей. Здоровье не устает обнаруживать себя в труде, но здоровье есть здоровье, оно проявляется и без повода. В литературе человек выражает не просто избыток чувств, он получает радость оттого уже, что проявляет свою способность к самовыражению. Ибо проявление и есть радость. И потому в «Упанишадах» сказано: «Все, что получает выражение, есть проявление Его радости, Его бессмертия». И мы должны изучить, как в литературе человек неизменно и разнообразно выражает свое бессмертие и радость.

1907

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «МАНЧЕСТЕР ГАРДИАН»

Сэр!

Мои английские друзья оказали мне честь, пожелав услышать мое мнение относительно так называемой — за неимением более подходящего термина — «Новой конституции Индии». Позвольте прежде всего заметить, что распространенное на Западе представление о том, будто бы федерация, которую нам собираются навязать в самом центре, будет олицетворением полнейшей независимости, является глубоко ошибочным. Словом «независимость» широко пользуется Япония в Китае. Будем надеяться, что англичане не пойдут по стопам японцев и не станут употреблять его в том же значении, что и они.

Разрешите задать вам простой и ясный вопрос: о какой независимости может идти речь, когда народ нашей страны не имеет оружия, устранен от контроля над четырьмя пятими национального дохода и не оказывает никакого влияния на внешнюю политику государства? Я уверен, что англичане стали бы презирать самих себя, если бы им пришлось претерпеть нечто, хотя бы отдаленно напоминающее наше унижение, если бы им, как и нам, снисходительно предложили жалкую пародию на свободу.

Наши правители, наверно, возразят, что лишь жалость и любовь к нам да священный долг поддержания законности и порядка заставляют их, в дополнение к собственным заботам, нести тяжкое бремя управления нашим государством. А если кто-нибудь из нас осмелится указать на отрицательные последствия их длительного господства: на вечную пицету, невежество, упадок жизненных сил и неуклонное падение ценности нашего человеческого капитала, — то не миновать суровых порицаний. Что касается положительных последствий, то их очень нетрудно подытожить: достаточно подсчитать расходы на образование, здравоохранение и развитие экономики в Индии, а затем сравнить все это с положением в Японии.

Мне хочется прямо сказать англичанам: до тех пор, пока вы держите нас в тисках своей власти, вам никогда не удастся завоевать ни нашего доверия, ни нашей дружбы. Мы знаем, что у себя на родине вы проявляете много хороших черт, у вас замечательно развито чувство справедливости и честность. Быть может, именно поэтому вам трудно понять, как ваши соотечественники изменяют у нас в стране вашим лучшим традициям. Но вспомните о том, что владение империей всегда развращает людей, развратило оно и вас.

Не сомневаюсь, что среди вас есть благородные люди, которые уже давно понимают, что имперский престиж достался вам слишком дорогой ценою и что достигнутое вами величие уже начинает рушиться, ибо не может вам простить Немезида того, что вы осквернили лучшие свои качества. Эти люди сознают, я уверен, что под бременем разбухшей империи вы пали так низко, что уже не смеее быть справедливыми к тем мятежным народам, которые выступают против ваших интересов и достоинства, оскорбляя то, что вы разумеете под политической благопристойностью. Таких мужественных мыслящих людей, готовых отказаться от сомнительного престижа империи, которая основана на грубой силе, среди вас еще очень немного, да и возможности их слишком малы, для того чтобы преградить путь слепой ярости, ведущей к самоуничтожению.

Если вас интересует мое личное мнение, то должен сказать, что не представляю себе, каким путем можно избежать катастрофы, поскольку все европейские державы сейчас только и заняты тем, что с бешеным усердием изыскивают возможности для взаимного уничтожения. Тем не менее я не теряю надежды, что страдания и беды, если уж

опи неминуемы, не выйдут за все мыслимые пределы и не принесут с собой крушения европейской цивилизации, ибо в ней есть много прекрасного и достойного поклонения. Но судьба действует слепо, и никто не знает, на что способна Немезида, если мы будем без конца бросать ей вызов.

Наша судьба связана с вашей судьбой, и, хотя падение империи принесет нашему народу избавление от состояния беспомощной зависимости, мы разделяем много надежд и стремлений с благородными умами вашей страны; так же, как и они, мы стремимся к их осуществлению; объединившись вместе с ними, мы противостоям темным разрушительным элементам, которые есть и среди вашего и среди нашего народа. Индийский народ никогда не давал клятвы в вечной вражде к английскому народу. Пробужденная Индия вместе с пробужденной Англией поднимается против тех безрассудных и зловещих сил, которые предают и нас и вас. Что же касается новой конституции, то о ней не стоит и говорить. Она состряпана политиками и чиновниками, которые часто без всякого суда и следствия бросали в тюрьмы лучших наших людей, как мужчин, так и женщин. Понятно, что она воплощает всю узость их мышления и мелочную подозрительность.

Нет, не можем мы ждать добра от этой мертворожденной конституции! Будущее наше — в умении объединить свои силы с теми силами на земле, которые жаждут положить конец эксплуатации человека человеком и нации нацией.

1938

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Весь мир глубоко потрясен сообщением о новом проявлении высокомерной несправедливости со стороны нынешнего правителя Германии, но это только логическое завершение кампании запугивания слабых, начавшейся с преследования евреев в рейхе и дошедшей до насилия, совершенного над смелой, подлинно либеральной страной — Чехословакией.

Наш народ устами Махатмы Ганди уже заклеймил бесчеловечность, которая ради удовлетворения тщеславных прихотей одного человека и его сообщников ввергла мир в кровавую резню. Быть может, глас нашего народа и не дойдет до слуха правящей клики Германии, ибо он не может

заглушить грохот снарядов. Но я не теряю надежды, что человеколюбие все же одержит победу и в мире, омытом потоками крови, навсегда обретут свободу все угнетенные, покончив с нищетой и бедностью.

1939

К Р П З И С Ц И В И Л И З А Ц И И

Сегодня мне минуло восемьдесят лет. Позади осталась длинная дорога. Теперь, когда я подошел к ее концу, я могу беспристрастным взором оглядеть самое начало и понять глубокие перемены, которые посеяли разлад во мне и моих соотечественниках. В этом разладе и кроются причины нынешних бед.

Наше ближайшее знакомство с миром началось с Англии. Первые сведения о тех, кто пришел в нашу страну, мы почерпнули из великой английской литературы. Наши тогдашние знания не отличались ни разнообразием, ни широтой. Мы почти не имели доступа к новым сведениям о строении вселенной и ее таинственных силах, получаемым ныне из научных учреждений. Естествоиспытателей можно было пересчитать по пальцам. Чтобы слыть человеком образованным, достаточно было знать английский язык и разбираться в английской литературе. Мы деио и поишо восторгались логикой речей Бёрка, страстностью длинных изречений Маколея, до хрипоты спорили о драматургии Шекспира, поэзии Байрона и гуманизме либерализме тогдашней английской политики. В те дни мы только еще начинали стремиться к национальной независимости и наша вера в благородство англичан оставалась непоколебленной. Даже наши вожди уповали, что мы получим свободу из великодушных рук победителей. Ведь Англия, думали мы, предоставляет убежище всем гонимым и преследуемым у себя на родине. Люди, не жалея жизни борющиеся за счастье своего народа, встречали в этой стране неизменное гостеприимство. Такая широта взглядов, такое человеколюбие вызывали глубокое уважение. Тогда еще оголтелый шовинизм, впоследствии проявленный англичанами, не вытеснил из их душ врожденного благородства.

Когда-то в юности я посетил Англию и слушал как в парламенте, так и за его стенами выступления Джона Брайта, проникнутые исконно английским духом. Либерализм его речей, чуждый всякой националистической узо-

сти, производил настолько сильное впечатление, что и теперь, в дни жестокого разочарования, во мне еще жива частица бывшего уважения. Возможно, мы проявляли чрезмерное преклонение, но мы, вне сомнения, заслуживаем похвалы за то, что при всем своем невежестве сумели оценить гуманность, проявленную чужим народом. Ведь человеческие достоинства не являются монополией какого-нибудь одного народа — их не упрячешь в сундук, как прячет скряга свое богатство. Английская литература обогатила наши умы, и до сих пор я слышу в своей душе победные звуки ее раковины.

Нелегко найти в бенгальском языке точный эквивалент для перевода английского слова «цивилизация». Обычно мы переводим его словом «культура». В нашей стране долго была распространена особая форма цивилизации; наше общество зиждилось на том, что Ману называл «праведной жизнью». В сущности, это была система обычаев, которых придерживались в древности на очень небольшой территории. Заповеди «праведной жизни» соблюдали только в Брахмаварте, местности, расположенной между реками Сарасвати и Дришадвати. В этих старинных обычаях было много жестокого и несправедливого. «Праведная жизнь» плохо совмещалась со свободой духа. Постепенно идеалы этой «праведной жизни», которую Ману видел некогда в Брахмаварте, стали олицетворять собой косность. В годы моего детства, под влиянием английского образования, просвещенные умы нашей страны восстали против заповедей «праведной жизни». Об этом хорошо рассказал Раджпарайон Бошу в своей книге о деятельности образованного бенгальского общества того времени. Вместо идеалов «праведной жизни» мы возвели на пьедестал цивилизацию, которую мы тогда отождествляли с английской цивилизацией. Наша семья целиком приняла изменения, происшедшие как в религии, так и в отношениях между людьми. Воспитанные на английской литературе, мы питали глубочайшее уважение к ее создателям. Это преклонение я сохранял всю первую часть моей жизни. Затем я с глубокой горечью увидел, как между нами и англичанами разверзлась пропасть. Да и кто бы не почувствовал разочарования, видя, с какой легкостью отбрасывают они свой цивилизованный лоск, когда речь идет о защите их корыстных интересов.

Наступил день, когда мне пришлось выйти из замкнутого круга своего увлечения литературой. Передо мной открылась картина, больно ранившая мое сердце, — картина

ужасающей нищеты индийского народа, лишённого всего, что необходимо для физического и духовного развития: пищи, одежды, образования, медицинской помощи и т. п. Ни в одной другой стране с современной формой правления не было ничего подобного. А ведь Индия долгое время служила источником обогащения для англичан. Ослеплённый величием цивилизации, я не представлял себе не мог, что ее гуманные идеалы могут быть так бесчеловечно извращены. Но пришло время, и я увидел, с каким безграничным равнодушием, даже уничижающим презрением относятся нация, считающая себя цивилизованной, к нашему многомиллионному народу.

Своим мировым престижем Англия обязана высокоразвитой промышленностью. Но она не желает применять ее достижений в нашей обездоленной Индии. На наших глазах Япония развила свою промышленность и сумела обеспечить подъем во всех сферах. Я сам наблюдал процветание этой страны, обладающей своей, национальной формой цивилизации. В России, где я также побывал, с большим, можно сказать, небывалым упорством ведется работа по распространению образования и здравоохранения. Благодаря настойчивым усилиям русских в их необъятной стране исчезают невежество, нищета и унижение. Перед лицом их цивилизации равны все нации, она строит человеческие отношения на подлинно гуманной основе. Признаюсь, я не мог удержаться от восхищения и зависти при виде быстрых и удивительных перемен, происходящих в этой стране. Когда я был в Москве, на меня произвела глубокое впечатление их национальная политика: в этой стране между мусульманами и немусульманами нет розни, вызываемой политическим неравенством: власть видит свое назначение в том, чтобы защищать интересы обеих сторон. В мире сейчас имеется лишь два государства, способных оказывать достаточно сильное политическое влияние на другие многочисленные народы, — это Англия и Советская Россия. Англия растоптала мужество покоренных народов и тем самым обрекла их на длительный застой. Напротив, многочисленные мусульманские народности, живущие среди пустынь, спаяны прочным государственным союзом с Советской Россией. Я могу подтвердить, что русские прилагают безграничные старания для всестороннего развития этих народностей. Я не только читал, но и видел сам, своими глазами, что во всех начинаниях советское правительство стремится заручиться их поддержкой. Политика, которую

проводит это правительство, исключает неравенство и бесчеловечность. Власть не используется как орудие для подавления отдельных национальностей.

Я видел также, как пробужденный иранский народ, едва не раздавленный между жерновами двух империалистических европейских держав, сумел избежать гибели и прочно встал на свой собственный путь. Цивилизованная власть, утвердившаяся в этой стране, устранила смертельную вражду между мусульманами и поклонниками зороастризма. Решимость, с которой иранский народ дал отпор прохам европейских государств, — лучший залог его счастливого будущего. И сегодня я от всей души желаю иранскому народу процветания.

В соседнем с нами Афганистане общественный строй не достиг еще высокого развития, просвещение делает лишь первые шаги. Ни одна из европейских держав, кичащихся своей культурой, до сих пор не сумела подчинить себе афганский народ, поэтому ничто не мешает его расцвету. Несомненно, теперь он быстро движется вперед по пути прогресса и свободы.

Индия, придавленная тяжестью английского владычества, прикрывающегося личиной цивилизации, беспомощно барахтается в трясине бездействия.

В своих низких, корыстолюбивых целях англичане опростили китайский народ, славный своей древней культурой, подорвали его жизненные силы, а затем захватили часть его территории. Теперь, когда все это кануло в забвение, английские политические деятели равнодушно взирают на бесчинства Японии, вторгшейся в Северный Китай. Из своей далекой Индии мы следили за тем, как Англия исподволь содействовала уничтожению республиканского правительства в Испании. Но нельзя забывать, что среди англичан были и такие, которые жертвовали своей жизнью во имя защиты свободы в Испании. Китай — страна восточная: может быть, поэтому англичане не проявили должного благородства по отношению к нему. И все же, когда я увидел, как некоторые из англичан рискуют своей жизнью ради защиты республиканского строя одного из европейских народов, я невольно вспомнил, что некогда они были для меня воплощением человеколюбия, я питал к ним полное доверие и уважение. Сегодня я хочу повествовать историю того, как постепенно мы утратили веру в европейскую цивилизацию. Самое страшное последствие английского владычества состоит не в том, что

в нашей стране существует острая нехватка продовольствия и одежды, из рук воп плохо поставлено просвещение и медицинское обслуживание, а в том, что наш народ раздираем жестокой междоусобицей, какой пет ни в одной независимой мусульманской стране. Горько сознавать, но ответственность за это падает в первую голову на нас! Неуклонно растущая национальная рознь никогда не привела бы к такому жуткому варварству, небывалому в истории Индии, если бы не тайное подстрекательство со стороны высших правительственных кругов.

Нельзя принимать всерьез утверждение, будто индийцы уступают в своем умственном развитии японцам. Главное различие между нашей страной и Японией заключается в том, что мы поработены Англией, а на Японии не лежит даже тень зависимости от какой-либо европейской страны. Чужеземная цивилизация, если можно ее назвать цивилизацией, ограбила нас. Что же принесла она взамен? Ничего, кроме видимости «законного порядка», установленного с помощью насилия.

Естественно, что мы не могли сохранить уважения к надменной западной цивилизации, которая обернулась к нам своей насильственной, а не свободолобивой стороной. Отношения между нами и англичанами строились не на единственно правильной цивилизованной основе — гуманистической. Своей ничтожностью эти отношения препятствовали нашему прогрессу. Но мне посчастливилось знать англичан, исполненных истинного благородства, нигде больше не встречал я такого величия духа, как у них. Именно они не позволили мне утратить веру в английский народ. Лучший тому пример Эндрюз. Имея честь быть его другом, я лично убедился в том, что это истинный англичанин и христианин, Человек с большой буквы. Сегодня, когда я стою на пороге смерти, для меня еще ярче воссияло его бескорыстие и мужество, исполненное величия. Я, как и весь наш народ, многим обязан ему; но особенно благодарен я ему за то, что на старости лет он помог сохранить мне пошатнувшееся было уважение к английскому народу, уважение, воспитанное английской литературой, которой я зачитывался с юных лет. Эндрюз навсегда останется для меня воплощением духовного величия своего народа. Людей, подобных ему, я считаю не только своими близкими друзьями, но и друзьями всего человечества. Их дружба скрасила мою жизнь. И мне кажется, что именно они, эти люди, снадут славу английской нации. Если бы

не они, я бы не мог не поддаться разочарованию в европейских пародах.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по Европе, оскалив клыки и выпустив когти, бродит жестокое чудовище, оно сеет ужас и страх. Дух насилия — это порождение западной цивилизации — пробудился ото сна: он растлевают человеческие души, отравляя своим зловонием воздух во всем мире. Не он ли виноват в нашей беспомощности, в нашей невылазной, беспросветной нищете?

Настает день, когда, по воле судьбы, англичане вынуждены будут покинуть Индию, пока еще входящую в их империю. Какую Индию, какую ужасающую бедность оставят они после своего ухода, какое опустошение! Сколько грязи останется после того, как схлынет поток их более чем векового господства. Когда-то я всей душой верил, будто духовное богатство Европы станет источником новой, подлинно прекрасной цивилизации. Теперь, в час прощания с жизнью, этой веры больше нет. И все же я не утратил надежды, что Избавитель грядет, и кто знает, возможно, ему суждено родиться в нашей нищенской хижине, мы ждем его. Он понесет с Востока божественное откровение, ободряющие слова людям.

Что же представляет собой мир, который я оставляю, отправляясь в последнее странствие? Жалкие развалины, обломки некогда гордой цивилизации. Потерять веру в человечество — страшный грех; я не запятнаю себя этим грехом. Я верю, что после разрушительной и очистительной бури на небе, освободившемся от туч, засияет новый свет: свет самоотверженного служения человеку. Откроется новая, незапятнанная страница истории. И первым, быть может, воспрянет Восток, где рождается утренняя заря. Придет день, когда непобежденный человек ступит на путь борьбы, чтобы, преодолев все препятствия, вернуть себе былую славу. Думать, что человечество может потерпеть окончательное поражение, — преступно!

Сегодня мы воочию видим, какую опасность таит в себе безумный разгул агрессивных сил, их своекорыстная власть. Нет сомнения, что недалек тот день, когда оправдаются слова:

«Люди, кои не брезгают греховными средствами, могут преуспеть, добиться желаемого, одержав победу над врагами, но их ждет неминуемая духовная гибель».

ИЗЪЕМЪ И РЕЗУЛТАТЪ



*Москва,
20 сентября 1930 г.*

Наконец я в России! Все, что вижу, кажется чудом. Нигде в других странах нет ничего подобного. Все совершенно иначе. Они сделали всех людей равными.

Веками человеческая цивилизация поконит на простых людях; их большинство, они несут на себе всю тяжесть, им всегда не хватает времени подумать о себе, они довольствуются крохами общественных богатств; меньше всех едят, хуже всех одеваются, меньше всех образованны и при этом работают на всех; работают больше всех и больше всех унижены; мрут с голоду и глотают оскорбления, лишены элементарных жизненных благ и удобств.

Они — опора цивилизации; на головах у них светильники — светло лишь тем, кто наверху, а по их телам только стекает горелое масло.

Я много думал над этим, и положение казалось мне безвыходным. Если никого не будет внизу, как может кто-то быть наверху? А кому-то наверху быть необходимо, потому что иначе дальше собственного носа ничего не увидишь, а жить, чтобы просто существовать, — недостойно человека. Цивилизация — это нечто большее, чем забота о хлебе насущном. Все лучшие плоды цивилизации возвращены на ниве досуга. Какая-то часть человечества должна иметь досуг. И я считал, что единственное, что можно сделать, это, по возможности, проявлять заботу о здоровье, просвещении и благополучии тех, кто вынужден трудиться на самой низкой ступени человеческого общества не только благодаря обстоятельствам, но и потому, что умственно и физически ни к чему другому не подготовлен.

Но вся беда в том, что на жалости ничего прочного не построишь. Когда благодеяние — подачка, оно только развращает. Истинная взаимопомощь возможна лишь между равными. Я так и не мог придумать ничего путного, но

мысль о том, что ради прогресса цивилизации большинство людей должно быть обречено на унижение и лишение всех человеческих прав, вызвала у меня отвращение.

Подумай только, как раздобрела Англия на харчах голодающей Индии! А ведь многие в Англии считают, что вечно кормить их — великая миссия Индии! Какая беда, если ради процветания и возвышения Англии целый народ пребывает в рабстве! Что из того, что эти люди живут впроголодь и одеты в лохмотья! Правда, из сострадания у англичан все же возникла мысль немного подправить положение. Однако минуло сто лет, а мы так и не получили ни просвещения, ни здравоохранения, ни богатства!

В недрах каждого общества происходит то же самое. Человек не может делать добро тому, кого он не уважает. По крайней мере, когда дело касается чьих-то кровных интересов, то тут возникает настоящее побоище. В России эту проблему стараются разрешить в самой основе. Еще не пришло время делать окончательные выводы, однако все, что я видел, не могло меня не поразить. Просвещение — самая широкая дорога к преодолению всех наших трудностей. До сих пор большинство человечества не имело доступа к образованию; что касается Индии, то она была лишена его почти полностью. Поэтому та поразительная энергия, с которой в России распространяется образование, не может не удивлять. И дело здесь не в количестве, а в глубине и в размахе. Сколько здесь проявляют заботы и стараний, чтобы ни один человек не чувствовал себя слабым и никчемным! Не говоря уже о самой России, даже среди полумодернизованных народов Средней Азии знания распространяются с быстротой наводнения. И нет предела их безмерным усилиям, чтобы открыть этим народам путь к вершинам науки. Желающих попасть в театры — огромное множество, и все это — крестьяне и рабочие. Нигде их не оскорбляют. В тех немногих учреждениях, которые я уже успел посетить, я всюду замечал, как пробуждается в людях живой интерес и чувство собственного достоинства. О нашем народе не приходится и говорить — коптер разительный даже в сравнении с английским рабочим классом!

То, что мы хотели сделать в Шриникетоне, они осуществляют в масштабах всей страны. Нашим людям было бы очень полезно приехать сюда поучиться. Каждый день я сравниваю то, что вижу здесь, с Индией и думаю, чего мы достигли и чего могли бы достичь.

Мой американский друг, доктор Гарри Тимберс, изучает советскую систему здравоохранения и удивляется ее совершенству. Где же ты — изможденная, голодающая, несчастная и беспомощная Индия! Всего несколько лет назад здесь население находилось совершенно в таком же положении, как и народы Индии, однако за это короткое время у них произошли удивительные перемены, а мы по горло увязли в трясине застоя.

Я не могу сказать, что все у них совершенно, — серьезных просчетов немало, и когда-нибудь они приведут к затруднениям.

Если говорить коротко, основная ошибка заключается в том, что их система просвещения шаблонна, а людей нельзя воспитывать по шаблону. Если теория игнорирует свойства живого ума, неизбежно приходит время, когда либо шаблон начинает трещать по всем швам, либо человеческий ум мертвоет и человек превращается в заводную куклу.

Я заметил, что здесь детей делят на группы и распределяют между ними различные обязанности: одни следят за чистотой жилища, другие заботятся об имуществе и т. д., они совершенно самостоятельны, и только один взрослый наблюдает за их работой. Я всегда стремился ввести такой же порядок в Шантиникетопе, но дело ограничилось составлением инструкции. Произошло это, в частности, потому, что наш школьный департамент считает своей главной задачей подготовку учеников к экзаменам, а до всего остального ему мало дела: есть — хорошо, нет — тоже не беда. Мы слишком ленивы, чтобы делать что-то сверх положенного. А кроме того, нас с детства приучили действовать только по указке. Да и какой может быть толк от инструкций, если сами составители в них не верят? Для учеников такие инструкции — звук пустой.

Если говорить о работе в деревне и о просвещении, то здесь я увидел примерно то, о чем сам мечтал все эти годы, но у них гораздо больше энергии, упорства и опыта в руководстве. Мне кажется, что многое зависит и от физического состояния, — измученный малярией, истощенный человек не может работать в полную силу. В этой холодной стране люди здоровее, оттого и дело у них спорится. А о наших соотечественниках нельзя судить по их численности, ибо количество людей не равняется количеству полноценных работников.

*Москва,
19 сентября 1930 г.*

Место действия — Россия. Сцена — дворец под Москвой. Я смотрю из окна; до самого горизонта сплошной массив леса — зеленые волны бегут одна за другой: темно-зеленая, светло-зеленая, в золоте и багрянце... Вдоль леса тянется цепь деревенских домишек.

Около десяти часов; небо затянуто тучами, все замерло в ожидании грозы, и только верхушки стройных тополей раскачиваются на ветру.

Гостиница, где я провел в Москве несколько дней, называется «Гранд-отель». Массивное здание производит впечатление крайней бедности, словно разорившийся наследник богатых родителей. Старинная мебель частично распродана, частично обветшала и загрязнилась, уборщицы забыли сюда дорогу. Такой же вид имеет весь город: даже среди общей запущенности заметна былая роскошь — будто золотые пуговицы на рваной рубахе или шелковое даккское дхоти в заплатках. Нигде в Европе нет такой скудности, как здесь. Там из-за резких контрастов богатства и бедности роскошь бьет в глаза, а нищета остается в тени. Все жизненные неурядицы, грязь, болезни, беспросветный мрак страданий и пороков прячутся за кулисами, а со стороны приезжему все кажется изящным, изысканным, нарядным.

Но если все материальные блага страны разделить поровну, окажется, что на всех их далеко не достаточно. В России же нет контрастов, поэтому вместе с роскошью ушло и безобразие нищеты — осталась только нужда. Такой повсеместной бедности нет нигде, поэтому здесь она сразу бросается в глаза. Но здесь нет низов, как в других странах, — есть только народ.

Улицы Москвы многолюдны, однако щеголей нет, а это значит, что праздность исчезла бесследно. Все живут своим трудом.

Мне довелось побывать у доктора Петрова. Он очень уважаемый здесь человек и занимает высокий пост. Дом, в котором помещается его учреждение, в прошлом принадлежал какому-то аристократу, но обстановка кабинета очень простая, никакой роскоши. Ковра на полу нет, в углу стоит плохонький столик. На всем лежит печать такой пустоты, словно в доме траур и горюющим родственникам ни до кого и ни до чего нет дела.

В гостинице «Гранд-отель», где я остановился, удобства и пища отнюдь не соответствуют столь громкому названию. Но какие могут быть претензии, если все и вся в таком же положении!

Я вспоминаю свое детство. Мы жили тогда куда более убого, чем они, но нас не смущало это, потому что таким был и тогдашний идеал жизни: без резких отклонений, примерно одинаковый во всех домах. Разница заключалась лишь в уровне традиционной культуры, в отношении к искусству и музыке, да еще в семейных традициях, влиявших на нашу речь, манеры и привычки. Но если бы здешний средний человек увидел нашу пищу и познакомился с нашим бытом, он бы содрогнулся от отвращения!

Кичливость богатством занесена к нам с Запада. Когда в дома наших клерков и торговцев потекли деньги, европейский комфорт сделался критерием респектабельности. Поэтому у нас до сих пор богатство ставится выше всего — происхождения, воспитания, ума и образования. Но что может быть постыднее преклонения перед богатством? Надо остерегаться, чтобы эта мерзость не проникла в плоть и кровь.

В России мне больше всего понравилось полное отсутствие мерзкой кичливости богатством. Этого оказалось достаточно, чтобы в народе пробудилось чувство человеческого достоинства.

Простые труженики и крестьяне, сбросив иго неравенства, распрямились и высоко подняли голову. Я смотрю на них, удивляюсь и радуюсь. Какими естественными и простыми стали отношения между людьми!

Мне еще многое нужно сказать, но сейчас не мешало бы и отдохнуть. Сяду-ка я поудобнее в глубокое кресло перед окном, натяну на ноги одеяло, и, если придет сон, я не буду слишком противиться.

*Москва,
25 сентября 1930 г.*

С тех пор как я послал вам обоем письма, прошло уже много времени, и по вашему единодушному молчанию я догадываюсь, что этим двум бумажкам на индийской почте была оказана исключительная честь. Что ж, время от времени у нас и такое случается! Поэтому пишу без всякого антузназма. Если и на сей раз не получу ответа, буду молчать.

Без ваших писем время тянется бесконечно, как тихая, безмолвная ночь. Порой мне кажется, что я уже перенесся в мир иной, где другой счет дням и минутам. Час моего возвращения на родину так безнадежно далек, как нескончаем поток падающих одежд Драупади, вновь и вновь пабрасываемых на нее Кришной. Я утешаюсь только мыслью, что день моего возвращения придет с такой же неизбежностью, как сегодняшний.

А пока — я в России, и, если бы сюда не приехал, обет моей жизни не был бы исполнен.

Не знаю, хорошо или плохо то, что они здесь делают, но невольно поражаюсь их невероятной смелости! Старое опутывает мозг и душу тысячами нитей, повсюду воздвигло оно свои дворцы, с бесчисленными покоями и переходами, где у каждой двери стоят неумолимые стражи, со всех столетий собирает оно несметную дань. А они вырвали его с корнем, без всякого страха, сомнений или сожалений. Старое смели с лица земли, чтобы дать место новому.

В душе я восхищаюсь волшебной силой европейской науки, способной творить чудеса. Но еще больше меня восхищает грандиозность того, что я вижу здесь. Будь это только ужасное разрушение, я бы так не удивлялся, потому что это они умеют. Но я вижу, что они полны решимости построить на месте развалин новую жизнь. Им приходится торопиться, ибо весь мир им враждебен, все против них. Им нужно как можно скорей доказать, что то, к чему они стремятся, не ошибка и не обман. Десятилетие бросает вызов тысячелетиям — и уверено в победе! Экономически они еще очень слабы, но зато их духовная мощь неизмерима.

Революция в России назревала уже давно. К ней долго и тщательно готовились, бессчетное количество людей, известных и неизвестных, отдавали ради нее свои жизни и терпели невыносимые муки. Предпосылки для революций существуют повсюду; но происходят революции только в определенных странах мира. Когда инфекция попадает в кровь, болезненная опухоль образуется в наиболее уязвимом месте. В России обездоленные и бесправные массы подвергались самому жестокому угнетению со стороны тех, в чьих руках сосредоточились богатство и власть. Поэтому именно в России чудовищное неравенство между угнетенными и угнетателями вызвало потрясения самих основ.

Когда-то подобное же неравенство привело к Француз-

ской революции. Уже тогда угнетенные повяли; что неравенство всюду несет с собой нищету и угнетение. Вот почему во время революции по всему свету, далеко за пределы Франции, разнесся призыв к Свободе, Равенству и Братству. Но он прозвучал и смолк.

Призыв русской революции тоже обращен ко всему человечеству. Сейчас в мире есть лишь один народ, который заботится не только о своих собственных интересах, но и о судьбах всего мира. Мы не знаем, вечно ли будет звучать голос России, но одно несомненно: в наш век проблемы любой нации являются частью общечеловеческих проблем, и с этим нельзя не считаться.

В наш век поднялся наконец занавес над сценой всемирной истории. До сих пор где-то за кулисами, по разным углам, шли как бы отдельные репетиции, и каждая страна разучивала в уединении только свою роль. Было бы несправедливо утверждать, что между странами не было никакого общения, однако разобщенность была еще сильнее и до последнего времени искажала облик мира. Тогда мы видели только отдельные деревья, теперь же перед нами лес. Поэтому если в обществе где-либо нарушается равновесие, сегодня это отражается на всем человечестве. Столь широкое видение мира — вещь немаловажная.

Однажды в Токио я спросил корейского юпосу: «Что вас больше всего тревожит?» Он ответил: «Засилье капиталистов. Мы для них — источник обогащения». Тогда я сказал: «Ведь у вас мало сил: как же вы сами избавитесь от этого ига?» Он ответил: «Будущее земли принадлежит тем, кто сегодня слаб, — их объединят страдания. Те, кому сегодня принадлежат власть и богатства, могут сидеть на своих сундуках, но они никогда не смогут объединиться. Сила Кореи — в ее горе».

Знаменательно, что страдающее человечество понимает сегодня, как велика его роль на мировой арене. Раньше, не сознавая своего истинного могущества, оно уповало на судьбу и терпеливо выносило все муки. Сегодня же даже самые бесправные и слабые мечтают о прекрасном царстве справедливости, где не будет ни угнетения, ни унижения. Именно поэтому угнетенные восстанут сегодня по всей земле.

Сильные мира сего дерзки и высокомерны. Они стараются подавить стремление угнетенных к власти, ибо это лишает их сна и покоя. Они захлопывают двери перед

вестниками новых идей и затыкают им рот. На самом же деле чего им следовало бы больше всего бояться, так это страждущих, но они привыкли не замечать их, и они не боятся усугублять страдания угнетенных, когда дело идет о собственной выгоде; их сердца не сжимаются от страха, когда они выколачивают до двухсот — трехсот процентов прибыли, обрекая несчастных крестьян на голод. Ибо для них прибыль равноценна силе. Однако любые крайности в человеческом обществе таят в себе угрозу, и эту опасность еще никогда не удавалось устранять давлением извне. Не может на одном полюсе вечно расти неограниченная сила, а на другом — бесконечная слабость. Если бы сильных мира сего не ослепляло властолюбие, они больше всего боялись бы именно этого противоречия, ибо такая диспропорция противоестественна.

Когда я получил из Москвы приглашение, у меня еще не было ясного представления о большевиках. Я слышал о них немало высказываний, и все они были противоречивы. Многое вызывало у меня беспокойство, ибо вначале они шли по пути применения насилия. Но я заметил, что враждебность Европы к Советской России стала ослабевать. Мое решение посетить Россию многими было встречено одобрительно. Даже многие англичане отзывались о большевиках с похвалой. Мне говорили, что в России начали поразительный эксперимент.

Но были и такие, кто меня отговаривал, хотя все их опасения основывались главным образом на недостатке у русских комфорта. Мне говорили, что там нет привычной для меня пищи и удобств, что я вообще не выдержу всего этого. Кроме того, говорили, что мне будут показывать лишь то, что заранее подготовлено. Действительно, ехать в Россию в моем возрасте и с моим здоровьем было рискованно. Но я получил приглашение, и было бы просто непростительно не увидеть своими глазами свет самого яркого жертвенного пламени на алтаре истории.

К тому же в моих ушах все еще звучали слова корейского юноши. Я думал: сегодня у самого порога могучей и богатой западной цивилизации Россия строит государство для всех обездоленных, презирая злобные взгляды капиталистических держав. Кому же, как не мне, поехать туда и увидеть это? Если их цель — уничтожить силу сильных и отнять богатство у богатых; чего мне опасаться, за что сердиться? Много ли у нас-то богатства и сил? Ведь мы — самые нищие и беспомощные на земле!

Если они действительно стремятся вернуть уверенность слабым, поднять их дух, нам ли их сторониться? Они могут, конечно, ошибаться, но разве их противники застрахованы от ошибок? Пора заявить во весь голос, что, если силы угнетенных не пробудятся, человечество обречено, ибо преступления сильных мира сего переходят все границы: раньше они позорили землю, а теперь оскверняют даже небо. Бесправие, насилие угнетенных достигли предела. На одном полюсе сегодня сосредоточены все богатства и блага, а на другом — беспросветная нищета.

Последнее время я часто с ужасом вспоминаю расправы в Дакке. Какая зверская жестокость, а в английских газетах об этом ни слова! Если в Англии кто-нибудь погибает в автомобильной катастрофе, об этом кричат на всех перекрестках, а жизнь и честь нашего беспомощного народа они не ставят ни во что. На какую справедливость может рассчитывать тот, кто ценится так дешево!

Наши жалобы и ступания не доходят до мира: все пути перед нами закрыты. В то же время англичане владеют всеми средствами для распространения о нас любой клеветы.

Сегодня положение особенно унижительно для угнетенных народов, ибо сегодня вести мгновенно облетают весь мир, и сильные нации, владеющие средствами пропаганды, могут позорить и оскорблять слабый народ. Сегодня миру внушают, что у нас, мол, индусы и мусульмане режут, убивают друг друга, а потому и т. д. и т. п. Но когда-то и в Европе случались кровавые побоища между отдельными общинами. А как они исчезли? Они исчезли лишь с распространением образования. То же самое произошло бы и в Индии, однако за все годы английского владычества с образованием повезло лишь не более чем пяти процентам населения, да и это скорее не образование, а насмешка над ним!

Ничего не делая для того, чтобы устранить причину презрительного отношения к нам, мы тем самым даем людям повод презирать нас, и это — тягчайшая расплата за нашу слабость. Всестороннее образование — путь к решению большинства проблем. Но для нас этот путь закрыт, ибо «Закон и Порядок» не оставили нам ни малейшей лазейки: казна опустошена! Из всех видов общественной деятельности самым важным я считаю пробуждение в людях чувства собственного достоинства. Всю свою жизнь я делал для этого все, что мог. Ради этого я не отвер-

гал помощь властей; я даже рассчитывал на нее, но всем известно, чем это кончилось. Я понял, что ничего не выйдет. Над нами тяготеет страшный грех — наша слабость.

Вот почему, когда я услышал, что в России пародное просвещение, зародившееся почти на пустом месте, приобрело гигантский размах, я решил поехать туда во что бы то ни стало, и если мое слабое здоровье не выдержит, — будь что будет! Ови в России поняли, что только образование может сделать слабого сильным, ибо от него зависит все остальное — пища, здоровье и мир в стране. Наши же «Закон и Порядок» обрекают нас на голод и духовную нищету, а ведь для поддержания их нам приходится отдавать все до последней нитки.

Я — человек, выросший в атмосфере современной Индии. Долгое время я твердо верил в невозможность дать просвещение тремстам тридцати миллионам человек и никого в этом не вирил, кроме нашей горькой судьбы.

Когда я услышал, что здесь, в России, среди крестьян и простых тружеников просвещение распространяется с молниеносной быстротой, я подумал, что суть его заключается лишь в том, чтобы научить людей кое-как читать, писать и считать. Конечно, и это хорошо. Если бы это было в нашей стране, мы благословляли бы своих правителей. Но здесь я увидел настоящее образование, способное воспитать человека; это не простая зубрежка шпаргалок для сдачи экзаменов на степень магистра.

Однако на этом я останавлиюсь более подробно в другой раз — сегодня уже нет времени. Вечером я отираюсь в Берлин. А потом, 3 октября, поплыву через Атлантику, — сколько дней это продлится, сказать не могу.

Я устал душой и телом, однако не могу упустить такую возможность. Если мне удастся что-либо извлечь из этой поездки, я проживу остаток своих дней спокойно. Можно, конечно, поступить иначе: деть за днем истратить весь капитал и, когда настанет срок, сказать последнее прощанье и задуть свечильник. Не стоит оставлять после себя жалкие крохи, которые могут только испортить дело. По мере того как человек теряет физические силы, все явственнее проступают его внутренние пороки: слабование, подозрительность, недоверие. Много зависит от доброты и широты патуры. Истинные ценности за десьги не купишь, — я все более в этом убеждаюсь, — и самая бедная земля зачастую припосит золотые плоды. Я был бы сча-

стлив, если бы обладал хоть в какой-то мере той неиссякаемой энергией, смелостью, знаниями и умением жертвовать собой, какие проявляются здесь в деле просвещения. Ведь чем слабее дух, чем меньше подлинного энтузиазма, тем острее пужда в материальных средствах.

Берлин,
28 сентября 1930 г.

Еще в Москве я написал два длинных письма о советском строе. Кто знает, когда ты их получишь, да и получишь ли вообще?

По приезде в Берлин я получил сразу два твоих письма, написанных в разгар сезона дождей. Стоит ли говорить, с каким волнением я думаю о тяжелых тучах над шаловыми рощами Шаптикетопо и сумерках, пронизанных ливнями!

Но поездка в Россию вытеснила из моей памяти эти прекрасные картины. Я могу теперь думать только о беспредельной нищете наших крестьян. Бенгальскую деревню я хорошо знаю с самого детства. Каждый день я встречался с крестьянами и слушал их горькие жалобы. Таких беспомощных людей немного на свете. Свет знаний не достигает дна общества, где они влачат жалкое существование, и дыхание жизни там едва ощутимо.

Из тех, кто до последнего времени играл главные роли на политической сцене нашей страны, никто не признавал крестьян своими соотечественниками. Я вспоминаю конференцию в Пабне. В беседе с одним политическим деятелем я сказал, что, если мы действительно стремимся к процветанию нашего государства, необходимо помочь пизам нашего общества стать людьми. Он отнесся к моим словам с таким пренебрежением, что мне стало ясно: наши патриоты вынесли представление о родине из иностранных школ. Им безразличен народ. Такое представление весьма удобно: оно позволяет им осуждать чужеземное владычество и писать об этом стихи, возмущаться и выпускать газеты. А вот признать, что миллионы бедняков — это твой народ, твои соотечественники, — на это они не способны, потому что подобное признание налагает ответственность и требует настоящего дела.

С того дня прошло немало времени. Я часто слышал отголоски того, что я говорил в Пабне. В помощь деревне даже собирали деньги, однако они таяли и исчезали где-то

в пропагандистских облаках, откуда вещают наши политики, и до грешной земли, на которой стоит деревня, не доходило ничего.

Однажды я причалил свой плавучий дом к песчаным берегам Падмы, чтобы заняться литературной работой. Я думал, что единственное мое призвание — это разрабатывать пером рудник идей: мне казалось, что ни на что другое я не пригоден. Но когда мне не удалось никого убедить, что путь к самоуправлению лежит через нашу деревню и что необходимо немедленно приступить к его расчистке, мне пришлось заложить перо за ухо и сказать: что ж, попробую это сделать сам! Единственный, кто меня поддерживал в этом деле, был Калимохон. Он был измучен недугом, дважды в день его трепала лихорадка, и, кроме того, его имя значилось в списках полиции.

С тех пор наше дело с жалкой поклажей еле движется по торной дороге. Я стремился укрепить веру крестьян в свои собственные силы. В связи с этим меня не могли не волновать две мысли. Во-первых, я считал, что земля должна по справедливости принадлежать крестьянам, а не помещикам, и, во-вторых, нельзя добиться подъема сельского хозяйства, не объединив крестьянские земли па общинных началах. Пытаться же выращивать хорошие урожаи, взрыхляя землю, разделенную межами, плугом прадедовских времен — все равно что таскать воду в разбитом кувшине.

Однако и то и другое связано с трудностями. Прежде всего, если землю отдать крестьянам, она немедленно попадет в руки ростовщиков; следовательно, положение крестьян не улучшится, а ухудшится. Как-то раз я собрал крестьян, чтобы поговорить с ними о совместной обработке полей. С веранды дома, в котором я жил в Шилейде, открывался широкий вид на поля: полоска за полоской, они тянулись до самого горизонта. Чуть забрезжит свет, крестьяне поодиночке выходили со своими быками и плугами, каждый на свой жалкий клочок, и топтались на нем до заката. Какая бессмысленная трата разобщенных сил! И я это наблюдал ежедневно собственными глазами! Когда я объяснял крестьянам, какие преимущества дает обработка объединенных полей с помощью машин, они со мной согласились. Но при этом сказали: «Мы ведь неграмотные! Где уж нам браться за такое большое дело!» Если бы я сказал, что беру всю ответственность на себя, это, вероятно, было бы выходом из положения. Но мог ли я так

сказать? Я не имел права брать на себя такую ответственность, потому что у меня не было для подобной работы ни сил, ни знаний.

И все же эти мысли не покидали меня. Когда в Болпуре организовался кооператив под руководством Вишвабхароти, я подумал: вот наконец появилась долгожданная возможность! Во главе кооператива встали люди более молодые, практичные и знающие, чем я. Впрочем, наша молодежь страдает начетничеством и школярством. Наша система образования убивает свежую мысль и способность к самостоятельной работе. Учащиеся спасаются только тем, что вызубривают учебники наизусть.

Помимо отсутствия самостоятельного мышления, это таит в себе и еще одну опасность. Возникает кастовое деление на тех, кто зазубрил школьные уроки, и тех, кто не пошел в школу и потому не зазубрил, то есть на грамотных и неграмотных. Интересы наших ученых педагогов не выходят за рамки школьной премудрости. Сквозь завесу книжных страниц мы не видим тех, кого у нас называют простым народом. Для нас эти люди неразличимы и, естественно, оказываются вне сферы нашей деятельности. Именно поэтому, если в других странах на кооперативной основе идет созидательная работа, мы ограничиваемся лишь тем, что с оглядкой ссужаем деньги в долг. Ибо ростовщичество, подсчет прибылей и учет векселей — дело несложное даже для робкого ума. Ведь риска никакого, разве что допустить арифметическую ошибку!

Именно из-за недостатка смелости мысли и сочувствия к народу нам так трудно избавиться от страданий обездоленных нашей страны. И винить за это некого, потому что с началом царствования торговли у нас для того и открылись школы, чтобы выпускать стандартных клерков. Наша высшая цель была — занять в конторском мире местечко поближе к хозяину. И если мы не получали ожидаемого повышения, считалось, что мы зря получали образование. Поэтому вся наша патристическая деятельность до сих пор сводилась к высокопарным выступлениям представителей образованных кругов на страницах газет или с трибуны Конгресса. Наши руки, приросшие к перу, непригодны для созидательной работы, от которой зависят судьбы страны.

Я тоже вырос в этой атмосфере и потому не смел верить, будто можно снять страшную тяжесть невежества

и нищеты с плеч миллионов наших соотечественников. До сих пор я не знаю, что тут можно поделать. Я думал, что в обществе есть слои, обреченные вечно оставаться на самом дне: солнце туда не проникает никогда, значит, там надо зажечь хотя бы масляный светильник. Но даже ясное понимание своего долга чаще всего не может побудить нас к активной деятельности. Потому что мы не знаем толком, что можно сделать для тех, кого мы не видим в темноте.

С такой робкой надеждой я приехал в Россию. Я уже слышал, что образование здесь широко распространяется среди крестьян и простых тружеников и понимал это так: в их сельских школах больше, чем у нас, народу освоило первую или, в крайнем случае, вторую часть букваря. Я полагал, что смогу лишь узнать из статистических бюллетеней, что, мол, столько-то крестьян умеют ставить свою подпись или считать до десяти.

Не забывай, что революция, сбросившая царское самодержавие, произошла в 1917 году, то есть всего тринадцать лет назад! И все эти годы им приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление как внутри, так и вне страны. И никто не помогал им в их тяжелой работе по перестройке государственной системы. Обломки отвратительного прошлого загромаждали им путь. Прежде чем доплыть до берегов новой эры, им пришлось пересекать бурное море гражданской войны, в то время как Англия и Америка тайно и явно старались превратить бурю в смертоносный ураган. Денег у них мало, кредитом у иностранных торговцев они не пользуются. Из-за слабости отечественной промышленности производительность страны крайне низка. Поэтому, чтобы пройти период испытаний, им приходится продавать продукты питания. И в то же время они вынуждены полностью сохранять самую непроницаемую часть государственной машины — армию. Это неизбежно, потому что сегодня их окружают вражеские державы, чьи арсеналы переполнены до отказа.

Я помню, как советское предложение о разоружении напугало миротворцев из Лиги наций! Советы не собираются вечно наращивать свои вооруженные силы, их цель иная. Поскольку они стремятся осуществить свой идеал путем создания совершенной и широкой системы просвещения и здравоохранения, путем повышения жизненного уровня масс, им прежде всего необходим прочный мир.

Но ты хорошо знаешь, что заправили Лиги паций, сколько бы они не кричали о мире, в душе отнюдь не хотели бы расстраивать разбойничьих замыслов. Поэтому во всех империалистических странах лес штыков растет быстрее колосьев на полях. Кроме того, нельзя забывать о том, что Россия пережила страшный голод и неизвестно, сколько людей погибло. Пережив это бедствие, они строят здание новой эры всего восемь лет! Строят, несмотря на отсутствие всякой помощи извне.

Задача предстоит нелегкая — их обширное государство раскинулось на просторах Европы и Азии. Национальностей здесь даже больше, чем в Индии, различия в условиях жизни и духовном складе этих народов гораздо контрастнее. С многообразием национальностей связан целый комплекс настоящих мировых проблем, хотя и в уменьшенном масштабе, но усложненных разнообразием жизненных условий.

Я уже писал, что с первого взгляда Москва кажется гораздо невзрачнее других европейских столиц. В уличной толпе не видно ни одного нарядно одетого прохожего, весь город одевается буднично. А когда все в рабочих костюмах, классовые различия полностью исчезают: они видны лишь по праздникам, когда надевают все самое лучшее. Но здесь все одеваются почти одинаково. Кажется, что в городе живут одни рабочие, — куда ни взглянешь, повсюду они! Чтобы понять, как изменились рабочие и крестьяне, здесь незачем ходить по библиотекам и рыться в книгах, незачем ездить с записной книжкой по деревням и рабочим поселкам — это видно и так. Непонятно только одно: куда девались так называемые «средние классы».

Отсутствие «средних классов» несколько не смущает здешний народ: сегодня на сцену вышли те, кто веками прозябал в тени. Мое ложное представление о том, что они только-только научились читать по складам печатные тексты букваря, немедленно улетучилось. За эти годы они стали людьми.

Я подумал о наших крестьянах и рабочих. И мне вспомнились чудеса волшебника из арабских сказок. Всего десять лет назад они были так же безграмотны, голодны и беспомощны, как простой народ нашей страны; их опутывали такие же суеверия и такой же слепой религиозный фанатизм. В горе и нищете они клали земные поклоны перед алтарями своего бога; они боялись мира загробного

и немели перед священниками, они страшлись мира земного и склонялись перед царем, купцами и помещиками; их уделом было чистить сапоги тем, кто пишал их этими же самыми сапогами.

Их обычаи не менялись тысячелетиями, их телеги, прялки и маслобойки были прадедовских времен, и любая попытка что-либо усовершенствовать грозила вызвать бунт. Призрак прошлого до сих пор сидит на шее нашего трехсотмиллионного народа, закрывая ему глаза руками, — с ними было то же самое. Как же мне, несчастному индийцу, не удивляться, когда я вижу, что они всего за несколько лет сдвинули гору тупого педантизма. Правда, у них в эти годы не было нашего хваленного «Закона и Порядка»!

Я уже писал, что мне не пришлось далеко ходить или уподобляться нашим школьным инспекторам, проверяющим правописание слов, чтобы познакомиться с их системой народного образования. Как-то вечером я посетил Центральный дом крестьянина — это такое место, где крестьяне могут за небольшую плату останавливаться на несколько дней, когда приезжают в город. Я беседовал с ними. Если бы такие беседы были возможны с нашими крестьянами, у меня нашлось бы что ответить Комиссии Саймона!

Я понял, в сущности, одно: у нас могло быть все, а нет ничего, зато есть «Закон и Порядок»! Кое-кто усиленно старается нас опорочить, раздувая слухи о наших религиозных столкновениях. Здесь тоже происходили омерзительные варварские столкновения между иудеями и христианами, но благодаря просвещению и административным мерам этому решительно положен конец. С тех пор как я здесь, меня не оставляет мысль, что Комиссия Саймона, прежде чем ехать в Индию, не мешало бы побывать в России!

Я надеюсь, ты понимаешь, почему я пишу обо всем этом, вместо того чтобы сочинить такой благородной женщине, как ты, благородное письмо. События на родине слишком волнуют меня. В таком состоянии ума я был после кровавых дней Джалианвалабага, а теперь тяжело переживаю волнения в Дакке.

Правительство старается себя обелить, но мы-то хорошо знаем цену его заверениям! Если бы подобное произошло в Советской России, никакие заверения не смогли бы смыть столь позорное пятно.

Даже Шудхиндро, никогда не относившийся сочувственно к политическим выступлениям в нашей стране, прислал мне письмо, из которого видно, до какой степени дошло недовольство правительством.

Увы, закончить письмо не могу: копчилась бумага, а с ней и время. В следующий раз доскажу недосказанное.

*Берлин,
1 октября 1930 г.*

В пространном письме из Москвы я писал тебе, какое впечатление произвела на меня Россия. Если получишь мое письмо, у тебя будет некоторое представление об этой стране. Я уже писал о некоторых мерах, какие принимаются здесь для улучшения положения крестьянства. Когда я познакомился со здешними крестьянами, которые отличаются от невежественных и лишенных всех жизненных благ крестьян нашей страны, чей разум задавлен беспросветной нуждой, — только тогда я осознал, какие духовные богатства варварски уничтожаются у нас из-за равнодушия нашего общества. Какое это безрассудное расточительство, какая жестокая несправедливость!

Я побывал в московском Доме крестьянина. Это у них нечто вроде клуба. Такие клубы в России повсюду — в больших и малых городах, в деревнях. В них все приспособлено для того, чтобы можно было проводить беседы о сельском хозяйстве и социальных науках, обучать неграмотных чтению и письму, а также читать крестьянам лекции о научных методах земледелия в специальных классах. При всех таких Домах есть музеи, где собраны наглядные пособия по естественным и общественным наукам: здесь крестьяне могут получить необходимую консультацию по самым разным вопросам.

Когда крестьяне приезжают в город по делам, они могут останавливаться в этих Домах за очень умеренную плату сроком до трех недель. С помощью таких Домов советское правительство пробуждает разум некогда безграмотного крестьянина и тем самым закладывает широкую основу для построения нового общества.

Войдя в Дом, я увидел несколько человек в столовой, другие сидели с газетами в читальне. Меня провели наверх, в большую комнату, где вскоре собрались все. Эти люди приехали из разных мест, некоторые из самых отдаленных областей. Держались они совершенно свободно,

безо всякого смущения. Заведующий Домом представил меня, произнес приветственную речь, я тоже сказал несколько слов. Потом мне начали задавать вопросы.

Один из собравшихся спросил, почему в Индии индусы враждуют с мусульманами.

Я ответил:

— В дни моей юности я никогда не видел подобного варварства. Тогда в деревнях и в городах в отношениях между обеими общинами царил дух доброжелательства. У них были общие заботы и общие дела, они делили поровну и радость и горе. Это постыдное явление возникло, когда в стране началось политическое движение. Но каковы бы ни были непосредственные причины такого бесчеловечного отношения соседа к соседу, главная причина — невежество масс. У нас до сих пор нет даже того минимума народного образования, который необходим для борьбы с этим злом. Поэтому меня поражает то, что я вижу здесь.

Вопрос: Я слышал, вы писатель. Вы писали что-нибудь о крестьянах? Что их ждет в будущем?

Ответ: Я не только писал, я трудился, я делаю все, что в моих силах, чтобы дать им знания и улучшить их положение. Но мои усилия ничтожны по сравнению с гигантской просветительской работой, которая проделана у вас за такой невероятно короткий срок.

Вопрос: Что вы думаете о коллективизации сельского хозяйства в нашей стране?

Ответ: Я слишком мало знаю об этом, чтобы составить свое мнение. Я бы хотел послушать вас. Мне хотелось бы знать: оказывают ли на вас какое-нибудь давление?

Вопрос: Неужели в Индии ничего не знают о коллективизации и вообще о том, что здесь происходит?

Ответ: Лишь очень немногие достаточно образованы, чтобы что-то знать. Кроме того, сведения о вас по многим причинам скрывают, а то, что до нас доходит, не всегда достоверно.

Вопрос: Вы знали о том, что у нас есть Дом крестьянина?

Ответ: Нет. Только по приезде в Москву я увидел и узнал все, что здесь делается ради вашего блага. Однако прошу теперь ответить на мой вопрос: что, по-вашему, дает крестьянам коллективизация и чего вы хотите сами?

Молодой крестьянин с Украины сказал: «Я работаю в колхозе, который создан два года назад. У нас есть сады

и огороды, овощи и фрукты мы посылаем на консервный завод. Кроме того, у нас обширные поля под зерновыми. Работаем мы по восемь часов в день, каждый пятый день у нас выходной. Урожай у нас по крайней мере вдвое выше, чем на соседних полях единоличников. Почти с самого начала в нашем колхозе объединилось сто пятьдесят крестьянских хозяйств. В 1929 году половина крестьян вышла из колхоза. Дело в том, что некоторые чиновники на местах не точно выполняли указания Сталина, главы советских коммун. По его мнению, объединение должно происходить на добровольной основе. Но так как во многих местах чиновники забывали об этом, многие крестьяне уходили из колхозов. Правда, постепенно около четверти крестьян снова вернулось к нам. Сейчас мы еще сильнее, чем прежде. Мы начали строительство новых домов, большой столовой и школы для наших колхозников».

Потом выступила одна сибирская крестьянка. «Я состою в колхозе уже около десяти лет,— сказала она.— Не забывайте, что облегчение участи женщины тесно связано с коллективизацией. За последние десять лет наши крестьянки сильно изменились. Они теперь больше верят в свои силы. Они переубеждают остальных женщин, которые препятствуют объединению крестьян. Мы создали группу колхозниц, они ездят по стране и ведут работу среди женщин, объясняя им, какие преимущества даст коллективизация для духовного роста и улучшения благосостояния. Для облегчения жизни колхозниц в каждом колхозе строятся детские сады и ясли, школы и общественные столовые».

Крестьянин из прославленного совхоза «Гигант», рассказывая о коллективизации в России, сказал мне: «В нашем хозяйстве сто тысяч гектаров земли. В прошлом году у нас работало три тысячи крестьян. В этом году число работающих несколько уменьшилось, но урожай по сравнению с прошлым годом должен возрасти, потому что мы стали применять минеральные удобрения и машины для обработки земли. Теперь у нас свыше трехсот тракторов. Наш рабочий день — восемь часов. Те, кто трудятся больше, получают сверхурочные. В зимнее время, когда дел на поле меньше, крестьяне уходят в город на строительство, ремонт дорог и другие работы. Во время их отсутствия семьи продолжают получать треть летнего заработка и остаются жить на старом месте».

Я попросил: «Скажите мне честно, согласны вы с обобществлением личной собственности в колхозах или нет?»

Заведующий Домом предложил выразить общее мнение голосованием. И я увидел, что многие из присутствующих недовольны. Я просил объяснить мне причину, но никто не мог этого сделать как следует. Один сказал: «Я и сам толком не знаю».

Очевидно, причина недовольства кроется в человеческом характере. Мы привязаны к своим вещам, так повелось искони. Мы хотим выразить себя, и собственность является одним из средств самовыражения.

Те, кто обладает высшими средствами самовыражения, поистине великие люди, они могут пренебрегать собственностью и расстаются с нею без сожалений. Но для обычного человека собственность выражает его индивидуальность, и, теряя ее, он как бы теряет дар речи. Если бы собственность была только средством поддержания жизни, а не самовыражения, человека было бы проще убедить силой доводов, что именно отказ от личной собственности улучшит условия его существования. Высшие средства самовыражения, такие, как ум и талант, нельзя отнять силой. Собственность же можно просто конфисковать. Вот почему вопрос о разделе собственности и праве ею пользоваться порождает в нашем обществе бесконечные распри, ложь и безмерную жестокость.

Я думаю, что эту проблему возможно решить лишь путем компромисса: то есть частная собственность останется, однако права ее владельцев должны быть ограничены. Излишки собственности, превышающие определенные нормы, необходимо изымать в пользу общества. Только тогда собственность не будет порождать алчность, коварство и жестокость.

Советы пытаются разрешить эту проблему полным отрицанием ее. Поэтому им все время приходится прибегать к принуждению. Речь идет не о том, что человеку не нужна свобода, а о том, что ему нужно избавиться от эгоизма! Короче, каждый должен владеть чем-то своим, а всем остальным пусть владеет общество. Истинное решение проблемы заключается только в признании и личного и не личного. Отрицание того или другого в равной степени противоречит человеческой природе. Европейцы слишком полагаются на силу. Сила хороша лишь там, где она действительно необходима, в противном случае она зло.

И чем упорнее мы стараемся подчинить реальность грубому насилию, тем шире разделяющая их пропасть.

Крестьянин из Башкирской республики сказал: «Сейчас у меня собственный участок земли, по скоро я вступлю в ближайший колхоз. Я вижу, что совместная обработка земли лучше единоличной, да и урожай в колхозе гораздо больше. Чтобы хорошо обработать землю, нужны машины, а купить их владельцам маленьких участков не под силу. К тому же все равно использовать машины на наших клочках земли невозможно».

Я сказал: «Вчера я беседовал с одним высокопоставленным государственным деятелем. Он утверждает, что нигде не проявляется такой заботы о женщинах и детях, как в Советской России. Я спросил его, не предполагаете ли вы уничтожить семью, возложив ответственность за воспитание детей на государство. Он ответил, что это не является ближайшей целью, но, если когда-нибудь благодаря расширению ответственности государства за детей семья естественно отомрет, это будет означать, что узость и неполноценность старой семьи несовместимы с широтой новых условий, что семья изжила самое себя. Вот мне и хотелось бы знать ваше мнение. Думаете ли вы, что семья и коллективизм совместимы?»

Молодой украинец ответил: «Разрешите мне на примере из своей жизни показать, как влияет новая общественная система на семейные отношения. Когда мой отец был жив, он шесть зимних месяцев работал в городе, а в летнее время я с братьями и сестрами шесть месяцев пас хозяйские стада. С отцом мы почти не виделись. Сейчас этого нет. Каждый день мой сын возвращается из детского сада, и я вижу его ежедневно». Благодаря тому что государство взяло на себя присмотр за детьми и их воспитание, добавила одна крестьянка, родители значительно меньше ссорятся. Кроме того, родители начинают понимать, как велика их ответственность перед детьми. Молодая женщина с Кавказа сказала переводчице:

«Скажите поэту, — мы, жители закавказских республик, особенно благодарны Октябрьской революции, потому что она принесла нам настоящую свободу и счастье. Мы начали строить новую жизнь, но мы очень хорошо понимаем все трудности и готовы принести любые жертвы. Скажите поэту, что многочисленные народы Советского Союза хотят передать через него свое искреннее сочувствие индийскому народу. Скажите ему, что, если бы было можно, я бы

оставляла дом, родных и детей и уехала помогать его соотечественникам».

Среди присутствующих был один человек с монгольскими чертами лица. Когда я спросил о нем, мне сказали, что это сын киргизского крестьянина, приехавший в Москву изучать текстильное производство. Через три года он станет инженером и вернется в свою республику: после революции там построили большую фабрику, на которой он будет работать.

Не забывай, что людям различных национальностей предоставляют здесь такие неограниченные возможности учиться и сами они с таким энтузиазмом осваивают секреты промышленного производства главным образом потому, что никто не думает о личном обогащении. Чем просвещеннее народ, тем больше пользы всему обществу, а не отдельным богачам. А мы говорим, что в нашей алчности виновата машина, а в том, что мы пьяны, — пальмовый сок, улодобляясь учителю, который наказывает учеников за собственное бессилие.

В Доме крестьянина я своими глазами видел, как далеко ушли русские крестьяне от индийских за какие-нибудь десять лет. Они не только научились читать, они изменились внутренне и стали людьми. Сказать только об образовании — значит почти ничего не сказать. Удивительная энергия, с которой они взялись за подъем сельского хозяйства, поражает ничуть не меньше. Подобно Индии, это, по преимуществу, аграрная страна, поэтому ее существование зависит от развития сельскохозяйственной науки. Об этом они помнят. Перед ними стоит задача исключительной трудности. Они отнюдь не рассчитывают на высокооплачиваемых чиновников гражданской службы: все трудоспособные люди и ученые сообща решают эту задачу. За последние десять лет сельскохозяйственная наука в России добилась таких успехов, что о ней сейчас говорят в научных кругах всего мира.

Например, до войны у них не селекционировали семян. А сегодня в их распоряжении запас более чем в миллион тонн селекционного семенного зерна. Кроме того, новые сорта высеваются не только на опытных участках сельскохозяйственных учебных заведений, а быстро распространяются по всей стране. Крупные опытные хозяйства организованы в самых отдаленных уголках Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Украины и в других республиках.

Нам, британским подданным, и не снился такой безграничный, всеобщий энтузиазм, с каким они взялись за просвещение больших и малых народностей всех краев и областей России. До приезда сюда я даже не представлял, какие это приняло масштабы. Мы с детства воспитывались в атмосфере «Закона и Порядка» и, естественно, не видели ничего подобного.

Когда я последний раз был в Англии, мне впервые удалось услышать от одного англичанина, что в России во имя блага народа буквально творят чудеса. Теперь я увидел это сам и убедился, что в их государстве нет никакой национальной, кастовой или расовой дискриминации. Отличная система, с помощью которой при Советской власти распространяется образование среди самых отсталых, полуцивилизованных народностей, для нас просто непостижима!

А между тем кое-кто усердно распускает слухи о нашей интеллектуальной и духовной ограниченности и житейской непрактичности, забывая, что все это — неизбежное следствие отсутствия образования. В Англии есть такая поговорка: «Клевета смерти подобна!» Поистине, это так. Пока на нас лежит несмываемое пятно клеветы, нас можно до бесконечности бросать в тюрьмы и отправлять на виселицы.

*Берлин,
2 октября 1930 г.*

Твое письмо застало меня на перепутье: я только что был в России, а теперь отправляюсь в Америку. Я приехал в Россию, чтобы познакомиться с их системой просвещения. Все, что я увидел, меня поразило. За восемь лет просвещение изменило духовный облик народа. Немыслимые обрели речь, тупые — живую душу, униженные — человеческое достоинство. Со дна общества, из самых темных его глубин, поднялись те, кого все презирали. Теперь они получили равные права.

Трудно себе представить, как молниеносны перемены при таком огромном населении. Душа радуется, когда видишь, как воды просвещения хлынули в пересохшее русло. Везде бьют ключом инициатива и творчество. Свет новых надежд озаряет их путь. Повсюду кипит полнокровная жизнь.

Вся их энергия сосредоточена в трех областях: просвещение, сельское хозяйство, промышленность. Направляя

усилия народа на решение этих трех задач, они стремятся предоставить ему все возможности развиваться духовно, жить и трудиться. Как и в нашей стране, здешнее население живет главным образом сельским хозяйством. Но наш крестьянин невежествен и слаб, у него нет ни знаний, ни сил. Его единственным жалким подспорьем является традиционная, вековая система земледелия. Но она подобна старому, пережившему многих хозяев слуге, который сам уже почти ничего не делает, а только распоряжается. Ему бы следовало признать, что он не знает, как изменить положение, а он сотни лет продолжает по старинке копать в земле.

Когда-то покровителем земледелия у нас был, кажется, Кришна Говардханадхари: он не скучал в своей пастушьей хижине. У него был старший брат Плугодержец Баларама. Плуг Баларамы — прообраз современных машин. Машина, орудие придавали земледельцу силу. Но теперь Баларамы не увидишь на наших полях. Пристыженный, он отправился за океан, туда, где его орудие ценят и прославляют. Его позвали к себе русские крестьяне. Там во мгновение ока разрозненные клочки слились в одно огромное поле и новый плуг Баларамы возвращает жизнь Земле, которая была такой же мертвой, как обращенная в камень Ахалья. Кстати, не надо забывать, что Баларама — это наш Рама в облике Плугодержца.

До революции 1917 года девяносто процентов здешних крестьян и в глаза не видели современных сельскохозяйственных орудий. Как и наши крестьяне, они были полной противоположностью Балараме — голодные, беспомощные, бессловесные. А сегодня на их полях появились тысячи машин. Раньше они были тем, что у нас называют божьей скотиной, а теперь они войско Баларамы.

Но от одних машин мало прока, если сам машинист не стал человеком. В России обработка земли ведется одновременно с воспитанием сознания. Здешнее образование по-настоящему жизнетворно. Я всегда говорил, что образование должно быть связано с жизнью. Оторванное от жизни, оно пропадает, как залежалый товар.

Я убедился, что здесь образование стало жизненной необходимостью, потому что школы не отделены глухой стеной от окружающего мира. Они учат не для того, чтобы подготовить учеников к экзаменам или сделать из них ученых педантов, а чтобы превратить их во всесторонне развитых людей. У нас тоже есть школы, но в них за-

учивание преобладает над умом, а мертвые знания над живой силой; бремя книжной премудрости сковывает разум, лишая его инициативы. Как часто пытался я вызвать наших студентов на спор и каждый раз видел, что их ничего не интересует. У них нарушена связь между желанием знать и знанием. Их никогда не учили познавать: с самого начала они получали строго отмеренные, сухие сведения, а потом они повторяли на экзаменах то, что смогли заучить.

Помню, когда группа учеников Махатмы Ганди вернулась из Южной Африки в Шантшикетон, я как-то спросил одного из них, не хочется ли ему прогуляться в роще паруллов. Он ответил, что не знает и хотел бы спросить об этом у руководителя группы. «Можешь спросить его, — сказал я, — по скажи, тебе-то самому хочется пройтись?» И он снова ответил: «Не знаю». Короче говоря, этот юноша совершенно не привык мыслить и действовать самостоятельно: идет, куда его ведут, и никогда ничего не решает сам.

Хотя подобная инертность ума в самых простейших ситуациях в общем-то несвойственна нашим студентам, все же она вызывает опасения, что их разум неподготовлен к решению более сложных задач. Они привыкли всегда ждать, что скажут им сверху. С таким беспомощным сознанием мириться нельзя!

Создавая свою систему обучения, русские проводят многочисленные эксперименты; я постараюсь как можно подробнее рассказать о них позднее. Можно многое узнать о здешней системе образования из книг и отчетов, однако гораздо важнее результаты просвещения, которые видишь на примере живых людей. Я убедился в этом, когда однажды посетил один из воспитательных центров страны, которые называются здесь пионерскими коммунами. Здешние пионеры несколько напоминают отряды броти-балок и броти-балика у нас в Шантишкетоне.

Войдя в дом, я увидел два отряда мальчиков и девочек, выстроившихся по обеим сторонам лестницы, чтобы приветствовать меня. Как только я вошел в комнату, они расселись вокруг меня, словно я тоже был из их отряда. Не забывай, что все они — сироты! Когда-то их отцы принадлежали к самым бесправным и безгласным: покинутые и презираемые всеми, они были обречены на прозябание. Теперь я смотрел на лица детей и не находил в них даже следа подавленности или приниженности. В них нет ни

страха, ни скованности. Наоборот, в каждом лице — решимость, словно они твердо знают, какая работа их ждет впереди, и всегда к ней готовы. Им совершенно чужда вялость и безразличие.

По поводу моего краткого ответа на их приветствие один мальчик сказал: «Те, кто живет чужим трудом, — буржуи, — стремятся к личному обогащению, а мы хотим, чтобы богатства страны принадлежали всем поровну. По этому завету мы живем».

«Мы все для себя делаем сами, — добавила одна девочка. — Когда что-нибудь нужно сделать, мы советуемся между собой и делаем так, чтобы хорошо было всем».

«Мы, конечно, можем ошибиться, — сказал другой мальчик, — но, если нужно, нам всегда помогут советом взрослые. Когда это необходимо, младшие мальчики и девочки советуются со старшими, а те обращаются к учителям. Так управляется вся наша страна, и так живем мы сами».

Отсюда ты можешь сделать вывод, что их воспитание не ограничивается книжной премудростью. Они вырабатывают свое поведение и воспитывают свой характер в соответствии с их жизненным идеалом. Они поставили перед собой ясную цель, и достичь ее — для них дело чести.

Я много раз говорил моим ученикам и учителям, что в нашем маленьком мире Шантиникетона мы должны в полной мере показать, что обладаем чувством ответственности за благосостояние народа и способны к самоуправлению, которого добиваемся для всей страны. Наша система должна представлять собой объединенное самоуправление студентов и преподавателей, и, когда она достигнет совершенства, наш опыт может стать основой для разрешения проблем всей Индии. О необходимости подчинения личных интересов общественным бесполезно кричать с государственной трибуны: для этого надо сначала подготовить поле, и таким полем является наш Шантиникетон.

Позволь мне привести маленький пример. Во всех обычаях и вкусах, касающихся еды, Бенгалия, наверно, стоит на первом месте по нелепости и безалаберности. Мы без всякой нужды перегружаем наши кухни и желудки, и что-либо изменить в этом отношении очень трудно. Если бы наши ученики и учителя, постоянно заботясь о благе нации, смогли бы установить необходимый контроль за собственными вкусами и своей пищей, я бы считал, что наша воспитательная система одержала победу. Мы считаем, что, если ученик запомнит, что трижды девять будет двадцать

семь, это и есть образование, и, естественно, страшно огорчаемся, когда ученик делает ошибки в счете. Но когда воспитание пренебрегает вопросами питания, это по меньшей мере глупость! Мы отвечаем перед всей страпой за то, чем питаемся каждый день, и ответственность наша огромна: осознать ее до конца гораздо важнее, чем выдержать экзамены.

Я спросил пионеров:

— Что вы делаете, если кто-нибудь провинится?

Одна из девочек ответила:

— Наказывать нас некому, мы сами себя наказываем.

Я сказал:

— Расскажи об этом подробнее. Предположим, кто-нибудь из вас совершил проступок, вы что, собираете специальное собрание, чтобы его осудить? Выбираете из своей среды судью? И какие у вас меры наказания?

Другая девочка ответила:

— Это не совсем суд: мы просто обсуждаем проступок. Вынести порицание — это уже само по себе наказание, а других наказаний у нас нет.

Один из мальчиков добавил:

— Виповатый огорчается, и мы за него огорчаемся — вот и все.

Я спросил:

— А представьте, что кто-нибудь считает, что его осудили неправильно, к кому он может обратиться, кроме вас?

Мальчик ответил:

— В таком случае мы голосуем; если по мнению большинства он виновен, то и говорить больше не о чем.

— Так-то оно так, — продолжал я, — но, если кто-либо из детей считает, что большинство отнеслось к нему несправедливо, может он возражать?

Тут поднялась одна девочка и сказала:

— В этом случае мы, наверно, обратились бы за советом к учителям, но такого у нас никогда еще не было.

Я сказал:

— Ваше единство само защищает вас от осуждения.

На вопрос, в чем заключаются их обязанности, мне ответили: «В других странах люди стремятся получить за свою работу деньги или почет, но нам этого не нужно, мы работаем только ради блага всего народа. Мы ходим по деревням и обучаем крестьян грамоте, объясняем им, как соблюдать чистоту, как разумно организовать каждое дело.

Очень часто мы живем среди них, ставим пьесы, рассказываем о положении в стране».

Затем они пожелали показать мне то, что они называют живой газетой. «Мы должны знать очень много о своей стране, — сказала одна девочка, — а то, что мы знаем, мы должны донести до сознания всех. Работать по-настоящему можно только тогда, когда много знаешь и хорошо разбираешься в фактах».

Один из мальчиков добавил: «Мы получаем знания из книг и от своих учителей, затем обсуждаем их между собой, и только после этого нам разрешают передать их другим».

Я увидел живую газету. Тема ее — пятилетний план. Дело в том, что они взяли на себя трудное обязательство: за пять лет механизировать всю страну, используя электричество и силу пара. А страна их не ограничивается Европейской Россией: она простирается далеко в Азию. Их энергия устремляется и туда, но не для обогащения богатых, а для улучшения жизни всего общества, в которое входят и смуглокожие народы Средней Азии. Никто не боится и не раздумывает над тем, что будет, если и они обретут силу.

Для такого дела им понадобятся огромные деньги. На европейских рынках их деньги хождения не имеют, поэтому за все нужно платить валютой. Приходится экономить на еде, чтобы купить самое необходимое. Зерно, мясо, яйца, масло — все пошло на иностранные рынки. Стране грозит голод. А впереди еще два года. Зарубежные капиталисты злорадствуют. Иностранные инженеры тоже причинили здесь немало вреда. Дело огромное и сложное, а времени очень мало. Медлить они не могут, потому что стоят перед лицом враждебного капиталистического мира. Им крайне необходимо как можно быстрее собственными силами поднять материальный уровень. Три тяжелых года миновали, осталось еще два.

Живая газета напоминает театральное представление. С флажками в руках, они танцуют и поют, рассказывая о том, каких успехов достигнет страна благодаря индустриализации. Это стоит посмотреть. Они хотят внушить тем, кто лишен необходимого и переживает страшные трудности, что скоро эти трудности исчезнут, чтобы мысли о будущем помогли им с честью переносить лишения. Отрадно, что готовность идти на любые жертвы выражает весь народ, а не какая-то отдельная группа людей.

Эта живая газета рассказывает также о событиях в других странах. Я вспомнил об одном пантомимическом представлении в Патисаре, посвященном спасению тела и души и тому подобным вещам. Форма была та же, но цели и содержание — совершенно другие. Я решил, что, как только вернусь, непременно организую в Шантиникетоне и Шуруле такую живую газету.

Распорядок дня у пионеров следующий. В семь часов утра они встают. В течение пятнадцати минут делают физические упражнения, умываются и завтракают. В восемь часов начинаются занятия. В час дня — перерыв на обед и отдых. Занятия продолжаются до трех часов. Они изучают историю, географию, арифметику, основы естествознания, химии и биологии, механику, политграмоту, обществоведение и литературу, рукоделие, столярное и переплетное дело, современные сельскохозяйственные машины. Воскресенья нет. Каждый пятый день — выходной. В определенные дни после трех часов пионеры по заранее составленному плану посещают фабрики, больницы, деревни и т. д.

Посещение деревень проводится в организованном порядке. Иногда они сами ставят пьесы, иногда ходят в театр или кино. По вечерам читают книги, рассказывают, спорят, устраивают литературные и научные конференции. В выходной день они чинят одежду, занимаются уборкой помещений и двора, читают дополнительную литературу, гуляют. Дети поступают в школу семи-восьми лет, заканчивают ее в шестнадцать. Во время обучения у них не бывает таких больших перерывов из-за продолжительных каникул, как у нас. Поэтому они успевают за более короткое время пройти гораздо больше.

Одним из достоинств здешних школ является то, что дети изображают рисунками все, что узнают из книг: так они лучше запоминают прочитанное и учатся рисовать; обучение сочетается с радостью творчества. Может показаться, что работа поглощает их без остатка и что они вообще пренебрегают искусством. Но это совсем не так. Без предварительного заказа вам не достать билетов на хороший спектакль или оперу — огромные театры, построенные еще во времена царей, переполнены: театральное искусство стоит у них на такой высоте, что лишь немногие пацаны могут с ними сравниться. В прежние времена театры были доступны только царской семье и дворянству. Сегодня они до отказа забиты теми, кто совсем

недавно ходил в грязных лохмотьях, босой, полуголодный, жил в вечном страхе перед богом, всячески задабривал священников, заботясь о спасении своей души, и беспрдельно унижался, валяясь в пыли у ног господ.

В тот день, когда я попал в театр, там шла драма «Воскресение» по Толстому. Весьма сомнительно, чтобы эта драма была до конца понятна простому народу. Тем не менее зрители слушали с большим вниманием. Трудно себе представить, чтобы английские крестьяне и рабочие могли бы так же сосредоточенно и спокойно наслаждаться подобной пьесой до поздней ночи. А о нашем народе нечего и говорить.

Приведу еще один пример. В Москве была устроена выставка моих картин. Как ты знаешь, они не совсем обычные. Они не только иностранные, они, как бы это сказать, странные, вернее, не относятся ни к какой стране. И тем не менее перед ними толпился народ. За несколько дней выставку посетило по крайней мере пять тысяч человек! И что бы мне ни говорили, я не могу не отдать должное их вкусу.

Однако оставим вкусы в покое. Предположим, это было праздное любопытство. Но оно свидетельствует о пробуждении сознания! Помню, как-то раз я привез из Америки ветряное колесо, чтобы черпать воду из глубины колодца. Но я был огорчен, когда увидел, что это колесо не зачерпнуло и капли любопытства из детских сердец. У нас есть электростанции, но кто из детей проявляет к ним интерес? А ведь это дети интеллигенции! Когда разум вял, любознательность засыпает.

Мне здесь подарили много рисунков, сделанных советскими школьниками. Диву даешься, глядя на эти картины: настоящее искусство, не подражание, а плоды собственного воображения. Мне было отрадно видеть, что им доступна и фантазия и творчество.

С тех пор как я побывал в России, я много думаю о просвещении у нас на родине. Я здесь кое-что узнал и в одиночку с моими слабыми силами попытаюсь хотя бы частично использовать это на практике. Но где взять время? Для меня и пятилетний план не по плечу. Почти тридцать лет я один греб против течения, и, видимо, придется так грести еще несколько лет. Знаю, что уплыть не удастся, но жаловаться не стану.

Сегодня уже поздно. Ночной поезд должен доставить меня в порт, а завтра я буду в море.

Я плыву к берегам Америки. Но воспоминания о России до сих пор владеют мною. Дело в том, что ни одна страна, которую я посетил, еще так не потрясала моего воображения. В других странах деловая энергия распылена: каждый специалист трудится только в своей области — будь то политика, медицина, школы или музеи. А здесь вся страна, устремленная к одной цели, собрала все свои силы, связала их единой первичной системой и как бы превратилась в один гигантский организм, в одну колоссальную личность.

Такое глубокое единение невозможно в других странах, где эгоистичное соперничество из-за денег и власти разъединяет общество. За пять лет мировой войны основные усилия отдельных стран поневоле вливались в единое русло, подчиняясь, хотя бы временно, единой воле и цели. В России же единство — основа всего. Они создают нечто совершенно небывалое, как это ни называй — единство цели, единство духа или просто единство. Общность.

Только в России я до конца понял смысл изречения из «Упанишад»: «Не алкай». Что это значит? Это значит, что все подчиняется Единому, а эгоистичная алчность мешает его познанию. «В отречении обретишь». Они толкуют эти слова материалистически. Они видят в Человечестве великую неповторимую Единую сущность. То, что создано ею, принадлежит всем. «Не алкай чужой собственности». Ибо всюду раздел собственности ведет к алчности. Борясь с ней, они и говорят: «В отречении обретишь».

Во всех других европейских странах смысл жизни сводится к личному обогащению и потреблению. Влияние этих факторов огромно: подобно бурному мифическому океану, они выбрасывают на поверхность одновременно яд и нектар. Но нектар достается меньшинству, а большинству — отравы, отсюда бесконечные трения и столкновения. До недавнего времени все считали это неизбежным, говорили, что алчность свойственна человеку, а она, в свою очередь, неизбежно ведет к неравномерности в распределении жизненных благ, поэтому соперничество никогда не исчезнет и всегда нужно быть готовым к борьбе. Но смысл того, что утверждают Советы, сводится к следующему: человеческая сущность заключена в единстве, де-

лешне — лишь иллюзия, и, как только мы трезво взглянем на нее и осмыслим ее, она исчезнет как сон.

В России стремление к Единству охватило всю страну. Все подчинено этой главной цели. Вот почему, приехав сюда, я словно прикоснулся к Великой Душе.

Нигде еще не видел я такого расцвета образования, как здесь. В других странах плоды его достаются только тем, кто образован. Как говорится: «Ученый не ходит пешком и ест свой рис с молоком». Здесь же знания служат всем. Невежество одного человека тяготит всех остальных, ибо они стремятся с помощью всеобщего образования обогатить разум всего общества на благо человечества. Они — Вишвакармы — творцы вселенной, они заботятся обо всем мире, а потому хотят, чтобы их образование было поистине Универсальным.

Советское правительство распространяет образование самыми различными способами. Один из них — это музеи. Во всех городах и деревнях открываются всевозможные музеи. И эти музеи не просто существуют, как наша библиотека в Шантиникетоне, но ведут активную работу.

В России широко распространено краеведение. Этим занимается около двух тысяч просветительных центров, где работает более семидесяти тысяч человек. В каждом таком центре изучают историю края, его экономику в прошлом и настоящем, особенности его почв, наличие полезных ископаемых. Музеи, организованные при таких краеведческих центрах, играют значительную роль в деле просвещения. Развитие краеведения и сети связанных с ним музеев стало одним из главных путей, ведущих к торжеству новой эры в Советской России, эры Всеобщего Просвещения.

Калимохон пытался в какой-то мере организовать изучение окрестностей в Шантиникетоне, но без особого успеха, так как ни студенты, ни преподаватели не проявили никакого интереса к этому начинанию. Воспитать ищущий, творческий ум нелегко, но это не менее важно, чем результаты, которые можно ожидать от него в будущем. Я слышал, что Пробхат ввел курс краеведения для студентов экономического отделения колледжа, но такую работу следует проводить в более широких масштабах. Надо привлечь к ней учащихся из школы Патхбхобон и организовать музей с краевыми экспонатами.

Тебе, конечно, хочется знать, как работают в России картинные галереи. В Москве есть знаменитое собрание

картин, которое называется Третьяковская галерея. За один год, с 1928 по 1929, ее посетило около трехсот тысяч человек. Здание не вмещает всех желающих, поэтому накануне выходного дня люди регистрируются по спискам.

До установления Советской власти в 1917 году посетителями галерей были дворяне, образованные люди и те, кого здесь называют буржуазией, то есть люди, живущие чужим трудом. А теперь сюда приходят те, кто живет трудом своих рук, — каменщики, кузнецы, бакалейщики, портные, — и нет им числа! Здесь бывают также красноармейцы, командиры, студенты и крестьяне.

Они хотят постепенно развивать у народа художественный вкус. Неискушенным людям трудно постигнуть таинство искусства с первого взгляда. Растерянные и ошеломленные, бродят они по залам, разглядывая картины на стенах. Поэтому почти в каждом музее есть опытные экскурсоводы из числа научных работников музея или из других соответствующих государственных учреждений. С посетителями музеев у них нет никаких денежных расчетов. Однако следует учесть, что посетителям мало знать только сюжет картины.

До сих пор лишь немногие разбираются в композиции, цветовой гамме, перспективе, колорите картины, не говоря уже о технических приемах той или иной живописной школы. Поэтому экскурсоводы должны иметь соответствующую подготовку, чтобы пробудить любознательность посетителей. Они должны также понимать, что в музее много картин, а не одна, значит, нельзя останавливать внимание посетителей только на одной картине; нужно познакомить их со всей экспозицией и помочь им разобраться в различных художественных направлениях. Обязанность экскурсовода — выбрать наиболее характерные картины и объяснить их особенности, причем картины этих в зале должно быть не слишком много и на них не стоит задерживаться более двадцати минут. Самое главное — это объяснить, что у каждой картины есть свой язык, свой особый ритм, и добиться, чтобы посетители осознали связь формы с содержанием и поняли замысел художника. Весьма полезно оттенить особенности картины путем сравнения ее с другими. И надо сразу же прекратить объяснения, как только внимание посетителей хоть немного ослабнет.

Эти наставления я взял из инструкции, советующей, как научить неискушенных посетителей разбираться в живописи.

Нам же необходимо обратить внимание на следующее: как я уже писал в предыдущем письме, они делают все возможное, чтобы в кратчайший срок укрепить мощь страны путем подъема сельского хозяйства и промышленности. И это очень важно. Им приходится прилагать невероятные усилия, чтобы в одиночку выстоять в соревновании с богатейшими капиталистическими странами.

У нас же, как только речь заходит о решении общенациональных задач, раздаются голоса: давайте зажжем один факел и погасим все остальные светильники, чтобы люди не отвлекались от главного! Особые нарекания вызывает искусство, мешающее якобы твердой решимости. Надо, мол, сделать из наших соотечественников солдат, которые умеют только маршировать... Если бы вину Сарасвати можно было превратить в дубинку, тогда хорошо, а иначе — она ни к чему!

Тому, кто повидал Россию, ясно все фарисейство подобных речей. Здесь не только неустанно обучают рабочих, чтобы сами они могли управлять заводами и фабриками всей страны, но и стараются, чтобы простые труженики были достаточно подготовлены для понимания живописи. Они знают, что те, кто не способен оценить красоту, остаются варварами, а варвар, при всей его внешней силе, внутренне слаб.

Театральное искусство достигло в России необычайных успехов. В революцию 1917 года и во время последовавшего за ней страшного голода русские не перестали танцевать, петь, ставить пьесы, и это не вступало в противоречие с великой исторической драмой их страны.

Пустыня бессильна. Истинная сила проявляется там, где из кампей с шумом вырываются потоки, где величавые горные вершины озарены сиянием вечной юной весны. Викрамадитья изгнал из Индии саков, но он не мешал Калидасе создавать «Облако-Вестник». Никто не станет отрицать, что японцы хорошо владеют мечом, но с не меньшим искусством они владеют и кистью. Если бы по приезде в Россию я увидел, что все здесь — работники, способные лишь обслуживать фабрики или ходить за плугом, я бы решил, что они обречены на вырождение и гибель. Дерево, которое перестало источать нектар, перестало шелестеть листвою и гордится только своей древесиной, ничем не отличается от бревна в плотницкой мастерской: оно может быть еще крепко, но уже никогда не принесет плодов. Поэтому я хочу еще раз сказать всем нашим су-

ровым борцам: когда я вернусь на родину, никакие полицейские репрессии не заставят меня отказаться от моих песен и танцев!

Театральное искусство, достигшее необычайного расцвета на русской сцене, не прекращает смелых поисков новых путей. Такой же дерзновенной смелостью и стремлением к новизне отмечена их социальная революция. Они не боятся нового ни в чем — ни в общественных отношениях, ни в политике, ни в искусстве.

Русские революционеры с корнем вырвали сорняки прежней религии и государства, которые веками глушили разум народа и высасывали из него все жизненные соки. Сердце радуется, когда видишь, какую свободу обрели за короткий срок люди, так долго томившиеся в оковах! Ибо ни один правитель, каким бы он ни был тираном и как бы ни сковывал своих подданных цепями, не может быть более страшным врагом, чем религия, которая несет с собою невежество и убивает свободу духа. Давно известно, что правитель, стремящийся держать народ в рабстве, находит верного союзника в религии, которая держит народ в темноте. Религия подобна злой волшебнице: обнимая, она заворачивает, а заворачив — убивает смертоносным ядом. Стрелы веры страшнее боевых стрел, потому что они глубже проникают в сердце и убивают, не причиняя боли.

Советы спасли страну от унижений царизма и самоунижения духовного рабства; и сколько бы их ни осуждали священники разных стран, я не могу их осудить. Атеизм куда лучше религиозного фанатизма.

Страшная тяжесть царского гнета и религии давила на плечи России, а сегодня каждый, кто придет сюда, увидит собственными глазами, какие огромные возможности открылись перед страной, когда это бремя сброшено.

*Атлантический океан,
4 октября 1930 г.*

Покинув Россию, я плыву в Америку.

Единственной целью моей поездки в Россию было ознакомиться в короткий срок с распространением образования и достигнутыми результатами.

Я считаю, что все бедствия, которые терзают грудь Индии, происходят из нашего невежества. Кастовые различия, религиозные распри, отсутствие инициативы, нищета — все это следствия одной причины — недостатка образования. Комиссия Саймона, перечислив все грехи

Индии, пришла к выводу, что единственно, в чем можно упрекнуть англичан, — это в недостаточном распространении образования. Но может ли быть большая вина? Представьте, что кто-то говорит вам, что хозяин дома неуклюже спотыкается о каждый порог, постоянно теряет то одну вещь, то другую и не может отыскать ее, боится собственной тени, готов броситься с палкой на родного брата, принимая его за вора, в страхе во сне цепляется за постель, а проспавшись, боится выйти из дому, голодает, не зная, где найти еду, и не ищет выхода, слепо уповая на судьбу, — можно ли такому хозяину доверять дом? И как бы все это прозвучало, если бы вам шепотком добавили под конец, что в этом доме погашен свет.

Когда-то в Европе сжигали невинных женщин, обвиняя их в колдовстве, убивали ученых как еретиков, жестоко подавляли свободу вероисповедания и лишали инородцев всех политических прав. К этому можно прибавить слепоту, невежество и зверские обычаи средневековья — все, что ушло в небытие. Но как это случилось? Неужели им тоже пришлось свидетельствовать о собственном бессилии, опираясь на какой «Закон и Порядок»? Нет. Единственное, что способствовало их прогрессу, это просвещение.

Только благодаря образованию Япония смогла за короткий срок поднять свой политический престиж и производственную мощь, объединив усилия государства с чаяниями народа. Современная Турция тоже освобождается от страшного гнета религиозного фанатизма с помощью образования, которому уделяется самое пристальное внимание. «Одна Индия спит», — спит, потому что ей не дают света образования, который озаряет мир по ту сторону крепко запертой двери.

Отправляясь в Россию, я не питал особых надежд. Я судил о том, что возможно и что невозможно, на примере Британской Индии. Сам святой отец Томпсон с прискорбием возвестил миру о непреодолимых трудностях, которые стоят на пути развития нашей страны. И мне приходилось с ним соглашаться — да, трудностей немало, — иначе как бы мы оказались в таком положении?

Но я знаю одно: поднять народные массы в России было так же трудно, если не труднее, чем в Индии. Прежде всего потому, что народ духовно и физически был там таким же, как у нас, невежественным и беспомощным, его таланты были погребены под мертвым грузом молитв, церковных служб, суеверий и заклятий, а его чув-

ство собственного достоинства втоптаво в пыль саногам господ. Ни одна из привилегий и благ современного века науки не была им достигнута. Над их судьбами тяготел мертвый дух предков, сковывавший их тысячелетними цепями. И когда их возмущение вырывалось наружу, оно выражалось в авериной жестокости, направленной против своих же соседей, евреев. Они с такой же готовностью обрушивались на себе подобных, с какой сгибались под бичами господ.

Так было прежде. Сегодня эти люди, сами определяющие свою судьбу, еще не так сильны, как англичане. Они пришли к власти только в 1917 году, у них не было ни средств, ни времени, чтобы обеспечить политическую устойчивость государства, и им приходилось ежечасно думать о врагах, как внутренних, так и внешних, — ведь даже англичане и американцы явно и тайно поддерживали контрреволюцию! Вот почему трудности поставленной ими перед собой цели — поднять весь народ, сделать его жизнедеятельным и просвещенным — неизмеримо больше «трудностей», стоящих перед правительством Индии.

Исходя из всего этого, я не ждал от России многого. Мы так часто обманивались в своих ожиданиях, и так редко они оправдывали наше доверие. Я прибыл в Россию с едва теплящейся надеждой, на какую способен гражданин нашей несчастной страны. Но то, что я увидел, повергло меня в изумление. У меня было слишком мало времени, чтобы выяснить, в какой мере здесь существует, а может быть, вовсе не существует «Закон и Порядок». Мне говорят, что здесь нередко прибегают к принуждению и даже, случается, осуждают без суда, что здесь существуют все свободы, кроме свободы противодействия властям. Но это всего лишь теневая сторона Лупы, а я хотел увидеть ее светлую сторону. И свет, который я увидел, поразил меня — мертвое ожило!

Говорят, что в некоторых святых местах Европы мгновенно, божьей милостью, исцелялись хронические паралитики. То же самое произошло здесь. В мгновение ока костыли превратились в колесницы, а презренные пешеходы за десять лет превратились во всадников. Среди народов мира Россия стоит теперь с высоко поднятой головою: разум ее независим и руки свободны.

Миссионеры нашего короля по многу лет жили в Индии, чтобы убедиться, насколько непреодолимы наши «трудности». Им не мешало бы хоть раз побывать в Мо-

екве. Впрочем, и это ничего бы не изменило. Они ведь привыкли видеть лишь темные стороны, а светлые для них неразличимы, особенно когда их не хотят видеть. Только они забывают, что в их правлении темные пятна можно различить и без очков.

Мне почти семьдесят лет, но до сих пор я еще никогда не терял терпения. Видя страшное бремя невежества, угнетающего мою родину, я больше всего сетовал на нашу злосчастную судьбу. С моими слабыми силами я даже предпринимал скромные попытки что-то изменить, но колесница моих надежд слишком часто ломалась на долгом пути. Страдания моего несчастного народа заставляли меня забывать о гордости. Я обращался за помощью к властям, но милостыня не насыщала, а только унижала. И самое горькое и постыдное — это то, что наши соотечественники, вскормленные объедками со стола своих английских господ, чинили мне больше всего препятствий. Это самая страшная язва, разъедающая страну, где правят чужеземцы. В таких странах самый сильный яд — это зависть, мелочность и предательство по отношению к своим соплеменникам.

Что бы мы ни делали, выше всего — Садхана — стремление к постижению Духа. Когда в суете государственных, экономических и прочих дел Садхана ослабевает — ослабевает Человеческий Дух. Я не избавлен от этого и потому так стремлюсь ухватиться за что-то настоящее, истинное. Некоторые смеются надо мной, другие злобствуют, третьи стараются перетянуть на свою сторону.

Я не знаю, откуда пришел я в этот благословенный мир, но знаю, что иду к алтарю моего Божества. Божество, которому я поклонялся всю жизнь, — Человек. И пока надо мною сияет его венец, люди всех племен и сословий зовут меня, усаживают на почетное место и внимают моим речам. Но как только я становлюсь индийцем — все меняется! Пока они видят во мне Человека, они уважают меня как индийца, но едва они замечают, что я индеец, меня перестают уважать как Человека.

Груз ошибок религии отягощает меня на моем жизненном пути. Но мне недолго осталось ходить по земле, и я стремлюсь к тому, чтобы быть искренним, а не к тому, чтобы кому-то понравиться.

Мои впечатления о России доходят до родины и в правдивом, и в искаженном свете. Я начинаю презирать себя за то, что не всегда могу оставаться к этому безучастным.

Иногда мне кажется, что, если в моем возрасте, когда пора стать отшельником, я не перестану вмешиваться в мирские дела, это не доведет меня до добра.

Будь что будет! Я читал в книгах и немало слышал о громадных «трудностях» этой страны. Но теперь я своими глазами видел, как их можно преодолеть.

*Пароход «Бремен»,
5 октября 1930 г.*

Те, кто у нас считает, что политика — воплощение силы, придерживаются мнений, будто искусство несовместимо с мужественностью. Об этом я уже писал. Когда-то империя русских царей, которых можно сравнить с десятиглавым Раваной, подобно огромному удаву, заглатывала огромные территории, уничтожая свои жертвы.

Революционеры вступили в бой с царизмом почти тринадцать лет назад, но даже после того, как император со своим родом были сметены с лица земли, его приспешники не успокоились. Их вдохновляли и вооружали иностранные империалисты. Положение, как ты понимаешь, было нелегким. Приближенные императора, все богачи, чья власть над крестьянами была безгранична, сразу лишились всего. Начались грабежи, жажда разрушения охватила народ, и он не щадил ценностей, принадлежавших богачам. Но даже в период анархии и беспорядка вождями революции был издан строжайший указ — ни в коем случае не трогать произведений искусств. Полуголодные, раздетые и разутые студенты и профессора организовали отряды, которые выносили из покинутых дворцов богачей все, достойное сохранения, и передавали в музеи.

Я вспоминаю о том, что мы видели в Китае. Как беспощадно разгромили европейские империалисты Летний дворец в Пекине! Как безжалостно они грабили и уничтожали бесценные произведения древнего искусства! Никогда больше мир не создаст таких сокровищ.

Советы лишили богачей их богатств, но они не допустили варварского уничтожения сокровищ, которые принадлежат всему человечеству на веки веков. Они вернули тем, кто столетиями возделывал поля для других, не только право на землю, но и на все, что есть ценного в жизни, на все ее радости и наслаждения. Они поняли, что одной сытости достаточно только животным, но не людям, и признали, что настоящему человеку искусство важнее, чем физическая сила.

Правда, во время революции многие предметы искусства, принадлежавшие знати, погибли, однако музеи, консерватории, театры и библиотеки сохранились и даже расширились.

Как и у нас когда-то, искусство в России украшало храмы. Лишенные вкуса священники распоряжались им по своему усмотрению. Подобно нашим ученым господам, которые не постеснялись заштукатурить фрески храма в Пури, здешние церковные власти без стеснения уничтожали древние шедевры, не задумываясь над тем, какую историческую ценность они представляют для всех времен и народов. Они даже переплавляли старинные священные сосуды.

В наших храмах и монастырях тоже немало предметов, имеющих историческую ценность. Но они для нас недоступны. Настоятели и жрецы погрязли в невежестве, и у них нет ни ума, ни знаний, чтобы по достоинству оценить то, чем они владеют. Кхити-бабу говорил мне, что в монастырях заточены, подобно сказочным принцессам, древние рукописи. И выволить их оттуда невозможно. Революционеры взломали ограду церковной собственности и передали все народу. Осталось только то, что необходимо для отправления церковных обрядов,— остальное передано в музеи. Даже в разгар гражданской войны, когда повсюду свирепствовал тиф и железные дороги были разрушены, группы научных работников пробирались в самые отдаленные уголки страны, разыскивая и собирая древнейшие произведения искусства. Нет числа спасенным рукописям, картинам, гравюрам!

До сих пор речь шла только о том, что было украшением храмов и дворцов. Но они сумели оценить и то, что презиралось в прошлом,— творчество крестьян и простых тружеников. И это касается не только живописи, но и сказаний и песен и других видов народного творчества.

Сначала они собирали народные ценности, потом с их помощью создали систему всенародного просвещения. Об этом я уже писал, но хочу еще раз сказать своему народу: десять лет назад русский народ был на той же ступени развития, что и наш. Какой прекрасный пример одухотворяющей силы просвещения дала Советская власть! Здесь есть все — наука, литература, музыка, живопись,— то есть гораздо больше того, чем располагает наша так называемая интеллигенция.

Я узнал из газет, что для обеспечения начального об-

разования у нас вводится новый налог, который будут собирать помещики. Это означает лишь одно — под предлогом сбора средств на образование будут ограблены те, в ком и так еле-еле теплится жизнь.

Разумеется, такой налог необходим, иначе печем будет покрыть расходы. Но если он идет на благо всей страны, почему он не распространяется на всех? Почему нельзя облегчить туго набитые карманы правительства, вице-короля, губернатора, чиновников и военщины? Разве они не получают жалованний и пенсий деньгами, отобранными у наших крестьян? Разве иностранцы, владеющие крупными джутовыми фабриками и отсылающие к себе в страну огромные прибыли, полученные ценой пота и крови крестьян, которые выращивают джут, не должны заботиться о просвещении этих крестьян? И почему бы сытым министрам, которые с таким энтузиазмом приняли этот Закон о всеобщем образовании, не заплатить из своего кошелька за свой смехотворный энтузиазм?

Они, видите ли, за всенародное образование! Но я тоже помещик, однако я что-то делаю для просвещения своих крестьян и готов, если нужно, сделать вдвое, втрое больше. Но при этом я постоянно объясняю им, что я такой же человек, как они, что их просвещение — мое благо и что я отдаю все, что могу, а вот от властей не получаю ни пайсы.

Время реформ, проводимых в России, очень велико: людям не хватает пищи, не хватает одежды, но это время разделяют все, сверху донизу. Это скорее не время, а подвижничество. Индийское же правительство, вводя минимальное обучение, которое оно называет начальным, пытается смыть с себя позорное пятно, да так, чтобы за это заплатили самые обездоленные, а не те, кто здравствует и процветает под сенью правительства и является его главной опорой.

Если бы я не увидел этого собственными глазами, я бы никогда не поверил, что всего за десять лет в России не только вывели из тьмы невежества и унижения сотни тысяч людей, не только обучили их грамоте, но и воспитали в них чувство человеческого достоинства. Причем они думают не только о себе, но и о благе других народов. Однако последователи различных религий осуждают их и называют безбожниками. Но разве вера только в религиозных трактатах, разве бог только во дворе храма? Разве бог с теми, кто постоянно обманывает людей?

Нужно сказать еще так много. Мне не приходилось раньше писать на такие темы, которые требуют точных фактов, но я пишу, ибо иначе не могу. Мне хочется снова и снова говорить о системе просвещения в России. Несколько раз мне приходила в голову мысль, что тебе нужно ехать не куда-нибудь, а именно в Россию, чтобы видеть все это. Из Индии сюда приезжают шпионы, приезжают и революционеры, но мне кажется, что сюда надо прежде всего приезжать для изучения постановки образования.

Вот и все; о себе писать нет настроения. Еще, чего доброго, начну воображать, что я — творец. До сих пор слава моя была чисто внешней — она не затронула моей души. Славой этой, мне кажется, я скорее обязан Провидению, чем моим личным качествам.

Сейчас я посреди океана. Что ждет меня впереди, не знаю. Тело устало, дух ни к чему не стремится. Когда же наконец я отдохну, вручив Создателю как последнюю дань чашу пищевого, тяжелее которой нет ничего на свете!

*Пароход «Бремен»,
7 октября 1930 г.*

Овладевая той или иной наукой, необходимо не только читать, но и видеть, иначе три четверти знаний пройдут впустую. Впрочем, разве это касается только науки? Это относится ко всем видам просвещения.

В России сочетание того и другого стало возможным благодаря разнообразным музеям. Такие музеи есть повсюду — и в больших городах, и в областных центрах, они доступны даже обитателям малепьких деревень.

Путешествия — это тоже один из методов наглядного обучения. Все знают, как долго я носился с идеей школы-передвижки. Индия так велика и разнообразна во всех отношениях, что ее невозможно познать, листая справочник Хантера. Когда-то у нас было принято ходить пешком по святым местам, а наши святы места разбросаны по всей Индии. Такое паломничество помогало живо и всесторонне познавать страну. Если бы ученики, хотя бы с чисто познавательной целью, могли пять лет путешествовать по Индии, их образование было бы совершенным.

Когда разум активен, он легко воспринимает и усваивает все, что ему предлагают в процессе обучения. Коровам, помимо стойла, необходимо пастбище; так и мозгу, помимо повседневных доз знаний, необходимы непосред-

ственные впечатления от путешествий. Книжные знания, которые выдаются порциями в стенах неподвижного класса, неподвижной школы-тюрьмы, вредно влияют на неокрепший разум. Я ничего не имею против книг — объем знаний, необходимых человеку, настолько велик, что их невозможно, да и незачем, брать от природы, когда они уже собраны в нашей кладовой. Но если бы наши ученики имели возможность сочетать учебу по книгам с изучением природы, нам не оставалось бы желать ничего лучшего. Я много думал об этом и мечтал, если позволят средства, организовать такие образовательные экскурсии. Но откуда взять время? Да и средств у меня маловато.

В Советской России, как я заметил, экскурсии доступны каждому. Страна огромна, ее населяют разные народности. При царе у них не было возможности встречаться изнакомиться друг с другом. В те дни путешествия, экскурсии, разумеется, были роскошью, доступной только богачам. Советская же власть старается сделать так, чтобы путешествовать мог каждый. С самого начала своего существования она стала открывать по всей стране санатории для лечения и отдыха больных и утомленных тружеников. Для этого пригодились дворцы, уцелевшие от прежних времен. Они стараются, чтобы такие санатории служили не только для отдыха, но и были своего рода культурными центрами.

Во время путешествий те, кто имеет к этому склонность, оказывают всякого рода услуги населению. В помощь туристам на путях их следования открыты специальные базы, где они могут поесть, переночевать и получить консультацию по любому вопросу. Кавказские республики очень подходят для изучения строения земли, поэтому здесь на туристских базах читают лекции по геологии. Кстати, в местах, представляющих собой интерес с точки зрения этнографии, есть специально подготовленные инструкторы туристов.

В летнее время тысячи людей, собирающихся отправиться в путешествие, составляют по учреждениям списки. Начиная с мая по всем дорогам расходятся группы туристов по двадцать пять — тридцать человек. В 1928 году в туристическом обществе было только три тысячи членов, а в 1929 их стало более двенадцати тысяч.

Однако сравнивать их в этом отношении с Европой или Америкой нельзя: надо помнить, что всего десять лет назад положение трудящихся в России было таким же,

казские республики — 134 миллиона, Узбекистан — 97 миллионов, Туркменистан — 29 миллионов рублей.

Во многих республиках распространению образования мешал арабский шрифт. Введение латинского шрифта облегчило задачу.

Позволю себе привести два отрывка из бюллетеня, который служил для меня источником информации:

«Другой важнейшей задачей в области культуры, несомненно, является укрепление местных административных органов и перевод всего административного и общественного делопроизводства в федеративных и автономных республиках на родной язык трудящихся масс. Из-за низкого культурного уровня широких масс рабочих и крестьян и нехватки квалифицированных специалистов это совсем не простая задача, и поэтому для ее решения требуются огромные усилия».

Немного поясню это. В Советский Союз входят несколько республик и автономных областей. Многие из них находятся за пределами Европы, и образ жизни их населения далек от современного. Из вышеприведенной цитаты ясно, что, по мнению советских людей, основным средством и неотъемлемой частью распространения просвещения является административная деятельность.

Если бы государственным языком в нашей стране был родной язык нашего народа, то ему была бы доступна административная деятельность. Но из-за английского языка тайны управления государством непостижимы для народа. Необходимы посредники, прямой контакт отсутствует.

Народ не умеет управлять своим государством точно так же, как он не умеет пользоваться огнестрельным оружием для самообороны. Змеинная петля гнета затягивается еще туже из-за того, что государственный язык чужой для народа. Не мне судить, насколько плодотворны дебаты на английском языке в законодательном собрании, но для просвещения народа от них толку мало.

Привожу еще одну цитату:

«Когда перед советскими органами власти встают вопросы культурно-экономического строительства в национальных республиках и округах, они решаются не с точки зрения интересов руководства, а с точки зрения максимального развития самостоятельности широких масс рабочих и крестьян и в соответствии с инициативой местных советских органов».

Речь идет об отсталых народностях. У них всюду труд-

пости, но Советская власть не собирается ждать двести лет, чтобы покончить со всеми ними. Десять лет они работают не покладая рук. Видя и слыша все это, я думаю: «Неужели мы более отсталая нация, чем узбеки и даже туркмены? Неужели у нас во много раз больше «трудностей», чем у них?»

Да, я вспомнил еще об одном. Здесь есть Музей игрушек. Мне давно не давала покоя мысль собрать коллекцию игрушек. В твоём собрании предметов искусства они есть — это будет началом. В России мне подарили несколько игрушек, похожих на ваши.

Нужно сказать еще несколько слов об отсталых народностях. Я сделаю это завтра.

Послезавтра утром прибуду в Нью-Йорк — кто знает, будет ли у меня там время для писем.

*Пароход «Бремень»,
8 октября 1930 г.*

Я уже писал о том, какие усилия прилагаются в Советской России для просвещения отсталых народностей. Хочу привести еще несколько примеров.

На Южном Урале живут башкиры. В царское время этот народ находился примерно в таком же положении, как наш сейчас. Башкиры постоянно жили на грани голодной смерти. Зарабатывали они ничтожно мало, потому что квалифицированный труд был им недоступен из-за недостатка образования; на их долю таким образом доставалась самая низкооплачиваемая, черная работа. Зачатки самостоятельного правления они получили только во время революции.

Сначала ответственные посты были доверены крупным землевладельцам, духовенству и тем, кого мы называем сегодня образованными классами. Народ от этого ничего не выиграл. К тому же вскоре началось наступление колчаковской армии. Колчак был ярким приверженцем царского режима, его поддерживали и ободряли из-за границы непримиримые и сильные враги Советской власти. Правда, Советам удалось покончить с Колчаком, но тут начался страшный голод. Сельское хозяйство страны было истощено и разрушено.

Собственно говоря, советское строительство смогло пасть только в 1922 году. С этого момента в республике отмечается быстрое развитие промышленности и системы образования.

В прошлом население Башкирии было почти поголовно неграмотным. За несколько лет здесь открыли восемь средних школ, пять сельскохозяйственных техникумов, медицинский институт, два финансово-экономических учебных заведения, семнадцать ремесленных училищ, две тысячи четыреста девяносто пять начальных и восемьдесят семь неполных средних школ. В настоящее время в Башкирии имеются два государственных театра, два музея, четырнадцать городских библиотек, сто двенадцать деревенских изб-читален, тридцать кинотеатров в городах и сорок шесть в деревнях, большое количество гостиниц для приезжающих в город крестьян и восемьсот девяносто один уголок отдыха. Тысячи домов рабочих и крестьян радиофицированы. Население округа Бирбхум в Бенгалии в целом стоит, конечно, на более высокой ступени развития, чем башкиры. Но сравни систему просвещения и условия отдыха в округе Бирбхум и в Башкирии! Разумеется, при этом необходимо сравнивать и трудности обеих сторон.

Среди республик, входящих в Советский Союз, Туркменистан и Узбекистан — самые молодые. Они были образованы в октябре 1924 года, то есть им меньше шести лет. Все население Туркменистана — более полутора миллионов человек; из них девятьсот тысяч занимаются сельским хозяйством. Однако в силу целого ряда причин с сельским хозяйством здесь неблагополучно, то же самое можно сказать и о скотоводстве.

Для этих республик необходимы фабрики и заводы, то есть индустриализация, но она нужна вовсе не для того, чтобы местные или иностранные капиталисты набивали себе карманы: промышленные предприятия здесь принадлежат только народу.

Между прочим, уже функционируют фабрика хлопчатобумажных тканей и шелкопрядельная фабрика. В городе Ашхабаде построена электростанция, в ряде других городов такие станции строятся. Чтобы обслуживать техническое оборудование, нужны опытные рабочие, поэтому многих туркменских юношей направляют учиться на крупные предприятия Центральной России. А каких трудов стоит нашим юношам поступить для обучения на иностранное предприятие, все мы прекрасно знаем.

В бюллетене сказано: трудности организации системы просвещения в Туркменистане вряд ли с чем-либо можно сравнить. Поселения разбросаны далеко друг от друга, до-

рог в республике мало, воды не хватает, вокруг пустыня, материальное положение населения крайне тяжелое.

Тем не менее на образование каждого человека расходуется пять рублей. Четверть населения этой республики — кочевники. Поэтому наряду с обычными начальными школами для них открыты специальные интернаты вблизи колодцев, где собирается большое число кочующих семей. Для учащихся даже выпускаются газеты.

В старинном красивом дворце с парком на берегу Москвы-реки для туркменов открылось специальное педагогическое училище. Сейчас там обучается около ста туркменских детей в возрасте двенадцати — тринадцати лет. Система обучения в этом заведении построена по принципу самоуправления. Имеется несколько самостоятельных комитетов, таких, как санитарный, хозяйственный, учебный и т. д. В обязанности санитарного комитета входит наблюдение за чистотой здания, классов, жилых помещений, двора. Если кто-либо из учащихся недомогает, этот комитет обязан вызвать доктора. В хозяйственный комитет входит несколько подкомитетов. Его задача — следить за чистотой и опрятностью учащихся. Задача наблюдать за дисциплиной во время занятий ложится на учебный комитет. Представители от каждого комитета образуют Правление. Члены этого Правления пользуются правом голоса на заседаниях Совета училища. Если между самими детьми и кем-нибудь посторонним происходит недоразумение, Правление занимается разбором конфликта; его решения обязательны для всех учащихся.

При училище имеется клуб. Здесь дети ставят пьесы на родном языке, поют и играют. В клубе есть киноустановка, и дети смотрят фильмы из жизни среднеазиатских республик. Выпускается степная газета.

Для подъема сельского хозяйства Туркменистана в республику посылаются большое количество специалистов. Создано более двухсот образцовых хозяйств. Благодаря новой системе землепользования и водоснабжения двадцать тысяч беднейших крестьянских хозяйств получили землю, воду и сельскохозяйственные орудия.

В этой малонаселенной республике открыто сто тридцать больниц с врачебным персоналом в шестьсот человек. Однако автор бюллетеня смущенно признает:

«Тем не менее нет никаких оснований радоваться этому факту, так как на каждую больничную койку приходится 2640 человек. Что же касается количества врачей,

то в этом отношении Туркменистан стоит на последнем месте в Союзе. Мы можем гордиться некоторыми успехами в борьбе со старым бытом и невежеством, однако мы должны еще раз предупредить читателя, что из-за крайне низкого уровня культуры в Туркменистане сохранилось немало обычаев далекого прошлого. Тем не менее недавно принятые законы, запрещающие ранние браки и взимание калыма, привели к желаемым результатам».

Они стыдятся того, что в такой пустынной стране, как Туркменистан, за шесть лет построено сто тридцать больниц! Меня это поражает, ибо нас бы это не смутило. У нас масса своих «трудностей», мы не делаем даже попыток их устранимь, однако нам почему-то совсем не стыдно! Почему?

Откровенно говоря, до этой посадки я уже было утратил веру в будущее нашей страны. Перебирая в уме все наши бесчисленные трудности, я, как и миссионеры, стал попадать в тупик. Я говорил себе: в Индии слишком много наций, в каждой невежественна по-своему, слишком много религий, и все они враждебны одна другой,— сколько же нам понадобится времени, чтобы освободиться от гнета страданий и очиститься от нагромождения мерзких нечистот.

Робость моей веры в отчаянии объясняется тем же, что и печальные выводы Комиссии Саймона. Приехав в Россию, я убедился, что часы прогресса там, во всяком случае, в домах простого народа, стояли так же, как и у нас; долго их не заводили, но вдруг они пошли, и пошли превосходно, несмотря на то что раньше их стрелки не двигались веками. Теперь я понял, что и наши часы могут идти, но их никто не завел. Поэтому теперь я уже никогда не поверю в мистическую непреодолимость «трудностей».

Прежде чем закончить письмо, хочу привести еще несколько выдержек из бюллетеня:

«Импералистическая политика царских генералов после завоевания Азербайджана состояла в том, чтобы превратить районы, населенные мусульманами, в колонии, предназначенные для снабжения сырьем рынков центральной России».

Я помню, много лет назад ныне покойный Оккхойкумар Мойтрейю был захвачен идеей разведения шелководных червей. По его совету я тоже занялся шелководством. Он говорил мне, что, пока речь шла о разведении червей, магистрат оказывал ему достаточную поддержку,

по каждый раз, когда он пытался организовать среди крестьян шелкопрядельное и шелкоткацкое производство, магистрат чпил ему всяческие препятствия.

«Агенты царского правительства безжалостно осуществляли принцип «разделяй и властвуй» и делали все возможное, чтобы разжечь ненависть и вражду между различными пародами. Национальная вражда поощрялась правительством, мусульмане и армяне систематически протравливались друг на друга. Непрерывающиеся столкновения между этими двумя национальностями временами перерастали в резню».

Автор бюллетеня испытывает смущение по поводу малого количества больниц, но не может не выказать гордости по другому поводу:

«В течение последних восьми лет между национальностями Азербайджана царят мир и согласие, и этот несомненный факт не могут отрицать даже злейшие враги Советской власти».

Индийское правительство не привыкло смущаться, но и гордиться ему тоже нечем.

Эта фраза нуждается в пояснениях. В бюллетене написано, что в Туркменистане на образование каждого человека тратится пять рублей. Один рубль равноценен двум с половиной рупиям, значит, пять рублей составляют двенадцать с половиной рупий. Для сбора таких средств, безусловно, необходима какая-то система, однако печего и опасаться, что из-за этого в народе может возникнуть какая-либо рознь или недовольство.

*Пароход «Бремен»,
8 октября 1930 г.*

О туркменах я уже писал, это — жители пустыни, их около миллиона. Это письмо — лишь дополнение к ранее написанному. Даю перечень научных учреждений, которые Советское правительство решило здесь открыть:

«Начиная с 1 октября 1930 года, с нового бюджетного года, в Туркменистане будет открыт ряд новых научно-исследовательских центров и институтов, а именно:

1. Туркменский геологический комитет.
2. Туркменский институт прикладной ботаники.
3. Научно-исследовательский институт животноводства.
4. Институт гидрологии и геофизики.
5. Институт экономических исследований.

6. Химико-бактериологический институт и Институт социальной гигиены.

Деятельность всех научно-исследовательских учреждений Туркмении будет регулироваться специальным научно-исследовательским комитетом при Совете Народных Комиссаров Туркмении.

В связи с переездом туркменского правительства из Ашхабада в Чарджоу начато строительство зданий для следующих музеев: Исторического, Сельскохозяйственного, Музея промышленности и торговли, Художественного музея и Музея Революции. Кроме того, запланировано строительство обсерватории, Государственной библиотеки, Дома народной книги и Дома науки и культуры.

Отделение языка и литературы Института туркменской культуры закончило редакцию и перевод на русский язык сборника туркменских стихов, включающего фольклор и древнюю поэзию.

В Туркмении организованы пять передвижных культурных баз. В 1930 году сорок шесть человек окончили двухгодичные курсы медсестер и акушеров. Все выпускницы были посланы в деревни».

*Лансдаун,
28 октября 1930 г.*

За последнее время я уже не раз приближался к Южным Воротам, но это не те ворота, через которые впадают весенние ветры, напоенные ароматом цветов: через Южные Ворота, согласно нашим священным книгам, улетает дыхание жизни. Доктор считает, что я перенес острый спазм сердечных артерий, то есть, попросту говоря, я выкарабкался чудом. Так или иначе, я получил предупреждение от бога смерти Ямы, да и врач советует мне быть начеку. Если я встану и буду ходить, стрела поразит меня в сердце, но если буду лежать, она пролетит мимо цели. Поэтому, как человек благоразумный, я провожу свои дни полусежа. Доктор говорил, что так я проживу еще лет десять, а там уж никто не предотвратит заключительного акта. Служу, привалившись к спинке кровати, и строки моего письма тоже начинают заваливаться. Подожди, сяду немного повыше.

Ты шлешь мне грустные вести. В моем состоянии я по-прежнему решаюсь читать, боясь, что волнение окажется роковым. Кое-что об этом я знал и раньше, но подробный отчет обо

всем мне был бы не под силу. Поэтому, вместо того чтобы читать самому, я поручил это Омю.

Цепи, которыми опутали нашу страну, можно порвать лишь настойчивыми, повторяющимися усилиями. Каждый такой рывок — мучительная агония, но иного пути к освобождению нет. Британцы своими руками рвут все связующие узы; нам это приносит неисчислимые страдания, но они при этом терпят немалые потери. Самая большая потеря Британской империи — утрата ею престижа. Перед разнузданностью сильного мы испытываем страх, смешанный с уважением, а разнузданность труса внушает только презрение. Сегодня мы смотрим на господство англичан с презрением и ненавистью. В этой ненависти паша сила, и благодаря ей мы победим.

Я только что покинул Россию и теперь достаточно ясно представляю, как труден путь страны к славе. Удары полицейских дубинок просто дождь цветов по сравнению с теми неслыханными страданиями, которые претерпели верные революции сыны России. Поэтому скажите нашим сынам, что все еще впереди — ничто не минет. Пусть не кричат они: «Нам больно!» — ибо это означает, что победила дубинка.

Сегодня Индия прославилась везде только тем, что ее не сломили избиения: давайте же никогда не жаловаться на боль! Животная сила падеется пробудить в нас зверя; если ей это удастся, мы проиграем. Мы страдаем сейчас, но не нужно падать духом. Пришло время доказать, что мы люди; если же мы сейчас уподобимся животным, потом будет поздно. Поэтому мы должны держаться до конца и повторять: «Мы не боимся!»

Время от времени Бенгалия теряет терпение, и в этом паша слабость. Если мы выпустим клыки и когти, мы тем самым окажем честь зверю. Презирайте зверей, никогда не уподобляйтесь им! Не плачьте! Ливни слез ничему не помогут.

Обиднее всего, что у меня уже нет неиссякаемых сил юности. Я лежу здесь без движения в маленькой гостинице, я уже слишком стар, чтобы идти в ногу с теми, кто ушел вперед.

ПРИМЕЧАНИЯ

РОМАН «ДОМ И МИР»

Роман Р. Тагора «Дом и мир» впервые был опубликован в журнале «Шобудж Потро» («Зеленые листья»). Он печатался с апреля 1915 по февраль 1916 года. В 1916 году роман вышел отдельной книгой.

Как об этом свидетельствуют само название романа, а также имена героев (Никхилеш — «совершенный», «Шопдип» — «восиламеняющий», Бимола — «чистая»), Тагор хотел показать в этом произведении отношения между «домом» и «миром», то есть между личным и общественным, показать целостность человеческой личности, наконец, поведение человека в эпоху больших общественных конфликтов. С этой целью Тагор обращается к недавнему прошлому своей страны.

В «Доме и мире» отражены события 1905—1908 годов, бурной для истории Индии эпохи, когда в стране царил атмосфера духовного пробуждения. События времени заполняют мысли героев, логически мотивируют их поступки.

Отношения между «домом» и «миром» даются писателем в раскрытии характеров героев, в их идеологических и нравственных коллизиях и в авторской оценке событий.

Национально-освободительное движение 1905—1908 годов, вошедшее в историю под названием «свадеш», явилось началом массовой антиимпериалистической борьбы народов Индии против британского колониального господства.

Руководство движением было неоднородным. Наиболее передовые его деятели, так называемые «крайние», стремились равнять инициативу народа с тем, чтобы добиться независимости родины. Своим основным лозунгом они выдвинули бойкот англий-

ских товаров. Однако, обращаясь к народу, «крайние» часто апеллировали к индуистской религии. Обращение к религии объективно играло на руку колонизаторам, которые стремились разжечь среди участников движения индо-мусульманскую рознь, что, конечно, не могло не сказаться отрицательно на движении в целом. Представители правого крыла национального движения не претендовали более чем на автономию в рамках Британской империи, преследуя лишь цель достижения экономических выгод для крупной национальной буржуазии. Естественно, они были против разрывания массового движения.

Выразителем мыслей и оценок автора в романе выступает Никхилеш. Он предлагает свою конструктивную программу свадеша. Она идет вразрез с позицией левых, то есть «крайних», и очень сильно отличается от конституционных требований правых. Эта программа представляет собой выдвинутый Тагором в 1904—1908 годах так называемый «план созидательной деятельности», продиктованный горячим желанием облегчить участь народа, по утопический по существу.

Тагор призывал интеллигенцию направить свои усилия на преобразования в деревне. Для этого он рекомендовал создавать специальные группы, которые, по его мысли, должны были заниматься постройкой школ, дорог, водохранилищ, а также выделением общественных пастбищ, устраивать народные музыкальные представления в деревне, выставки изделий кустарного производства и продуктов сельского хозяйства, читать лекции по медицине и санитарии. Тагор считал, что все это должно способствовать объединению всех индийцев, независимо от религиозной принадлежности, независимо от их имущественного положения, в общем стремлении, направленном на повышение благосостояния народа.

Идеи Тагора о духовном возрождении народа церкликались с просветительскими идеями «крайних» о «материальном, моральном и религиозном возрождении» народа. Но путь, которым шли «крайние» в борьбе за национальную независимость, вскоре оказался неприемлемым для Тагора, ибо он противоречил его религиозно-философским и эстетическим представлениям.

Герой романа, как и сам автор, непримиримый противник насилия, Никхилеш не приемлет насилия как средства борьбы за освобождение Индии. «Совершать насилие во имя родины — значит совершать насилие над родиной», — говорил он. По его мнению, достижение свободы, касается ли это отдельного человека, народа или страны, ни в коем случае не должно происходить насильственным путем. Отвергая насилие вообще, Никхилеш, как и Тагор, предлагает в качестве основного и, может быть, единственного пути — путь примера, убеждения, самосовершенствования.

Когда все поймут, думает он, что свобода необходима, она станет всеобщей и вечной. Идея совершенствования и самосовершенствования, издавна присущая индийской культурной традиции, из религиозной обязанности превратилась у Тагора в гражданский долг служения родине.

По мнению Никхилеша, политическое и экономическое возрождение и должно совершаться на прочной нравственной основе. В этом толковании природы и значения индийского национально-освободительного движения Никхилеш в известной мере сходится с «крайними», т. е. представителями передовой части бенгальской интеллигенции, для которой буржуазно-демократические преобразования страны, защита отечества и собственной промышленности представлялись не просто экономической и политической задачей, но и высшим религиозным деянием.

Свадеша как идея своего национального производства воспринимается Никхилешем — Тагором как своего рода верование, являющееся не только руководством к практическому действию, но и жизненно важной высокой нравственной идеей. При этом Никхилеш — Тагор исходит из того, что достижение общественного блага возможно только при полном развитии и утверждении каждой личности, при полном ее раскрытии. «Гармоническое развитие личности, — отмечал известный современный писатель и критик Гопал Халдер, — согласно Тагору, является *sine qua non*¹ человеческой жизни. Это означало требование свободы личности в буржуазном понимании, но в то же время предполагало единство личности и общества, и даже человека и природы, на что не претендует буржуазный индивидуализм. Тагор считал, что гармоническое развитие человеческой личности невозможно при эгоистической изоляции ее от мира»².

Однако нельзя не заметить, что Никхилеш особенно страстно осуждает именно тот акт насилия, который причиняет несчастье народу. И в этом он повторяет своего учителя Чондронатх-бабу, который внушил ему веру в людей и любовь к ним. «Родина, — говорит Чондронатх-бабу, — это не только земля, но и люди, которые на ней живут. А вы видите хотя бы краем глаза, как они живут? ... Вся их жизнь — непрестанная, упорная и тяжелая борьба за существование... Я, старик — ваш пастырь, готов приветствовать вас и даже последовать за вами. Но если вы, размахивая знаменем свободы, будете попираť свободу бедняков, я восстану против вас и, если потребуются, отдам жизнь».

¹ Без чего не может быть (лат.).

² Г. Халдер. Влияние Рабиндраната Тагора на жизнь и литературу современной Индии. В сб.: «Рабиндранат Тагор. К столетию со дня рождения». ИВЛ, М., 1961, с. 78.

Устами Никхилеша и Чондронатха-бабу выражено характерное для Тагора того времени абстрактное понимание гуманизма, оторванное от конкретных исторических условий и потому лишенное действительности.

Другой герой романа, университетский товарищ Никхилеша Шондип, аморальный, честолюбивый человек, готов пойти на любую сделку с совестью, даже на преступление ради достижения личной славы и власти. Шондип мыслит и действует по формуле «цель оправдывает средства». Он утверждает, что можно и даже нужно обманывать не посвященных, чтобы заставить их служить родине, которую он по-своему чтит, но с которой зачастую отождествляет также свое личное благополучие. Он использует религиозные убеждения людей и играет на низменных человеческих инстинктах, не останавливается даже перед обольщением, обманом, воровством. Мечтая о счастье плотском, осязаемом, «земном», Шондип исходит из принципа: «мое — то, что я сумею отнять». Гипертрофированный эгоцентризм Шондипа, «возвышающий» его над другими людьми, порой смыкается с индифферентизмом. «...Все великое жестоко, — говорит он. — Справедливыми могут быть лишь заурядные люди. Несправедливость — исключительное право великих». Мрачный, хотя и не лишенный обаяния образ Шондипа, нарисованный Тагором тенденциозно, по существу выступает в пародийном плане и в целом, конечно, не соответствует исторической правде.

Жизненная установка Шондипа — себялюбие и человеконенавистничество — вызывает активный протест гуманиста Тагора. Писатель особенно остро почувствовал во время первой мировой войны, что пути достижения свободы в толковании ее людьми, подобными Шондипу, приводят к «свободе» насилия, уничтожения и смерти.

Причину того, что в романе единственным руководителем движения свадешти изображен Шондип, надо искать не только в отрицательном отношении писателя к данной форме национально-освободительного движения, но и в тревоге за судьбы цивилизации, которая может погибнуть от руки таких людей, как Шондип. И здесь Тагор остался «Великим часовым» (как его называл Ганди), всегда стоявшим на страже интересов угнетенных во всем мире.

Разрушительные идеи Шондипа отталкивают Тагора, убежденного сторонника и пропагандиста «созидательной деятельности». В них Тагор усматривает опасность, которая грозит и помещикам-никхилешам, и крикливым «радикалам» шондипам, и, наконец, — самое главное — патристическому делу возрождения страны.

Однако, разделяя одного из ведущих героев романа отрица-

тельными свойствами характера, Тагор, по существу, снижает значение той роли, которую играло свадешти в антиимпериалистической борьбе народов Индии. Он вольно или невольно осуждает методы действия наиболее передовых политических сил Индии того времени и наиболее радикальные формы борьбы в движении свадешти. Тагор думал, что в конкретной практике движения свадешти на первом плане находится якобы элемент «общинный», усмотрев в национальной борьбе преобладающе религиозно-общинного элемента (особенно знаменательен конец романа «Дом и мир» — Никхилеш становится жертвой кровавой стычки мусульман и индусов), Тагор разоблачением Шондипа предостерегает вождя свадешти от тех губительных последствий, которыми, по его мнению, чревата для национально-освободительного движения пассивная форма борьбы и отсутствие единства между двумя религиозными общинами.

Писатель был глубоко прав, осуждая подомусульманскую рознь в некоторых областях Индии в конце XIX — начале XX века. Однако он еще не видел, что подлинными вдохновителями этой искусно разжигаемой вражды «явились не участники движения свадешти», а помещичьи хозяева Индии и внутренняя феодальная реакция.

Логикой развития событий и поведения действующих лиц писатель подчеркивает недолговечность успехов Шондипа: Бимла разлюбил его; слепо веривший в своего наставника, искренний и глубоко честный юноша Омалло разочаровался в нем, не оправдало себя и уничтожение английских тканей, к которому призывал Шондип, а ему самому в конце концов пришлось бежать из усадьбы Никхилеша, спасаясь от гнева народа, а может быть, и от самого себя.

Перед своим уходом Шондип возвращает Бимле деньги и драгоценности. Сцена прощания и, в частности, слова Шондипа, обращенные к Бимле: «Только у вас одной я не смогу ничего взять», обнаруживают, что Шондип действительно любит Бимлу. Когда это становится очевидным, образ Шондипа приобретает трагическую окраску.

Так, сопоставлением двух друзей-антиподов, осуществляется политическая оценка событий 1905—1908 годов.

Близкий друг Тагора — профессор-экономист П. Махалапис — в одной из своих статей, посвященных столетнему юбилею Р. Тагора, писал:

«По мере развития движения (свадешти.— Е. П.) Тагор все яснее сознавал, что оно становится все более индусским по своему характеру и что не уделяется достаточно внимания тому, чтобы

вовлечь в это движение и мусульман. Возможно, это и было одной из причин, заставивших его постепенно отказаться от участия в движении свадеш. Впоследствии в хорошо известном романе «Дом и мир», написанном в 1915—1916 годах, он подверг резкой критике стремление ограничить общенациональное патриотическое движение участием в нем одних индусов. Такая критика вызвала недовольство со стороны определенной части его соотечественников...

Однако сравнением Никхилеша и Шондипа решается не только политическая задача. В идеологическом противостоянии Никхилеша и Шондипа сталкиваются две диаметрально противоположные идеи: «все для других» (Никхилеш) и «все для себя» (Шондип). Если в оценке политических событий Тагор занимал противоречивую позицию, то в своих философско-эстетических взглядах он оставался верен высоким гуманистическим идеалам. Тагор с большим художественным мастерством утверждает конечным выбором Бимолы правоту дела и моральных принципов Никхилеша.

Образ Бимолы — жены Никхилеша — нарисован Тагором с большой теплотой. К Бимоле сходятся все сюжетные нити романа: она выступает своего рода арбитром в идейно-политическом столкновении Никхилеша и Шондипа. Но Бимола играет в романе и самостоятельную, притом большую роль, ибо во многом она сама решает проблему отношения «дома» и «мира».

Перенеся центр тяжести этой проблемы на образ Бимолы, писатель достигает поразительного эффекта: замысел писателя и идеи романа приобретают реалистическую конкретность.

В Индии начала XX века женщина представляла собой существо наиболее угнетенное, наиболее бесправное. В этих условиях натура незаурядная, интуитивная, одаренная способностью глубоко и тонко чувствовать, была обречена на духовное умирание. Такова Бимола. Воспитанная в традиционном духе подчинения и покорности мужчине, Бимола вошла в дом Никхилеша преданной женой, высшее счастье которой — служить мужу. Никхилеш, страстно любивший жену, пробуждает в ней самосознание, но не находит для нее конкретного дела. Начатое Никхилешем довершает Шондип, однако беспринципность Шондипа развенчивает его в глазах Бимолы.

Огонь страсти, который зажег в Бимоле Шондип, явился для нее подлинным очищением. Когда в этом огне сгорел призрак созданного ее воображением героя и перед ней предстал «живой» Шондип, Бимола возвращается к мужу не во имя супружеского долга (хотя тема борьбы чувства и долга органически связана с образом Бимолы), а в силу истинной, высшей тяжкой испыта-

ние любви к нему. «Я ничего больше не боюсь,— пишет Бимола в своем дневнике.— Я вышла из огня. Пеплом стало то, что должно было сгореть, то, что уцелело, бессмертно».

Произошло самоутверждение личности Бимолы, и она отдает свою любовь Никхилешу теперь уже не по обязанности и не по обычаю, а полностью разделяя его идеалы.

В разрыве личного и общественного видит Тагор «корни запретной любви». Лучшие его героини от Читрапгоды (драма «Читрапгода», 1892) до Бимолы стремятся к утверждению своих прав на равное с мужчинами участие в общественной жизни.

Роман «Дом и мир» написан в виде дневников. Форма переписывающихся записей-рассказов трех действующих лиц — Никхилеша, Бимолы и Шопдины — позволяет Тагору показать в «тройном освещении» и поступки героев, и их мотивировку, анализ и оценку. В чередующихся рассказах субъект и объект наблюдения меняется, и читатель видит каждого из трех героев то «изнутри», то «со стороны». В романе «Дом и мир» раскрылось характерное для Тагора глубокое родство прозы и поэзии, выразившееся в проникновении лирики в эпос. Тагор в этом романе приходит к новой для бенгальской литературы форме социально-психологического романа и к неизвестным еще приемам художественного исследования человеческих характеров, расширяя тем самым возможности реалистического романа в индийских литературах.

Е. Павская

Стр. 7. *...пушистую полоску твоего пробора...*— Речь идет о широко распространенном среди замужних женщин Индии обычае красить пробор в волосах синдуром, или киповарью.

...времена падишахов — время правления императоров мусульманской династии — Великих Моголов (1526—1858).

Стр. 8. *...лепят маленьких идолов на празднике Шивы.*— Ежегодно весной, в четырнадцатую ночь фальгуна (февраль — март) девушки-невесты лепят из глины маленькие фигурки Шивы, олицетворяющего в их представлении владыку будущего семейного очага.

Стр. 11. *Шанкара стоял нищим у дверей Аннапурны...*— Шутливое смешение двух древних легенд. Одна из них основана на представлении о том, что богиня Дурга — кормящая мир (букв. Аннапурна), сжалась над Шивой, представшим перед ней в облике нищего, и накормила его; в то время как в другой Дурга — простая бедная девушка (Ума), чтобы стать достойной своего супруга — бога Шивы, подвергла себя мучительным испытаниям.

Стр. 12. *Мантры* — священные стихи или гимны из вед в честь

какого-либо божества. Мантры имеют якобы магический смысл и употребляются как заклинания.

Боро-рани — здесь: старшая невестка, старшая хозяйка, то есть жена старшего сына в семье: *меджо-рани* — средняя невестка, *чхото-рани* — младшая невестка.

Стр. 20. *Свадеши* («свой», «национальный») — один из этапов национально-освободительного движения Индии — 1905—1908 гг., — проходившего под лозунгом борьбы за независимость («сварадж») и за развитие национального производства, против ввоза иностранных, преимущественно английских товаров.

Стр. 23. *«Банде Матарам»* («Приветствую тебя, Мать») — название песни, написанной известным бенгальским писателем Бопиндранатом Чаттопадхьяем (1838—1894) к роману «Аполомотх» («Обитель радости»). Эта песня стала гимном движения *свадеши*.

Стр. 24. *Белый конь Индры*. — По преданию, бог-громовержец Индра ездил на белом коне, который вышел из пещеры, когда боги и демоны валялись в море, чтобы добыть напиток бессмертия — амриту.

Стр. 25. *Джагаддхатри* (букв. «поддерживающая мир») — один из эпитетов популярного в Бенгалии божества — Матерп-Дурги, выступающей в роли Кормилицы Вселенной, поддерживающей мир.

Стр. 28. *Кобирадж* — лекарь, использующий в лечебной практике средства народной медицины.

Стр. 30. *В битве с Махадевой, одетым в тигровую шкуру, Арджуна завоевал себе друга*. — Имеется в виду одна из легенд «Махабхараты». В легенде рассказывается о том, как Арджуна — один из героев «Махабхараты» — боролся против Шивы (он же Махадева), выступавшего в образе дикаря (горца). По преданию, Шива был одет в тигровую шкуру. Борьба завершилась заключением союза, и Шива, восхищенный мужеством и силой Арджуны, отдал ему свое божественное оружие.

Стр. 33. *...стихи Вальмики, отринувшего зло во имя любви и добра*. — Речь идет о предании, связанном с именем легендарного поэта Индии Вальмики. По преданию, Вальмики был предводителем шайки разбойников. Захваченная в плен разбойниками и обреченная на смерть девушка своими слезами разжалобила Вальмики, в котором добро и любовь победили зло. Вальмики становится поэтом. Содержание этой легенды легло в основу пьесы Р. Тагора «Гений Вальмики» (1881).

Стр. 46. *Рани-ма* (букв. «мать-царица») — здесь употребляется в знак почтения к хозяйке.

Стр. 50. *Лалиталабангалата* (букв. «Прекрасный цветок гвоздики») — лирическая поэма Джаядевы (XII в.), классика бенгальской поэзии, писавшего на санскрите.

Стр. 69. *Мелодия светильника* — одна из индийских ритуальных мелодий.

Стр. 71. *Дамаянти сама выбирала себе мужа.* — В Древней Индии был довольно широко распространен брак по принципу «сва-ямвара», когда невеста сама выбирала себе жениха. Одна из самых поэтических поэм «Махабхараты» рассказывает о преданной любви царевны Дамаянти к царевичу Налу, которого Дамаянти предпочла богам, претендовавшим на ее руку.

Стр. 78. *Точно так же погиб Равана...* — Здесь выражено своеобразное (встречающееся и у М. Дотто) толкование текста «Рамаяны» в той ее части (глава «Прекрасная»), где речь идет о похищении демоном Раваной жены Рамы — Ситы, которую Равана хотел сделать своей женой. Сита отвергла притязания Раваны и осталась верна Раме. Брат Раваны — Вибхишана выдал Раме местоахождения Ситы и тем самым повел его на след Раваны, которому было суждено погибнуть от руки человека. Глава о Ланке («Ланка») рассказывает о битве Рамы с Раваной и о гибели последнего.

Стр. 80. *...на горе Кайласе, среди лотосов озера Манаса, встретились Шива и Парвати.* — Древнее предание хранит поэтическую легенду о первом свидании бога Шивы и дочери царя гор Парвати. Эта тема нашла отражение во многих произведениях индийской литературы и живописи.

Стр. 81. *«Ритусамгара» Калидасы* — сборник в значительной мере эротических стихотворений древнего поэта Индии Калидасы (V в.).

Стр. 82. *...дневник Амиселя...* — Амисель Анри Фредерик (1821—1881) — известный швейцарский философ и критик. Речь идет о его книге «Journal intime».

Стр. 83. *Поселок помашудр* — поселок, где живут представители одной из самых низких каст Индии.

Баташа — особый род сладостей, приготовленных из сахара и молока.

Стр. 84. *Сиддхартха* — Сиддхартха Гаутама — имя Будды в миру.

Стр. 85. *...из Боттолы в Лалдигхи...* — Боттола — северная окраина Калькутты; Лалдигхи — деловой центр.

Стр. 86. *...превращенная в камень Ахалья.* — Одна из древних легенд «Рамаяны» рассказывает о том, как супруга мудрого отшельника Гаутамы — Ахалья — нарушила супружеский долг. За этот грех она была проклята на десять тысяч лет и обращена в камень. Когда пыль ног Рамы коснулась камня, Ахалья оживла.

Стр. 90. *Вайшнав* — поэты вишнунтского направления.

Стр. 108. *Купцы-марвари* — ростовщики и торговцы из Раджастана.

Стр. 114. *...подобны покинутой Шакунтале...*— Речь идет о героине одноименной драмы Калидасы. Царь Дутьяпта, охотясь в лесах, забрел в уединенное жилище отшельника Капвы и тайно вступил в брак с его приемной дочерью Шакупталой. Вскоре Дутьяпта покидает Шакунталу, обещая прислать за ней. Однако над Шакунталой тяготеет проклятие мудреца Дурвасы, и Дутьяпта забывает о ней.

Стр. 115. *Подобно Чанд Шодагору, он склонен прибегать к «божественным знаниям»...*— Речь идет об одной из средневековых легенд, посвященной богине змей Моноше. Чанд Шодагор был преданным почитателем Шивы, за что последний наградил его «божественным знанием». Долгое время Чанд не соглашался стать почитателем богини Моноши, и богиня решила его казнить. Один за другим от укуса змей погибли все семь сыновей Чанда, но он оставался ревностным почитателем Шивы.

Стр. 118. *Арджуна всегда знал Кришну лишь как своего возницу, но Кришна мог явиться вселенной и в другом облике.*— В основном сюжете «Махабхараты» Кришна выступает в роли возницы одного из героев поэмы — Арджуны. Однако впоследствии «Махабхарата» обогатилась рядом легенд, где Кришна выступал и в роли наставника и учителя. В частности, в одной из книг «Махабхараты» — «Бхагавадгите» — Кришна ведет с Арджункой философскую беседу.

Стр. 119. *...десятирукая богиня, восседающая на льве...*— богиня Дурга.

Стр. 129. *...Будда, а не Александр* — то есть не Александр Македонский.

Ганготри — место в Гималаях, где берет начало священная Ганга.

Стр. 132. *Кальпатару* — мифическое дерево, обладающее будто бы чудодейственной силой исполнять любое желание.

Стр. 134. *...церемония благословения брата* (бхаянхонта) — широко распространенный обычай, когда сестра ставит на лоб брата знак сандаловой пастой.

Стр. 148. Цитируется отрывок из стихотворения английского поэта Роберта Броунинга (1812—1889) «Кристина»:

О, если поняла она, что ей не полюбить меня,
Зачем ей было так смотреть глазами, полными огня?
Немало в мире есть мужчин (мужчин ли вправду, милый друг?)

Таких, что если б ям она свою открыла душу вдруг,
То равнодушно на нее взглянул б, чуждые мечты,
И в их тупых глазах ничто не заменило б пустоты,
А я ведь не из их числа — понятно это было ей,
Когда меня пронзил насквозь скользящий взор ее очей.

Стр. 151. *Бхойроби* — название одной из традиционных индийских мелодий.

Стр. 156. *Деби Чоудхури* — героиня одноименного романа Бонкимчондро Чоттопадхяя, предводительница отряда крестьян-повстанцев.

Стр. 160. *Чхуту* — уменьшительное от чхото (чхото-рани).

Стр. 165. *Прошад* — остатки жертвоприношения богам; дать прошад — значит благословить.

Стр. 168. *«Многоводную, плодородную, овеваемую прохладным ветерком»* — строка из гимна «Банде Матарам» (см. примеч. к с. 416).

Стр. 173. *Радхаваллабха Тхакур* — одно из имен Кришны.

Стр. 175. *...радостное ржание, доносящееся из конюшен гандхарвов.* — В древней мифологии гандхарвы — небесные певцы и музыканты. Их изображали конеголовыми людьми.

В. Новикова

РОМАН «ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА»

Над «Последней поэмой» Р. Тагор работал в течение 1928—1929 годов. В 1929 году роман вышел в свет отдельной книгой. На русском языке «Последняя поэма» была впервые опубликована в третьем томе Собрания сочинений Р. Тагора (первого издания) в 1956 году в переводе И. Световидовой. Стремление к изображению с реалистических позиций крупных социальных проблем, столь характерное для прозаического творчества писателя, в этом романе, как нам кажется, выражено несколько слабее, чем обычно. В романе Р. Тагор касается важной социальной проблемы, проблемы «золотой молодежи», которая в 20-х годах приобрела особую остроту. «Золотая молодежь» отвергала национальную культуру и слепо подражала западной цивилизации.

В центре романа образ Омито Рая — молодого повесы, получившего оксфордское образование. Он пропагандирует западные идеи, высмеивает индийскую культуру, обрушивая свой гнев на реалистическое искусство, в частности, и на творчество Рабиндраната Тагора. Окружение Рая — его сестры, Кетоки Миттер и ее брат Порен — типичные представители «золотой молодежи». В обрисовке этих несколько гротесковых образов сарказм и сатирическая направленность достигают наибольшей силы.

Этим «западникам» Р. Тагор противопоставляет два женских образа — Лабонно и Джогомайю, которым отданы все его симпатии. Если в образе Джогомайи воплощены все лучшие гуманисти-

ческие традиции «старой» индийской культуры, то в образе Лабонно собраны все идеальные черты молодой героини. Лабонно умна, образованна. Она черпает то великое, что создала западная культура, и в то же время с глубоким интересом и уважением относится к культуре индийской.

Любовь Лабонно преобразила Омито, он по-новому взглянул на жизнь, понял, что смысл ее — в служении прекрасному, в стремлении сделать всех людей счастливыми.

Тагор поэтически раскрыл всю глубину чувства молодых людей, показал, какие огромные душевные силы оно рождает.

Лирические стихи, которые Р. Тагор вкладывает в уста Омито для того, чтобы выразить его любовь к Лабонно, это поистине лучшие страницы романа. Эти лирико-драматические произведения Р. Тагора, наполненные прекрасными человеческими чувствами и переживаниями любящих молодых людей, бесспорно, принадлежат к большим достижениям поэтического дарования Р. Тагора.

А. Чичеров

Стр. 196. *Жертвоприношение Дакши*. — Когда однажды во время жертвоприношения появился Дакша, все боги, кроме Шивы, приветствовали его, встав со своих мест. Разгневанный, Дакша не желал давать Шиве угощения, и, когда состоялось следующее жертвоприношение, не стал его приглашать.

Чандра — бог луны.

Варуна — бог неба, а также властитель вод.

Стр. 199. *Вообрази, что рыбак из «Шакунталы» откроет рыбу...* — В чреве пойманной рыбы рыбак нашел волшебное кольцо, которое возвратило царю Дурьянте память о его возлюбленной («Шакунтала», д. 6).

Стр. 200. *Ресторан Фирно* — известный ресторан в центре Калькутты.

Стр. 201. *Когда Шива разъял мертвое тело Сати, везде и всюду, куда упали частицы ее тела, возникли сотни святых мест.* — По преданию, Сатя, супруга Шивы, покончила с собой во время жертвоприношения Дакши. Шива разбросал куски ее тела в разных местах.

Баллигандж — район Калькутты.

Ата — сладкий плод дерева ата.

Кишкундхья — мифическая страна, отпущенная Рамой у царя обезьян Бали и переданная Сугриве, другу и союзнику Рамы.

Стр. 207. *«Происхождение и развитие бенгальского языка» Сунити Чаттерджи...* — Сунити Кумар Чаттерджи (1890—1977), индийский ученый-филолог, общественный деятель.

Стр. 207. ...создать такой «Облако-Вестник», в котором возлюбленная из незримой Алаки будет всплывать в небе его воображения... — «Облако-Вестник» — поэма Калидасы, где рассказывается о мифическом существе — якше (якши составляют свиту бога богатств Куберы), изгнанном из Алакп, столицы Куберы. Он просит пролетающее облако передать весточку своей возлюбленной.

Стр. 208. Тагор Абаниндрапат (1871—1951) — известный бенгальский художник, один из зачинателей бенгальского Возрождения в живописи.

Авантика и Малавина — героини пьес Калидасы.

...Лакшми, вновь вышедшая из молочного океана, все еще бурлящего от ударов горы Мандар. — По индийской мифологии, Лакшми вышла во всем блеске своей красоты из молочного океана, когда его пахтали боги и демоны. Гора Мандар служила мутовкой для взбивания океана.

Стр. 211. Манаса — сестра царя змей Шешн, которая якобы спасает от змеяного яда.

«Йогавазингта Рамаяна» — древний трактат, излагающий воззрения йогов на «Рамаяну».

Стр. 212. «Гита» («Бхагавадгита») — памятник религиозно-философской мысли Древней Индии, часть 6-й книги «Махабхараты».

«Брахмабхашья» — комментарий индийского реформатора и философа Шанкарачарья (VIII в.).

Стр. 215. Гупта — династия правителей Индии (IV—VIII вв.).

Стипендия «Премчанд Райчанд» — стипендия, выдаваемая лучшим студентам в Калькуттском университете.

Стр. 217. Грот Джордж (1794—1871) — английский историк, автор «Истории Греции».

Стр. 217. Гиббон Эдвард (1737—1794) — английский историк, написал многотомную «Историю упадка и разрушения Римской империи».

Мёррей Джилберт (1866—1957) — английский ученый-литературовед. Ему принадлежат «История древнегреческой литературы», «Развитие греческого эпоса» и другие исследования.

Донн Джон (1573—1631) — английский поэт.

Стр. 218. Маши-ма — тетя по материнской линии; ласковое обращение.

Стр. 223. Шанкарачарья — создатель религиозно-философской системы адвайта веданта, учения о единстве вселенной.

Стр. 226. Кхаси — народность, проживающая в Ассаме.

Стр. 229. Он знает, что на берегу океана знаний сумел подобрать всего несколько камешков. — Намек на известные слова Нью-

топа: «Не знаю, как я выгляжу в глазах мира, по самому себе я кажусь мальчиком, играющим на берегу моря и забавы ради старающимся отыскать гладкий камешек или красивую ракушку, в то время как породо мной раскинулся неоткрытый великий океан истинный».

Стр. 231. *Аштами* — второй день праздника Дурга, в этот день совершается много жертвоприношений.

Дашами — четвертый день праздника, когда, по преданию, богиня уходит к своим родителям.

Стр. 233. *Рама хотел испытать чистоту Ситы огнем...* — Рама и Сита — главные герои «Рамаяны». После того как Сита была освобождена из рук ракшасов, Рама решил проверить, сохранила ли она супружескую чистоту, испытан ее огнем. С помощью бога Агни Сита прошла невредимой сквозь это испытание.

Стр. 241. *Нарада* — мудрец-рishi, которого считают автором нескольких гимнов «Ригведы».

Стр. 246. *Арнольд Мэтью* (1822—1888) — английский поэт в эссент.

Стр. 249. «*Смерть Мегханада*» — поэма бенгальского поэта Майкла Модхушудова Дотто (1824—1873); написана в 1861 г.

Стр. 250. *Даймонд-Харбор* — пристань на Ганге, недалеко от Калькутты.

Стр. 251. *Дхананати* — имя бога богатства Куберы. Он был владителем Ланки, но Равана нагнал его оттуда.

Стр. 252. *Джаядаса* (XII в.) — индийский поэт, автор лирико-драматической поэмы «Гитаговипда», повествующей о любви Кришны и Радхи.

Стр. 264. *Это краткий, написанный на почтовой открытке ответ моему поэту по поводу его «Тадж-Махала»...* — Речь идет о стихотворениях самого Р. Тагора «Шах Джахан» и «Тадж-Махал».

Стр. 265. «*Журавли*» — сборник стихов Тагора, опубликованный в 1916 г.

Стр. 266. *Сюань Цзан пришел в Индию как паломник...* — Сюань Цзан — китайский путешественник, монах. Посетил Индию в VII в.

Стр. 278. *Питхе* — индийское «пирожное».

Стр. 279. *...нам пришлось немало походить в поисках нашей волшебной птицы, или дикого гуся, как говорят англичане!* — Английское выражение «искать дикого гуся» (to chase the wild goose) означает «предаться несбыточным мечтам».

Стр. 286. *Рамакришна Парамананда* (паст. имя Гададхар Чаттерджи) (1836—1886) — индийский религиозный деятель, учитель Свами Вивекананды.

Стр. 287. *Аннапрашан* — обряд первого кормления ребенка рисом.

...читал *«Письма» Уильяма Джеймса*. — Джеймс Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. *«Письма» Уильяма Джеймса* были опубликованы в 1920 г.

А. Ибрагимов

МИНИАТЮРЫ

В настоящем томе публикуется несколько стихотворений в прозе и небольших прозаических этюдов-миниатюр, напоминающих по своей манере сказки, притчи.

Среди этих произведений мы встречаем немало лирико-философских, которые затрагивают очень близкие к поэзии Р. Тагора темы. Здесь и мотивы, навеянные знаменитой концепцией писателя «дживан-девата» («божество жизни»), идеи, почерпнутые Р. Тагором из философии, упадничад, согласно которой бог, человек и природа едины; здесь мы ясно ощущаем и огромное влияние идеологии вишнуизма, шактизма. В лирическом стихотворении в прозе «Дорога» писатель сравнивает жизнь с дорогой, по которой проходит много знакомых ему людей. Писателю хочется узнать и понять все мысли, все желания путников, прошедших дорогой жизни, ибо этих людей нельзя уже вернуть назад, вновь их увидеть и говорить с ними. По дороге жизни «можно пройти только раз, обратного пути нет». Бесконечную в своем жизненном разнообразии и движении дорогу писатель поэтически сравнивает с песней, слона которой — следы, оставленные на дороге, а мелодия — голос, зовущий вдаль. Идеи вечного движения жизни, ее постоянного обновления ярко представлены в этюде «Вечер и утро». В другом этюде, «Прощальный взгляд», Р. Тагор сравнивает всегда молодую и прекрасную жизнь с песней, которой «нет дела ни до власти раджи, ни до сокровищ богача», ибо сама жизнь — есть «вечное богатство». Это во многом материалистическое восприятие жизни, диалектика ее движения и развития составляет одну из важных черт философских взглядов Тагора, нашедших свое удивительно точное художественное воплощение во многих этюдах.

Однако «космические» философские проблемы, занимающие такое заметное место в темах миниатюр, не отдалляют писателя от главного объекта его творческого внимания — человека. Р. Тагор постоянно волнует возможность познания внутреннего мира человека, который сумел подчинить себе силы природы, но «повеждать, что в глубине души его — не в силах оп» («Помурным днем»). В «Облаке-Вестнике», «Неблагодарном» и «Флейте» Тагор отвечает

па извечный вопрос: «Что есть истина?» Он страстно верит, что истина заключена в познании человеком жизни, что сама жизнь, в особенности красота человеческой любви, дает возвышенные примеры познания этой истины.

Писатель выступает за общность между людьми, за их сплочение, осуждает замкнутость, разобщенность, поклонение всевозможным идолам («Спасение»). Р. Тагор высмеивает рабскую психологию людей, под видом учености занимающихся стяжательством («Как обучали попугая»). В этой сказке, как и во многих своих публицистических выступлениях и статьях, Тагор подверг критике современную ему систему образования, установившую в Индии колонизаторами.

Во многих произведениях «Миниатюр» Р. Тагор выступает как писатель-демократ, борец против социального зла, против идеологии войны, насилия, угнетения. Он обличает господствующие классы, погрязшие в кровавых преступлениях против народа, не щадящих при этом даже маленьких детей («Придворный шут»). В образе сказочной страны, созданной Р. Тагором в притче «Призрак», читатель без труда угадывает многие черты жестоко угнетаемой колониальной Индии. Писатель восстает против бездушной власти в этой стране, власти «смотрителей тюрем», против покорности и смирения людей, живущих в нищете, терзаемых голодом и болезнями. Р. Тагор клеймит позором колониальных правителей — «заморских птиц», которые грабят и угнетают народ. Он с надеждой говорит о молодом поколении, которое не сковано рабским страхом перед прошлым и решительно уничтожить «власть призраков» и освободить свою страну.

Еще об одной теме «Миниатюр» следует сказать особо. Эта тема — роль искусства, его огромная творческая сила, которая преобразует мир «деловых людей» и помогает человеку всесторонне познать жизнь, увидеть ее реальную красоту и величие («Не в тот рай попал»).

Отдельной книжкой «Миниатюры» изданы в 1922 году. Туда вошли короткие рассказы, притчи, сказки и стихи в прозе, написанные Тагором в период между 1917 и 1922 годами и опубликованные в различных журналах того времени.

Для настоящего собрания из тридцати девяти произведений, составивших сборник «Миниатюры», заимствовано пятнадцать.

Редакция некоторых притч и стихотворений, вошедших в отдельную книгу и соответственно в наше собрание, отличается от первоначальной, печатавшейся в журналах,

Расположение всех перечисленных притч и стихотворений в нашем собрании повторяет структуру сборника 1922 года, первую часть которого составили стихотворения в прозе. Здесь Тагор впервые попробовал свое перо в жанре стиха в прозе. В 1932 году в предисловии к сборнику стихов «Снова» Тагор писал:

«Песни «Гитапджалп» я перевел на английский язык прозой. Этот перевод был признан поэтическим. С тех пор меня неотступно преследовала мысль, нельзя ли, отказавшись от слишком четкой рифмы, придать бенгальской прозе дух поэзии, как я это сделал в английском переводе? Помнится, я обратился с такой просьбой к Шоттеन्द्रонатху, и он согласился. Но так и не сделал ни одной попытки. Тогда я попробовал сам и написал несколько небольших вещиц, вошедших в «Миниатюры». Готовя их к печати, я не разбил фразы так, как это полагается в поэзии; причиной, видимо, был страх.

Затем под влиянием моих просьб на такую же попытку решился однажды Обониндронатх. Я думаю, что созданное им тогда вошло в сферу поэзии, не была лишь соблюдена мера в словоупотреблении, он был слишком многословен. А потом и я опять отказался писать стихи прозой».

Это были стихотворения из цикла «Слова».

А. Чичеров

Стр. 291. *Рогхогола* — место, где помещается колесница с изваянием бога.

Стр. 294. *Удджалин* — столица легендарного царя Викрамадитьи, при дворе которого, согласно традиционной индийской точке зрения, жил Калидаса, создавший поэму «Облако-Вестник».

Стр. 295. *...волны священной Ганги, родившейся из волос всемогущего Шивы...* — Первоначально Ганга была небесной рекой, берущей свое начало из пальца на ноге Вишну и омывавшей своими водами пространства небесного царства Амаравати. Существуют легенды о том, как Ганга была ниспущена с неба. Когда она могучим водопадом устремилась к земле, Шива, чтобы ее воды не затопили землю, чтобы водопад своим ударом не причинил ей вреда, подставил голову и задержал Гангу в своих волосах. Густые волосы Шивы, сквозь которые протекла Ганга, разделили ее на семь потоков и дали ей, таким образом, новое рождение. *Флейта* — символический образ в мифологии вайшнавизма-кришнавизма, один из атрибутов Вишну, явившегося на землю в облике Кришны-пастуха, играющего на флейте. В звуках ее, согласно религиозно-философским представлениям вайшнавизма, заключена высшая истина, основное содержание которой сводится к идее о единстве мира, о гар-

мопии в нем как цели достижения. Последнее возможно лишь через преодоление дуализма, противоречий, символически изображаемых как противоположность мужского и женского начал, как супружеская пара (у Р. Тагора — жених и невеста). *Волны Ганги* — метафорическое сравнение со звуками флейты. Ганга, рожденная телом Вишну, — это речью Вишну об истине, изливаемые в звуках флейты.

Стр. 296. *Семь Мудрецов* (саптарши, шопторши) — семь «духовных сыновей» Брахмы, хранителей мира и его законов. В мифологической космогонии они олицетворяются в созвездии Большой Медведицы.

Стр. 300. *Яма* — бог смерти. Первоначально — первый из ушедших в иной мир смертных и ставший правителем мертвых и царем царства мертвых, царя предков. Затем, с возникновением представления о трех путях после смерти, Яма был осознан как вершитель судьбы душ умерших; его посланцы по его решению направляли душу умершего по начертанному им пути.

Стр. 307. *«И теперь душа его непрестанно стремится к свободе...»* — Здесь поэт обыгрывает слово мукти «свобода, спасение», отражающее понятие о конечной цели бытия, которое было одним из самых существенных для ряда религиозно-философских концепций, распространенных в Индии.

Стр. 309. *«Спит дитя, уснуло; тишина и покой в деревне»* — начало куплета известной пародийной колыбельной песни:

«Уснуло дитя, вся деревня уснула. На родину враг напал.
Соловьи рис поклевали. Чем уплатишь налог?»

Вторая строка имеет вариант:

«Попугай рис поклевали. Чем уплатим налог?»

Этот куплет, который бенгальские фольклористы считают отражением определенного исторического события, Р. Тагор, прилагая к современной ему действительности, использует для построения своей аллегории-сатиры. См. текст аллегории дальше.

Стр. 311. *Широмони, чурамони* — титулы папдитов (ученых брахманов).

Е. Быкова

СТАТЬИ

Социализм. Статья появилась в журнале «Шадхона» в мае 1892 года.

Прекрасное. Статья была напечатана в декабре 1906 года.

Стр. 315. *Царь Паушья молвил сыну мудреца Уттаке...*— Паушья и Уттака упоминаются в ведах и «Унаппишадах».

Акбар (1542—1605) — император из династии Великих Моголов.

Стр. 328. *К их дхрупаде не примешана мелодия кхейл...*— Дхрупада — торжественная классическая мелодия; мелодия кхейл более позднего происхождения и отличается сравнительно легким характером.

Стр. 333. *Ашока* (ум. ок. 232 г. до н. э.) — древнеиндийский царь. Его правление считается веком расцвета Индии.

Бодха Гайя — место, где Будда сидел под смоковницей, предаваясь созерцанию.

Стр. 335. *Пещеры Элефанты* — пещеры на острове в бомбейской гавани, где находятся храмы, высеченные в скалах, — величественные памятники индийского искусства.

Прекрасное и литература. Статья опубликована в апреле 1907 года в журнале «Бопгодоршоп».

Стр. 337. *Словно горы Виндхья, оно поделило бы истину на прекрасную Арьяварту и не прекрасную Южную Индию.*— Виндхья — горы на северо-востоке Индии. Арьяварта (букв. земля ариев) — местность между Гималаями и горами Виндхья.

Стр. 339. *...ведь погибла же из-за красоты золотая столица Лапки...*— Лапка — город на Шри-Ланке, спаленный хвостом царя обезьян Хапумана во время знаменитого похода за освобождением Ситы («Рамаяна»).

Стр. 344. *Мукундорам Кобиконкон* — поэт XVI в., автор классической поэмы в честь богини Чанди (Дурги, супруги Шивы).

Открытое письмо редактору «Манчестер гардиан». Опубликовано в феврале 1938 года.

Стр. 346. *«Новая конституция Индии...»* — Имеется в виду закон об управлении Индией, подготовленный английским правительством в 1935 г. Закон предусматривал образование индийской федерации и устанавливал выборные органы в провинциях, которые должны были находиться под контролем губернаторов. Закон был введен в действие в апреле 1937 г. без той его части, которая касалась образования федерации.

Кризис цивилизации. Статья Р. Тагора, прочитанная по случаю его восьмидесятилетия в Шантипикетопе (14 апреля 1941 г.). В тот же день раздавалась брошюра с текстом.

Статья кончается стихотворением «Вот человек великий».

Стр. 349. *Джон Брайт* (1811—1889) — английский политический деятель, либерал.

Стр. 350. *Раджнарайон Бошу* (1826—1899) — бенгальский литературовед и критик.

Стр. 353. *Эндрю Чарльз Фир* (1871—1940) — английский миссионер, близкий друг семьи Тагоров.

А. Ибрагимов

ПИСЬМА О РОССИИ

Стр. 362. *Снова и снова одевал Кришна Драупади...*— Драупади — общая жена пяти Папдавов, героев «Махабхараты». Старший брат Юдхиштхира проиграл ее в кости. Духтасана, сын царя Дхритараштры, стал срывать с нее одежды, но бог Кришна каждый раз одевал ее снова.

Стр. 363. *Однажды в Токио...*— Тагор побывал в Японии в 1929 г.

Стр. 367. *Я вспоминаю конференцию в Пабне...*— Конференция Национального конгресса в Пабне состоялась в 1908 г. Тагор был ее председателем и выступил с речью.

Стр. 372. *Комиссия Саймона.*— Комиссия Саймона была создана в 1927 г. с целью изучить «действие системы управления, распространение образования и развитие представительных учреждений в Британской Индии». В состав этой Комиссии не вошел ни один индеец.

...после кровавых дней Джалианвалабага (Амритсар)...— 13 апреля 1919 г. по приказу генерала Дайера английские войска без предупреждения открыли огонь по участникам митинга, который происходил в парке небольшого городка Джалианвалабага, возле Амритсара. Было убито 379 человек и 1137 ранено. В знак протеста против этой расправы 30 мая 1919 г. Тагор отказался от дворянского титула, пожалованного ему английским правительством.

Шудхиндро — Шудхиндропатх Тагор, племянник поэта.

Стр. 380. *Говардханадхари («Держащий гору Говардхана»)* — одно из имен бога Кришны, который некогда, по легенде, поднял гору Говардхана, чтобы спасти пастухов, живших во Вриндаване, от ужасного ливня, ниспосланного богом Индрой.

Баларама — старший брат Кришны; его оружием был плуг.

Стр. 380. ...земле, которая была такой же жертвой, как обращенная в камень Ахалья...— Ахалья, жена мудреца Гаутамы, была обращена в камень за нарушение супружеской верности.

Стр. 388. *Вишвакарма* — бог, строитель вселенной.

Стр. 390. *Саки* — древние кочевые племена, родственные скифам.

Стр. 392. *Томпсон Эдвард* — биограф и друг Тагора, английский миссионер.

Стр. 396. *Пури* — город в штате Орисса, где находится знаменитый храм в честь бога Джаганнатха (Вишну).

Стр. 398. *...справочник Хантера* («*Империял газетти оф Хантер*») — справочник по Индии, составленный английским статистиком и историком Вильямом Хантером.

А. Ибрагимов

СОДЕРЖАНИЕ

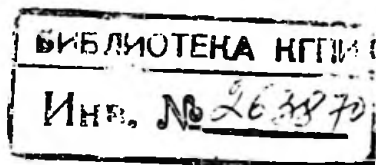
ДОМ И МИР. Роман. Перевод В. Новиковой . . .	5
ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА. Перевод И. Световидовой . .	193

МИНИАТЮРЫ

Дорога. Перевод М. Тубянского	291
Пасмурным днем. Перевод Евг. Быковой и Евг. Би- руковой	292
Облако-Вестник. Перевод Евг. Быковой и Евг. Би- руковой	293
Флейта. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой . .	295
Вечер и утро. Перевод Евг. Быковой и Евг. Би- руковой	296
Наш переулоч. Перевод Евг. Быковой и Евг. Би- руковой	297
Прощальный взгляд. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	298
Полдневный час. Перевод Евг. Быковой и Евг. Би- руковой	299
Неблагодарный. Перевод Евг. Быковой и Евг. Би- руковой	299
Не в тот рай попал. Перевод Евг. Быковой	300
Придворный шут. Перевод Евг. Быковой	303
Лошадь. Перевод Евг. Быковой	304
Призрак. Перевод Евг. Быковой	307
Как обучали попугая. Перевод Евг. Быковой . . .	310
Спасение. Перевод Евг. Быковой	314

СТАТЬИ

Социализм. Перевод Э. Комарова	319
Прекрасное. Перевод Ю. Фролова	321
Прекрасное и литература. Перевод И. Товстух	336
Открытое письмо редактору «Манчестер гардиан» Перевод с английского Р. Петросян	346
Заявление по поводу начала второй мировой войны Перевод с английского Р. Петросян	348
Кризис цивилизации. Перевод И. Товстух	349
Письма о России. Перевод М. Кафитиной	355
Примечания	409



Тагор Рабиндранат

Т 13 Собрание сочинений: В 4-х т. — М.: Худож. лит., 1981. — 1982

Т. 4. Романы; Миниатюры; Статьи; Письма о России. Пер. с бенг. 1982. — 431 с.

В четвертый том Собрания сочинений Р. Тагора вошли два известных романа «Дом и мир», «Последняя поэма»; миниатюры «Дорога», «Облако-Вестник» и др.; статьи «Социализм», «Прекрасное», «Кризис цивилизации» и др.; «Письма о России».

4703000000-118
Т 028 (01)-82 **подписное**

И (Инд)

Рабиндранат Тагор

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 4

Редакторы Л. Поспелова и М. Флибейн

Художественный редактор Ю. Конюш

Технический редактор Л. Платонова

Корректоры Н. Замлятина и В. Широкова

ИБ № 2539

Сдано в набор 14.05.81. Подписано в печать 8.04.82. Бумага тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,31. Уч.-изд. л. 23,19. Тираж 75 000 экз. Изд. № VIII-556, Заказ № 3279. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28